Исповедь ЖЕНСКОЙ ДУШИ

ДАМСКИЙ РОМАН

Ар

ПЫ

Си

И
ЖЕНС

По

МУЧ
ЗА

Социально-

ДАМСКИЙ РОМАН

Анри Деберли

ПЫТКА ФЕДРЫ

Сидони Габриель Колетт

ИСПОВЕДЬ ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Поль Бурже

МУЧИТЕЛЬНАЯ ЗАГАДКА

Социально-коммерческая фирма
«Человек»
1993

ББК 84.4 Фр.
И88

Человеку всегда было свойственно стремление понять, отчего рождается любовь и по каким причинам она вдруг умирает. Особенно непостижимой предстает перед нами любовь женщины, над которой это чувство имеет роковую власть.

Представленные читателю романы французских писателей Сидони Габриель Колетт, Поля Бурже и Анри Деберли созданы в то время, когда загадки «вечного женского», еще не погребенные под идеями равенства полов, пытались решать самые талантливые литераторы, когда отказ от любви или измена возлюбленной были так же важны, как вопросы жизни и смерти.

Перевод с французского

Составители *Т. Н. Зенюк, Н. И. Полторацкая*

Редактор *Г. И. Кряжевских*

И 4703010110—034 без объявл.
ISBN 5-85670-006-6

© Т. Н. Зенюк, Н. И. Полторацкая, составление, 1993
© И. В. Зарубина, оформление, 1993

Анри Деберли

ПЫТКА ФЕДРЫ

Глава I

— Марк,— спокойно сказала Елена Сорэ,— сходи в гостиницу за купальными костюмами. Они, наверное, высохли. Чепчик твоей сестры лежит под халатом... Захвати, кстати, с собой мой серый шарф!

Пасынок Елены помчался бегом. Несколько секунд она провожала его глазами. «Какая горячность! — подумала она.— Какой он послушный!» Молодой женщине всегда нравились живость и подвижность мальчика.

Было время отлива. Море ушло далеко и, шурша, ласкало лежавшие на мели, около мыса, рыбачьи лодки. В глубине небольшой бухты, на песке, сидели группами купальщики. Налево лежали блестевшие от морских трав и усеянные детьми длинные, плоские скалы. За ними виднелся покрытый растениями и кустами берег; утесы подымались уступами все выше и выше и превращались вдали в громадные каменные глыбы, свойственные изрытому, неровному берегу Брестской бухты.

— Мария-Тереза! — крикнула Елена.

Черноволосая стройная девочка лет семи, копавшаяся в песке и трудившаяся над сооружением крепости, повернула голову, остановилась в нерешительности и прибежала вприпрыжку с лопаточкой в руке.

— Пора тебе купаться, моя родная! Постарайся вести себя хорошо и не кричать, как позавчера, когда жильцы гостиницы показывали на тебя пальцем,— сказала Елена, опираясь на хрупкое плечико девочки, чтобы заставить ее присесть на землю.— Предупреждаю тебя,— продолжала она вполголоса,— тебе влетит, если ты устроишь такой же спектакль!

Марк успел вернуться с костюмами. Движением головы он отбросил назад свои растрепавшиеся и висевшие длинными прядями волосы.

— Ты с ума сошел! Ты весь мокрый,— заметила сердитым голосом молодая женщина и приложила свою руку без колец к горячей щеке мальчика.— Я раздену Марию-Терезу. Оставайся здесь. Ты придешь, когда я

тебя голову. Я не хочу, чтобы ты купался в таком состоянии!

Прошло пять минут. Мальчик замечтался. Он сел поудобнее на освободившийся после ухода мачехи складной стул и рассеянно смотрел на сыпавшиеся между его пальцами струйки песка. Елена в сопровождении дочери вышла из кабинки и знаком предложила Марку войти. Не успела она снова присесть на стул рядом с дочерью, как худая смуглая рука коснулась ее обнаженного плеча.

— Ах, вы здесь! — заметила она вежливо, но без энтузиазма.— Торжество, значит, уже закончилось!

— Да, и я вас уверяю, что это было очень хорошо!

Капитан покачал головой, поцеловал свою дочь и осторожно прилег на песок, поправив привычным жестом широкие, с желтыми стеклами, очки.

— О, я в этом не сомневаюсь,— сказала Елена.— Когда речь идет о религиозных торжествах, вы всегда довольны!

Ее муж пропустил замечание мимо ушей.

— Но зачем вам понадобилось пойти на освящение этой лодки? — вновь начала она.

— Мое место было там, мое дорогое дитя! — ответил капитан с тем легким оттенком властности и преувеличенного достоинства, который люди немолодые употребляют в разговоре с любимой женщиной, не замечая того, что это ее оскорбляет.— Все здесь знают, что я моряк. Если бы я не принял участия в этом небольшом торжестве, подумали бы, что я презираю честных, добрых людей...

— Итак, лодка крещена! — заметила Елена.— Правда ли, что крестная мать разбивает на корме бутылку шампанского, в то время как священник бормочет свои молитвы? Что же, шампанское или церковный обряд должны спасать ее во время бури?

— Ваши шутки неуместны! — сказал Мишель Сорэ.— Речь идет о старинном обычае, который надо уважать, особенно в переживаемое нами время. Я не люблю, когда вы высказываете столь необоснованные суждения на такую серьезную тему, как эта. Как бы я себя не убеждал в том, что это всего только словесное легкомыслие, оно всегда меня огорчает.

— Ну, пожалуйста, мой дорогой Мишель, не сердитесь,— сказала ласково молодая женщина, дотрагиваясь до плеча своего строгого мужа.— Есть вещи и похуже!

Например, торжественное благословение своры собак. Тут уж, признайтесь, ваша церковь доводит до смешного свое уважение к деньгам!

— Возможно,— ответил Мишель.— Я этого не знаю... Но, черт побери, откуда у вас берутся подобные мысли!

Марк появился в халате с ярко-зелеными полосками, красивые тона которого обнаруживали большой вкус. Елена тотчас оборвала разговор:

— Ты должен окунуть Марию-Терезу,— сказала она мальчику,— и намочить ей голову! Когда она перестанет гримасничать, ты можешь поплавать.

Она встала, чтобы присутствовать при купании детей; капитан пошел за ней следом.

Перед ними, вдали, скользя друг за другом по сверкающей глади бухты, уходили в открытое море четыре черных, совсем одинаковых, военных корабля.

Елена была высокой женщиной с длинными ногами, полным бюстом, широкими, круглыми плечами, белыми красивыми руками и красиво посаженной, но немного полной шеей. Ее черные волосы выгодно оттеняли розовый цвет лица. Небольшая голова с круглыми щеками носила тот благородный отпечаток, который придает чертам лица прямой нос, продолжающий без перерыва линию лба. Глаза зеленоватого оттенка, над ними темнели густые брови, изгиб которых был так четок, что казался нарисованным кистью. Взгляд Елены выдавал решительность, но пухлый ярко-красный рот и шаловливые ямки, появлявшиеся при каждой улыбке, говорили обратное. Неприветливый мускулистый острый подбородок настолько подчеркивал выражение глаз, что в конечном счете ее молодое лицо, несмотря на очаровательную прелесть очертаний, поражало своим упорством.

Муж этой изящной женщины мог бы сойти за ее отца. Ему было около сорока девяти лет, тогда как Елене было всего тридцать; и даже без грима, без косметики на вид ей можно было дать двадцать пять. Если капитану удалось сохранить некоторую стройность благодаря худощавости тела, воздержанию от всяких излишеств и здоровому образу жизни, то его лицо, несмотря на большое благородство линий, изрытое морщинами и желтое, как пергамент, имело уже старообразный вид. Его мягкие и в то же время холодно-пристальные глаза напоминали порой взгляд пресмы-

кающегося; нос, заостренный, как у трупа, и изогнутый орлиным клювом, страдальчески опускался над горестным ртом. Высокий, узкий скучный лоб, плешивый череп и весь облик этого человека придавали ему не лишенное комизма выражение грустной добродетельности.

Проницательный наблюдатель мог бы заметить, что если пожилой Мишель Сорэ и его молодая жена не во всем были схожи, то в манере одеваться у них было что-то общее. У обоих чувствовалось опрятное изящество, исключавшее в одежде всякое украшение, всякую даже модную нескромность, которые грешили бы против хорошего вкуса. Пиджак Мишеля, костюм Елены, сшитые из тонких и темных тканей, обладали теми длинными линиями, в которых искусство портного обнаруживается больше, чем в сложных нарядах. В этих мелочах проявлялось их одинаковое презрение к дешевому шику, которым они легко жертвовали ради, быть может, менее блестящих, но более прочных и ценных качеств.

Сброшенные халаты детей выделялись на песке ярким пятном. Мария-Тереза с трепетом вошла в воду и бросила на свою мать, наблюдавшую за купанием, взгляд, исполненный беспредельного отчаяния. Боясь наказания, она и не пыталась сопротивляться, и Марку удалось ее благополучно окунуть.

Елена и ее муж, касаясь друг друга локтями и не обмениваясь ни единым словом, стали ходить по песку теми широкими, но медленными, методичными шагами, которые они любили. Капитан склонил голову и казался озабоченным. Вдруг он повернулся к жене и, начиная вновь беседу с того самого места, где она была прервана пятью минутами ранее, сказал:

— Когда я слышу ваши парадоксы, я спрашиваю себя: откуда вы их берете?

— А вы разве слышали от меня другие мнения? Что же, по-вашему, я их приобрела за эти последние четыре месяца? — спросила Елена.

— Конечно, нет! — заметил Мишель.— Но при каждом моем возвращении из плавания вы все больше и больше удивляете меня.

— В самом деле? А по какой же причине?

Моряк недоуменно развел руками.

— Ваши суждения так непохожи на те, к которым мы привыкли в нашем кругу! Они скорее типичны для простых людей, которых вы сами избегаете.

— Ну что ж, люди с грязными руками тоже могут мыслить разумно.

Капитан огорченно пожал плечами и молча сделал несколько шагов. Внезапно остановившись и покачав головой, он решительно заявил:

— Это не все! Нет, это еще не все! Я рискую вам надоесть, но это не все! Речь идет не только об этом. Я не считаю себя проницательнее или умнее других, но я достаточно хорошо разбираюсь в своих чувствах и отлично понимаю, в чем причина моего беспокойства. Прежде всего, Елена, выслушайте меня без всякой задней мысли и не думайте, что я говорю из недоброжелательности к вам! Я говорю то, что у меня на сердце. Мой опыт мне подсказывает, что вы заблуждаетесь, и я кричу: берегитесь! Это мой долг, как главы семьи. Я видел, как вы воспитывали Марка в безверии, и не вмешивался в это дело, оправдываясь тем, что мужчина есть мужчина и что в конце концов я знал таких, которые жили честно, не имея глубокой веры. Вы скажете, что это никчемный аргумент, пусть так. Но он избавлял меня от необходимости причинять вам огорчения своими наставлениями. Теперь, однако, моя дорогая, речь идет о девочке, а это совсем иное дело. Женщины, не обладающие ни большим умом, ни выдающимися достоинствами, нуждаются в нравственной опоре, чтобы противостоять искушению. Впрочем, оставим в стороне и этот аргумент! Будем смотреть на вещи более узко и практически. Не представляет ли, по-вашему, известной опасности для Марии-Терезы, для ее счастья, для ее будущего брака то обстоятельство, что она воспитывается в обстановке безбожия? Ведь о ее будущности нам надо позаботиться заранее. Религия сохранила до сих пор у нас громадный авторитет, и вы сами знаете немало таких религиозных матерей, которые стыдились бы иметь вольнодумствующую невестку. Сколько домов могли бы оказаться для нее закрытыми! Вам не стоит большого труда поддержать в Марии-Терезе религиозные принципы и тем самым избавить ее в будущем от весьма тяжелых испытаний. Я требую не вашего духовного обращения, но только известной жертвы общественным приличиям.

Елена, не прерывая, выслушала мужа. Когда он умолк, немного сконфуженный своей длинной, столь необычной при его сдержанности речью, молодая женщина небрежно спросила:

— Но, Мишель, разве наши дети такие уж уроды? Слушая вас, можно подумать, что я к ним недостаточно внимательна или, еще хуже, что я их балую, что я им внушаю такую мораль...

— Вы меня не поняли, — сказал Мишель.— Я не намерен, боже избави, подвергать малейшей критике воспитание, которое вы им даете. Вы их воспитываете наилучшим образом... но как язычников.

— Вы жалуетесь! — бросила она своим красивым, веселым голосом.— Но ведь Марк уже был у первого причастия, а Мария-Тереза крещена и скоро тоже будет причащаться; все это делается для вас. Многие жены на моем месте не заботились бы об этом. Ведь в конце концов, — продолжала она, поднимая голову,— вы мне всегда давали свободу!

— Я всегда вам доверял,— ответил Мишель. - Я мог бы объехать весь свет и не найти такой честной, добросовестной и умной женщины, как вы. Поэтому чем больше я живу и размышляю, тем меньше понимаю некоторые стороны вашего поведения. Возьмем, например, Марка. Мальчик перешел к вам из религиозной семьи. Вы могли бы, даже если сами не набожны, продолжать воспитание ребенка в том духе, в каком воспитывались все мы.

— Я пробовала,— заметила задумчиво молодая женщина.

Мишель недоверчиво покачал головой.

— Правда, недолго! — поправилась она.— Я скоро поняла, мой друг, что, проповедуя детям то, что считаю бреднями, я только теряю свое достоинство. Даже при желании трудно разыгрывать комедию веры! Это зависит от личных свойств и характера. Молитва может унизить, когда она не воспламеняет.

— Однако,— возразил Мишель,— в молодых существах...

— Если бы вы знали,— перебила Елена, громко смеясь,— насколько хорошее наказание оказывается полезнее Бога для того, чтобы держать ребенка в повиновении! Посмотрите, как спокойно себя ведет Мария-Тереза! Когда Марк окунул ее в воду, мы ее почти не слышали. Она послушна потому, что боится шлепков. Как вы думаете, избавила ли бы она нас от своих воплей, если бы она страшилась огорчить только своего ангела-хранителя или Божию матерь?

— Это не аргумент! — заметил Мишель.— Христианские принципы не ослабляют, а, наоборот, укрепляют дисциплину.

— Хорошо! Но для этого надо, чтобы ребенок был склонен к религиозному восприятию! Попробуйте преподносить нравоучения, которые к тому же вы сами считаете глупыми, когда их выслушивают равнодушно! Некоторые натуры, чувствуя приближение таинственного, инстинктивно сьеживаются. Сколько раз я это наблюдала у Марка!

Короткое, но уже ласковое молчание следовало за этой репликой. Мишель Сорэ не умел долго противиться своей жене.

— Нет оснований полагать, что Мария-Тереза похожа на брата,— уронил он вяло.

— Ну что вы! — ответила Елена.— Я ее знаю хорошо! В моральном отношении она вся в меня!

Они остановились на берегу. Капитан концом палки показал на две видневшиеся над волнами, близкие друг к другу головы и после краткого колебания подозрительно спросил, прищурив глаза:

— Что это за особа, которая плывет с Марком?

— Молодая Вюльмон,— сказала Елена.— Это дочь врача, живущего в квартале Монсо[1].

— А что, это хорошая семья? Будьте осторожны! Позавчера уже... Я нахожу,— вновь начал Мишель,— что они слишком далеко плавают. Посмотрите, мне кажется, они разговаривают... Вас не коробит эта дружба?

Елена вдруг принялась хохотать, как гимназистка.

— Ничуть! Что же они делают плохого? Они виделись друг с другом несколько раз во время экскурсий, и Марк встречается с ней на теннисной площадке... Однако вы так позабавили меня сегодня, что я забыла о времени! — прибавила она, взглянув на крошечные часики, прикрепленные к ее руке синей муаровой лентой. Сложив руки рупором, она крикнула:

— Марк!

Юноша, услышав зов, поднял руки и нарочно скрылся под водой.

— Марк! — крикнула она снова, когда он вынырнул. Как бы не слыша, погрузив наполовину лицо в волны, юноша быстро плыл вдоль берега.

---

[1] Квартал Монсо — буржуазно-аристократический район Парижа.

Властное выражение неудовольствия отразилось вдруг на лице Елены. Оставив мужа, шевелившего палкой морские травы, она приказала дочери выйти из воды, набросила на нее халат и, толкая ее перед собой, быстрым шагом пошла к кабинке.

Не успела она прикрыть двери, как Марк, запыхавшись, постучался.

— Что это значит? — раздраженно вскрикнула, увидев его, молодая женщина, приняв сердитую позу человека, который отчитывает молокососа.— Тебе не хватает четверти часа? Я тебя зову, а ты плывешь дальше!

— Вода была такая чудесная! — прошептал он.

Рассерженная Елена жестом приказала ему замолчать.

— Не делай глупых выражений! Запомни одно,— продолжала она, грозя ему пальцем.— Раз навсегда я прошу избавить меня от твоих замечаний. Мне твои объяснения не нужны! Когда я тебя зову, ты должен возвращаться немедленно, а не через пять минут!

Марк под градом упреков склонил голову и молча принялся снимать прилипший к телу синий купальный костюм.

Глава II

Тринадцать лет тому назад, то есть седьмого января тысяча девятьсот двенадцатого года, морской капитан Мишель Сорэ потерял свою молоденькую жену, простудившуюся при выходе с бала, и остался вдовцом с четырехлетним сыном на руках. Он плавал в то время в китайских водах. Страшная весть настигла его, когда его судно вошло в Гонконгскую бухту, и удар был тем сильнее, что телеграмма сообщала одновременно и о болезни, и о смерти.

Мишель уже давно лишился отца и матери. Родители его жены проживали в нескольких километрах от Кемпера, в довольно обширном имении, и вели тихую, скромную жизнь. Они приняли к себе Марка после похорон и были счастливы, бедные люди, приютить ребенка, рожденного их дочерью.

Детские годы человека всегда полны особой прелести, даже если они бесцветны или суровы. Они оставляют воспоминания, которые своим благоуханием

полняют всю последующую жизнь, если только чрезмерно тяжелые испытания не слишком их исковеркают. Эта истина равно относится и к окруженному вниманием молодому принцу, и к сыну бедного рабочего, родившемуся в мансарде.

Если же, горячо любя ребенка, вы хотите подарить ему безграничное блаженство, воспитывайте его в деревне. Там всякое желание может быть выражено, всякое удовольствие доступно, и свобода ребенка не знает обычных ограничений. Между предметом, который его привлекает, и своей протянутой рукой маленький человек не встречает никаких препятствий. Он живет среди цветов и фруктов; животные являются его преданными друзьями и радостно ему повинуются. Ему достаточно места на земле для своего трехколесного велосипеда, на воде — для своих лодок, на небе — для своего змея. Наконец, если ему приходится иметь дело с букварем и чернилами, то не иначе как в комнате, весь воздух которой напоен ароматом растущей в двух шагах герани или волнующим запахом сырой земли.

Не понимая значения постигшего его великого бедствия, Марк со всем пылом своего детского сердца отдавался незатейливым радостям деревни под покровительством двух стариков, с восторгом следивших за его движениями и наперерыв старавшихся заслужить его улыбку. После каждого выговора бабушка тотчас же дарила мальчику ароматный пряник, а дедушка, чтобы потешить его, изобретал занимательные детские игры.

Вблизи беззаботной юной головки, требовавшей от них буйных шалостей, старики чувствовали, как горечь их души превращалась в мед, а истрепанное, уставшее тело начинает страстно цепляться за жизнь.

Капитан появлялся два или три раза в год. Этот человек, безумно преданный своей профессии, не любил о ней говорить и, как ревнивый любовник, отвечал сдержанным молчанием, когда его расспрашивали о море. Он возвращался из Индии или из Южной Африки, как с какого-нибудь близкого курорта. Он с удовольствием выслушивал местные мелкие сплетни и пускался в сетования по поводу неумелых распоряжений правительства. Но больше всего он интересовался своими бретонскими знакомствами и принимал близко к сердцу всевозможные слухи, передававшиеся по родной провинции от Сен-Назера до Канкала. Все, что находилось за пределами Бретани, он мог любить только

ценой известного усилия. Когда Мишель выслушивал местные новости, которые ему подробно рассказывал тесть, его длинный, тонкий нос вопрошал, оценивал и выражал в полной мере все переживания. Из его уст процеживались лишь редкие слова, и глаза смотрели на собеседника пристально, но тускло.

Марк не знал, любил ли он отца. После каждого посещения он почти забывал его, а затем, узнавая из письма о его предстоящем возвращении, не испытывал при мысли о встрече ни радости, ни удовольствия. Ему показалось бы странным уделять больше нежности этому грустному, внимательному к нему человеку, нежели своей дряхлой няньке, своим старикам, своему ослику и козочке.

Мало народу посещало «Адмиралтейство». Так в окрестностях все называли старый замок Кортамберов в честь предка Марка, моряка, который его построил. Время от времени старинная вместительная коляска, влекомая двумя мулами, привозила туда графа Кербрата, которого во время каникул всегда сопровождала дочь. Этот старый дворянин и добрейший Кортамбер питали особую страсть к шахматам и играли всегда вместе, за неимением других, достойных партнеров. Это занятие помогало им убивать время и сделало их близкими друзьями.

Для Марка не было человека выше Елены Кербрат. Он любил ее, как дети умеют любить взрослых, которые о них заботятся. Для выражения своих чувств он искал особых слов, полных для него таинственного смысла и достойных его великой любви. «Она моя невеста! Мы связаны нашими клятвами!» — восклицал он, повторяя слова старинной книги. Красивая молодая девушка, со своей стороны, поощряла эту детскую страсть и, чтобы обрадовать мальчика, говорила с искренним выражением: «Мне незачем искать жениха. Я дала слово Марку!» Тогда он взбирался к ней на колени и в порыве нежности, обхватив руками шею, горячо ее целовал.

Елене, здоровой, чуткой восемнадцатилетней девушке, было жалко ребенка, оставшегося без матери. Кроме того, в суждениях, в манерах Марка сквозил живой ум, смущавший ее своей дикостью, но вместе с тем привлекавший свежестью и непосредственностью. «Как ты плохо воспитан!» — говорила она. Однако приветливой улыбкой или неожиданной лаской ребенок умел

остановить готовый сорваться с ее губ упрек. Она была счастлива тем, что завоевала его доверие.

Иногда она приходила в «Адмиралтейство» одна. Это было в те дни, когда припадок подагры вновь начинал терзать графа Кербрата, тогда он сам властно удалял свою дочь, чтобы дать ей возможность развлечься и позволить себе, оставшись одному, стонать в своем кресле, никого не стесняя.

Елена входила в гостиную с приветливым лицом, здоровалась с мистером Кортамбером, но смотрела только на Марка. Он вертелся около нее, дразнил ее, тянул за юбку и сотни раз перебегал от дивана к входной двери с нетерпением молодой лягавой собаки. Наконец они убегали в парк, под сень густой листвы, сопровождаемые доброй хозяйкой, которую они скоро покидали, чтобы ускользнуть в какой-нибудь глухой уголок сада. Там начинались игры, которым Марк отдавался с опьянением до того момента, пока запряженная мулами карета не увозила Елену в Кемпер.

Капитан, который, несмотря на свою наружную холодность, свои предрассудки и старосветскую преданность родной провинции, имел чуткую и робкую душу, не мог без волнения наблюдать, как ласково и внимательно красивая молодая девушка умела обращаться с его сыном. Он угадывал, что ее общество было полезнее Марку, нежели близость стариков, изливавших на мальчика трогательную, но слишком бесхарактерную нежность. Марк не мог вечно оставаться в «Адмиралтействе». Священник из соседнего села был первым преподавателем мальчика, но этот святой человек безбожно путался в самых простых вещах и не двигался дальше азов. От грамматики у него осталось одно только воспоминание. Он сам заявлял, добродушно смеясь, что при сложении он должен считать по пальцам, а иначе сбивался со счета. Несколькими чудесами и легендой о святой Бландине исчерпывалась для него вся история Франции вплоть до Капетов. В лучшем случае можно было надеяться, что в его преподавании не будет слишком грубых ошибок.

Мишель Сорз, человек с посредственным умом и большой трудоспособностью, когда-то провалившийся на приемных испытаниях в морское училище, с тех пор, как стал плавать на торговых судах, никогда не переставал пополнять свои знания. Он с неудовольствием смотрел на доморощенного учителя, которому было

поручено воспитание его единственного сына. С другой стороны, молодость и красота Елены глубоко волновали этого рано начавшего стареть человека.

Он много думал, колебался, боролся. Наблюдения и своеобразная светская статистика пришли ему на помощь. Среди неравных по возрасту браков он отмечал лишь те, которые были счастливыми, не обращая внимания на менее многочисленные союзы, в которых наблюдался разлад. Однажды утром, полагая, что уважение к старшим требовало от него соблюдения известных приличий, он сообщил тестю о своем желании жениться на Елене Кербрат.

Добрейший старик одобрил своего зятя.

— Марк нуждается в воспитателе,— заявил он.— А мы, старые, убитые горем люди, не можем в ваше отсутствие надлежащим образом следить за мальчиком. Ваш выбор мне кажется разумным и благородным. Вы сумеете дать счастье Елене, как вы его дали, увы, ненадолго, моей безвременно погибшей дочери. Если вы мне позволите, мое дорогое дитя, я сам предприму необходимые шаги.

В ответ на осторожные намеки отца, уважавшего ее свободу, Елена сначала отвергла мысль об этом претенденте, тридцативосьмилетний возраст которого ее неприятно смущал. Затем его мягкость, вежливость и скромность, уважение, которое она питала к его характеру, и в особенности возможность иметь около себя Марка, соединившись вместе, дали ей возможность представить свою будущую жизнь в привлекательном свете.

Давая свое согласие, она сделала одно-единственное замечание:

— У нас мало общих взглядов, по очень важным вопросам наши мнения расходятся. Уверены ли вы, что из-за этих разногласий между нами не возникнут недоразумения?

Мишель посмотрел на ее прекрасное лицо и ответил с выражением искренней страсти:

— Не бойтесь никакого насилия над вашей волей! Если вы только согласитесь украсить мою жизнь я буду вас лелеять и хранить такой, какая вы есть.

Когда читатель лучше узнает Елену, он поймет, на какое опасное предприятие толкала любовь холодного моряка.

Древний род Кербратов имел своей колыбелью

ревшиво ими любимую Нижнюю Бретань. Даже на самых древних страницах ее военной летописи легко натолкнуться на какого-нибудь Кербрата, преданного до гроба идее чести, совершившего немало великих подвигов, иногда в ущерб интересам церкви, но всегда искупавшего свой грех покаянием. Все Кербраты с одинаковым усердием поклонялись мечу и кресту, служившим в их руках надежным оружием.

Отец Елены относился немного насмешливо к предрассудкам своих предков.

Ко времени свадьбы своей единственной дочери это был человек пятидесяти двух лет, плечистый и крепкий, с коротко остриженными бакенбардами бывшего судьи, густой, непокорной седой гривой, обрамлявшей широкое, как львиная морда, лицо. Рассеянность и мягкость его натуры служили притчей во языцех. Во всякое время года его можно было видеть одинаково одетым: сюртук с коротким галстуком и широкая фетровая шляпа. Единственное отступление, которое он себе позволял в жаркие дни, сводилось к тому, что примерно в июне он сменял свои синие в черную полоску брюки, болтавшиеся, как юбка, вокруг его ног, на белые парусиновые штаны.

Он жил в просторном особняке, из которого редко выходил, просиживая с утра до ночи в своей библиотеке, занимавшей почти целый этаж, и покидал ее только для еды и сна.

Он читал, писал, курил, передвигал на своих полках лежавшие там редкости или смотрел сквозь увеличительное стекло на недавно приобретенные эстампы. О нем говорили как о замечательном знатоке римской культуры и греческого языка, перед которым иной раз ученым специалистам приходилось склонять голову и признавать свои ошибки. Больше всего он любил заниматься историей. Умея, как никто, разбираться в старинных рукописях и рыться в архивах, он решил написать историю Бретани в эпоху Великой революции. Из десяти первоначально предполагавшихся томов этого труда четыре вышли в свет на протяжении пятнадцати лет; их появление вызвало целую бурю, ибо автор был безбожником и республиканцем, владевшим убежденным, блестящим и порой немного насмешливым пером.

Благодаря тому, что воззрения старого графа резко противоречили общепринятым мнениям, его положение

в родном городе было несколько странным и могло бы послужить интересным предметом для наблюдений. Роялисты Кемпера ненавидели его за «анархическое рвение». Но, наряду с этим, его древнее имя ослепляло их своим блеском, и самый щепетильный дворянин охотно пожал бы его протянутую руку. Чтобы оправдать это отступничество, о нем говорили как о грешнике, который рано или поздно несомненно раскается в своих заблуждениях и обратится к Богу.

Честный старик с добродушной проницательностью мизантропа не без злорадства наблюдал бесчисленные оттенки дворянского общественного мнения и каждую весну немилосердно сжигал полученные зимой приглашения.

Единственно, кто интересовал его больше науки, это была Елена, двухлетним ребенком оставшаяся без матери и сделавшаяся в его доме божеством. Она была его гордостью, его любовью. Ни одна принцесса не получала столько дорогих блестящих тканей и душистых роз, сколько он их бросал к ногам своей дочери. В старом доме, внутренний распорядок которого по видимости определялся приказаниями старого графа, на самом деле все подчинялось малейшему капризу Елены, подобно тому как могучие деревья дремучего леса склоняются при легком дуновении утренней зари. Дом был весел, когда она смеялась, и впадал в тревожное уныние, когда она вздыхала. Даже в библиотеке она была хозяйкой. И только в том случае, когда девочка брала в руки какую-нибудь на редкость драгоценную рукопись, отец решался ласково ее отнять. Людовик Кербрат пожелал, чтобы Елена получила традиционное воспитание дочерей его рода. Будучи убежденным в ложности всех религиозных доктрин, он признавал, однако, что некоторым существам вера может оказывать могучую поддержку, и не считал себя вправе лишать Елену этой духовной опоры. Поэтому гувернантки, которые под его наблюдением занимались воспитанием девочки, получили от него наказ приучить ее к соблюдению всех религиозных обрядов. Сам он старался в присутствии дочери сохранять честный нейтралитет. Однако, когда на уроке закона божьего она отвечала плохо и получала скверную отметку, отец прижимал ее к своей груди и гладил ее косы с особой нежностью.

Когда рано созревшая дочь достигла переходного возраста, по некоторым ее улыбкам, ужимкам и суж-

дениям старик стал понимать, что закваска неверия, действие которой он ощутил на себе еще будучи юношей, оказала с такой же силой свое влияние и на Елену. Для него было это радостной неожиданностью и положительным облегчением.

Отказавшись от помощи посторонних преподавателей, он решил лично приняться за обучение Елены. К ее столу были приставлены изящный пюпитр и просторное средневековое кресло, в глубине которого она терялась, как четырнадцатилетняя принцесса на своем громоздком троне. Все, что ее окружало, было привлекательным. Ее взор мог скользить по переполненным полкам, витринам и этажеркам, рассеянно отдыхать на украшениях камина и зеркал и нигде не встречать книги в некрасивом переплете или неизящного предмета. И во всякое время года перед ней благоухали цветы.

После первого же серьезного урока, данного ей отцом, у очарованной и удивленной девочки появилось влечение к научным занятиям.

Познания графа Кербрата были так обширны, что он мог играть ими, как жонглер своими мячами, и с такой же легкостью, как кружевница, вертящая свои бесчисленные катушки. Любовь к дочери предупреждала его о том опасном моменте, когда усталость, овладевая юной головкой, готова была изгнать оттуда внимание. Тогда неожиданно за историей или арифметикой, латинской или греческой грамматикой или чтением мудреного текста следовал какой-нибудь литературный анекдот, который он оживлял всей своей лукавостью и умел делать поучительным. Или, глубоко зарывшись в кресло, сжав руками виски и отдаваясь тому ядовитому духу дерзания, который удалил его от общества, он начинал осторожную и мудрую беседу на свои любимые темы.

Ничто так не льстило юной ученице и не воодушевляло ее, как эти приготовленные для нее лекции. Она страстно преклонялась перед добряком отцом и поражалась той снисходительности, с которой он ее учил. Поэтому ни одно его слово не пропадало даром и глубоко западало ей в душу. Какие бы теории, какие бы идеи — религиозные или политические, моральные или социальные — ни развивал перед ней господин Кербрат во время своих длительных, откровенных бесед, они всегда находили в Елене горячую сторонницу. Ей не приходило в голову, что он мог ошибаться или неправильно рассуждать. Его мнения представлялись ей чем-то священ-

ным. Раз он отрицал Бога,— значит, Бога нет; раз идея о превосходстве республики была ему особенно дорога,— значит, старый режим во всех его проявлениях не заслуживает ничего, кроме ненависти и отвращения. Будучи неспособной к лицемерию, она самостоятельно отказалась от соблюдения всяких религиозных обрядов и стала с молодой самоуверенностью выражать самые разрушительные суждения.

Родителям своих подруг она внушала ужас, вернее, она их оскорбляла и вызывала смех, тот ядовитый и злобный смех, которым рабские души любят хлестать свободолюбивую смелость суждений, особенно когда она соединяется с крайней молодостью. Ее подруги не раз пытались ее пристыдить. Но Елена перед их шутками сохраняла невозмутимость и столь презрительное спокойствие, что растерявшиеся девушки постепенно умолкали.

Она стала постепенно отходить от них, встречаясь с ними все реже и реже.

Ею овладела любовь к науке. Елене не было еще и семнадцати лет, когда она уже выдержала в Ренне первую часть выпускных экзаменов; следующим летом, на устном испытании по философии, она, немного смутившись, провалилась, но осенью добилась все же получения аттестата зрелости.

Надо было чем-нибудь занять ее до замужества. Это было тем более необходимо, что она не испытывала никакой потребности ускорить наступление этого момента, бегая по балам или участвуя в светских охотах. По ее просьбе отец нанял ей в Ренне квартиру, поставил там кое-какую мебель, дал ей двух прислуг и разрешил заканчивать полное образование, пригласив для наблюдения за дочерью старую кузину. У Елены появилось страстное желание добиться университетского диплома. Кемперское общество неодобрительно относилось к ее первым успехам, которые казались ему неприличными и дерзкими. «Как же я над ними посмеюсь,— говорила себе Елена,— когда покажу им свой диплом».

Спокойные, неуклюжие бретонские студенты не без удивления встречали на лекциях Елену Кербрат. Обычно женщины, с которыми они сталкивались в университете, были неглупыми, но бедными девушками, одевавшимися наспех и без вкуса. Елена, выделявшаяся среди них, как лебедь, попавший в компанию деревенских кур, произвела на молодых людей впечатление принцессы.

решившей для разнообразия пожить без наскучивших ей почестей и пуститься в романтические приключения. Их восемнадцатилетний возраст и чтение легкомысленных романов помогли созданию этой блестящей легенды, которая бросала их в жар и, как им казалось, наполняла честный провинциальный быт чувственной атмосферой больших городов. Но так как Елена была трудолюбивой и не выказывала ни малейшего интереса к своим поклонникам, то скоро на ее счет перестали шептаться и оставили в покое.

Она только этого и желала. К ее самоуверенности не примешивалось ни тени кокетства. По обуви и костюмам, бойкому шагу ее можно было принять за одну из тех молоденьких, любящих спорт англичанок, которые путешествуют по всей Франции, от Ривьеры до Парижа, осматривая соборы и музеи. В ее занятой серьезными исследованиями головке не было места для мыслей о любви. Между тем у нее было доброе сердце, она питала к отцу самую горячую нежность и испытывала потребность самоотверженно полюбить всякого истинно достойного человека.

До сих пор она такого не встречала. В тех семьях, где она бывала, молодые люди ухаживали за ней, но она была слишком требовательна и слишком чувствительна к их смешным сторонам.

Самые лестные признания возбуждали ее смех. Рано развившись благодаря учению, она отклоняла всякие брачные проекты, которые могли бы отдать ее человеку ниже ее по уму и жизненному опыту. «Посмотрите на их галстуки и на их орфографию! Это чучела гороховые!» — говорила она своей старой кузине всякий раз, как та принималась восхвалять достоинства ее претендентов. Пожилая робкая женщина вздыхала. Можно было угадать по манере, с какой она поджимала губы, что в дни молодости она сама проявила бы меньшую требовательность к таким поклонникам. Но она была обязана своей воспитаннице весьма осязаемым комфортом и прекрасно знала, как туго пришлось бы ей жить на свою жалкую ренту. Поэтому она остерегалась особенно настаивать.

Весть о свадьбе ее поразила. Как мог человек без роду и племени, какой-то морской капитан, немолодой и небогатый, с сыном на руках, увлечь неприступную Елену Кербрат?

— Эксцентричная особа! — сказала она, пожимая

[illegible] Неужели она до такой степени подчинилась [illegible] этого она?

Старушка собралась было уже ехать в Реш, чтобы [illegible] к своим обычным обязанностям коммивояжера, узнав эту новость, без особого возмущения распаковала свои чемоданы и осталась в своем домике в Морлей.

Елена больше блистала умом, чем остроумием. На счет женщин она имела определенные и правильные взгляды. Не унижая, но и не возвышая ее, она ставила женщину в принципе ниже мужчины. По ее мнению, прекрасной обязанностью женщины было помогать мужчине в его стремлении ко всему доброму и великому. Елена чувствовала потребность применить свои глубокие душевные качества и, полная жалости к бедному, лишенному материнских забот и избалованному двумя слабовольными стариками ребенку, дала свое согласие капитану, чтобы всецело посвятить себя Марку.

Молодая чета уехала в Париж. Капитан после смерти первой жены сохранил там свою квартиру отчасти из-за мебели, отчасти потому, что находил удобным иметь собственный угол в столице. Этот человек, преданный своей провинции, как набожная старушка своей приходской церкви, благодаря какой-то любопытной странности любил оживление великого города и нередко, перед тем как ехать в Марсель, чтобы отправиться оттуда в трехмесячное плавание, приезжал на сорок восемь часов в столицу подышать ее воздухом. Елене тоже хотелось жить в Париже. Сорбонна, музеи, библиотеки, интеллигентная атмосфера, которая, по мнению молодых провинциалов, всюду должна чувствоваться в Париже, привлекали необычайным образом ее уставшую от Бретани душу. Ей думалось, что на столь благодатной почве она расцветет, словно роза. С другой стороны, заботясь о воспитании Марка, она хотела в ближайшее же время найти для него солидную гимназию и хороших преподавателей.

Просторная, светлая квартира на улице Вано потребовала лишь самого незначительного ремонта. В той самой комнате, почти нетронутой, где когда-то умерла его мать, мальчику были даны первые серьезные уроки в его жизни.

Какое разочарование его ожидало! Он знал лишь привлекательные стороны молодой женщины и думал, что недели и месяцы около нее будут проходить в

беспрестанных восторгах. За исключением редких, неожиданных вспышек, Елена до сих пор никогда не теряла в обращении с ребенком снисходительности и нежности, которые его восхищали.

И вдруг ее голос, выражение лица и даже характер круто изменились в течение одного дня.

Молодая женщина, став воспитательницей, сразу проявила по отношению к мальчику непреклонную строгость. Сознание ответственности сделало ее суровой. Стремясь в своем честолюбии заставить юное существо развить в труде и послушании все свои дарования, все свои способности, она напрягла всю энергию, закалила свои нервы, в то же время не теряя нежности к ребенку. Она доставляла Марку развлечения и продолжала любить его по-старому, но вместе с тем принуждала к упорной работе и во всех поступках подчиняла его жесткой дисциплине.

Сначала мальчик давал своей воспитательнице бурный отпор, но Елена сумела сломить его сопротивление выдержанно-методической суровостью. Ребенок, впрочем, не обладал большим упорством. Так как, с другой стороны, за всякое послушание его осыпали наградами — чувство справедливости взяло в нем верх над озлобленностью. Месяц спустя его вторая мать держала его в руках так, как будто до этого он никогда не находился под другим наблюдением. Она стала его полной госпожой, но знала вместе с тем, что он ее обожает.

Марк всегда хорошо учился, хотя не был никогда первым учеником. Когда же он перешел в последние классы гимназии, его мачеха еще больше усилила свой контроль, сделала его более властным и бдительным, подобно тому как добросовестный художник увеличивает свое старание, когда дописывает последние детали своей картины. С течением времени ее тиранические наклонности углублялись, и чем труднее оказывались научные предметы, которыми занимался Марк, тем с большей страстностью и интересом она следила за его подготовкой.

Ее знания позволяли ей большей частью делать это без особого труда, а когда было надо, она усилием воли заставляла себя быть на надлежащей высоте.

Ничто, впрочем, не мешало этой властной молодой женщине в ее трудном предприятии. Три четверти года капитан находился в плавании и, честно соблюдая обе-

[illegible] которое он дал еще женихом, не вмешивался [illegible] дела, когда был в отпуску. Закаленный [illegible] жизнью моряка и не удивлялся строгой дис[illegible] которой подвергался Марк, он говорил мало [illegible] еще и потому, что с каждым возвращением на родину его любовь к жене делалась все более нежной и почтительной. Если иногда он решался на какое-нибудь замечание, то это бывало только в тех случаях, когда речь шла о религии, ибо его очень огорчало неверие жены. Впрочем, и в этом вопросе он скоро отступил в полном смятении перед смехом и репликами, которыми она ему отвечала.

Итак, Елена царствовала безраздельно.

К началу нашей повести Марку только что исполнилось семнадцать лет. Он уже два месяца был бакалавром. У него была привлекательная наружность — белокурые волосы, маленький рот, красивые карие глаза, большей частью опущенные, но от малейшего оживления делавшиеся выразительными и лучистыми. Он обладал, кроме того, той особой юношеской стройностью, при которой движения бывают гармоничными и гибкими, как у молодой кошки. В его плечах, однако, чувствовалась сила. Он был изящен, что особенно редко в наш век, когда мужчины не умеют прилично завязать галстука и по-женски холят свои руки.

Но у него не было воли. Он был сломлен воспитанием, утомлен работой и обезличен чрезмерным надзором. Он остался тем же робким и полным невинности мальчиком, которого три года тому назад Елена ставила в угол или держала под страхом розги, но в то же время страстно оберегала, ежеминутно дрожа за его здоровье. Привыкнув смотреть на жизнь ее глазами и спрашивать ее разрешения по всяким мелочам, он утратил свою живость и всякую склонность к смелым предприятиям. Рисование, чтение и безделье занимали часы его досуга. Его мысли не отличались оригинальностью и никогда не выходили за дозволенные границы. Вследствие природной апатии Марк не без некоторого удовольствия подчинился чужой воле и в общем был вполне доволен своей судьбой.

К отцу он относился хорошо, но с оттенком безразличия. Капитан оставался для него по-прежнему малозаметным посетителем, который время от времени после долгого плавания по далеким морям приезжал к ним в дом и пользовался здесь заботливым гостеприимством

старых Кортамберов. Его уважали, к нему обращались на ты; его присутствие мало удивляло, а отсутствие не вызывало пустоты. Маленькая сестра Мария-Тереза раздражала Марка; хотя он и любил ее, но не мог ей простить, что с тех пор, как он стал взрослым, она заняла в жизни Елены слишком большое место. В самом деле молодая женщина отдавала теперь всю свою нежность подраставшей девочке. Ни суровая, подчас даже жестокая дисциплина, ни неумолимая строгость не разрушили в его душе тех могучих чар, которые его привязывали к Елене еще в те далекие времена, когда веселой девушкой она олицетворяла в его детских глазах все земное блаженство. Иногда, особенно в обществе, когда ее резкость делалась слишком заметной, ему хотелось видеть ее более снисходительной, но, несмотря на это, он оставался по-прежнему послушным.

Весьма любопытно было наблюдать поведение этого взрослого юноши, безропотно подчинявшегося самым капризным приказаниям своей прелестной молоденькой мачехи, которую принимали обычно за его старшую сестру.

Глава III

Пробыв лето на берегу моря и проведя затем сентябрь в «Адмиралтействе», где хозяйничал в это время граф Кербрат, Елена вернулась с детьми в тихую квартиру на улице Вано. Ее муж уже месяц находился в плавании и направлялся в Мельбурн. На его последнем письме был штемпель какого-то африканского порта.

Когда в конце августа они уехали из Бреста и приближались уже к Кемперу, их взволновало небольшое происшествие. Марк, которого, видимо, уже несколько дней мучила какая-то таинственная тревога, вдруг в вагоне начал громко плакать и долго не мог успокоиться.

— Но что с тобой, мой родной?— спросила Елена, прижимая его к своей груди, чтобы утешить.

— Ничего, мамочка!— ответил он, но признался затем, что ему было тяжело расставаться с маленькой бретонской бухтой.

— Но почему?

Он этого не знал.

Елена ободрила его и нежными словами сумела осушить его слезы.

В деревне несколько раз она снова заставала его погруженным в мрачное настроение, казавшееся ей беспричинным. «Это нервы, он растет!» — думала она, стараясь урезонить Марка. Затем периоды грусти стали появляться у юноши все реже, и Елена перестала обращать на них внимание. Ее начинал беспокоить более серьезный вопрос. Что ей надо было делать с этим вступавшим в жизнь мальчиком? Какими еще знаниями пополнить его образование и какую профессию ему выбрать? Она горела когда-то честолюбивой, прекрасной мечтой сделать из Марка выдающегося человека, но с годами должна была признаться в том, что он был человеком заурядным. Он обладал тонким, но не широким и не блестящим умом. Усидчивости от него можно было добиться только принуждением.

Со временем он должен был сделаться довольно состоятельным человеком. Наследство, доставшееся ему от матери и дедушки, давало приличный доход. Но если бы даже Марк имел возможность жить не нуждаясь, Елена никогда не допустила бы, чтобы он не работал. Вследствие какого-то инстинктивного влечения она любила труд, как иная женщина — наряды. Она никогда не могла бы проявить ни интереса, ни нежности к лентяю.

Марк тем временем не проявлял ни к чему особой склонности. После войны молодые люди заразились упадочным настроением своих отцов. Как будто заранее готовясь быть сраженными пулей на поле брани, они не считают нужным что-либо предпринимать. Благодаря безразличию, овладевшему Марком, его не влекло к исследованию проблем, которые страстно обсуждались его более взрослыми товарищами. К тому же он не интересовался широкими вопросами и предпочитал тесно очерченные темы, доступные его пониманию.

Перед отъездом мужа в плавание Елена несколько раз спрашивала о карьере, которой, по его мнению, следовало бы посвятить себя Марку. Ее попытки, однако, оказались напрасными.

— Ну, в таком случае,— заявила она Марку,— ты поступишь на юридический факультет.

Ее красивые зеленоватые глаза приняли снова власт ное выражение, и их взгляд, казалось, проникал в с мую душу Марка.

— А вы думаете, что это мне подойдет?

Она с трудом сдержала улыбку:

— Это, прежде всего, самый легкий факультет, мой родной. Не помню, кто-то определял диплом юридического факультета такими словами: «Удобная одежда, приспособляющаяся к любой фигуре». Однако этот диплом имеет свои преимущества. Если он и не дает очень многого, то, по крайней мере, открывает тысячи дверей. Ты это увидишь, когда тебе придется устраиваться самостоятельно,— сказала молодая женщина, отвечая Марку, лицо которого в это время отражало некоторое сомнение.— Предметы на юридическом довольно разнообразны. Затем ты будешь располагать свободным временем и сможешь посвятить его рисованию.

Она встала.

— Мы пришли к соглашению? Ты не жалеешь ни о чем?

Марк покачал головой:

— Нет, мамочка.

Вопрос был исчерпан. Они перестали об этом говорить. Марк испытывал облегчение и был даже доволен тем, что его ближайшее будущее стало, наконец, более или менее ясным. Елена же, зная хорошо своего пасынка, была уверена в том, что избрала для него благую участь.

Когда молодой человек не без некоторой робости впервые переступил порог университета, он был близок к тому, чтобы возыметь насчет своей собственной персоны самое лестное мнение и смотреть с безграничным восторгом на свои будущие занятия. Он гордился своими новыми перчатками, красивым пиджаком, туго зашнурованными желтыми туфлями, над которыми виднелись яркие носки. Галстук же повергал его в дикий восторг, когда он становился перед зеркалом. Свобода, которой он располагал, его опьяняла. Он чувствовал себя так, как если бы он всю жизнь дышал чистым, но слишком теплым воздухом и вдруг, попав случайно на горные вершины, наполнил грудь крепкой свежестью снежных просторов. Вокруг него толкались студенты старших курсов, носившие уже короткие бородки и длинные усы, а некоторые — ловко вставленный в глаз монокль. «Я чувствую себя равным среди них!»— думал он. По правде сказать, это его немного ошеломляло. Профессора в развевающихся тогах с мрачным видом проходили мимо. Марк находил восхитительным, что никто не обращал на них внимания, но, несмотря

на это, по внушенной воспитанием привычке он машинально при виде их делал легкий поклон.

Он вернулся на улицу Вано, насвистывая марш. В его взоре и манерах, в осанке и голосе чувствовалась необычная самоуверенность.

Хотя занятия Марка было труднее теперь контролировать, тем не менее Елена не намерена была терпеть его лень или своеволие. Направляя нерешительного юношу на юридический факультет, она вовсе не предполагала освободить его от необходимости серьезно заниматься. Ей казалось, что всякое человеческое знание заслуживает того, чтобы потрудиться над его усвоением не только в самых общих чертах, но также и в подробностях.

Не прошло и недели после первых лекций, прослушанных Марком, как однажды вечером Елена ему сказала:

— Покажи мне твои записи лекций.

Он положил перед ней четыре или пять тетрадей. В каждой из них несколько страниц было исписано его еще немного детским почерком; всю эту беспорядочную запись украшали многочисленные чернильные пятна и рисунки, сделанные на полях.

— Не особенно опрятно!— сердито заметила молодая женщина.

Она устроила ему экзамен, но осталась недовольна его ответами. Он заставлял ее неоднократно повторять самые простые вопросы, принимая задумчивый вид, и после небольшого раздумья вместо ответа поднимал брови.

— Я понимаю, в чем дело!— сказала она наконец недовольным голосом.— Когда ты предоставлен самому себе, ты распускаешься. Я хотела бы видеть в тебе больше воли, больше усердия, чтобы иметь возможность тебе доверять. Ты этого не заслуживаешь. Не будем больше об этом говорить! Отныне я требую, чтобы сейчас же после возвращения домой ты просматривал свои лекционные записи и каждый вечер, в виде урока, рассказывал мне их содержание. Я хочу проверять твои знания.

— Уроки?— проворчал Марк.— Но, мамочка, профессора не требуют так много. Это годилось для гимназии, уроки!

— Это будет годиться, пока это мне будет нравиться!— отрезала Елена.— К тому же избавь меня, ради Бога, от твоих комментариев!

— Однако...— начал он, как бы теряя терпение.

Она взглянула на него.

— Ты упорствуешь?

Он хотел ответить утвердительно и несколько мгновений колебался, затем, низко опустив голову, ушел в свою комнату.

Молодая женщина легко вернулась к своим старым привычкам. В течение десяти лет она почти каждый час наблюдала за работой Марка и тщательно следила за его поведением. Она его переломила, переделала его. Ей казалось вполне естественным, раз так было нужно, проявить свою прежнюю бдительность, на время ею оставленную. Так как он молча все терпел, она не заметила, как в нем появились и постепенно развились признаки возмужания, как мало-помалу стала вырастать между ними какая-то, пока еще непрочная преграда. Прежде чем решиться предоставить Марку некоторую свободу, она долго обсуждала про себя этот вопрос и, приняв во внимание его возраст, не без колебаний убедилась в необходимости известных послаблений. Теперь она видела на опыте, что заблуждалась. Разочарования у нее не было никакого, наоборот, она была в восторге. Она разграничила время Марка довольно стеснительным расписанием.

Вновь испеченный студент на первых порах проявлял покорность. Будучи слишком вялым, чтобы вступать в бой, казавшийся ему неравным, он снова впал в обычное состояние апатии после пережитого приступа своеволия. Тысячи мелочей доставляли ему удовольствие. Он получал каждый месяц сто франков на карманные расходы и мог их тратить по своему усмотрению; ему было разрешено курить, читать книги, которые раньше считалось неудобным ему давать. Лекции в университете ничем не напоминали тоскливых уроков в холодных стенах класса, а скорее походили на перемены в гимназии. Наконец, несмотря на дисциплину и неусыпный надзор, которому его подвергала мачеха, он пользовался весьма частыми досугами. Хотя надежды не сбылись и свобода была ограничена, его существование казалось ему очаровательным по сравнению с жизнью, которую он вел до сих пор. Человек, выпущенный из неволи, но еще лишенный возможности бродить по лесам, легко утешается в глубине какого-нибудь сада.

Елена поняла, что цепи, надетые на Марка, не отличаясь особой крепостью, были ему в тягость и что

[illegible] не позволить сделать незаметными и [illegible] держать пасынка в повиновении. «Иначе [illegible] думала она,— он потеряет терпение; если он это [illegible] поймет, я окажусь обезоруженной, и он выскользнет [illegible] моей власти!» Вскоре ее стала занимать [illegible] работа. Подчиняя Марка правилам суровой гигиены, она всегда стремилась к тому, чтобы он был загорелым, цветущим и розовым, как английский мальчуган. Она строго следила за его едой, за тем, чтобы он ложился и вставал вовремя, каждое утро обтиралась прохладной мокрой губкой. Все свое свободное время, за исключением дождливых или туманных дней, он посвящал ходьбе. Елена особенно дорожила этой полезной привычкой и хотела, чтобы юноша ее сохранил. «Но Марку,— думала она,— скоро надоест бродить со мной в назначенные часы по окрестностям Парижа, чтобы дышать свежим воздухом и встряхнуться. Приближалась зима, прогулки при пасмурной погоде ему окончательно прискучат. Он будет делать все, чтобы от них избавиться, и добьется этого». Душа Елены наполнялась отвращением при мысли о том, что Марк, бросив разумные привычки, будет по целым дням торчать в своей комнате и волочить свое большое ленивое тело с кресла на какую-нибудь кушетку.

Она записала его в теннисный кружок, заставила заниматься фехтованием; тем самым не без ловкости сумела его принудить к тому, чтобы после лекций заполнить досуг здоровым спортом. Но она интересовалась его умственным развитием, духовным усовершенствованием не менее, чем укреплением его мускулов. Марк по всем вопросам обладал лишь поверхностными знаниями. Елена, считая, что можно строить здание только на крепком фундаменте, в течение долгого ряда лет пичкала своего пасынка элементарными сведениями по всем предметам. Поэтому ему не хватило времени на то, чтобы воспитать свой вкус. Марк стал развиваться сравнительно поздно. Чтобы хорошо понять этого человека, надо помнить, что в семье всячески старались сохранить в нем как можно дольше наивность и внешность ребенка. Приведем один пример: в пятнадцать лет Марк, несмотря на свой рост и моду, носил еще, вне стен гимназии, детский костюм — коротенькую курточку, еле доходящую до талии. «Пусть он заработает сам на пашивки. Торопиться нечего. Не хватало еще, чтобы он разыгрывал взрослого,— говорила Елена своему мужу,

чтобы оправдать это странное одеяние.— Пока он олет мальчиком, он будет больше слушаться. Посмотрите на его товарищей: в своих обтянутых пиджачках они похожи на обезьян!»

Правда заключалась в том, что, несмотря на почти полное отсутствие кокетства, ей было бы неловко разгуливать с пасынком, одетым как взрослый мужчина. Она хотела поэтому, чтобы он наряжался в детский костюм и казался более юным.

Загоревшись тщеславным желанием отшлифовать его вкус, она сперва дала ему несколько книг, которые этой созревшей, пикантной женщине казались ослепительно прекрасными. Он стал жадно их читать. Его мачеха была особенно поражена тем, что природное критическое чутье позволяло ему отличить среди них самые замечательные и что больше всего он упивался стихами. В этой рассудительной и столь положительной женщине поэзия, в особенности лирическая, вызывала восторженное настроение. Когда она заметила, что Марк трепетал при чтении некоторых строф романтиков, которые она знала наизусть, что Верлен возбуждал его меланхолию, но что он отрывался от «Цветов зла» (Бодлера.— *Прим. сост.*) со странным, болезненным чувством, она чувствовала себя вознагражденной за казавшиеся ей до сих пор бесполезными усилия. Этот мальчик начинал ее интересовать. Она стала верить в успех; присмотрелась к нему и поняла внезапно, что не из чувства долга, как ей до сих пор казалось, а по собственному влечению она окружала его заботами. По всякому поводу между ними завязывались теперь беседы, которые месяц или даже неделю тому назад показались бы ей невозможными.

Марк обыкновенно только слушал, в то время как Елена ораторствовала с той характерной для нее страстью поучать, которая, наверное, сделала бы из нее педагога, будь она беднее или менее знатного происхождения. Ввиду склонности Марка к живописи она стала водить его по музеям, находя это занятие полезным для него и приятным для себя. До сих пор она была все время занята своими обязанностями воспитательницы и за долгие годы жизни в Париже смогла доставить себе это удовольствие не больше десятка раз, с большими перерывами. Правда, она жадно доставала отовсюду разные каталоги и книги по искусству, альбомы, гравюры, фотографии, поддерживавшие в ней восхищение

прекрасными образцами, которых в подлиннике она, однако, еще не видела. Подобно тем провинциалам, которые, начитавшись всяких путеводителей, показывают Париж самим парижанам, она знала музеи Карнавале, Люксембургский, Гимэ и Лувр достаточно хорошо, чтобы умело водить по залам скучающих и фланирующих любителей искусства, воображающих себя великими знатоками этих сокровищниц. Ее тонкий вкус позволял ей скрывать пробелы своего образования. Она была одной из тех редких женщин, которые без педантизма умеют сказать много интересных вещей по поводу любой картины.

Пасынок слушал ее с сосредоточенным вниманием. Ничто так не льстило этому робкому, послушному юноше, как сознание того, что женщина, которая его воспитала, возвышает его до себя в дружеских беседах. Его нежность к ней становилась еще горячее оттого, что, ощущая на себе неустанную заботу, он ее больше не боялся. Когда она показывала пальцем на полотно, он смотрел на ее тонкую руку в вышитой перчатке и, вспоминая невольно звучные пощечины, которыми эта самая рука его так часто награждала за пустячную провинность, ощущал тем сильнее изящную мягкость сделанного ею теперь жеста. Они вместе слушали курсы по философии в Коллеж де Франс, ходили на лекции, которые их сближали и хотя бы на час делали их совершенно равными. Она пожелала, чтобы он познакомился с драматическим искусством, и повела его во Французский театр; затем была с ним несколько раз в опере, к которой сама относилась довольно равнодушно. Он трепетал от восторга на драмах, но музыка наполняла его той глубокой скукой, которую испытываешь в деревне в дождливый день, когда смотришь вопросительно каждые пять минут на небо, покрытое сплошными серыми тучами. Не будь с ним его мачехи, он удрал бы из театра. Ее присутствия было достаточно, чтобы успокоить его нетерпение, а слушая ее остроумные, верные замечания, он проводил вечер, в общем, довольно приятно.

Елена кончила тем, что отказалась от всяких попыток приучить его к расслабляющим радостям зрелищ, так же, как двумя годами раньше, махнув рукой на музыку, избавила его от игры на рояле. Стремясь сохранить над ним свою власть, она тщательно избегала стеснять его без крайней необходимости и ставила свои

им требованиям известные пределы. В то же время она старалась занять его при помощи развлечений, довольно скучных по ее личному мнению, но которые были по душе современной молодежи и могли ему понравиться. Ко всему, что разум отвергал, она относилась равнодушно. На спорт, например, она смотрела как на пустую забаву и признавала только гигиену. Ей казалось смешным, чтобы из самолюбия люди старались перепрыгнуть через шест на один дюйм выше прославленного кроатского или норвежского чемпиона, бежать быстрее знаменитого грека, бросить чугунный шар или копье на такое расстояние, которого не достигал какой-нибудь непобедимый индус. Еще смешнее были в ее глазах газетные хроникеры, воспевающие подобные подвиги. Однако она справилась о том, в каких местах происходят публичные состязания атлетов, и, узнав, что зимой они не выступают, повела Марка на велодром, где ей пришлось созерцать неистовые восторги толпы, сидевшей на дешевых местах. Эту убежденную республиканку, которой не хватало лишь способности переносить без отвращения вульгарность, мутило от окружающих ее лиц, от их говора, от их грубого обжорства. Время от времени она гадливо ежилась и поворачивалась к Марку:

— Тебе весело, милый?

— Да,— отвечал он.

— Что за феномены эти люди!— шептала Елена.— Чем дольше длятся гонки, тем быстрее они едут. Я думаю, что синий перегонит оранжевого,— и, вынимая из футляра маленький лорнет, смотрела на окружавшие ее искаженные волнением лица.

Однажды вечером, когда после бокса они вышли из цирка и пошли по улице, оглушенные воем автомобилей и пронзительными выкриками разносчиков, Марк сказал Елене с тем несвойственным его голосу оттенком, который появлялся у него каждый раз, когда он пытался ей противоречить:

— Одна вещь меня поражает, мамочка! Как вы, с вашим характером, вашей чуткостью, можете любить такие противные зрелища?

— Любить!— воскликнула Елена, остановившись на месте.

Она уходила из цирка, переполненная отвращением. Бокс не только ее не привлекал, но, больше того, от животной грубости этого зрелища и вида крови ей стало стыдно самой себя.

— Да, это странно!— продолжал Марк, взвешивая слова, как будто он боялся сказать какую-нибудь резкость или употребить слишком смелое выражение.— Чем больше я обдумываю этот вопрос, тем меньше его понимаю. Вы цените на свете только красивые вещи; сотни раз вы громко заявляли, что считаете нелепым всякое развлечение, неспособное волновать ваш ум, а теперь вы находите удовольствие в том, чтобы смотреть, как на эстраде какие-то скоты сворачивают друг другу скулы.

— Что ты! Да ты с ума сошел!— вскрикнула Елена, изменившись в лице с видом оскорбленного человека.— Я нахожу удовольствие в боксе! Откуда у тебя взялась такая мысль? Мой бедный мальчик, бокс мне противен, и я его ненавижу!

— В таком случае,— спросил он,— зачем вы меня водите на такие зрелища?

— Но для разнообразия... чтобы доставить тебе удовольствие!

Тут пришел его черед возмущаться. Он, как школьник, прыснул со смеху, стуча каблуками, хлопая в ладоши и тряся неистово головой. Он часто так внезапно переходил от печальных, серьезных размышлений к бурному веселью.

— Вот так развлечение!— проговорил он наконец, успокоившись и приняв самоуверенный вид, который делал его таким же комичным, каким он был за минуту до этого, когда шумливо проявлял свою наивную радость.— Разве я похож на дикаря из Балтиморы? Или на английскую скотину? Однако хорошего же вы обо мне мнения! Вот так развлечение смотреть на побоища этих хулиганов! Скажите-ка, может быть, в таком случае, велодром тоже... Ох, ох, ох!— взвизгнул он пронзительным голосом.— Неужели и туда вы меня водили для моего развлечения? Это превосходно! Если бы я предвидел такой ответ...

Охваченный снова весельем, он отступил на шаг и, разводя руками, покатился со смеху.

— Марк,— сказала Елена,— успокойся, ты мне надоел!

Он опять расхохотался.

— Что делать! Я нахожу, что это очень смешно!

— Хорошо,— заметила она сухо, слегка раздосадованная тем, что попала впросак.— Но это не значит, что

ты можешь потешаться надо мной! Раз эти зрелища тебя не интересуют, мы будем отныне ходить в другие места... Впрочем,— проговорила она в заключение,— не будем больше говорить об этом... Поправь свою шляпу.

Глава IV

...Когда в марте Мишель уехал на новом корабле в четырехмесячное плавание, Елена, начавшая снова внимательно присматриваться к жизни молодого студента, стала замечать в его поведении кое-какие вольности. Как в прошлом году, в начале учебных занятий он стал громко разговаривать, смеялся более развязно, свистел и пел, напускал на себя важный вид, проявлял во всех своих манерах мешковатую бойкость, которая так же мало походила на изящную непринужденность, как набросок школьника на рисунок мастера. Марк стал к тому же менее аккуратным. Каждый день, возвращаясь из университета, он значительно опаздывал, что раздражало его мачеху.

Она делала ему замечания; он ссылался в свое оправдание то на встречу, но на дополнительную лекцию, которая его задержала.

Через месяц Елена пришла к выводу, что, за редкими исключениями, он бывал особенно неаккуратным по средам и пятницам. Это обстоятельство вызвало ее тревогу. Не было ли это систематическое опаздывание следствием какого-то уговора? Если он просто гулял, то почему же по определенным дням возвращался так поздно, к шести-семи часам? Однажды в среду, когда уже стемнело, она увидела в окно, как он вышел из соседней улицы, почти бегом направился к дому и, не дойдя каких-нибудь двадцати метров, умерил быстрый шаг, чтобы отдышаться. В то же время он вынул платок из кармана и тщательно вытер себе затылок и виски.

Елена задала себе вопрос: «Что же он от меня скрывает?»

В следующую пятницу она наняла такси и поехала на улицу Сэн-Жак.

Подобный поступок ее не возмущал. Он не отличался благородством, был даже некрасивым, но она считала своим долгом наблюдать за пасынком. Стеснялась

[illegible] ранее обследовать его карманы, когда подо[illegible] что среди того множества предметов, которыми [illegible] были полны, находились и запрещенные? Сидя в такси, которое остановилось у тротуара перед главным входом в университет, она спокойно следила за дверью, опасаясь лишь того, как бы не пропустить Марка, когда он выйдет из здания в толпе своих товарищей.

В начале пятого он наконец показался. Елена видела, как он простился с двумя студентами и направился один к улице Суфло. Она опустила стекло такси и сказала шоферу:

— Видите этого молодого человека в сером пальто? Я хочу знать, куда он идет! Надо ехать за ним следом, чтобы он не заметил...

Она быстро прибавила:

— Это мой сын!

Шофер усмехнулся под своими усами. Елена покраснела и, раздосадованная, села в угол.

«Я могла бы воздержаться от этой фразы!» — подумала она.

Автомобиль взобрался на крутую улицу Сэн-Жак и, повернув, пошел тихим ходом. Елена видела Марка перед собой. Он шел довольно быстро вдоль магазинов. Она попробовала угадать цель его прогулки, но ни одна гипотеза ее не удовлетворила. По правде сказать, тревога впилась в ее сердце. До сих пор она и вообразить себе не могла, как этот стройный, элегантный юноша мог без нее так смело шагать по улицам Парижа. Только бы шофер не потерял его из виду! «Не выйти ли мне?— подумала она.— На тротуаре мне нечего бояться задержки. Да, но он идет быстрее меня, и я его упущу». Вдруг машина остановилась. Марк стоял в нескольких метрах, на углу бульвара. Опасаясь быть открытой, Елена спряталась и заметила, как с левой стороны длинного проспекта появилась молодень[illegible]кая девушка. Марк с непринужденным изяществом поцеловал ее руку, затем, бок о бок и немного ускоряя шаг, они перешли через улицу, гудевшую от автомобилей.

Выскочить на тротуар, заплатить шоферу, перейти на другую сторону бульвара, презирая опасность и не теряя из виду юную парочку, было делом одной минуты. Она вслед за ними вошла в Люксембургский сад.

Ни возмущения, ни огорчения! Ни одного из тех признаков недовольства, которых следовало бы ожидать

от столь решительной натуры! Изумление подавило все другие чувства. Она еле сознавала, что шла. «Марк с женщиной... Он встречается с женщиной». Эти слова сверкали в ее голове, как в темноте ослепительная надпись на крыше. Молодые люди добрались среди гуляющих до почти пустынной части сада и нежно шли рядом, слишком занятые друг другом, чтобы оглядываться. Елена следила за ними на расстоянии двадцати шагов. Она машинально изучала покрой и фасон платья спутницы Марка. «Это девушка,— подумала она,— и даже очень молоденькая!» Вдруг она вздрогнула. «Но ведь я видела эту особу!» Небольшого напряжения памяти было достаточно, чтобы имя, которое она искала, вырвалось из ее уст: «Дочь Вюльмонов! Да, это она! Все такая же худая и желтая; она ничуть не изменилась с тех пор, как летом они играли вместе в теннис».

Влюбленные, робко прижавшись друг к другу, видимо, разнежились. Тогда она быстро зашагала вперед и, догнав их, положила руку на плечо Марка.

— Что ты здесь делаешь?— спросила она сдавленным голосом.

Он вздрогнул, остался на месте с открытым ртом и не нашелся, что ответить.

— Что ты здесь делаешь?— повторила Елена, тряся его за плечо, так же мало смущаясь этой сцены в публичном месте, как если бы она ему делала выговор в домашней обстановке.— С каких это пор я тебе позволяла шляться по улицам? В конце концов я мать тебе или горничная? Ты думаешь, я долго буду тебя ждать? Где ты подцепил эту девчонку, которая ходит за тобой, как влюбленная сука?

Дрожащий голосок зазвучал:

— Но, сударыня...

Этого было достаточно, чтобы придать гневу Елены другое направление. Она как будто только и ждала этого случая. Сделав шаг в сторону девушки и вытянув руку, она вскрикнула:

— Вы, моя милая, вы мерзавка! Начинать в вашем возрасте бегать за мужчинами это значит проявлять довольно-таки грязненькую натуру. И многообещающую, верьте мне! Я жалела бы ваших родителей, если бы они этого заслуживали! Раз они позволяют вам целыми днями шляться по улицам, они заслуживают того, что с ними случилось; я была бы последняя

[illegible] себя бы чувствовала к ним сожаление. Однако [illegible] одно я вам предлагаю раз навсегда, раз навсегда,— повторила она, отчеканивая каждое слово,— прекратить всякие отношения с моим пасынком. Марк не пара испорченной девчонке. Попробуйте только с помощью ваших увертюр снова его поймать против моей воли! Вы увидите тогда, как я этому положу конец!

Она оборвала свою отповедь. Девушка плакала. Елена заскрежетала зубами, пожала плечами, выпрямилась, чтобы бросить последнее оскорбление в искаженное, робкое личико девушки. Затем, удаляясь быстрым шагом и не поворачивая головы, крикнула Марку:

— Идем!

Перед решеткой она удостоверилась в том, что он следовал за ней, и, сделав знак шоферу, втолкнула юношу в такси. По дороге от Люксембургского сада до улицы Вано они не обменялись ни единым словом.

Тотчас же по возвращении домой Марк прошмыгнул в свою комнату. От смущения и досады его щеки горели. Елена захватила его врасплох на месте преступления, и он даже не подумал об отпоре, не содрогнулся от тяжкого оскорбления, нанесенного с безумной яростью его подруге.

Оскорблять было, по-видимому, правом его мачехи. Лишь в такси он немного пришел в себя. Тогда, машинально глядя сквозь узкую рамку окна на двигавшуюся по тротуару толпу и ощущая, как около него зловеще сгущалось молчание мачехи, он вспомнил с отчаянием покрытое слезами личико Алисы и свое унизительное поведение. Какими словами, какими эпитетами заклеймить его! Как его поведение отличалось от благородных поступков тех великих людей, о которых ему говорили книги! Все их деяния были проникнуты великодушием, горячей убежденностью и смелостью, а он терпел, чтобы публично оскорбляли девушку, доверившую себя его охране. Преследовался случай говорить языком мужчины, а он испугался, как мальчишка! Как он был труслив, и как слабо умел он любить!

Эти размышления приобрели в одиночестве еще больший размах и все сильнее терзали его. Ему представлялась Алиса, падающая без чувств на землю с жестом отчаяния, которого он мог и не заметить, так как при первом же окрике мачехи опрометью бросился

без оглядки бежать. А кто знает, не приведет ли это столкновение к еще более печальным последствиям? Ведь объявляли же каждое утро газеты о каком-нибудь самоубийстве, вызванном подобными причинами. Внезапно перейдя от самой драмы к ее автору и остановившись впервые на оценке своей мачехи, он возненавидел не только роль, какую она сыграла по отношению к оробевшей Алисе, но и все ее принципы, претензии, нетерпимость, вообще весь ее характер. Что означала эта слежка, которой она его опутала? С каких это пор молодого человека, окончившего гимназию, водили на помочах? Он начал припоминать, не встречал ли он среди своих товарищей хотя бы одного, которого давил бы подобный гнет.

Но он вспоминал лишь гордых юношей, дышавших здоровьем и полных независимости. Большинство, если не все, имели любовниц. Они хвастали этим, умели пить, рассказывали друг другу свои проказы и без стеснения провожали своих подруг. Не было ли это более предосудительным, чем гулять два раза в неделю в Люксембургском саду с девушкой его круга? «Этому надо положить конец!» — подумал он, но это решение носило скорее характер резкого протеста, нежели убеждения. Он тут же поправился: «Будем надеяться, что она сама предоставит мне бо́льшую свободу».

Марк бросился на кровать. Одного этого движения было достаточно, чтобы выдать его волнение, ибо юноша знал, что ему строго запрещалось валяться днем на кровати. Уставившись глазами на карниз, он машинально стал наблюдать за тем, как вечерние тени постепенно наполняли его комнату.

Красивая и хорошо обставленная комната казалась ему неприветливой и производила на него впечатление тюрьмы. Его преследовало лицо Алисы, и горячие слезы наполняли глаза.

К шести часам вошла мачеха. У нее был более спокойный вид и менее суровое лицо. Марк, увидев ее, вскочил на ноги. Она не проявила никакого злорадства, захватив его врасплох на кровати, и, видимо, не сочла нужным обратить внимание на смущение. Взяв стул, она спокойно сказала.

— Теперь, мой дорогой, поговорим. Твой поступок очень серьезен. Если ты хочешь, чтобы между нами восстановилось прежнее доверие, ты будешь точно отве-

[illegible] мои вопросы. Где ты встретил эту безмозглую [illegible]?

— В Латинском квартале, — прошептал он.

Когда и что она там делала?

Предчувствуя с раздражением основательный допрос, он опустил глаза и сохранил молчание.

— Послушай, — вновь начала Елена,— будь разумным! Я тебя спрашиваю не зря. Ты прекрасно знаешь, что в этом вопросе, как и в других, мною руководит только забота о твоей пользе; я бы не так беспокоилась, если бы меньше тебя любила. Ведь для того и существуют матери, чтобы давать вам возможность пользоваться их жизненным опытом. А он может избавить вас от многих разочарований. Подумай, будь искренним, и я все забуду. С каких пор ты снова встречаешься с мадемуазель Вюльмон?

Эта мягкость речи произвела на Марка сильное впечатление. Он готовился дать отпор своей мачехе, если бы она вынудила его к этому своей резкостью, и оказался безоружным перед ее сдержанностью.

— Около двух месяцев,— прошептал он.— Это было до марта...

— До марта?— заметила Елена, перебивая его.— Я думала, позднее. Но пойдем дальше. Вы расстались после каникул и, само собой разумеется, не сохранили никакой связи, ибо все же я отказываюсь верить, что вы могли быть настолько безумными, чтобы тайком переписываться. Каким образом вы встретились?

Он ответил:

— Я вам уже сказал: в Латинском квартале.

— Но это не объясняет мне, при каких обстоятельствах это произошло. Я тебя спрашиваю об обстоятельствах, а ты называешь мне место.

— Она берет там уроки музыки,— ответил Марк.

— Уроки музыки? И она приходит одна?

Кивком головы он показал, что это было действительно так.

— Хорошо!— сказала Елена.— Не будем настаивать. От квартала Монсо она приходит одна! Есть родители, которых мало биты! Позволять молоденькой дочке бегать по городу, прославившемуся своими испорченными нравами! Итак, в один прекрасный день вы встретились, разговорились, прошли вместе несколько шагов по тротуару... и с тех пор регулярно, два раза в неделю...

Марк наклонил голову.

— Да, это так!

— Что так?— бросила она нетерпеливо.— Я хочу все знать! Я обещала не наказывать тебя, если ты будешь откровенным, и обратно своего слова никогда не беру. Ты можешь поэтому объясниться без боязни и довериться мне. Чем вы занимались во время ваших встреч?

Он ответил:

— Вы видели, чем! Мы гуляли.

— Всегда в Люксембургском саду?

— Ну да, всегда.

— И никогда в другом месте?

— Нет, никогда.

Она засмеялась легким, раздраженным смехом.

— Какая примерная верность! Это умилительно! Что же, эти благоглупости тебя занимали? Ты с трепетом ждал свиданий? Неужели вправду ты находил удовольствие в том, чтобы три четверти часа подряд отпускать комплименты этой беспутной болтунье?

— Она не беспутная,— осмелился он ответить,— и не болтунья. Вы несправедливы к ней!

Молодая женщина призадумалась.

— Допустим!— сказала она наконец с презрительным видом.

И спокойно прибавила:

— Я знаю ее мать... Так как я нахожу твою Алису скорее глупой, нежели испорченной, я считаю долгом совести предупредить ее мать!

— Что вы хотите сказать?— сердито промолвил Марк.

От этой угрозы он вскочил как ужаленный. Его щеки сделались багровыми, брови сдвинулись, придавая его лицу выражение, которое в равной мере казалось полным мужественной энергии и детской наивности.

Оно трогало и одновременно вызывало улыбку. Елена молча посмотрела на пасынка. Он два или три раза прошелся по комнате, злобно сжав губы, проявляя все признаки сильного раздражения, которое он старался подчеркнуть, когда она на него смотрела.

— Да, долг совести!— сказала она.— Матери не должны скрывать друг от друга проступков своих детей. У нас существуют взаимные обязанности, недоступные вашему разумению.

— Но какие? Что вы думаете?

[illegible] круга не должны [illegible] безрассудных детей, как [illegible] словно приказчик с [illegible]

[illegible]— сказал высокопарно [illegible] — Его [illegible] выбросить в окошко, что ли? [illegible] женихи и невеста!— воскликнул он вдруг.— [illegible] и невеста!— повторил он на более высокой ноте.

[illegible] открыла рот, заморгала, подняла руки с [illegible] сожаления и опрокинулась назад, чтобы вволю посмеяться.

— [illegible], как это восхитительно! Ах, какой радостный [illegible]! Я многого ожидала, но не этого! Вся [illegible] в этих словах!— бросила она полусерьезно.— На губах молоко не обсохло, а они спокойно заявляют, что хотят жениться.

Она снова засмеялась. Вдруг, повернувшись к Марку и глядя ему прямо в глаза, она зло проговорила:

— Увы! Ты ошибся адресом, прекрасный воздыхатель! Твое безумие заслуживало более горячего приема. Оно тронуло бы многих матерей. Что касается меня, видишь ли, вопреки нашему веку, вопреки моде, я сохранила некоторую долю здравого смысла. Впрочем, бросим этот разговор! С каких это пор я должна оправдываться? С твоего согласия или без него, нравится ли тебе это или нет, я сегодня же вечером напишу матери Алисы или схожу к ней на днях. Так или иначе, можешь быть уверен, что она узнает от меня, чем ее дочь заполняет свой досуг.

Марк переменил тактику и просительно сжал руки.

— А если я вам дам обещание порвать с ней?.. Клянусь вам: что бы она ни сделала, я найду в себе достаточно силы воли... Подумайте!— прошептал он умоляюще.

Она пожала плечами.

— Думать нечего!— сказала она.

— Однако, мамочка, вы можете поверить...

— Довольно,— оборвала Елена.— Ни слова!

Он минуту молча ходил взад и вперед. Два противоположных чувства боролись в его душе. Возмущение взяло верх. Он остановился вдруг перед своей мачехой.

— Но отдаете ли вы себе отчет в том, что это гадко?— промолвил он, напирая на последнем слове с гримасой отвращения.

Елена была потрясена. После того как в течение

слишком ее она была всем для Марка, он привык к примирился с подчиненной ролью и даже не помышлял о его пренебрежительном отношении! Она будет жить со то радостным, то печальным, не ныне, чем ожидание его настроения. Иногда вспыхивала и ней, когда она пыталась рассудительно обдумывать его печальные перспективы. При мысли о том, что ее пасынок, ее гордая такой чистый, будет возиться за посудинами тарелки и приносить домой запах их духов, она по-женски ощущала физическое недомогание и чувствовала, что ее мутит.

Единственный метод, который она применяла, сводился к насилию.

Она считала бы унизительным для своего самолюбия преодолевать упорство Марка снисходительностью обращения. Строптивость подчиненного должна быть сломлена, а его своеволие разгромлено. Рассуждать с ним значило бы оказать ему слишком много чести.

Желая, однако, сразить врага, она наносила ему всегда беспорядочные, лишенные меткости удары. Подобно фехтовальщику, растерявшемуся от неожиданной атаки своего противника, она во всей своей тактике проявляла большую неуверенность.

Молодую женщину утешало то, что она иногда попадала в цель. Несколько дней спустя после разыгравшейся в саду сцены Марк по выходе из школы случайно встретился на улице Суфло с Алисой Вольмон, которая в сопровождении пожилой прислуги ожидала на остановке автобус. Молодой человек был вынужден ей поклониться и в ответ получил злобный взгляд. Поведение девушки убедило его в том, что мачеха, вопреки своему человеческому достоинству, исполнила свое жестокое обещание. Мог ли он догадаться, что после некоторых размышлений Елена поняла низость того поступка, который хотела совершить, и ничего не написала? Это отступление было так мало похоже на нее! Оскорбленный в своем самолюбии, разбраженный произволом мачехи, юноша, не обладая достаточной смелостью, чтобы вступить в открытый бой, сжался под ударами. Его молчание скрывало глубокую неприязнь, которая проглядывала помимо его воли. Выпады мачехи не только не исправляли его, но, наоборот, усиливали молчаливое возмущение.

Несколько раз, когда ему делалось особенно тяжело, он подумывал о бегстве. Ему доставляло наслаждение

представлять себе, как его мачеха в безумной тревоге будет заявлять в комиссариат о его исчезновении и проклинать свою чрезмерную строгость, приведшую к столь печальному концу. Но прежде всего у него не хватало денег. Помимо того, стремясь к независимости, он в то же время, в силу своего характера, смутно опасался слишком большой свободы и боялся последствий своей проделки.

В конце концов, чем больше ему хотелось разбить свои цепи, тем менее тяжкими они ему казались. Подобно тому как закованный пленник облегчает свои страдания, разминая движениями онемевшие члены, Марк в своей неволе утешался тем, что в отместку мачехе позволял себе не лишенные смелости выходки.

Елена скоро убедилась в этом. Однажды вечером она долго и безуспешно искала книгу, которую незадолго перед этим видела у Марка. Спрошенный по этому поводу, Марк покраснел и после некоторого колебания заявил, что, насколько помнит, он положил ее на место. Елена, пораженная его поведением и желая получить более обстоятельный ответ, задала ему еще несколько вопросов. Речь шла о «Дон-Кихоте» с редкими гравюрами — книге, которой она особенно дорожила. Марк признался вдруг, что он ее продал.

— То есть как продал?— вскрикнула она с удивлением, как будто это слово казалось ей непонятным и могло иметь несколько значений.

— Ну да, мне нужны были деньги,— заметил Марк.— Я отнес книгу букинисту.

— И сколько ты получил?

— Шестьдесят пять франков.

Она молча посмотрела на него, медленно окинула его взглядом с головы до ног, как бы желая удостовериться в том, что это был в самом деле он, и, пожав плечами, вышла из комнаты.

Изумление ее было таково, что она и не подумала ему угрожать. В ее памяти вставали различные образы Марка, каким он был, когда она его ставила в угол или порола. Теперь впервые она понимала, что ее власти наступил позорный конец. Спрятавшись в своей комнате, она долго плакала.

Она страдала не только из-за оскорбленного самолюбия, но и от досады на свое собственное бессилие. Мысль о том, что Марк нуждается в деньгах настолько, чтобы совершить некрасивый поступок, тер-

зала ее так же, как если бы, отказав нищему в милостыне, она заставила его голодать. Никогда с тех пор, как воспитание подрастающего пасынка стало требовать применения более мягких методов, она не ощущала с такой остротой, насколько было трудно найти верную тактику. «Я желаю только счастья и добра этому дурачку»,— надрывно стонала она, рыдая и стараясь заглушить этими шумными заверениями свои внутренние сомнения. Ей удалось немного успокоиться, но аргументы, которые она приводила в свое оправдание, звучали фальшиво, совесть подсказывала ей, что она гораздо меньше руководствовалась интересами Марка, чем собственным произволом.

Без неприязни, без злобы, боясь натолкнуться на какой-нибудь его дурной поступок, она более внимательно, чем когда-либо, стала наблюдать за юношей. Его необычная смелость заставила ее призадуматься; она хотела уловить все оттенки его обращения с ней. То, что она обнаружила, удивило ее. Под внешней покорностью и вежливостью во всех движениях Марка чувствовалась недобрая настороженность и сдержанное недоверие. В его речах часто проглядывала угрюмость, в его взглядах не было прежней откровенности и игривости. Даже его осторожный шаг выдавал в нем человека, искавшего одиночества и желавшего быть незамеченным.

— Точь-в-точь как кулик!— говорила про себя Елена.

Воспоминание о старой, незначительной истории, рассказанной ей когда-то отцом, неотступно преследовало ее. Очень давно, когда граф Кербрат был молодым охотником, он подстрелил из-за куста на полном лету, в сумерках прекрасного вечера, серого кулика с длинными, тонкими лапками. Со всех сторон поднялся слабый писк вспугнутых птиц, искавших убежища. Вдруг охотник повернул голову. Позади него трава зашелестела, и он заметил, как худенькая птичка, которую он считал мертвой, поднявшись на своих длинных лапках, старалась скрыться. «В то же мгновение,— объяснял отец,— я впал в какое-то неистовство! Не преувеличиваю! Одним прыжком я подскочил к раненому кулику, нанес ему несколько ударов прикладом, стал его топтать каблуками и превратил в какую-то кровавую кашицу. В отчаянии трепетавшей птицы я почуял весь безумный ужас и отвращение, которые я ей внушал.

Мы [illegible], ты понимаешь. В тот день, дитя мое, я оставил охоту. И с тех пор за всю свою жизнь не [illegible] больше ни одного выстрела».

Сравнение, которое возникло в уме Елены между судьбой пасынка и содержанием этого рассказа, было противоестественным и наивным. Оно могло бы удивить всякого, знавшего эту рассудительную женщину. Однако это ей не мешало черпать из подобного сопоставления разные аргументы, которые усиливали ее сомнения. Не решаясь еще стать на путь снисходительности, она с боязнью думала о том, не играла ли она до сих пор роль мачехи в дурном смысле этого слова. Чем больше она старалась рассеять это опасение, тем определеннее убеждалась в его обоснованности. Ласки, нежные слова, приветливые улыбки, к которым она прибегала в это время, чтобы возбудить в Марке прежнюю доверчивость, не только не имели хороших результатов, а, наоборот, привели к самому унизительному поражению. Однажды утром она подумала: «Но ведь он меня ненавидит!»

Так как Елена прежде всего желала, чтобы ее уважали, она пыталась убедить себя в том, что в ее отношениях с Марком следовало бы добиться известной обоюдной корректности, соблюдения определенных принципов, а вовсе не взаимной любви. «Ради него, а не ради себя,— повторяла она,— я взялась за его воспитание. Главное в том, чтобы сделать из него совершенного во всех отношениях человека. А на его неблагодарность мне плевать!» Однако, несмотря на эту проповедь равнодушия, с каждым днем все сильнее в ней росла острая тревога, которую она была не в силах преодолеть. Мысль о том, что Марк ее больше не любит, возмущала ее. Чаще же всего она наполняла ее душу горечью, отравлявшей все ее существование. Враждебность Марка приобретала в ее глазах значение настоящего несчастья.

Она стала по-прежнему снабжать Марка карманными деньгами, перестала его журить за опаздывания и вовсе прекратила оскорбительную слежку. Но уступки мало его трогали, он их принимал как должное.

Это отношение могло бы, казалось, оскорбить Елену; но оно, наоборот, возбудило в ней желание вернуть расположение Марка, в котором, наконец, она увидела мужчину. Если бы он проявил уступчивость и, как напроказивший ребенок, раскис от ее ласковых речей,

к ней скоро вернулась бы ее прежняя властность. Но он не обращал на нее внимания, и она поняла, что ее попытки к примирению были недостаточны. Она стала опасаться, как бы неприязнь Марка не зашла слишком глубоко, и после взрыва отчаяния, который продолжался несколько часов, решила, махнув рукой на самолюбие, примириться с пасынком.

Марк продолжал со страстью заниматься живописью. Она воспользовалась этим и сумела отыскать в глухом переулке старого, добросовестного, но бедного художника. Загоревшись радостью, он с благодарностью согласился учить молодого человека, и через день она повела своего пасынка к старику. Добрая улыбка, которой Марк отплатил Елене за внимание, вызвала в ее душе такое настроение, как будто после долгой, казавшейся окончательной разлуки она увидела близкого, дорогого человека. «Как я не догадалась раньше доставить ему это удовольствие?— упрекнула она себя.— Я жаловалась на его угрюмость, я боялась, что он уйдет от меня к каким-нибудь тварям, в то время как я имела под рукой верное средство! Как я была глупа и слепа!» С этого дня у нее не было большей радости, чем доставлять своему пасынку всякого рода развлечения, при помощи которых она хотела окончательно рассеять его плохое настроение.

Она искала для него таких забав, которые были бы ему по душе, и перестала считаться со своими личными вкусами.

Однажды утром она его спросила:

— Ты хотел бы учиться танцевать?

— Танцевать?— проговорил он смущенно.

Он знал уже давно о глубоком презрении, которое его мачеха питала к светскому обществу, и удивился ее вопросу не меньше, чем если бы она предложила ему постричься в монахи.

— Ну да, танцевать! Что тут удивительного? Ты стал молодым человеком. Надо тебе выезжать в свет; я не хочу, чтобы из моего сына вырос увалень, который не умеет держать себя в обществе!

— Прекрасно!— возразил Марк.— А если в обществе мне будет скучно?

— Ты сможешь судить об этом лишь после первого опыта. Без общества или не могут обойтись, или его ненавидят, и обе эти крайности легко объясняются, но опять-таки надо сперва его узнать. К тому же зачем

...ее там скучать? Какое нелепое предубеждение! Ты не глуп и не урод, и я знаю немало дураков...

Елена вздохнула.

— Послушай,— сказала она вдруг с неожиданной нежностью,— я уверена, что с твоим видом и этим лукавым выражением глаз ты понравишься всем барышням!

Польщенный, он ответил:

— Посмотрим!

Уроки танцев начались. Его преподавательницей была пятидесятилетняя дама, очень толстая, но со стройными и крепкими ногами, которые были открыты до колен, чтобы было удобнее показывать па. Несмотря на свою неимоверную тучность, она передвигалась с изумительной легкостью и была в своем роде не менее замечательна, чем тот сухопарый, неказистый парень, который на народных празднествах в каком-нибудь балагане уверенно бросает вызов профессиональным борцам. Марку она с первого же взгляда очень понравилась своим шумливым добродушием и манерой, с которой она, не стесняясь, бранила своих усатых учеников.

Он был способным, делал большие успехи, и учительница ставила его в пример другим.

Елена тем временем стала проявлять непривычную для нее активность. От скромного, серьезного образа жизни, своей регулярностью напоминавшего быт какой-нибудь провинциальной семьи, от книг и хозяйственных забот она легко, почти радостно, перешла к тем светским занятиям, которые так не любила с юных лет.

Речь шла о том, чтобы облегчить Марку доступ в светское общество. Эту задачу она начала выполнять, напомнив о своем существовании парижским родственницам и сделав им не один десяток визитов. Каждая из них, соблюдая семейные традиции, принимала по определенным дням и собирала вокруг своего кресла, за чашкой чая, пожилых людей, считавших долгом поскучать часок-другой и совершить таким образом доброе дело, которое им зачтется на том свете. Большинство этих почтенных женщин были уроженками Нижней Бретани или связаны с этой местностью каким-нибудь сложным родством. У них можно было найти рядом с номером парижского модного журнала какую-нибудь затхлую кемперскую газету. Пробравшись благодаря своему древнему имени в круг этих особ,

Елена стала умело
хозяйки встречали
ставили ей в вину
публиканские убеж
отказывают.

Первый выход М
сделала все, чтобы
галстука и кончая
тельно проверила ка
того она сделала
как себя держать,
кость, подвергала ег
по нескольку раз в
Когда, наконец, в д
Еленой вошел в гост
одобрения, который
молодой женщины,
залось, она сама не
со своей благород
грудью, изящной пр
Рояль заиграл фок
дам окружили Елену
Марк танцевал, она т
в его сторону быстр
стоящим мучением, к
же шагов немного зап
указанием. Когда по
минки у него все п
вздохнула. Мужчины
доставляло известное
До самого конца веч
за Марком, волнуясь
шаясь той грациозной
держаться.

Не успели они сест
его. Ее лицо выража
сияло материнским вос
... Мой дорогой!—
тобой! Для первого ра
сделал ни одной ошибк
малейшего движения! Ты
за тобой наблюдали? З
д'Ору языки заработал
тебе. Немало дураков
милый, ты так

Елена стала умело добиваться приглашений. Некоторые хозяйки встречали ее без особого восторга. Набожные ставили ей в вину ее безверие, а роялистки — ее республиканские убеждения. Но молодому кавалеру не отказывают.

Первый выход Марка был удачным. Елена, впрочем, сделала все, чтобы обеспечить успех. Начиная с черного галстука и кончая лакированными туфлями, она тщательно проверила каждую мелочь его костюма. Помимо того она сделала ему подробное наставление о том, как себя держать, и, чтобы проверить светскую ловкость, подвергала его повторным репетициям, заставляя по нескольку раз в день галантно целовать ее руку. Когда, наконец, в давно ожидаемый вечер он вместе с Еленой вошел в гостиную мадам д'Ону, поднялся ропот одобрения, который, однако, был вызван появлением молодой женщины, а не ее стройного спутника. Казалось, она сама не знала, что в своей белой тунике, со своей благородной осанкой, высокой красивой грудью, изящной прической, она была очаровательна. Рояль заиграл фокстрот. Несколько уже немолодых дам окружили Елену, у которой сердце сжалось. Пока Марк танцевал, она тихонько наблюдала за ним, бросая в его сторону быстрые взгляды. Для него было настоящим мучением, когда в начале танца он с первых же шагов немного запутался, а она не могла ему помочь указанием. Когда после этой непродолжительной заминки у него все пошло гладко, Елена облегченно вздохнула. Мужчины говорили ей комплименты. Это доставляло известное удовольствие, но затем надоело. До самого конца вечера она не переставала следить за Марком, волнуясь за него, но в то же время восхищаясь той грациозной уверенностью, с какой он умел держаться.

Не успели они сесть в автомобиль, как она обняла его. Ее лицо выражало глубокую нежность, а глаза сияли материнским восторгом.

— Мой дорогой!— воскликнула она.— Я горжусь тобой! Для первого раза ты был бесподобен. Ты не сделал ни одной ошибки, ни одной глупости, ни одного неловкого движения! Ты не замечал, как со всех сторон за тобой наблюдали? Я уверена, что сейчас у мадам д'Ону языки заработали и что все говорят только о тебе. Немало дураков бледнели от зависти. Ведь правда, милый, ты так хорошо танцуешь! Не подавая вида,

[illegible] мечта мальчика с теми немногими муж[illegible]ми, которые мне казались интересными. Уверяю [illegible], что во всех отношениях, внешностью и манерами, [illegible] с честью выдерживаешь такое сравнение. Уве[illegible]ена, что многие со мной согласятся! Но ты, по крайней мере, веселился?

— Очень!— ответил Марк.

Он прибавил:

— Я страшно люблю танцевать.

— И очень хорошо делаешь!— заметила Елена.— Когда что-нибудь удается, вполне естественно, что этим начинаешь увлекаться!

Она продолжала ему улыбаться, гладила руку и с ласковой осторожностью взяла его за ухо, как в то время, когда в гимназии он был первым учеником.

Покачав головой, Марк вдруг проговорил:

— Мне так хочется, чтобы нас часто приглашали.

— Будь спокоен, мой родной,— сказала она,— ты увидишь!

В самом деле, они стали все чаще и чаще выезжать. Это было в то время года, когда многие парижане, перед тем как разъезжаться по разным курортам, прощаются с весенним сезоном, устраивая интимные вечера. Тогда какое-то особое неистовство овладевает аристократическим кварталом Сен-Жермен, который оживает после долгого, унылого поста.

Благодаря совместным развлечениям между Еленой и Марком довольно быстро установились новые отношения. Конечно, они не были товарищами, ибо студент сохранял в присутствии Елены некоторую робость; равным образом и молодая женщина не допускала в обращении с ним никакой фамильярности. Однако у них было слишком много общих интересов, чтобы между ними не установилась прочная связь. Елена, беседуя с Марком на какую-нибудь тему, которая их обоих занимала, умела говорить доступным его юношескому пониманию языком. Молодой человек, со своей стороны, старался подняться до уровня мачехи. Желая проверить его наблюдательность, она нередко наводила его на разговор о какой-нибудь забавной или комической фигуре. Образные словечки молодого человека вызывали ее смех. Она наслаждалась его остроумием, неожиданными оборотами речи и тихонько говорила: «Какой он смешной!» Иногда даже какой-нибудь лукавой репликой она подстрекала его к самым яростным несправ-

вестным характеристикам, но затем, сдерживая не себе, с ласковым достоинством останавливала Марка и одним замечанием, с авторитетностью судьи разъясняла допущенные ошибки.

Эта дружба казалась ей естественной, но ее удивляла та легкость, с которой она привыкла к своей новой жизни. Раньше перспектива пойти вечером в гости за несколько дней портила ей настроение, а теперь, когда приглашения сыпались на них со всех сторон, ей не стоило никакого труда выезжать по два-три раза в неделю. Что касается Марка, то при мысли о каждом новом вечере он прыгал от радости и, боясь, что Елена, чего доброго, откажется от приглашения, пускал в ход ласки и нежные улыбки. Однажды она вернулась с бала, дрожа от радости. В то время когда рядом с Марком она пила стакан оранжада, она услышала, как позади разговаривали две дамы и тихим, но внятным голосом, который дошел до слуха Елены, одна сказала другой: «Это его мачеха? Не может быть! Ее можно принять скорее за его старшую сестру». Эти слова вызвали в ней сильное смущение. Она рассказала о них своему пасынку, и оба от души смеялись. Однако с тех пор на вечерах во время танцев она с упоением о них вспоминала. Елена пыталась прочесть в глазах мужчин, какое впечатление производил на них ее возраст, что раньше сочла бы презренным занятием.

В то же время атмосфера легкомысленного веселья, которая до сих пор ее не волновала, начала возбуждать ее сердце, действовать на нервы и заставила ее иначе взглянуть на свое прежнее уединение. Она стала подозревать, что в ее нелюбви к обществу было немало тщеславия, и нашла свои старые доводы в пользу одиночества очень слабыми.

Париж постепенно пустел. Каждое утро из квартала Сен-Жермен уезжали на лето целые семьи. Его дома с закрытыми ставнями, его старые улицы делались все молчаливей.

Марк сдал зачеты и удостоился похвал своих профессоров. Это доставило Елене большую радость. Хотя она и знала, что он был хорошо подготовлен, все же опасалась в последнее время вредного влияния, которое могли оказать на его занятия их частые выезды. Если бы Марк провалился, она бы себе этого никогда не простила. Но успех пасынка привел ее в восхищение.

[illegible] утра, когда после вкусного завтрака, [illegible] под наблюдением Елены, они вставали [illegible] стола, она сказала Марку:

— [illegible] завтра днем к мадемуазель Венс с нашими друзьями д'Абанкур.

— На что тебе нужна мадемуазель Венс?

Это было имя преподавательницы, которая два месяца тому назад учила его танцам.

— Я хочу брать у нее уроки,— ответила молодая женщина.

Он взглянул на нее.

— Ты?

Она деланно засмеялась. Затем, с подчеркнутой непринужденностью, которая выдавала ее смущение, заявила:

— Почему нет? Мне надоело смотреть, как вы все танцуете! Благодарю за удовольствие! Я в бабушки еще не собираюсь!

Глава V

В первых числах июля капитан приехал на несколько недель в Париж. Его возвращение застало молодую женщину врасплох. Раньше, бывало, она знала число и даже час прибытия парохода в Марсель. Теперь же, когда она получила коротенькую телеграмму, извещавшую ее о том, что муж приедет на следующее утро, Елена с трудом вспомнила, что, в сущности, он возвращался не раньше срока.

Мужа она совсем не ждала и никогда с такой ясностью не сознавала, до какой степени он был ей безразличен.

Прочитав телеграмму, она промолвила:

— Надо будет повторить те самые бесконечные визиты, которые я делала ради Марка!

Затем она подумала:

— Булавки!..

Это слово выдавало точно и грубо тайну их супружеских отношений.

Мишель был умерен в своих порывах. Каждый раз, когда он приближался к жене, его ленивое тело требовало применения особых приемов. Этот прямой человек, которого всю жизнь преследовала забота о его личном достоинстве, в любви был смешон и нуждался... в булавочных уколах.

Елена привыкла удовлетворять эту странную прихоть своего мужа и перестала обращать на нее внимание. Однако на этот раз воспоминание об этом противном и смешном пристрастии мужа вызвало в ней глубокое отвращение. Ей показалось, что, оказывая супругу унизительную услугу, без которой он оставался бездеятельным, она уподоблялась куртизанке, разжигающей чувственность старичка. Затем она глубоко призадумалась над этим последним словом. Хотя лета Мишеля были и невелики, но по его манерам, внешности, угрюмому настроению его можно было принять за старика. Мысль об этом преследовала Елену и не давала ей уснуть. Когда на другое утро она встречала на вокзале Мишеля, ей сразу бросились в глаза его седые виски и глубокие морщины.

В течение нескольких дней она внимательно наблюдала перемены на увядшем, длинном, некрасивом лице мужа. Она без жалости отдавалась этим наблюдениям и даже извлекала из них горькую радость. Затем ей вдруг стало мучительно стыдно самой себя, той страстности, с которой она занималась своими злорадными исследованиями. Неужели в четыре месяца Мишель переменился и качества, которые она в нем так ценила, исчезли целиком за столь короткий срок? Неужели, подобно пустеньким женщинам, которых она так презирала, она судила о достоинствах человека по свежести его кожи и блеску взгляда? Неужели, имея другом благородного человека и видя, как он стареет, она способна за это его возненавидеть? Какая неблагодарность! Какая низость!

Этот бурный припадок раскаяния был непродолжителен. Капитан был страшно рад, узнав, что Елена и Марк часто ходили на вечера. Он был особенно доволен тем, что жена привыкла к обществу и пристрастилась за танцы. Всякое событие, которое подчеркивало молодость Елены, было ему приятно, как прохладная вода воспаленным устам больного. Он был в Париже уже несколько дней, когда ему вдруг представился случай пойти с семьей в дом, известный своей чопорностью и открывавший свои двери только избранным. Капитан был глубоко удовлетворен в своем самолюбии и охотно принял приглашение. Ничто так не опьяняло этого трудолюбивого, скромного человека, как возможность попасть в такое общество, где главным достоинством считалось благородное происхождение.

[illegible] раз Елена бывала [illegible] после давно, в самом начале их [illegible] тогда эти выезды, связанные с [illegible] скучных светских обрядов, стеснявших свободу [illegible] женщины, показались ей необычно [illegible]. Теперь она увлекалась современными танцами, ко[illegible] в несколько уроков легко научилась. Она добро[illegible] по упражнялась дома, а затем на балу, не р[illegible] на первых порах публично демонстрировать [illegible] ние с незнакомым партнером, призвала Марка к [illegible] на помощь. Когда, обняв свою даму, он увлек ее в танце, их встретили комплиментами и улыбками. В сво[illegible] ей испорченности свет умиляется, когда видит мужа и жену, мать и сына танцующими вместе. Эти пароки трогают его своей честностью и добродетельностью. Никакой наряд не мог бы обеспечить Елене того успеха, которого она достигла своим кокетливым, но отнюдь не рассчитанным поступком. Со всех сторон послышались похвалы. Мужчины ее окружили, и она даже не заметила завистливых женских взглядов.

Через открытые окна из темного сада, освещенного [illegible] ными фонарями, в залы проникал душный воздух [illegible] летней ночи. Приближалась гроза. Многим гостям было не по себе. Елена, однако, не только не испытывала никакого недомогания, а, наоборот, радостно отдавалась танцам. Она воображала себя на каком-то экзотическом балу, под экватором, и блаженно вдыхала опьяняющий аромат роз, смешавшийся с запахом влажных тел. Из-за кустов зеленых растений раздавалась томная музыка, властно навевавшая ей такие настроения, над которыми еще накануне она бы посмеялась. Она понимала теперь, почему люди жадно искали подобного опьянения.

Однако каждый раз, когда во время танца она проходила мимо Мишеля и случайно касалась его, лицо ее темнело от досады. Он раздражал ее своей неизменной сдержанностью и омрачал всю радость. Она была достаточно хитра, чтобы ему улыбаться, когда глаза их встречались, но быстрым злорадным взглядом успевала рассмотреть его облысевшие виски, бледную кожу, дряблые губы, желтые нездоровые зубы и ноздри, из которых торчали серые жесткие волосы. Особенно отвратительными казались ей его глаза. «И это мой муж!» — думала она. Слушая музыку, она снова забыва-

ла о нем, но ее взоры скользили по лицам тех мужчин, жены которых были ее ровесницами. Ни один, правда, не казался ей интересным. Однако все вызывали в ней нечто вроде зависти. Самые незначительные, самые пустые имели тот моложавый, оживленный вид, которого она тщетно искала в чертах всегда холодного и скучного капитана. Чувствовалось, что между этими еще не старыми мужчинами и их женами могла существовать плотская связь. Если эти мужья и не принесли счастья своим супругам, они, по крайней мере, не имели мрачного вида, разгоняющего всякую радость. Их ласки и внимание могли вызвать в сердце женщины то искреннее волнение, которое побуждает ее отдаться. Таковы были смутные, несвязные мысли, занимавшие весь вечер во время танцев воображение Елены. Когда, вернувшись домой, она сослалась на головную боль, чтобы избавиться от слишком горячего приставания мужа, она поняла силу и глубину своих новых мучительных настроений.

Елена тщетно пыталась всякими рассуждениями убедиться в своей правоте. Упреки, которыми она себя осыпала, оказались бесполезными. Два или три вечера, на которые они были приглашены, еще больше усилили ужасное состояние, не переставшее ее терзать. Блестящее общество еще резче подчеркивало невзрачную внешность стареющего мужа. Жажда наслаждений начала расти в душе Елены. Она внимательно всматривалась в казавшихся ей привлекательными мужчин. Не испытывая ни к одному особого влечения, она брала от каждого понравившегося ей черты и мысленно создавала тот идеальный образ, который мог взволновать ее воображение. В своих легкомысленных грезах она обыкновенно представляла себе какое-нибудь молодое, благородное существо с умным лбом и изящной осанкой. Она думала, что существовал же где-нибудь живой человек, похожий на ее мечту, и что, встретив его в дни юности, она могла бы сделаться счастливейшей женщиной.

Прикосновение мужа казалось ей отвратительным. Ею овладела какая-то ненависть, под влиянием которой она потеряла всякое чувство меры и в своих внутренних монологах называла его аистом или дохлой рыбой. Больше всего ей был противен его рот. Когда она видела приближение этой слюнявой пасти, из которой исходило затхлое дыхание, она вся съеживалась и закрыва-

[illegible] чтобы резко не отдернуть голову. Целуя, он [illegible] ее губы своим нескромным языком; эта ли[illegible]ска приводила ее в содрогание. Ей хотелось крик[illegible]ть: «Какой ужас!» — и зубами откусить это гнусное [illegible]кало. Она не могла простить мужу, что он не угадал происшедшей в ней перемены, и со злобой думала: «Какой мужик!»

Когда в середине августа он стал готовиться к отъезду, она еле сдерживала радость и горела от нетерпеливого ожидания. В автомобиле, быстро мчавшем их к вокзалу, она говорила про себя: «Мне нужно было бы открыть ему глаза». Впрочем, на перроне она снова была очаровательна. Два дня спустя она уехала в «Адмиралтейство».

В последнее время частые выезды неблагоприятно отразились на семейном бюджете, и Елена из экономии решила не ехать на курорт, где обыкновенно проводила каждое лето. Ей хотелось уединения. Слишком светский образ жизни утомил ее; помимо того, она желала после этого периода безделья привести свои мысли в порядок. Она чувствовала себя как молоденькая девушка, которая, протрезвившись после выпитого шампанского, не жалеет о своей смелости, но сама немного ею удивлена.

«Адмиралтейство» не хуже монастыря располагало к уединению. Среди полей, усеянных работавшими крестьянами, старый замок со своими низкими стенами, окруженный высокими деревьями, казался пустынным островом. Граф Кербрат хозяйничал в имении, как заправский управляющий, и, не желая трогать то, что было построено руками нескольких поколений, старался сохранить патриархальный вид старинного здания. Для того чтобы расширить какую-нибудь аллею или придать больше живописности заброшенному уголку, отец Елены не позволил бы срубить самого ничтожного деревца. Внутри старого дома мебель стояла на тех же местах, на которых была расставлена при покойной мадам Кербратамбер. Несмотря на уродливость и ветхость всех этих старинных стульев и кресел, граф не позволял их выбросить.

Комнаты не отличались красотой, но были насквозь пропитаны простодушным уютом. Из сада через открытые окна вливался запах спелых яблок. Несмотря на своеобразную прелесть, этот бретонский дом, окруженный большим заросшим парком, был слишком сырой и холодный для молодой женщины. Приехав в «Адмиралтейство»

мирал тейство». Елена помимо воли стала вспоминать далекое прошлое и от тоски, тайком от окружающих, плакала в своей комнате. Особенно грустно ей становилось по вечерам. Чем больше она пыталась успокоиться, тем обильнее текли ее слезы.

«Здесь,— думала она,— началась моя теперешняя жизнь! Я была красивой, богатой девушкой, которой улыбалось счастье; и я без колебаний избрала супругом преждевременно состарившегося, неинтересного вдовца. Чем он мог меня привлечь?» — спрашивала она себя, сдерживая рыдания. Она вспоминала этого церемонного тридцативосьмилетнего поклонника в глубоком трауре, который в самом разгаре своего ухаживания не мог стряхнуть с себя своего постного вида и рядом с молоденькой невестой думал о своей первой жене.

Вереницы образов мелькали в памяти Елены. Забывая о том, что в юности она была иной, молодая женщина наделяла ту неопытную девушку, которой была когда-то, своими теперешними сомнениями и страданиями. Она мрачно удивлялась тому, как могла преодолеть свое отвращение к гадким прикосновениям мужа. «Этот поблекший рот касался моих свежих губ»,— думала она. Тут ей приходило в голову одно и то же сравнение, которое своей яркостью на время останавливало ее рыдания. Она думала: «Слюнявая улитка ползает по лепесткам розы». Омерзение, стыд, отчаяние наполняли ее душу при мысли о том, что она погубила свою жизнь. Затем горячие слезы снова текли из ее глаз. Никогда во время своих припадков она не обращала внимания на то обстоятельство, что несколькими месяцами раньше безропотно терпела те прикосновения, которые ныне приводили ее в ужас.

Только присутствие Марка могло ее успокоить. С каждым днем он делался интересней и изящней. Вместо прежних детских манер, которые так долго были свойственны его робкому, запуганному нраву, в нем появлялись теперь замашки молодого человека. Его голос окреп; в его мускулистом теле, во взоре, ставшем более серьезным, чувствовалась уверенность мужчины. Изысканный костюм выдавал в нем желание понравиться, которого раньше он никогда не испытывал.

Елена радостно подмечала все эти перемены и старалась их ускорить. Когда она думала о Марке, ей делалось легче на душе. У нее было такое впечатление, что, заканчивая воспитание Марка, она завершала бла-

[illegible] дело, оправдывавшее недостойный союз, ко-[illegible] она когда-то заключила. Эта мысль приобрела в ее глазах особенное значение, когда после бурных приступов отчаяния она приходила в себя. Тогда глубокое удовлетворение, которое она испытывала, глядя на Марка, помогало ей забыть о Мишеле. «Мой кавалер!» — говорила она себе, вспоминая о том вечере, когда они вместе танцевали. Она любила Марка и гордилась им, как мать, но в ее обращении с ним чувствовалось, что она видит перед собой не мальчика, а взрослого сына. Она не могла не находить его привлекательным и не признавать, что каждой женщине было бы лестно появиться с ним в обществе. Многие были такого же мнения, она это знала. Она внутренне восхищалась собою и Марком, когда, оба стройные, они стояли рядом перед зеркалом.

Почти каждый день, утром или вечером, они выходили вместе, шли по полю, огибали соседнюю деревню и возвращались домой по кемперской дороге или бродили вдоль речки по зеленым тенистым берегам. Марк, который привык гулять вместе с Еленой, сопровождал ее без скуки. Светская жизнь сблизила его с ней и дала ему некоторый опыт. Заметив, что она любит ходить из вечера и танцевать с неменьшим азартом, чем он сам, Марк стал смотреть на свою мачеху как на равную. Разумеется, его уважение к ней от этого не страдало. Его новое настроение проявлялось в некоторой вольности речи и в независимости его поступков. Свобода, которой он теперь пользовался, не мешала ему соблюдать в обращении с мачехой утонченную корректность. Порой они начинали хохотать, как дети, в чем степенные бретонцы усматривали проявление парижской дерзости. Чаще же всего они проводили долгие часы, говоря о тысяче самых разнообразных предметов, как младший брат и старшая сестра. Мария-Тереза во время прогулок бегала около них, играла в мяч и, балуясь, дергала их за платье.

Она находила особое удовольствие в том, чтобы напоминать Марку какое-нибудь незначительное, давно забытое событие и подмечать на лице своего спутника выражение веселого умиления.

Однажды утром, показывая ему на большое каштановое дерево, раскидистые зеленые ветви которого не пропускали солнечных лучей и были полны веселым птичьим гомоном, она спросила его:

— А ты помнишь тот летний день, когда после долгих поисков по всему парку твоя бабушка и я нашли тебя, наконец, на этом дереве?

— Нет, но каким же образом я на него залез? Неужели я был такой ловкий и сильный?

— Ты достал откуда-то небольшую лестницу и легко взобрался на самую верхушку. Но твои штанишки пострадали от этого смелого предприятия и обратились в лохмотья. Бабушка тебя сильно бранила и, конечно, была права. Ах, сорванец,— продолжала она,— если бы ты мне попался тогда в руки!..

Она вздохнула.

— Как все это далеко!

Затем, мысленно следя за своими воспоминаниями, как бы боясь громкой речью вспугнуть давно забытые образы, она проникновенно и немного певучим голосом сказала:

— Я была одета в узкое белое платье в полоску. Мои волосы были завязаны на затылке большим черным бантом. Ты помнишь? Какой я была свеженькой, если такая прическа могла мне идти? Хороша бы я была, если бы носила ее теперь! Мальчишки, наверное, забросали бы меня камнями!

Он повернул голову.

— Почему?

— А годы, по-твоему, ничего не значат?

— Ничего,— возразил он с серьезным видом,— если только они промчались, не оставив заметных следов! Что касается меня, мамочка, я никогда не замечал, чтобы вы постарели.

Она нетерпеливо пожала плечами.

— Ах ты, льстец,— проговорила она,— как ты умеешь лгать!

Но сердце ее забилось скорей, голос задрожал от удовольствия, яркий румянец разлился по всему лицу. Марк с горячностью начал доказывать свою искренность. Вскоре они пошли обратно домой. Елена, погрузившись в раздумье, до самых ворот не проронила ни слова.

С этого дня она просыпалась с блаженным чувством, и до самого вечера ее не покидало ощущение пьянящей радости. От ее печали не осталось и следа. Казалось, что в душе у нее что-то оборвалось и буйные настроения юных дней, как вешние воды, прорвались наружу. Ею овладела смутная, но глубокая надежда, что судьба

проявил к ней милость, что неизвестное ей самой собы-
тие, какой-нибудь счастливый случай доставит ее не-
утраченной молодости великую, неожиданную радость. Где
и когда, она этого не знала, но твердо была в этом уве-
рена. Ей доставляло удовольствие дотронуться до своей
бархатистой, нежной щеки и смотреть в зеркало на свой
привлекательный образ.

В длинные августовские дни юноша забавлялся тем,
что зарисовывал разные уголки старого имения, в кото-
ром он провел свое детство. Заниматься чем-нибудь
другим у него не было особенного желания. Окрест-
ности были приветливыми, но скучными и не отлича-
лись живописностью. Гулять Марку не хотелось, а пора
игр уже прошла для него. Когда Марк работал, Елена
устраивалась около него в низеньком кресле и занима-
лась шитьем или чтением. Чтобы ему не мешать, она
избегала много говорить. Изредка, однако, когда какое-
нибудь место в книге казалось ей замечательным, она
прочитывала его вслух.

Ей было любопытно смотреть, какое впечатление
производят на Марка отдельные фразы, гармонич-
ностью которых она восхищалась. Если он переставал
рисовать и качал одобрительно головой, она невольно
придавала голосу более выразительную интонацию. Ей
казалось тогда, что они становились ближе друг к дру-
гу. Если, наоборот, он проявлял равнодушие, она ста-
ралась детальным разбором прочитанного отрывка разъ-
яснить Марку его красоту. Когда она по насмешливой
улыбке замечала, что не убедила его, Елена добродушно
называла его ослом.

В присутствии других, так же как и наедине, она
обращалась с ним с необычайной деликатностью, ко-
торую пыталась скрывать под маской добродушия и фа-
мильярности. Ни за что, даже по серьезному поводу,
она не решилась бы сделать Марку сердитого замеча-
ния. Ей было бы неловко бранить этого взрослого юно-
шу. Время нотаций прошло безвозвратно. Она много лет
держала Марка в безусловном подчинении и теперь
впервые видела в нем свободное человеческое существо,
поступки которого могли ей не нравиться, не перестава-
вая, однако, тем самым быть вполне законными и есте-
ственными. Если бы ей сказали, что она, в сущности,
отказалась от всякого контроля над Марком, она бы
искренне возмутилась. Между тем, на деле так оно и
было. Она объясняла себе это тем, что в их характе-

рах было много общего, и видела в этом сходстве их натур блестящий результат своих долголетних усилий.

Единственный человек, который посещал «Адмиралтейство», был граф Кербрат. Он аккуратно приезжал туда два раза в неделю, если только подагра его не донимала, но никогда не оставался там ночевать. Он добродушно заявлял, что спать он мог хорошо только в Кемпере и что ароматный воздух бретонского сада действовал на него не так усыпительно, как запах старых книг. В способах продвижения, которыми пользовался граф Кербрат, замечался определенный прогресс. Допотопная карета, которую возили старые мулы, исчезла из обращения. Ее заменил подержанный автомобиль, купленный по случаю в каком-то гараже. Когда к девяти часам утра граф пускался в путь, об этом все окрестности возвещались невероятным треском дряхлого мотора. Почтенная машина пыхтела, дребезжала всеми своими разболтавшимися железными частями и в дороге, как бы собираясь с силами, порой задерживала ход, чтобы совершить вдруг, неожиданно для самой себя, молодцеватый прыжок вперед. Она брала подъемы со скоростью пешехода и, чтобы наверстать потерянное время, на спусках катилась как угорелая, напоминая развеселившуюся пьяную старушку.

Граф выходил из автомобиля с помятой шляпой и запыленным сюртуком. К нему сейчас же бросались дети. Он поднимал на руки Марию-Терезу и, проговорив какое-нибудь ласковое приветствие, обнимал Марка. Время не могло сломить этого чудаковатого великана, и болезнь не изменила его веселого нрава.

По-прежнему он приводил Елену в восторг своими чудачествами, своим заразительным добродушием, своими оригинальными суждениями, в которых чувствовалось столько ума и глубокой эрудиции. В тридцать два года она с таким же восхищением, как и в восемнадцать лет, слушала, затаив дыхание, его блестящие рассказы.

Она не выносила лишь одного. Достаточно было отцу упомянуть о Мишеле, чтобы Елена сейчас же перевела разговор на другую тему. Когда граф расспрашивал ее об отсутствующем муже, она начинала говорить о Марке, и старик, в конце концов, перестал вспоминать о своем далеком зяте. Стыд и гордость мешали Елене открыть позорную тайну ее интимной жизни и

отцу о своих страданиях. Она знала, что [illegible] одобрил бы ее.

Говорить о пасынке ей доставляло такую радость! Когда граф спросил о его наклонностях и занятиях, у нее стало тепло на сердце, и, возбужденная каким-то похвалой старика, она пустилась в длинный рассказ. Ей страстно хотелось внушить своему отцу лестное мнение об элегантном молодом человеке, которого она воспитала. Она старалась точно и полно изобразить все достоинства и милые недостатки своего пасынка и порой приукрашивала действительность.

Однажды Елена показала отцу два акварельных наброска Марка, сделанных довольно небрежно. Один из них изображал старое сломанное дерево, окруженное слишком зелеными кустами, другой — бретонку, стиравшую белье.

— Не правда ли, отец, это удивительно хорошо?— спросила она.

Граф Кербрат неторопливо надел пенсне, взял рисунки и стал их разглядывать.

— Недурно!— промолвил он наконец.— Им не хватает легкости, да и краски не те: эти цветы, например, можно принять за дамские платочки... но, в общем, это неплохой ученический набросок!

Елена проронила:

— Вы очень строги!

— Ты так думаешь?— спросил добрейший старик с насмешливой улыбкой, находя очень забавным эпитет, которым его наградила дочь.

— Конечно!— сказала молодая женщина.— Я нахожу, что Марк делает большие успехи. Посмотрите на эту нежную зелень, на эту женщину, разве это не талантливо? Некоторые детали мало разработаны, вероятно умышленно, чтобы оттенить главное. Он очень старается!

— Это не значит, что я должен находить его рисунок удивительным!— отчеканил старый историк, скрестив руки на груди и недоброжелательно покачивая своей седой головой.— Ты знаешь, что в искусстве я не терплю посредственности. Если Марк будет стараться, он станет добросовестным любителем, но не настоящим художником. Есть качества, которые не приобретаются!

Примерно этими же самыми словами Елена еще не так давно отговаривала Марка от занятия живописью, которой он хотел себя всецело посвятить. Она вспомнила об этом, и вдруг ее тогдашние речи показались

ей ужасно несправедливыми. Недобрая складка легла у ее рта. Она повернулась к отцу.

— Я одно время думала так же, как и вы, — сказала она.— Я находилась под влиянием тех обычных предрассудков, которые заставляют родителей скептически относиться к художественным наклонностям своих детей! Но теперь мои взгляды изменились. У Марка есть талант, я в этом уверена! Согласитесь с тем, что из нас двоих скорее ошибаетесь вы, так как судите о нем по первому попавшемуся наброску, тогда как я пристально за ним слежу...

Граф Кербрат, ошеломленный этим аргументом, сделал гримасу сожаления и пожал плечами.

— Послушай, дитя мое, пойми...

— Не настаивайте!— воскликнула она.— Вы меня не переубедите!

— Ну что ж, в таком случае перестанем об этом говорить,— заметил старик ласково.

До сих пор, если между отцом и дочерью возникало разногласие, оно продолжалось недолго и кончалось тем, что оба потешались над ним. Впервые их расхождение носило серьезный характер. Они не стали больше спорить о талантах Марка и тщательно избегали возвращения к этой опасной теме. Граф Кербрат, которому философская закваска не позволяла особенно огорчаться резкостью дочери, скоро забыл об инциденте. Елена, наоборот, долго помнила о нем и, продолжая в общем хорошо относиться к отцу, не могла простить ему нелестного суждения о художественных опытах Марка. Она начала сомневаться в его сердечности и порой бросала на него холодные, подозрительные взгляды. В самой невинной шутке или безобидном замечании она усматривала коварный смысл и испытывала потребность взять Марка под свою защиту. Она не могла без тревоги видеть юношу озабоченным или рассерженным чем-нибудь. Казалось, она настолько сроднилась с пасынком, что составляла с ним одно целое.

Глава VI

Они возвращались в Париж двадцатого сентября. Мелкий, пронизывающий, непрерывный дождь (единственное, что в Бретани может дать повод к раздражению, но зато такому сильному, что приходится бежать

...ды, подобно тому как, выведенный из терпения, со вздохом покидаешь красивую женщину, которая слишком много плачет) зарядил задолго до наступления осени, делая пасмурным и скучным пребывание на лоне природы. Запертая в стенах старого дома, надеясь, что солнце все-таки выглянет, Елена с неделю терпеливо выжидала. Под конец, потеряв терпение, доведенная до отчаяния этим водяным саваном, за которым почти совершенно скрывались деревья, она на десять дней раньше, чем предполагала, стала готовиться к отъезду.

В Париже погода была не лучше. Но это город, который нужно любить и под проливным дождем, если льстишь себя надеждой, что вообще хоть сколько-нибудь его любишь. Вернувшись в свой дом, к своим любимым книгам, Елена с чувством человека, вновь попавшего на родину, до мелочей возобновляла все свои привычки.

Зато Марк всюду волочил за собой явную скуку и с трудом переносил праздность, на которую его обрекли обстоятельства. После слишком большого количества этюдов, сделанных им в «Адмиралтействе», он пресытился рисованием, тем более что заниматься им в маленькой комнатке, после радости длительного общения с природой, казалось ему малопривлекательным.

С другой стороны, почти двухмесячное уединение еще больше обострило жажду развлечений, которая у него и так была сильна и которая не находила себе удовлетворения в этот мертвый сезон, когда Париж ничего не может еще дать.

Его мачеха безуспешно пыталась заставить его преодолеть этот временный упадок настроения. Он угрюмо встречал ее попытки. В другое время она дала бы ему хорошую встряску. Но то, что тогда могло вызвать в ней только досаду, теперь тревожило ее, не возбуждая ни малейшего желания пустить в ход обычную силу своего авторитета. Она не знала, что и придумать, чтобы доставить ему удовольствие, и упрекала себя в холодности.

Однажды вечером, когда у него был настолько длительный припадок дурного настроения, что за все послеобеденное время он не вымолвил ни одного слова, она сказала:

— Ну-ка, дружок, поговорим по душам! Мне уже надоело смотреть, как ты ходишь с лицом мученика и

молчишь, как заговорщик. Что-то у тебя не клеится. Скажи мне, в чем дело? Будь откровенен!

Молодой человек заявил, что умирает от скуки и что все его старания заставить себя превозмочь эту ужасную болезнь оказались бесплодными.

— Чего тебе не хватает?— спросила Елена.

Он и сам этого не знал.

Она настаивала, с вкрадчивой ласковостью взяла его голову в руки и принудила его поднять глаза и посмотреть ей в лицо.

Помимо своей воли он внезапно рассмеялся

— Ну, хорошо!— воскликнул он с жаром. Мне хотелось бы потанцевать!

— Потанцевать, мой дорогой?

— Да, потанцевать!

Она прикусила кончик пальца, ища ответа.

— А почему бы не достать луну с неба? Ведь никто еще не возвратился. Не воображаешь ли ты, что салоны откроются для тебя одного? Нужно набраться терпения,— бросила она напоследок.

Но ее минутное замешательство поразило Марка. По-видимому, ее огорчала невозможность в ближайшее время удовлетворить его желание. Он задумался над этим обстоятельством. Два дня спустя с небрежным видом и отсутствующим взглядом он робко сказал Елене:

— Кстати, мамочка, по поводу моего желания потанцевать. Если бы я сам нашел возможность осуществить это, не ожидая целых два месяца...

Она подскочила.

— Граммофон! Чтобы я купила граммофон? Ну, уж нет, мой милый! Это было бы ужасно!

Он отрицательно покачал головой.

— Тогда что же?— спросила она.

— Дансинг!

Ей показалось, что она ослышалась, затем, пожав плечами, улыбнулась этому, как шутке. Сначала само слово, потом представление привели ее в ужас.

— О!— воскликнул Марк.— Это идея... Она чего-нибудь да стоит!

— Не очень многого!— весело возразила Елена.

Тем не менее ночью, когда ей не спалось, она снова вернулась к этой идее. Хотя она и старалась на ней не останавливаться, все же мысль о дансинге показалась ей не такой уж безрассудной, просто странной и ма-

нительной. В конце концов, многие ли молодые
круга отказывали себе в том, чтобы, посе-
с мужьями модные дансинги, получать удоволь-
ствие, которое им так скупо отпускал свет?

На следующий день Марк, снова впавший в черную меланхолию, вышел к столу с обычным за последнее время замкнутым и недовольным видом. Его мачеха почувствовала в этом легкий шантаж, но она до такой степени страдала от его угрюмости, что овладевшее было ею раздражение исчезло. Во время десерта у нее в голове вертелась лишь одна мысль: «Настоящее лекарство у меня в руках, а я не хочу им воспользоваться». Чем больше она поддавалась этому наваждению, тем более странными казались ей такие сомнения для женщины, обладавшей, по ее мнению, широким кругозором. Действительно, этому не могло быть никакого оправдания. «Провинциальные предрассудки»,— повторяла она себе и от всего сердца ненавидела эти предрассудки, как ненавидела вообще все провинциальное. Послеобеденные часы тянулись бесконечно. Вечером она пришла к убеждению, что есть поражения, которые не только не унизительны, но, наоборот, если они являются результатом победы здравого смысла над нелепыми предрассудками, то делают только честь. Еще день колебаний, и она сказала Марку:

— Я обдумала твою идею. Она совсем не так глупа! Забавно, как усложняешь себе то, что при ближайшем рассмотрении оказывается очень простым. Раз это тебя забавляет, мы поедем пить чай в одно из этих учреждений, собственно говоря они скорее нелепы, нежели предосудительны. Прошу тебя даже не произносить при мне их названия, так оно мне противно. Подожди, сегодня у нас вторник... В следующую пятницу, например!

Он просиял и, захлопав в ладоши, бросился ей на шею.

— Но берегись!— сказала она, освобождаясь из его объятий.— Напрасно ты воображаешь, что я позволю тебе пригласить там первую попавшуюся. Я хочу тебя развлечь, а не поощрять всякие подозрительные знакомства. Ты будешь танцевать только со мной!

Молодой человек ожидал этого условия. Оно было вызвано, как ему казалось, известной осторожностью. Он почти не заметил той страстной ноты, которая прозвучала в словах его мачехи. Перспектива снова ис-

тать хотя бы подобие того восхитительного чувства, которое обычно овладевало им на балах, заставила бы его принять и не такое условие. В течение трех дней он был целиком поглощен своими галстуками.

Странное ощущение охватило Елену, когда она в сопровождении сияющего Марка входила в первую из трех зал «Семирамиса», где, насколько ей было известно, бывала приличная публика. Если бы не связавшее ее слово, о котором она уже жалела, она моментально ушла бы отсюда. Ей казалось, что она по слабохарактерности согласилась пойти со своим пасынком в подозрительное место. Духи, туалеты, нагретый воздух, даже свет, струившийся сквозь задрапированные или натянутые ткани,— все здесь дышало чувственностью и было направлено к тому, чтобы сделать если не приятными, то по крайней мере доступными сомнительные связи. Она почувствовала глубочайшее отвращение к своему поведению и, взвешивая тот моральный вред, который она причиняла Марку, начинала себя ненавидеть, ей становилось стыдно. Все же она уселась, внимательно огляделась по сторонам, и внезапно обуревавшие ее доселе и казавшиеся ей такими сильными чувства исчезли, не оставив ни малейшего следа. Нельзя было себе представить более невинного удовольствия, чем то, которое находили эти маньяки в размеренных движениях среди этой сомнительной обстановки. Всем существом отдавшись опьянению ритмом, они прижимались друг к другу, запрокидывались, переплетаясь ногами, и ни одной живой искры не мелькало в неподвижных зрачках алкоголиков, на этих тяжелых, застывших лицах. Ни один из них, впрочем, и не пытался вымолвить хоть слово. «Это их манера любить»,— подумала молодая женщина. Безусые мальчики плясали с престарелыми красотками. Там и сям дряхлые и лысые танцоры как будто подсчитывали методически выделываемые па, как подсчитывают в Виши положенное по курсу количество стаканов минеральной воды. Глубокое отвращение охватило Елену.

Марк томился на своем стуле. Елена встала, и они присоединились к танцующим. Они не протанцевали и пятнадцати тактов, как всякая тень возмущения окончательно покинула молодую женщину. Тело ее стало совершенно покорным, и, в свою очередь, серьезная и молчаливая, она целиком отдалась чувству удовлетворения, которое вызывало в ней давно забытое удо-

[illegible] И тогда ей было стало [illegible] подчиняться воле Марка и, глядя ему в глаза, угадывать, каких ответных [illegible] он ждет от нее. Ее приводила улыбка, [illegible] ее красивое лицо. Когда музыка смолкла и танец [illegible], Елена была разочарована. При первых звуках следующего танца она уже была на ногах.

Они вышли из ландо, когда уже приближалась часть осени. Молодая женщина хохотала и шутила. Казалось, что, несмотря на то, что она прожила свои дни Марка, ей удалось почерпнуть то, чего втайне так жаждало все ее существо. Какой-то бес вселился в нее. Сидя в автобусе, она не только не ощущала усталости, но, наоборот, чувствовала какую-то легкость в теле, как после ванны. Настроение ее было таково, что, если бы только представился случай, она тотчас же снова пустилась бы танцевать. Внезапно ей пришло в голову, что ведь от нее самой зависит доставлять себе это изумительное удовольствие так часто, как только ей захочется. Эта мысль не покидала ее до самой ночи. На следующий день искушение было так сильно, что ей пришлось пустить в ход все свое благоразумие, чтобы противостоять ему и отложить на некоторое время повторение этого эксперимента. Но в понедельник, не в силах больше выдержать, она сделала знак Марку, и они отправились в «Семирамис». В среду они снова были там.

И тогда-то, скрывая тревогу, она веселым голосом сказала молодому человеку:

— Всегда вдвоем! Всегда друг с другом! Раздается музыка, я встаю, и мы начинаем танцевать. В конце концов нас совершенно справедливо начнут называть «inséparables». И потом, знаешь, наша изолированность пахнет мещанством. Поэтому я решила по крайней мере на сегодняшний день я тебе предоставляю свободу выбирать себе даму.

— А вы?— спросил он.

Он казался озабоченным.

— Ну, я надеюсь, – воскликнула она.— что ты мой достаточно любишь, чтобы не быть занятым исключительно другими!

Он стал настаивать, захотел знать, не рассчитывает ли она повеселиться без него.

Она посмотрела на него.

— Ты с ума сошел! Неужели ты представляешь меня в объятиях какого-нибудь нахала, который при-

сит меня, не будучи представленным? Есть вольности, которые можешь себе позволить ты, но не я!

Принятое решение казалось ей естественным. Тем не менее в ней шевельнулось неприятное чувство, когда Марк, внезапно покинув ее, пересек залу и пригласил какую-то тоненькую особу, ответившую ему улыбкой. Неужели она ему понравилась? У нее был вид девочки, выросшей из своей коротенькой юбочки, но она была не лишена элегантности и хорошо танцевала. К тому же от ее ясного лица веяло каким-то мягким очарованием. Молодой человек, который был выше ее ростом, ни разу не опустил на нее глаз и не обратился к ней ни с одним словом. Елена успокоилась. Прежнее неприятное ощущение исчезло. Следующие две-три дамы Марка, безвкусность и неуклюжесть которых она отметила с первого взгляда, оставили ее глубоко равнодушной. Она из самолюбия изучала их движения и, когда очередь доходила до нее, все свое внимание сосредоточивала на том, чтобы танцевать лучше их. Тщеславие показалось ей вскоре вздорным, настолько оно в ее глазах было излишним. Разве в бесспорном превосходстве ее над этими жалкими соперницами не убеждало стоявшее в углу, между двух колонн, зеркало, которое каждый раз бросало ей отражение великолепной фигуры и гордой осанки?

Но пришел день, когда ей показалось, что у нее остановилось сердце. По всему ее телу разлилось то томительное и холодящее чувство, которое часто является предвестником несчастья. Совершенно случайно, отыскивая глазами пасынка, она заметила его среди танцующих крепко прижимающим к себе какую-то женщину, с которой она его и раньше видела, не придавая этому особого значения. Ей бросилось в глаза, что они разговаривали.

Это была блондинка среднего роста. Она обладала изяществом хорошо сложенной женщины, и, действительно, ее ноги едва касались паркета. Платье ее, хотя и модное, носило отпечаток простоты и индивидуального вкуса. Впечатление это, быть может, создавали, с одной стороны, длинные, прикрывающие кисти рукава, а с другой — полные благородной простоты линии ее мало декольтированного, покрытого блестками платья. Все в ней было безукоризненно, без тени дурного вкуса. Рядом с обручальным кольцом она носила на бе-

[illegible] на пальце левой руки бриллиант, пожалуй, слишком крупный.

Елену охватило нервное волнение. Не женщина ее расстроила и даже не то, в конце концов, что она обменялась со своим кавалером несколькими фразами, очевидно совершенно незначительными. Ей бросилось в глаза сияющее лицо Марка. С очаровательной улыбкой в уголках губ, с разгоревшимися щеками, он целиком — она это чувствовала — ушел в ухаживание, стараясь держаться не как мальчик, а как настоящий молодой человек, желая произвести своей персоной выгодное и длительное впечатление. Когда среди па их толкнула какая-то пара, он выказал резкое нетерпение, затем лицо его, еще розовое от возмущения, прояснилось. Елена поняла, что дама успокоила его, что она отнесла за счет необузданности танцующих соседей то замешательство, какое можно было совершенно несправедливо приписать его неловкости.

К окончанию танца Елена успела овладеть собой настолько, чтобы не выдать неприятного состояния, в котором находилась. Марк болтал без удержу. Она ему отвечала. Она старалась говорить беззаботным тоном, и смех ее был всегда уместен, хотя в нем и звучала фальшивая нотка. В то же время взгляд ее беспрерывно устремлялся в сторону белокурой дамы в покрытом блестками платье, сидевшей неподалеку от них. Внезапно наклонившись вперед, она стала ее пристально рассматривать.

«Но ведь это старая женщина!— сказала она себе.— Она совершенно увяла!»

Около уха, вокруг рта, в уголках глаз, равно как и в складке, которая образовывалась на шее при некоторых поворотах головы, Елена заметила те следы времени, которые, даже загримированные, сразу подмечаются опытным женским глазом как малейший дефект в материи. Все же эти следы разрушения были настолько поверхностны, что весьма трудно было определить с точностью возраст этой скорее элегантной, чем красивой дамы. Живой взгляд, моложавый подбородок, сохранивший чистоту линий нос, поразительно юная фигура делали еще более затруднительной оценку [illegible]

«Между сорока и сорока пятью»,— подумала [illegible] на и внезапно при виде красивой, но увядшей руки остановилась на сорока пяти.

«Сорок пять, – повторила она,— если не все пятьдесят». Эта приятная уверенность несколько успокоила

ее. К тому же в зале раздались звуки нового танца. Марк уже вскочил и приглашал ее. Отбросив все размышления, она присоединилась к танцующим.

Еще и трех раз не промелькнула ее фигура в угловом зеркале, как, успокоенная и прельщенная собственным отражением, она уже забыла об этом незначительном происшествии. Но это была лишь непродолжительная отсрочка. Через два дня, попав в «Семирамис», она снова увидела ту же женщину, на этот раз в ярко-синем платье. Прошло четверть часа. Марк вновь пригласил эту даму, и снова сердце Елены сжалось от волнения. В первый раз это чувство, бурное и неожиданное, ее потрясло. Сейчас же, менее сильное и более предательское, оно ее скорее злило, затрагивая какие-то тайники души, о которых она либо мало знала, либо вовсе не подозревала. Если раньше выражение лица Марка, его сияющий вид и порозовевшие щеки внушали ей беспокойство, то теперь его глаза, та страстность, которую они излучали, доставляли ей страдание. Весь вид юноши выдавал его пыл и смущение. И она сама это отмечала с беспощадной ясностью. Какими смущенными — она это угадывала по их быстроте — были фразы, которые он бросал в ответ своей даме. Новый танец, еще более откровенный, минуту спустя соединил их вторично. Елена жадно, почти страстно издали следила за взглядами Марка, ловя признаки того, что ее так задело. Они были налицо.

Елена решила не подымать пока об этом разговора. Ей было так тяжело, она чувствовала такую слабость во всем теле, что боялась расплакаться при первом же слове. И потом, как приступить в публичном месте к этому, казавшемуся ей таким важным вопросу? С какого конца к нему подойти? «Дома,— размышляла она,— это будет проще». Поглядывая ежеминутно украдкой на часы, она с нетерпением ждала времени, когда можно будет пойти домой, отказываясь танцевать под предлогом усталости и головной боли. В мозгу ее мелькали все язвительные фразы, с которых могло бы начаться их объяснение. Но ее слишком мучило нетерпение, и на обратном пути она взяла такси. Очутившись у себя, она тотчас же остановила Марка, проходившего как раз через ее комнату к себе, как он это часто делал, и небрежно, хотя с легкой дрожью в голосе, бросила ему:

Послушай, мне кажется, что ты не скучаешь с этой блондинкой?

Он казался удивленным:

— Какая блондинка?

— Ну, эта женщина неопределенного возраста, скорее хорошенькая, чем полная.

— Ах, да,— ответил он, не задумавшись,— мадам Алискан.

Елена почувствовала страшный толчок, но сдержалась.

— Откуда ты знаешь ее имя?

— Она мне его сказала!

Елена сильно покраснела.

— Охотно верю, что она тебе нравится,— продолжала она.— Если бы ты знал, как ты смешон, какой вид ты принимаешь и каким вниманием окружаешь эту кокетливую особу, когда она оказывает тебе высокую честь, принимая твое приглашение. Временами я в своем углу хохотала до упаду...

Он заявил, глядя мачехе прямо в лицо:

— Я нахожу ее прелестной! Она хорошо танцует!

— Да?.. Это безразлично,— возразила молодая женщина,— она имеет довольно потрепанный вид. Художник, каковым ты себя считаешь, мог бы найти что-нибудь получше!

Последнюю язвительную фразу она выпалила помимо своей воли. Внезапно она почувствовала страшную неловкость. С самого начала их разговора, чтобы замаскировать свое замешательство, она принялась, как это делала каждый вечер, снимать выходное платье. Показываться перед ним в одном белье было для нее в течение многих лет такой обычной вещью, что еще минуту назад она сочла бы нелепостью не только какие-либо сомнения по этому поводу, но даже самую мысль об этом. А сейчас она сгорала от стыда. Ее обнаженная грудь, отражавшаяся в зеркале, приводила ее в ужас, как что-то страшно непристойное, и она не осмеливалась подойти к стоявшей в трех шагах кровати, на которой лежало ее домашнее платье. Сделать хоть один шаг казалось ей еще хуже, чем оставаться на месте. Какое безумие поставить себя в такое отчаянное и безвыходное положение!

Глаза ее встретились с глазами Марка. Она боялась увидеть в них тот страшный блеск, который совсем недавно привел ее в такое негодование. Но в них было написано полнейшее безразличие. Тогда, решившись

она взяла платье и стала его надевать, стараясь не поворачиваться к Марку грудью, ослепительная белизна которой приводила ее в отчаяние. Затем совершенно спокойно она коротко простилась с ним.

Не успел он переступить порога, как она разразилась рыданиями. С беспощадной ясностью она видела разницу между отношением молодого человека к той даме и холодностью, которую он проявлял к ней, к великолепной белизне ее тела. Малейший намек на чувственное волнение подействовал бы на нее утешающе, но это равнодушие оскорбляло ее и приводило в отчаяние. Не было ли это если не признанием, то во всяком случае безошибочным доказательством того чувства, зарождение которого она угадала в нем прежде, чем он сам его в себе осознал? «На этот раз, – подумала она, он от меня ускользает. Сила, против которой я бесномощна, отнимает его у меня. Для него существует лишь одна женщина, эта старуха, в которую он влюблен!» В лихорадочном припадке овладевшего ею горя бедняжка обвиняла Марка в ненависти к себе, упрекала его в неблагодарности за всю ту любовь, за все те заботы и преданность, которыми она его окружила с самого детства. Его увлечение казалось ей самым черным преступлением. Она игнорировала его, когда вышла к столу и попробовала кушать.

Такое острое состояние длилось лишь одну ночь. Здравый рассудок, которым не руководила игра мучительных страстей, снова заговорил в Елене. Вчерашние подозрения казались ей бессмысленными. Вместе с тем, бесспорны были радость и смущенная поспешность, которые выказывал Марк, когда вел в танце эту даму. Никакая другая женщина не производила на него подобного впечатления. Чем объяснить то смущение, какое им овладевало в ее присутствии? Этот коварный вопрос послужил камнем преткновения для той снисходительности, которую проявляла Елена, чтобы успокоить свое сердце, и все ее сомнения готовы были возникнуть с новой силой. Но слишком глубока была в ней надежда, чтобы сразу улетучиться. Ей пришел в голову блестящий и вместе с тем такой простой ответ: «Как я глупа! Это просто льстит его самолюбию!»

До середины следующего дня она на этом успокоилась. Около пяти часов Марк вдруг вытащил часы и стал проявлять признаки нетерпения. Чтобы заставить его забыть вчерашнюю сцену, его мачеха отправилась с

[illegible] в «Семирамис». Мадам Алискан была там. Это чуть не испортило настроения Елены; она добросовестно принялась изучать ее, спрашивая себя, что могло польстить Марку в знакомстве с этой женщиной. Она танцевала чудесно, это было неоспоримо. Но какая нелепость говорить, что она прелестна! В общем ее облик производил благоприятное впечатление; при ближайшем же беспристрастном рассмотрении несколько отталкивало ее лицо, сплошь покрытое сетью мелких морщин; зато у нее был изящный и модный силуэт. Вот к каким выводам приходила Елена, старавшаяся оценить ее с возможным хладнокровием. Тем не менее она испытывала глухое беспокойство, не позволявшее ей углублять-ся в эти наблюдения. Незримые нити соединяли ее с этой женщиной, о которой она судила не объективно, а с точки зрения того удовольствия, которое ее присутствие доставляло Марку. Возможно, что в эти минуты она уже не так высоко ценила очарование своей величавой осанки и готова была считать себя до смешного старомодной.

Эти чувства проносились в ней, как легкий дым, вызывая своей неожиданностью мгновенную боль, но она и не думала на них серьезно останавливаться. Только через некоторое время они приняли определенную форму. Под влиянием размышлений, сначала прихотливых и небрежных, затем уже созревших, приобретших вскоре необычайную силу, ей пришла в голову мысль о каком-то недоразумении, которым могло быть объяснено поведение Марка. Сколько успокаивающего и вместе с тем волнующего таилось в этом предположении!

Ей стало ясно, что если мадам Алискан казалась Марку обворожительной, то не природные ее качества способствовали такому впечатлению, а то изумительное искусство, при помощи которого делает себя красивой современная женщина. В залах «Семирамиса» не было недостатка ни в более свежих, ни в лучше танцующих женщинах, на которых он мог бы остановить свой выбор. Но они, пожалуй, были не так роскошно одеты, а очень молодых людей инстинктивно, как дикарей, привлекают блестящие наряды.

Удрученное состояние, овладевшее Еленой, длилось недолго. Она вдруг почувствовала прилив счастья. Если увлечение Марка всеми ухищрениями современной моды брало верх над естественными порывами его души, которые должны были его толкать к милым и при-

[illegible]ятным женщинам, [illegible]тогать при помощи [illegible]вь к его новым вк[illegible] следующую недели[illegible] с воодушевлением [illegible]она заказывала, п[illegible] порядок туалеты, п[illegible] свой внешний обли[illegible]шился ей теперь бе[illegible] было сухо предложе[illegible]ее раньше шикарны[illegible] число своих клиенто[illegible] изысканный покрой [illegible]тратить деньги без в[illegible]

Однажды утром [illegible]ную в красном с сер[illegible]вым золотым узором[illegible]ских туфельках и стр[illegible]

— Как, это вы!— [illegible]ванным голосом, едва[illegible]ния.

— Почему бы мне [illegible]ких? — Она подошла [illegible]брежным тоном спро[illegible]

— Вы прелестно п[illegible]

— Тебе нравится м[illegible]

— Да, очень!

При последних слов[illegible]чтобы лучше рассмотре[illegible]бежала по телу Елены [illegible]ловкость от этого разгу[illegible]к собственная неподви[illegible]ние. Тогда чуть замет[illegible]Марка и, чтобы скрыть [illegible]к нему:

— Ну, вот! Я отка[illegible]вала. Ты понимаешь, ч[illegible]просто смешно. Ведь я е[illegible]вной! Если уже сейчас [illegible]вечные одеяния, то, спра[illegible]ся делать в пятьдесят ле[illegible]ыглядеть? Мне кажется[illegible]«Семирамиса» я стала [illegible]ощении. На этих [illegible]

ятным женщинам, не могла ли бы одна из них рассчитывать, при помощи этих же ухищрений приноравливаясь к его новым вкусам, удержать его подле себя? Всю следующую неделю Елена провела как в лихорадке. С воодушевлением невесты, занятой своим приданым, она заказывала, подбирала, примеряла, приводила в порядок туалеты, полная страстного желания изменить свой внешний облик. Прежним поставщикам, показавшимся ей теперь безвкусными и слишком скромными, было сухо предложено прислать счета, и отпугивавшие ее раньше шикарные ателье мод отныне записали ее в число своих клиенток. Главным ее требованием было: изысканный покрой и быстрота исполнения. Она стала тратить деньги без всякого счета.

Однажды утром Марк увидел ее входящей в гостиную в красном с серым кимоно, затканном причудливым золотым узором, в отороченных серебром китайских туфельках и стриженую.

— Как, это вы!— воскликнул он глухим и взволнованным голосом, едва оправившись от первого изумления.

— Почему бы мне не быть похожей на всех остальных? — Она подошла к зеркалу, поправила локон и небрежным тоном спросила:— Как ты меня находишь?

— Вы прелестно причесаны!— ответил он.

— Тебе нравится мое платье?

— Да, очень!

При последних словах юноша поднялся и подошел, чтобы лучше рассмотреть ее. Дрожь удовольствия пробежала по телу Елены. Но внезапно она ощутила неловкость от этого разглядывания, и ей стали тягостны и собственная неподвижность, и воцарившееся молчание. Тогда чуть заметным движением она отстранила Марка и, чтобы скрыть смущение, с жаром обратилась к нему:

— Ну, вот! Я отказалась от моего старомодного вида. Ты понимаешь, что в моем возрасте это было просто смешно. Ведь я еще молодая женщина, мой дорогой! Если уже сейчас я начну носить эти старообразные одеяния, то, спрашивается, что же мне останется делать в пятьдесят лет, во что мне придется тогда облачаться? Мне кажется, что благодаря посещениям «Семирамиса» я стала несколько разумнее в этом отношении. На этих днях я продала весь мой старый хлам!

[illegible] спутал ее с удивлением. Она схватила его [illegible] и потащила за собой.

— Пойдем посмотрим мои сокровища!

Марк еле поспевал за ней, захваченный вихрем жизненных сил, исходивших от всего существа этой женщины, переживающей вторую молодость. Луч солнца проникал в комнату. Этого было достаточно, чтобы вынимаемые из шкафа платья приобретали нежную и мягкую окраску. Прикладывая их к фигуре для того, чтобы Марк мог оценить, как великолепно они гармонировали с ее цветом лица, Елена показывала их одно за другим с видом одновременно смущенным и довольным. Пальцы ее слегка дрожали, и волнение сжимало горло так сильно, что она не в состоянии была произнести ни слова.

Особенное удовольствие ей доставляли шляпы. Их было шесть. Надевая одну за другой энергичным жестом, она обсуждала каждую в отдельности, с сияющим видом любуясь своим отражением в зеркале и стоя в пол-оборота к Марку. К каждой из них она подбирала какое-нибудь платье. И вновь приходила в восторг то от необычайно удачного сочетания цветов, то от совершенно неожиданного эффекта, который давало то или другое соединение. Сначала Марк, ошеломленный всем этим, рассеянно выражал свое одобрение, потом похвалы его стали все чаще и горячее. В нем проснулось чувство художника. Последний туалет, который Елена приняла примерять, привел его в полный восторг, и он воскликнул с энтузиазмом:

— Что и говорить, мамочка, вы неотразимы!

Ей показалось, что в этих пророческих словах заключалось ее будущее. Тем не менее по привычке она возразила:

— Достаточно, если ты скажешь, недурна собой.

Он прервал поток ее красноречия. Они рассмеялись. Никогда еще во взаимном общении друг с другом они не чувствовали такой лишенной всякого стеснения товарищеской близости! Эти валяющиеся в беспорядке платья и шляпы сближали их, как двух детей различного возраста сближает страстная любовь к одной и той же игрушке. Чувство неловкости, овладевшее было Еленой в гостиной, теперь бесследно исчезло. С присущей ей самоуверенностью, зная Марка, она уже не сомневалась в своей победе над любой соперницей.

Когда они в первый раз после этого попали в «Семирамис», вопреки обыкновению там было мало посетителей, и мадам Алискан среди них не было. Но на следующий день они ее увидели. Марк, который накануне, в ее отсутствие, очень много танцевал со своей мачехой, теперь стал чрезвычайно мало ею интересоваться и осыпал знаками внимания мадам Алискан, что ничуть не трогало Елену. Когда эта зрелая красавица отдыхала между двумя танцами, Елена, совершенно случайно и не преднамеренно посмотревшая в ее сторону, поймала ее на том, что она, вытянув голову, рассматривала в лорнетку ее туалет: ясно было, что мадам Алискан ей завидует.

Обычно у Елены было много досуга. Она проводила его либо в чтении, либо в шитье или же производила ряд изменений в обстановке квартиры, внешний вид которой зависит от расположения тысячи деталей. Но теперь она была настолько занята своими туалетами, что совершенно забросила чтение, и всякие заботы, не служившие к украшению ее особы, казались ей не стоящими внимания. «Я хочу, чтобы Марк гордился мной,— повторяла она себе,— чтобы ему было лестно сопровождать и развлекать интересную и модно одетую женщину».

Бессознательно она начала входить в эту новую роль. И скоро ушла в нее с головой. Сначала чуть заметный, потом более подчеркнутый грим заменил легкий слой пудры, которым она обычно по утрам покрывала свое лицо. Он очень хорошо подходил к стриженым волосам и казался почти необходимым. Многие женщины, сидя в танцевальных залах, не стесняясь окружающих, совершенно открыто освежали свой грим. Елена, как и все они, держала теперь в своей сумочке карандаши для губ, карманный гребешок, пудру и румяна. Время от времени, внимательно разглядывая в зеркальце то уголок глаза, то цвет губ, она вытаскивала из сумочки нужные принадлежности и поправляла недочеты непринужденно, как у себя дома за туалетом,— не элегантная и грубая привычка, заимствованная светскими дамами у женщин самого низкого пошиба.

Она совершенно потеряла чувство меры. Танцуя, она старалась прижаться к Марку, делая томными и расслабленными свои движения, оправдывая это тем, что ей приходится преодолевать отсутствие природной гибкости и что только так она попадает в верный тон.

Таким образом весь ее теперешний облик, мелькавшее отражение которого она неизменно ловила в условном зеркале, был полной противоположностью тому отражению, которое ей некогда бросало это же зеркало. И насколько раньше она выделялась выдержанностью и благородством своей осанки, настолько теперь она совершенно терялась среди бесчисленного количества других женщин.

В общем она жила без особых тревог. Ее рассудочность одержала верх над первыми импульсами, они уже не проявлялись больше с такой бешеной силой. Если Марк даже танцевал с той или другой женщиной, то ведь в сущности дело шло о столь кратковременном удовольствии, что Елену при ее самомнении это ничуть не трогало. Разве у нее не было уверенности, что через час или даже скорее она будет владеть им полностью и безраздельно! Эта перспектива успокаивала ее. Часто она не могла сдержать улыбки, такими нелепыми казались ей прежние сомнения.

Так продолжалось вплоть до вечера одного дождливого дня, когда, случайно заглянув в смежную с большой залой комнату, отделенную от последней двойной портьерой, она увидела в зеркале отражение Марка, целующего плечо мадам Алискан.

Глава VII

Утром, через день после этого неожиданного открытия, когда не успевшая еще оправиться от случившегося Елена неторопливо одевалась в своей комнате, к ней постучалась горничная.

— Господин Ларок ожидает в гостиной. Он спрашивает мадам.

«Кто это господин Ларок?.. Господин Ларок?— Она с минуту подумала и вспомнила:— Это, должно быть, один из директоров того общества, на судах которого плавал Мишель».

— Хорошо,— ответила молодая женщина,— скажите, что я сейчас иду.

Минут через пять она вышла. Посетитель стоял возле пианино. Он поклонился ей со смущенным видом. Она пригласила его сесть.

— Мадам,— сказал он,— я принес печальные изве-

— Мой муж? — воскликнула она, внезапно похолодев.

— Да, мадам. Только что получена телеграмма. Капитан возвращался во Францию. Он переезжал через Суэцкий канал, и с ним вчера сделался солнечный удар.

— О! — могла только произнести Елена. Она повторила:— Солнечный удар,— как будто в этих словах было что-то непонятное; затем быстро спросила:— Его состояние серьезно?

— Увы! Да... Мы опасаемся... Чрезвычайно серьезно!.. Никакой надежды, к несчастью, не может быть.

— Да что же, наконец, сказано в телеграмме? — воскликнула она.

Господин Ларок с печальным видом опустил глаза. Елена снова почувствовала, как цепенеют от холода ее члены, когда она испытующе вглядывалась в это отворачивающееся от нее лицо. Она уже не сомневалась, что муж ее умер, застигнутый смертью вдали от дома. Но все-таки она хотела удостовериться в этом. Она прошептала робко:

— Все кончено?

Посетитель ответил ей легким наклонением головы. Тогда она начала плакать. Марк как раз за двадцать минут до этого отправился в Ecole des Droits, с тем чтобы записаться на лекцию. Елена с ужасом ожидала его возвращения. Она плакала навзрыд, но меньше страдала от самой катастрофы, чем от необходимости объявить о ней детям. Огромность потери, неизмеримой для нее, не вызовет ли в этих юных душах животного смятения? Когда Марк вошел и увидел ее заплаканное лицо, он остолбенел от удивления. Она схватила его за руку, притянула к себе и стала покрывать лихорадочными поцелуями.

Из потока слов, которым она разразилась, он не мог вначале понять причины ее горя. Наконец ясно прозвучали слова: «Твой бедный отец!» Это вызвало в нем представление о беспомощно погружающемся в море под суровым небом корабле, об удаляющихся на веслах шлюпках, об отце, оставшемся последним на борту и затянутом в водоворот в тот момент, когда он пытался ухватиться за плывущую доску. В течение одной секунды — ужасающая драма. Узнав правду, более скромную и более прозаическую, он с криком бросился на грудь мачехе. Она чувствовала, как больно давит его подбородок, как судорожно впиваются в ее плечи, причиняя физическое страдание, его пальцы.

Однако Елена заметила, что он не плакал. Мягко высвободившись из его сильных объятий, она покинула гостиную, чтобы уведомить о случившемся несчастье Марию-Терезу. Она утешала, как могла, горько расплакавшуюся девочку; затем, взяв ее за руку, вернулась к Марку. У него был угрюмый и мрачный вид, но, по правде сказать, лицо его с наморщенным лбом и совершенно сухими глазами носило скорее печать задумчивости, нежели душевного волнения. «Это уже настоящий мужчина,— подумала она,— как он умеет держать себя в руках...» Она была далека от подозрения, что его внешний вид в точности отражал его душевное состояние. Марк испытывал неловкость от сознания, что он недостаточно предается горю, но при всем желании не находил в своем сердце боли от нанесенной раны.

Более подробные сведения пришли позже. В течение десяти дней в квартире все застыло, как будто Мишель спал своим последним сном в стенах одной из этих комнат. Все помыслы семьи были направлены только к нему, временами царившее молчание прерывалось несколькими словами, произносимыми Еленой между двумя вздохами, в похвалу его заслугам и добродетелям. Они скользили по душе Марка, не затрагивая ее глубоко, как это бывает, когда нам приходится выслушивать восхваления по адресу чужого нам человека. Иногда Марк оправдывал свою холодность редкими проблесками заботливости и внимания, которые он видел к себе со стороны отца. Но иногда он думал о себе: «Должно быть, я чудовище!»

Эта же мысль пришла в голову и Елене, когда сквозь желтый туман ноябрьского дня поезд уносил их к скромному уголку Финистэра, не обозначенному даже на карте, где должны были состояться похороны капитана. Приближаясь к месту его погребения, молодая женщина сосредоточенно думала о нем, и с каждой минутой мысль об открытой могиле на том самом месте, где пересеклись когда-то их жизненные пути, причиняла ей все большее и большее страдание. Она подняла глаза и посмотрела на Марка. Он так же спокойно созерцал проносившийся мимо пейзаж, как и сидевший слева от него кавалерийский офицер; впрочем, он весело подмигнул сестре, обращая ее внимание на пасущийся на лугу скот. Оскорбленная в своем горе Елена отвела глаза и тотчас же услышала, как

в ответ на какое-то замечание Марии-Терезы он почти громко рассмеялся.

«Какое бессердечие,— простонала она.— Разве шутят накануне погребения отца?» Внезапно как будто какая-то завеса спала с ее глаз. «Как я глупа! Все эта негодяйка! Он думает только о ней. Эта интриганка отняла его у нас!»— вихрем проносилось в мозгу Елены в то время, как она с видом оскорбленной в лучших чувствах женщины смотрела на своего пасынка. За все десять дней, которые прошли с момента получения ужасного известия, она впервые вспомнила об этом поцелуе в плечо, случайной свидетельницей которого была. Это ее удивило, но она приписала своему хорошему характеру и даже поставила себе в большую заслугу то, что могла об этом так долго не вспоминать.

Горе, которое она испытывала, было отчасти плодом самовнушения. Чувствуя, как оно разрастается с каждой минутой, она в то же время начинала сомневаться в его искренности. Ей казалось, что чистота ее горя нарушалась примешивавшимися сюда угрызениями совести. Когда в церкви во время отпевания она взглянула на Марка, стоявшего возле самого гроба с примерным, но не выражавшим ни тени отчаяния видом, ей показалось, что она должна плакать за двоих, и она лихорадочно стала придумывать новые поводы, которые могли бы еще больше увеличить ее горе. Ребяческое притворство! Трогательная уловка грешницы, в глубинах души выискивающей свои прегрешения, дабы удвоить раскаяние. Она припоминала наиболее яркие примеры нежности, снисходительности, доверия и любви, которые проявлял по отношению к ней муж, умилялась той деликатности, которой были проникнуты все его поступки, и обвиняла себя в черной неблагодарности. Но эти ее размышления беспрерывно прерывались другой, назойливой и упорной, как ядовитая муха, мыслью.

Даже при звуках «Dies irae», которые нестройно запели певчие, она не в состоянии была всецело отдаться памяти Мишеля.

Обильно текли слезы, в груди бушевало страдание, но временами перед ней проносился образ Марка, склонившегося к плечу мадам Алискан. Тщетно повторяла она себе, что это недостойно памяти мужа, но в следующее мгновение откуда-то из глубины ее души вставали две обнявшиеся фигуры и заслоняли собой

[illegible] того. И нужно было пережить то ужасное [illegible]ление, которое производит на близких опускание гроба в могилу, чтобы Елена могла временно избавиться от этого волнующего видения. Разбитая, она зарыдала. Марк тоже плакал.

Из десятка друзей и близких, в сердцах которых могла отозваться смерть Мишеля, больше всего, конечно, был потрясен граф Кербрат.

Уверенный, что дочь его жестоко страдает, он тотчас после похорон спешно уложил свой старый сундучок, стенки которого окончательно рассохлись и дрожали, как клавиши, и с первым поездом прикатил в Париж. Добрый старик хотел, чтобы Елена в случае надобности нашла спокойное убежище в сильных и нежных руках, когда-то нянчивших ее. Его приезд был встречен почти восторженно. Молодая женщина, которую грызла мрачная тоска, видела в своем отце единственного из среды окружающих человека, нежная привязанность которого не обманула ее. Она вспомнила ссору, вспыхнувшую между ними три месяца тому назад в «Адмиралтействе», раскаивалась в своей тогдашней резкости и сознавала свою вину. Повод был слишком ничтожен для такой ссоры. Ей было теперь действительно безразлично, ценится талант Марка или нет. Пусть его делает, что хочет! Неужели для молодой женщины не найдется более интересного занятия, чем спасение юного развратника с черствым сердцем? Ведь он не ее сын. Последние слова, впервые произнесенные Еленой без тайного сожаления, помогли ей примириться с положением, все же унизительным для ее самолюбия, и отнести Марка к разряду воспитанников, самые обидные выходки которых не могут глубоко задеть. В поцелуях, которым она старалась придать холодность, безразличных взглядах, бросаемых на Марка, чувствовалось отчуждение.

Она, которая когда-то лихорадочно искала сходства в их вкусах и характерах, теперь, после похорон, с такой же жадностью отмечала их противоположность и несходство.

Такое настроение длилось у Елены во все время пребывания с ней отца. Потом мгновенно, в один день ее охватили прежние тревоги и сомнения.

В университете возобновилось нормальное течение занятий. Марк утром и вечером уходил на лекции. Елене, временное успокоение которой строилось глав-

ным образом на уверенности, что глубокий траур временно отрывает его от подозрительных удовольствий в «Семирамисе», вдруг пришло в голову, что он пользуется своими досугами, она сама не знала, где и как, для свиданий с мадам Алискан. Ее подозрение не имело никакого определенного основания, но, видя безмятежное выражение лица пасынка, она рассудила, что, если бы едва завязавшаяся интрига была прервана обстоятельствами, это сразу стало бы заметно по лицу и настроению Марка. Несколько раз Елена собиралась расспросить его, но в присутствии юноши мужество покидало ее, и всякий раз, как она собиралась заговорить, язык как бы прилипал к гортани и слова застревали в горле. То, что она считала своей священной обязанностью, смущало ее теперь, как величайшая нескромность. Она боялась встретить в юноше холодность или, еще того хуже, дерзкую правду и чувствовала, что малейшая его резкость смутит ее окончательно. А потом что бы вышло, если бы молодой человек стал отрицать? Или ее подозрения, признанные неосновательными, заставили бы ее краснеть от стыда, или за отсутствием доказательств с полной уверенностью, что будет обманута, она должна будет решиться на ложь. Можно ли себе представить более глупое положение?

В то время как она лихорадочно и трусливо искала выход, не будучи, впрочем, в состоянии остановиться на каком-нибудь определенном решении, ужасное нетерпение, кипящее в ней, диктовало ей ряд мер, способных лишь поддерживать страх и не дающих в результате никакой уверенности. Это было как бы возмездие за ее намерения, за полное отсутствие энергии.

При каждом возвращении пасынка, когда он по долголетней привычке целовал ее, подозрительный взгляд Елены скользил по узлу его галстука, и она медлила, стараясь уловить какой-нибудь запах на его протянутом для поцелуя лице. Но ведь узел галстука всегда можно поправить, и не все духи обладают стойким запахом... Единственный способ — следить за Марком в Париже — дал бы, казалось ей, быстрый и несомненный результат. Но тем не менее молодая женщина без дрожи отвращения не могла даже думать об этом. Между Марком, которого она еще так недавно провожала в школу, и тем, за которым теперь пришлось бы следить, была такая огромная разница, как между двумя различными существами.

Когда волнение ее достигло апогея и нравственная пытка стала совершенно невыносима, в уме Елены, помимо ее воли, возник было новый план. Ее отчаяние обрело в нем некоторое успокоение до тех пор, пока [illegible] поворот мысли не раздавил ее, как запретный плод.

В ясный зимний день план этот вылился в законченную форму. В полдень, проходя по одной из центральных улиц Парижа, Елена заметила на стене огромную афишу. Это была афиша частного сыскного агентства, вся испещренная синими надписями. В центре ее было изображение замка́, сквозь скважину которого блестел широко раскрытый глаз.

Машинально прочитав текст, Елена как неслыханную низость отбросила от себя осенившую ее первоначально мысль. Честной женщине не надлежит прибегать к приемам, которые ставят ее в соприкосновение «с тем, что вся нация считает самым низким». Разве загримированные и находящиеся под покровительством действующих законов доносчики не являются все же родными братьями шпионов?

Дней пять-шесть она старалась побороть растущий соблазн. Как нарочно, многие стены в городе покрылись афишами, на которых нагло и ярко красовались замок и глаз, и каждый раз, когда молодой женщине приходилось выходить из дома, на глаза ей попадалась какая-нибудь из этих афиш, и каждый раз Елена думала о том, что, если агентство позволяет себе такие расходы на рекламу, значит, у него большое количество дел и клиентов, очевидно хорошо обслуживаемых. Кроме того, это доказывало, что мучившие ее сомнения разделялись далеко не всеми. Мало-помалу сомнения стали мучить ее меньше и, наконец, рассеялись вовсе. Единственным препятствием к исполнению ее желания являлись унизительные и гнусные шаги, которые пришлось бы ей предпринимать.

В одно прекрасное утро Елена решилась.

Презрительная усмешка скривила губы молодой женщины, когда такси, в глубине которого она притаилась, подвезло ее к агентству на улице Виньон.

Контора агентства занимала целый этаж.

Сначала Елену ввели в приемную — маленькую комнатку, в которой едва помещались два кресла; справа и слева находились еще пять-шесть помещений такого же размера. Это расположение, которое не позволя-

посетителям встре
о гнусности места
себя пленницей —
«Какое ужасно
рясь, — эта отврат
все на свете, за ис
Была минута, к
бежать, предпочит
которой она должна
водимую ей уверенн
пригласил ее к дире
Директор был че
ким, квадратным по
гронизывающим, же
лицо ожидала увиде
ким кивком головы
вежливо, но сухо:
— Какую услугу
Елена пробормота
— В ваших интер
хотите, чтобы задача
сообщите нам сведени
ны. Избегайте игры с
потерянным временем
нам, начинают с того
важные обстоятельств
ное положение без во
ший визит они нам ис
гывают?
— Ничего, — прого
— Теперь, сударын
Она говорила очен
человека, сидящего за
подозрительного патер
чтобы рассеять момен
Шпион в таком образе
времени она прерыва
убедиться в том, что
он слушал ее, изредка
кивая.
Когда она кончила,
— Посмотрим... У-
тре... по поводу
подозрений

посетителям встречаться друг с другом, напомнило ей о гнусности места. Стены — а в них она чувствовала себя пленницей — стесняли дыхание.

«Какое ужасное помещение,— подумала она, озираясь,— эта отвратительная конурка видела, вероятно, все на свете, за исключением благородной души».

Была минута, когда, потрясенная, она готова была бежать, предпочитая свои терзания той гнусности, которой она должна будет расплатиться за столь необходимую ей уверенность. Но в эту минуту вошел слуга и пригласил ее к директору.

Директор был человек жандармского типа с широким, квадратным носом, густыми бровями и усами, с пронизывающим, жестким взглядом — совсем не такое лицо ожидала увидеть Елена. Он поклонился ей коротким кивком головы и предложил сесть, потом спросил вежливо, но сухо:

— Какую услугу, сударыня, могу я вам оказать?

Елена пробормотала несколько невнятных слов.

— В ваших интересах мне все объяснить. Если вы хотите, чтобы задача была быстро и удачно выполнена, сообщите нам сведения, которые могут быть нам полезны. Избегайте игры слов, иначе ваш визит будет лишь потерянным временем. Многие лица, обращающиеся к нам, начинают с того, что скрывают от нас некоторые важные обстоятельства, что ставит нас в затруднительное положение без всякой пользы для них. В следующий визит они нам исповедываются. Что же они выигрывают?

— Ничего,— проронила Елена,— вы правы.

— Теперь, сударыня, я вас слушаю.

Она говорила очень мало. Авторитета этого сухого человека, сидящего за столом, где она ожидала увидеть подозрительного патера, было достаточно для того, чтобы рассеять моментально все ее предубеждения. Шпион в таком образе казался ей менее низким. Время от времени она прерывала свой рассказ, чтобы подумать и убедиться в том, что не пропустила ничего важного. Он слушал ее, изредка набрасывая заметки в своем блокноте.

Когда она кончила, он их перечитал.

— Посмотрим... улица Вано... молодой человек в трауре... по поводу личности его любовницы, никаких подозрений... Я берусь за это дело,— заключил он.

Потом встал и взял расчетную книжку, которая лежала на этажерке за его креслом:

— У нас, сударыня, принято платить вперед. Так как дело идет о слежке, которая может затянуться, и о справке, вероятно, довольно деликатного свойства, которая потребует обоснованных, я не могу назначить вам точную сумму. Франков пятьсот, я думаю, будет достаточно... положим, шестьсот, чтобы не ошибиться в случае непредвиденных осложнений, — прибавил он, заполняя листок. — Но я не даю на этот счет никаких гарантий. Все будет зависеть от времени, затраченного сыщиком.

Елена дрожащими руками отсчитала требуемую сумму и положила ее на стол.

— Еще одно слово, сударыня: я не знаю, замужем ли вы и доходит ли до вас корреспонденция без посредников. Можем ли мы адресовать вам свои донесения на дом?

— Отчего же,— возразила Елена,— конечно.

Елена была поражена, что все кончилось так просто. В следующее мгновение ее смятенной душой овладел полный покой, физически она ощущала странное наслаждение и как бы легкость бабочки.

На улице, еще мокрой от недавнего ливня, нескромность бледного солнца казалась ей очаровательной. Она критически вспоминала свои недавние сомнения и наивно удивлялась своей нерешительности в таком простом деле.

Но уже в тот же вечер нетерпение снова овладело ею. На следующий день за завтраком она наблюдала за Марком и, когда он уходил на лекции, испытывала мучительное чувство неловкости при мысли, что нанятые ею сыщики от самого дома станут следить за каждым его шагом. Никогда еще не видела она на его лице такого безмятежного спокойствия и в его глазах такого чистого юношеского задора. Она старалась уверить себя, что предпринятые шаги совершенно излишни. Но все же как ценно будет для нее донесение агентства! Она сознавала, что, пока не получит этого донесения, сон ее будет тревожен и жестокие подозрения будут постоянно колебать ее доверие. Ничто не могло изгладить ужасного впечатления от поцелуя в «Семирамисе». Принимая во внимание возраст Марка, она допускала, что это могло быть простое увлечение, одно из тех, которые так свойственны юношеству

но, чтобы убедиться в этом, ей нужны были доказательства.

Пять дней прошло в напряженном ожидании. Елена была как на угольях. Она никуда не выходила из дома и лихорадочно караулила каждый приход почтальона, каждый звонок в швейцарской. Ничего... Она написала в агентство с просьбой ускорить дело, но в последнюю минуту, когда письмо уже было запечатано, разорвала его, не желая давать в руки гнусных шпионов своей подписи. На шестой день вечером Елена получила донесение агентства, написанное на трех больших листах. Не читая еще, по его объему молодая женщина поняла, что тревога ее была небезосновательна. Если бы слежка не дала определенных результатов, донесение было бы значительно короче. Бегло пробежала она послание, пропуская строчки, в которых сквозила страшная истина разоблачения. Потом, сделав над собой усилие, медленно, строчку за строчкой, изучила она документ. Руки ее дрожали, сердце, казалось, готово было остановиться, холодная дрожь пробегала по спине.

Не было ничего двусмысленного в этом ужасном послании.

«Три дня тому назад,— гласило оно,— и еще накануне, в час сорок минут, известный вам молодой человек отправился по таким-то и таким-то улицам в один дом на малом бульваре Латур-Мобур. Видели, как он поднимался на третий этаж и вошел в квартиру некоей дамы — вдовы Алискан. Каждый раз около четырех часов пополудни он выходил оттуда и возвращался домой в автобусе. Осторожно допрошенное доверенное лицо сообщило, что уже более месяца визиты его стали обычным явлением в доме. Вдова принимает его в полуодетом виде. Окружающие уверены, что она его любовница».

Горячая волна залила щеки Елены. Минуту ей казалось, что она теряет сознание. В ее мозгу слово «любовница» начерталось огненными буквами, в ушах звенело до боли. Внезапно ее пальцы, сжимавшие документ, наткнулись на булавку: к последней странице был приколот еще листик, которого она сразу не заметила. С усилием поборов душевную боль, она прочла следующее:

«Мадам А. сорок шесть лет. Рожденная Тереза-Бернадетта-Августина Перру, вдова Карла-

...сера А., бывшего биржевика, скончавшегося в Париже в 1920 году. Имеет замужнюю дочь, проживающую в Бордо, и сына офицера, воспитанника Сен-Сирской военной школы, который в настоящее время служит в гарнизоне Клермон-Феррана. Обладает недурным состоянием. Занимает хорошее положение, но живет замкнуто. Со слов знающих ее людей, заслуживающих доверия поведения хоть и не совсем безупречного, но легкомысленного. Впрочем, известным вам мадам человек является ее единственным любовником в настоящее время. В случае надобности дополнительные точные сведения могут быть добыты новым обследованием».

Слова «дополнительные» и «точные» были дважды подчеркнуты.

«Настоящие мошенники,— подумала Елена, нервно комкая бумагу и пряча ее в глубину комода.— Какая гадость. И подумать только, что правительство их поддерживает! Головы этих подлецов были бы очень подходящей мишенью для револьверных пуль!»

Как раз в эту минуту Марк постучал к ней в дверь. Он пришел спросить у нее книгу, забытую накануне, и остановился, пораженный выражением и цветом ее лица.

— О мамочка!— воскликнул он.— Какой у вас странный вид! Уж не больны ли вы?

— Нет,— сказала она.

Он настаивал, но, не отвечая, молодая женщина встала, передала ему требуемую книгу и сухим тоном попросила оставить ее одну.

Она положительно не могла выносить его присутствия. Он внушал ей отвращение. Его чистые черты, казалось ей, излучали порок. В губах его и глазах скрывались тысячи признаков лицемерия. Некоторые слова юноши преследовали ее, и, догадываясь, на какие речи он способен, она ненавидела их невинность.

Всю ночь душевная мука не давала Елене заснуть. В лихорадочном бреду ей представлялся Марк в различных возрастах, причем мадам Алискан занимала все Елены, место. Ужасная женщина была его воспитательницей, но вместе с тем и любовницей. Вот он — в возрасте мальчишки, она бранит и бьет его, потом, когда он плачет, привлекает к себе и дает целовать обнаженные груди. Боже! Как горят ее глаза. Месяцы, годы

продолжается такое гнусное обращение. Потом однажды она бросает его на свою постель...

С тех пор обезличенный ребенок стал ее добычей и живет лишь для того, чтобы своей невинностью постоянно освежать ее гнусное тело. В каждой картине, проходившей в ее больном воображении, Елена видела также и себя в качестве сумасшедшей женщины, богохульства и жалобы которой веселили неступленную любовницу и не доходили до сознания юной жертвы. Напрасно она умоляла, проклинала — ужасная пара обращала на нее циничные взоры и не упускала ни одной ласки.

Грудь Елены разрывало негодование, горькое бессилие судорогой сводило члены, порой отвращение заставляло ее содрогаться. Сухой, горящий взгляд ее пронизывал тьму. Потом мысли ее принимали более спокойное течение, и она разражалась рыданиями.

Когда утром она увидала Марка и он по обыкновению подошел ее поцеловать, она была совсем изнурена, но чувствовала себя гораздо спокойнее. Сознание долга обуздало ее нервы и вернуло сердцу энергию. Будучи в состоянии теперь оценить положение, она разумно сознавала, что оно было серьезно, но что страдание значительно преувеличивало его значение. Ведь безумие у молодежи вещь обыкновенная. Стоит ли придавать ему значение катастрофы? Разве в сумасшедшем доме обращают внимание на насморк, разве дрожат из-за простого гриппа, который можно побороть самыми примитивными средствами? Раз Марк не обладал той деликатностью, благодаря которой некоторым натурам легко удается побороть дурные инстинкты, значит, нужно положить конец его нынешнему существованию. Кроме того, оставалась надежда, что его угарное увлечение будет непродолжительно, как это часто бывает у очень молодых людей.

«Но как помочь ему?— мучительно думала Елена — Как воздействовать на этого безумца деликатно, но верно?»

Самый простой способ — объясниться с Марком — не приходил ей в голову. Ни за что на свете не хотела бы она показаться ему осведомленной.

В двадцатый раз с горечью и тоской перечитывала она донесение агентства, как вдруг ее осенила блестящая мысль. Что, если Марк, возбужденный страстностью любовницы, не замечает возраста этой женщины?

Одна подробность еще больше утвердила ее в этом мнении. Марк не знал, что у его любовницы есть двое детей, и настоящее время уже взрослых. Чего же проще — следует предупредить его об этом.

«Если он и действительно была его матерью, — думала молодая женщина, — даже он и сомневалась хоть одну минуту в подобном случае... В этом моя сила. Он узнает все... Я ее разоблачу», — энергично решила она, ложась в постель.

Возбуждение не давало ей уснуть. С восторгом представляла она себе, какое сильное впечатление произведет на Марка такое открытие. Однако нужно было найти предлог.

Целые дни мозг Елены усиленно работал над тем, чтобы разоблачение, которое она хотела сделать, произошло совершенно естественно, не возбуждая в Марке ни малейшего подозрения. Основательно обдумав несколько планов, она пришла к тому заключению, что даже самый благоразумный был все-таки бессмысленным. Кроме того, масса препятствий мешала приведению их в исполнение.

Блеснувшая было надежда на удачу сразу омрачилась, и Елена предалась отчаянию, не трусливому на этот раз, но свирепому. Чувствуя себя на пути к успеху, она бесилась при мысли, что пустячное препятствие преграждает ей путь. Это было чувство, подобное тому, какое испытывает человек, получивший долгожданное наследство, но из-за отсутствия ничтожной бумажонки лишенный возможности распоряжаться им. К чему благоразумие и осторожность! То, что было лишь притязанием, становилось правом, обязанностью. Всякая тактика казалась ей недостойной, всякая осторожность — унизительной. Надо действовать с апломбом, устрашить, обезоружить — таково было направление ее характера.

В тот же вечер, за обедом, ничем не выдавая своего волнения, она обратилась к Марку:

— Да, я было забыла... Как это странно. Париж ведь так велик... Ты знаешь, эта твоя партнерша по танцам из «Семирамиса»...

— Моя партнерша? — отозвался он. — Какая партнерша?

— Да ну, эта блондинка... вспомни! Ты мне ее называл.

Со смущенным видом он пробормотал:

— Мадам Алискан?

— Алискан, да, вот именно! Мадам Алискан... Представь себе, я ее встретила в Лувре!

— А,— проронил Марк.

— Только что,— продолжала Елена.— Она была там с сыном. Он недурен, ее сын. Маленький, как она, но гибкий, элегантный, хорошо сложен... образцовый молодой офицер.

Марк сильно покраснел.

— А как вы узнали, что это ее сын?— с усилием спросил он дрожащим голосом.

— Очень просто, это вышло само собой, мой дружок!— воскликнула она весело.— Я шла за ними в громадной толпе. Когда называют кого-нибудь, как это делал он, мамой, это довольно ясно, мне кажется!

Она лукаво потрясла головой и засмеялась. Марк чуть не плакал. Минуту с бьющимся сердцем она пристально смотрела на него, мучимая желанием расспросить его и добиться, чтобы он сам объяснил ей причину своего смущения. Но присутствие дочери вернуло ей самообладание. Она нервно схватила ложку и стала накладывать кушанье. Потом продолжала с деланным восхищением:

— Все-таки она удивительная, эта женщина. Иметь сына... я не знаю, по крайней мере, двадцати пяти лет, может быть, женатого, уже отца семейства, и танцевать в «Семирамисе». Я хотела бы походить на нее, когда достигну ее возраста!

Глава VIII

Елена хорошо знала своего пасынка.

Часто его крайне эгоистическая натура не поддавалась наблюдению; зато многолетняя привычка руководить юношей научила ее распознавать и предугадывать его настроение. После вышеописанной сцены, как она и ожидала, к увлечению Марка стала примешиваться доля горечи. Отношение его к мадам Алискан основывалось главным образом на самолюбии и ребячестве. Элегантность ее сначала просто ослепила юношу, и, без сомнения, блестящий перстень, который она носила на левой руке, сыграл немаловажную роль в его увлечении, пожалуй, даже бо́льшую, чем ее чудные глаза. С другой стороны, не зная еще ее имени и не-

смотря на полную свою неопытность, он отдавал себе отчет в том, что нравится ей и волнует ее. Это чувствовалось в ее смехе, в некоторых словах, подтверждалось взволнованными взглядами, которые он часто ловил на себе. Скоро их отношения стали свободнее, и целой гаммой легкомысленных движений и слов, которые сильно возбуждали Марка и, видимо, забавляли мадам Алискан, она добилась его доверчивости. От доверчивости до признаний путь был недолог. Марк прошел его нерешительно, но быстро.

Когда в «Семирамисе» Елена увидела его склоненным к обнаженной шее мадам Алискан, он второй раз дарил ее поцелуем — залогом любви.

Неожиданно скончался его отец. Это печальное событие было для него как мрачная туча, однако недостаточно большая, чтобы заслонить окончательно лучи солнца, и лишь на мгновение омрачившая его яркое сияние.

Горе застигло его в период головокружительного увлечения, вот почему он так слабо почувствовал его. В день похорон отца, перед тем как ехать на кладбище, он послал своей даме отчаянное письмо, в котором, впрочем, сообщение о постигшем его несчастье заняло три строчки, а сердечные излияния — три страницы. Тотчас по возвращении с кладбища он помчался на почту. Там для него лежала открытка. Мадам Алискан ждет его. Свое соболезнование она выразит ему лично. Он выслушал его, зарывшись лицом в грудь возлюбленной.

Как можно упрекать Марка за его дальнейшее поведение? Если взрослый мужчина не может сплошь и рядом совладать со своей страстью, то неудивительно, что юноша отдается ей целиком, в особенности если она льстит его самолюбию. В этой кокетке Марк нашел любовницу, которая с самого начала их связи полюбила его страстно, безумно. Малейшая его прихоть являлась для нее законом и принимала значение желания, от исполнения которого зависела их любовь. У него, этого неопытного мальчика, немолодая женщина спрашивала совета, причем мнение его принималось всегда беспрекословно. В его слабых руках находилась судьба существа, весь смысл жизни которого заключался в том, чтобы признаваться ему в этом. Тысячи нежных, изобретательных выдумок делали ее обожание еще более трогательным.

Приписывая ей легкомысленное поведение, инфанта ателетта не солгали Елене.

С самого вдовства единственной целью жизни [illegible] Аиссан было любовное наслаждение и единственным желанием — быть любимой. Впрочем, она никогда не отдавалась из прихоти или из расчета. Никогда не принадлежала она двум мужчинам сразу. Марк явился в момент междуцарствия. В продолжение пяти месяцев вздыхала она о своем последнем возлюбленном, не видя возможности положить конец своему одиночеству.

Можно себе представить, с каким чувством она приняла признание Марка, такое робкое, нежное, восторженное, и с каким энтузиазмом и жаром отдалась ему эта женщина, готовая было окончательно впасть в отчаяние.

Если натура и опытная порочность Терезы делали из нее настоящую волшебницу в любовных похождениях, то ее страстность и утонченность ласк не поддавались никакому описанию. Порок пожирал, сжигал ее. Он заставлял ее растворяться в самозабвении, придавал проявлению страсти искусство гения.

Марк был одурманен.

Чистое детство, безмятежная юность, лишенная каких бы то ни было потрясений до этой встречи,— понятно, что должна была претерпеть его душа при таком лихорадочном безумии. Юноша чувствовал себя потерянным. Да правду сказать, он и не видел надобности препятствовать победам любви.

Гордость Марка, хотя и податливая, была подозрительна. Мы видели, как он в безумном гневе скрежетал зубами после сцены в Люксембургском саду. После разоблачения, сделанного мачехой, на эффект которого она так рассчитывала, несмотря на свое смущение, он ни на минуту не заподозрил ее во лжи. По натуре он считал Елену неспособной на обман. Да и ради чего, наконец, стала бы она его обманывать? Можно было подумать, что сделанное ею сообщение рассеяло в его голове туман, что целый клубок дремлющих доселе в его мозгу мрачных подозрений внезапно ожил, пробужденный пролитым на него ярким светом.

В комнате Терезы висел портрет молодого человека в форме Сен-Сирской военной школы, которого она выдавала за своего брата. На другой же день после разговора с мачехой юноша внимательно рассмотрел этот портрет. Сомнений не было — сходство обоих лиц было изумительное.

Марком овладело беспокойство. Сначала оно было ...ожно, как боль от нечаянно задетого распатанного нерва. Он испытывал его лишь после порывов страсти, и то ненадолго. Потом приступы стали чаще и продолжались дольше. Они не появлялись уже в определенные часы, когда истома после удовлетворенного страстного порыва могла служить им оправданием. Часто мрачным взором настойчиво искал он отпечатка времени на веках и шее своей возлюбленной.

С этого момента началось физическое отдаление, страдало самолюбие. Связь, которая в расцвете своем так льстила Марку, теперь казалась ему унизительной. Та же женщина расточала ему те же ласки, то же поклонение, которое она подчеркивала каждой встречей, каждой жертвой, но теперь это поклонение и ласки вызывали в нем неприятное чувство горечи.

Поклонение, впрочем, доставляло ему удовольствие, он пристрастился к нему, но мучился, что его совершенства не нашли себе более достойной жрицы. Эта увядающая матрона оскорбляла его своими претензиями. Нежные, страстные, так искусно варьируемые поцелуи помятых уст бесчестили его юношескую кожу.

«Хороша влюбленная пара,— думал он с досадой,— здесь еще так-сяк, сойдет как-нибудь, но если мы выйдем вместе, какой ужас! На улице с ней на кого я буду похож? На любовника или сына...»— проносилось в его мозгу, и жаркая краска стыда заливала щеки. Обе мысли казались ему одинаково гнусными.

Мачеха его притихла.

После растравлявшей ее душу тревоги Елена чувствовала, как в ней воскресает надежда. Тысячи признаков, ревниво подмечаемых ею, указывали на то, что ее разоблачение подействовало на Марка: задумчивость юноши, его озабоченный вид, отсутствие аппетита. Потом он стал вникать в мелочи повседневной домашней жизни, проявляя интерес к окружающим. Огромным усилием воли сохраняла она спокойную, приветливую улыбку на лице, избегала проявления малейшей резкости или нетерпения в разговоре, тщательно скрывая от пасынка свою тревогу.

Видя ее ровное, спокойное, всегда приветливое настроение, чувствуя постоянную нежную заботу, ничем, впрочем, не стеснявшую его свободы, Марк и не подозревал, каким бдительным надзором был окружен каждый его шаг.

Одно обстоятельство очень благоприятствовало успеху Елены. Будучи слишком молод, чтобы самостоятельно справиться со своими огорчениями и разочарованиями, юноша инстинктивно искал дружественной опоры и поддержки. Нежная забота мачехи, тихий уют домашней обстановки согревали его душу, и в них искал он успокоения. При виде прояснившегося лица Марка Елене казалось, что после знойной пустыни на нее повеяло прохладой оазиса. Она испытывала к юноше огромную благодарность, как будто под ее влиянием, ради нее самой бросил он свою ужасную любовницу. У нее было теперь одно стремление — поддержать его.

Всю жизнь, как мы видели, Елена не знала противоречий. Вкусы и желания окружающих всегда подчинялись ее собственным — она привыкла царить в доме. Теперь же, не рассуждая, из одного желания угодить Марку она совершенно стушевалась, предоставив ему первенство. Некоторые перемены в домашней обстановке, в которых она ему упорно отказывала, совершились теперь как по мановению жезла. В пустоватом, по его мнению, углу гостиной появились две китайские вазы-лампы, прежние обои заменились новыми, более светлыми. Кухарка у них была довольно тупая девушка, для которой приготовление шести-семи блюд казалось верхом мудрости; Елена стала наблюдать за ней, попробовала поучить, но, убедившись, что с этой тупицей ничего не поделаешь, под благовидным предлогом избавилась от нее. Новая прислуга была выбрана из лучшей конторы. При поступлении она подверглась подробному опросу Елены, причем последняя интересовалась исключительно любимыми кушаньями Марка, все остальное в расчет не принималось.

Так же, как и мачеха, ненавидевшая письма (Елена свела свою корреспонденцию на нет), Марк не писал писем и почти никогда не получал их. Тем не менее однажды вечером была получена «пневматичка»[1] на его имя. Обычный синий почтовый бланк не внушал никаких подозрений, но почерк показался Елене измененным. «Наверно, от этой дряни», — подумала она, содрогаясь. В первую минуту досады она готова была искрыть дерзкое послание или порвать его, но потом мысли ее приняли другое направление. Раз Марка не было дома

[1] Пневматичка — городская почто-телеграмма.

(он предупредил, уходя, что задержится на каком-то важном заседании), из этого письма можно было заключить, что любовница, прождав его целый день, решила написать. Решение указывало на близость развязки. При мало-мальском хладнокровии женщина не решится писать при первой неаккуратности любовника. Значит, неаккуратность эта была не первой, и поступок ее был вызван смущением и отчаянием души, измученной постоянными разочарованиями. Гипотеза эта имела серьезное основание. Почти уверенная в своем успехе, Елена засмеялась.

Часом позже в гостиной, под одной из китайских ламп, уверенность ее еще больше окрепла, когда она увидела, с каким, быстро, впрочем, подавленным, чувством досады Марк пробежал письмо.

Какое великолепное равнодушие выражали его глаза! В суровой складке сжатых губ чувствовалось раздражение пресыщенного человека. Потом, какой взгляд, полный робкой и доверчивой нежности, почти одинаково смущенный и любящий, поймала на себе Елена в ту минуту, когда смятый небрежно листок летел в камин.

Что могло быть красноречивее этих признаков? Если бы молодая женщина не боялась себя выдать, она схватила бы его за руки и поцеловала. С этого момента Елена перестала сомневаться. Четыре или пять телеграмм последовали одна за другой, раз даже две в один день, потом — заказное письмо. Елена с наслаждением следила за этой нравственной агонией, о которой явно свидетельствовала обильная корреспонденция. Она ясно представляла себе, как в омраченном отсутствием Марка доме покинутая любовница терзалась отчаянием, слышала ее жалобы и проклятия, видела судорожно искривленный рот, полные смертельной тос-ки глаза, распухшее от слез лицо. Слышала она еще страстные мольбы, к которым Марк относился с таким легкомысленным равнодушием. Жестокость пасынка казалась ей божественной. Приписывая ему фальшивый характер и возмутительную душевную низость, Елена вкладывала в уста его жестокие оскорбления, каждый звук которых, резко уязвляя ту, покинутую, для нее был сладкой музыкой.

Неожиданно в одну из сред пыл Елены угас.

Завтрак кончался, когда к дому подкатил автомобиль. После недолгих переговоров кухарка впустила

шофера. Он привез Марку письмо и заявил, что ему приказано ждать ответа.

— Хорошо,— сказал молодой человек, быстро прочитав письмо.— Скажите, что буду.

Потом обратился к мачехе:

— Один товарищ ждет меня...

— А! — проронила Елена, не выказывая ни малейшего волнения.

Да она, в сущности, и не испытывала волнения. Наоборот, чувства, в которых она не хотела сама себе признаться, смутившие ее душу, скорее походили на радость. Вызванный таким настойчивым образом молодой человек, вероятно, преподнесет своей любовнице несколько горьких истин. Ведь это был лишний шаг к развязке.

Подбежав к окну, она стала наблюдать, стараясь остаться незамеченной. У подъезда стоял автомобиль. Как только пасынок ее сел в него, машина загудела и двинулась. Елена сначала осторожно, не двигаясь с места, следила за ним глазами, потом высунулась, стараясь не терять его из виду, но, когда автомобиль скрылся за углом, молодая женщина почувствовала вдруг страшную слабость, руки повисли и стали влажными, бессильно опустилась она на стоявшее позади кресло и судорожно зарыдала. В эту минуту невыносимой казалась ей мысль, что Марк в интимной тесноте автомобиля сидит рядом с ненавистной ей женщиной. Какое новое влияние окажет эта близость на его чувства? Если бы хоть его поведение при отъезде было более успокоительное! Но несколько минут тому назад он без всякого раздражения отпустил шофера и при кажущемся равнодушии не с лихорадочной ли поспешностью одевался, чтобы бежать к старой любовнице?

Елена провожала его в переднюю, когда он уезжал.

«Положительно,— вспоминала она,— он казался счастливым, и лицо его сияло!»

При всем своем малом опыте в делах чувственности Елена все же сообразила, что страсть молодого человека после продолжительного воздержания может, хоть и ненадолго, вспыхнуть с новой силой. Что, если за каждым периодом охлаждения будет следовать гибельный возврат? Эта перспектива, ничем, впрочем, не оправдываемая, возмущала ее и повергала в отчаяние. Рассудок убивал в ней последние остатки энергии, ко-

... разбить действительность. Когда она со-
... ей борьбу со своими силами,
... тщетными. Единственное
... решение, она ясно сознавала это, покинуть
... борьбу и последовать примеру тысяч матерей,
... принимающих распущенность своих сыновей.
Но что-то более сильное, более опьяняющее, чем рас-
судок, протестовало в ней против такого решения.

Ее волнение возросло уже до отчаяния, когда Марк около пяти часов вечера вернулся домой. Чтобы скрыть это отчаяние, она приняла сухой, резкий тон. Это была старая привычка, к которой она всегда прибегала, когда хотела замаскировать свою слабость. Марк был мрачен. Он мало говорил, почти ничего не ел за обедом и, уходя спать, жаловался на сильную головную боль, но Елена не проявила к этому никакого интереса.

На другое утро, кроме мигрени, у юноши оказалась легкая ангина, общее недомогание. Тело горело как в огне. Обеспокоенная Елена пришла навестить больного и сильно встревожилась, когда, смерив температуру, убедилась, что ртуть в термометре поднялась выше тридцати девяти градусов. Немедленно был приглашен врач, который, с озабоченным видом осмотрев больного, прописал пиявки и лед на голову. Этот в высшей степени добросовестный человек выразил надежду, что все дело ограничится сильным гриппом, но отказался высказаться определенно.

Неизвестность продолжалась несколько дней. Елена жила в смертельном страхе. Как только появились первые серьезные симптомы болезни, все ее обиды исчезли, не оставив в сердце и следа. Ложась поздно ночью, вставая на рассвете, она была для Марка олицетворением нежности и преданности. Несмотря на отсутствие признаков заразной болезни, доктор настоял на том, чтобы она облеклась в халат и чепчик сиделки. Душа Елены была так же чиста, как и ее одежды. В задумчивом взоре ее, постоянно обращенном на Марка, светилось лишь горячее желание вырвать у пожиравшей его лихорадки дорогую добычу. Когда, истомленная, она закрывала глаза, слова «дифтерит», «тиф», избранные в смертельной тоске как самые зловещие, заполняли все ее мысли. Необходимо было забвение. Она искала его, приводя в порядок комнату больного, приготовляя ему питье. Иногда Марк говорил, что ему лучше. Тогда, пораженная этой милостью провидения, с серд-

...дом, приспособлен...
...одеялом его р...
Первые дни боле...
...дались один за дру...
...не читая, и можно
...это без размышлен...
...это право. В глубине
...правильным, она со...
...жении не решилась
...ной совести. Но тепе...
...это вопрос гигиены?
...жести не возбуждало
...делала это машинал...
Менее чем чере...
...состояние Марка зна...
...болезнь, оказавшаяся
...быстро пошла на уб...
...и только что пережи...
...счастливая, чтобы фи...
...лось, воскресла.
Наступал тот восх...
...кий, но светлый и рад...
...кает, как золотая верш...
...согревало улицы. Еле...
Как-то утром швей...
— Последнее врем...
...ходила справляться о
...разу не пожелала войт...
— А! — отозвалась
...ком роде?
Швейцар замялся:
— Скорее молодая,
...лить... она носит вуале...
— Она сказала вам
— Нет, не говорила
— Когда эта дама
— Вчера утром,—
...около десяти часов утр...
Марку гораздо лучше.
— Хорошо,— сказал
Дальняя родственница...
Спасибо! — бросила она
...ходу.
Словно вышитое
...счастье, которы...

нем, преисполненным благодарности, она схватывала под одеялом его руку и нежно целовала ее.

Первые дни болезни Марка телеграммы, письма сыпались одни за другими. Молодая женщина сжигала их, не читая, и можно с уверенностью сказать, что делала это без размышления. Болезнь пасынка давала ей на это право. В глубине души, считая такой образ действий правильным, она сознавала, что при нормальном положении не решилась бы на это без некоторых угрызений совести. Но теперь, кроме всего прочего, не был ли это вопрос гигиены? Никакого чувства удовольствия или мести не возбуждало в ней такое уничтожение. Елена делала это машинально, безо всякой злобы.

Менее чем через неделю после начала болезни состояние Марка значительно улучшилось, жар спал, и болезнь, оказавшаяся действительно сильным гриппом, быстро пошла на убыль. Елена, разбитая усталостью и только что пережитыми волнениями, но слишком счастливая, чтобы физически реагировать на них, казалось, воскресла.

Наступал тот восхитительный период марта, короткий, но светлый и радостный, который каждый год сверкает, как золотая вершина в конце зимы. Бледное солнце согревало улицы. Елену потянуло на воздух.

Как-то утром швейцар остановил ее:

— Последнее время какая-то дама постоянно приходила справляться о здоровье господина Марка, но ни разу не пожелала войти.

— А! — отозвалась Елена холодно.— Дама? В каком роде?

Швейцар замялся:

— Скорее молодая, чем старая... Так трудно определить... она носит вуалетку.

— Она сказала вам свое имя?

— Нет, не говорила, сударыня.

— Когда эта дама приходила в последний раз?

— Вчера утром,— ответил швейцар.— Да, вчера около десяти часов утра. Я сказал ей, что господину Марку гораздо лучше.

— Хорошо,— сказала Елена.— Я знаю, кто это... Дальняя родственница... Она, вероятно, боялась заразы. Спасибо! — бросила она небрежно, направляясь к выходу.

Словно выпитое чьим-то жадным ртом, исчезло то счастье, которым за минуту до того переполнена была

Она взяла себя в руки и заставила пройтись [illegible] Marché[1], сделать несколько покупок, но тут [illegible]ая сила потянула ее домой, и она поспешила [illegible]ь. Ее состояние походило на состояние скупца, [illegible], будучи разлучен со своим сокровищем, умирает при мысли, что какой-нибудь хитрец воспользуется его отсутствием. Чем ближе подходила Елена к дому, тем сильнее билось ее сердце, тем больше походка выдавала волнение. Короткое отсутствие казалось ей непростительным. В швейцарской она столкнулась с почтальоном, и минуту спустя швейцар передал ей телеграмму, адресованную Марку. «Это можно было предвидеть»,— подумала она. На лестнице ей стало жарко, она почувствовала, как запыхалась от быстрой ходьбы, но посчитала себя вознагражденной за усталость. Если бы по беспечности или под влиянием рассудка она не поддалась странному импульсу, заставившему ее поспешить домой, и пришла несколькими минутами позже, Марк получил бы телеграмму и прочел ее. Он не выдал бы себя принужденной улыбкой или забывчивостью, а расспрашивать прислугу Елена считала недостойным, следовательно, она бы так ничего и не узнала, и игру пришлось бы начинать сначала.

Молодая женщина машинально мяла в руках синий листок, потом спрятала его в сумочку.

Придя к себе в комнату, она вынула его, тщательно рассматривая со всех сторон, и чуть не вскрыла. Но в ту минуту, как пальцы ее готовы были сорвать печать, она с отвращением подумала, что телеграмма содержит в себе, быть может, какой-нибудь секрет любовников. У нее не хватало мужества узнать его.

— Ну что ж,— прошептала она,— сжечь его?

Три спички, одна за другой, догорели, обжигая ее дрожащие пальцы. То, что она без колебания делала неделю тому назад, теперь казалось ей преступным. Не обманывает ли она этим доверия Марка? Она знала, что, несмотря на все свои увлечения, он не переставал восхищаться ее характером и уважать ее. Смутный страх унизить себя в его глазах долго удерживал ее, но наконец она решилась — телеграмма запылала.

Когда четверть часа спустя она пришла в гостиную, от всех только что терзавших ее сомнений осталось лишь сознание слабости. Она считала, что вела себя как предусмотрительная мать, и удивлялась только тому,

[1] «Bon Marché» — парижский универсальный магазин

что так долго боролась с собой, чтобы исполнить свой долг.

Но пасынок показался ей угрюмым, задумчивым. Этого было достаточно, чтобы навести ее на мрачные мысли. Раз Марк выздоровел совершенно, чему приписать такое его настроение, как не беспокойству, вызванному непонятным молчанием любовницы? «Он такой слабый, податливый,— размышляла Елена.— Вновь завоеванный ею тогда, после ссоры, он, вероятно, расстался с ней, полный радостных надежд, и теперь, понятно, недоумевает, почему она не подает признаков жизни». Внезапно мелькнувшая мысль заставила побледнеть молодую женщину: «Но я-то — что я думала? С ума сошла? Он встал, начнет выходить, увидится с ней. На его упреки она ответит, что писала ему, и тогда я...» Она задрожала.

Беспечность ее поведения и возможные ужасные последствия впервые встали перед ней во весь рост. Перед ней разверзалась пропасть.

Марк сидел рядом с ней на диване, и, хотя ей достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться его, молодой женщине казалось, что расстояние между ними беспредельно, так сильна была в ней в эту минуту уверенность, что никогда не удастся покорить его. Одно из двух — или под влиянием справедливого негодования он станет резко порицать ее поведение, или, сдержавшись, в душе осудит ее. В последнем случае положение ее будет еще тяжелее, еще ужаснее. Во всяком случае он несомненно станет презирать ее, а может быть, даже ненавидеть. Хуже всего то, что вытекающее отсюда отчуждение заставит его искать утешения у мадам Алискан.

«До чего я низко пала, что со мной теперь будет!» — тоскливо думала Елена.

Будучи сама женщиной, она не могла не знать всех вероломных хитростей, на которые способны представительницы ее пола, когда их охватит жажда мести.

«Когда она узнает, что́ я сделала, чтобы отвлечь от нее Марка, и почувствует свою силу, чего только не придумает эта хитрая женщина, чтобы закрепить свою победу. А чем я могу защищаться? Остерегаясь и ненавидя меня, этот дурачок будет смотреть ее глазами не только на меня, но и на собственную свою низость, которую он станет всячески восхвалять. Для меня Марк потерян навсегда!»

[illegible] времени молодая женщина еще владела [illegible] но, успокаиваясь, она перестала так потрясать ее мысль, что Марк сам не в силах справить более охлаждение, она вышла из гостиной, убежала в свою комнату и разразилась рыданиями.

К огорчению примешивалось жестокое возмущение. «По какому праву эта пожилая кокетка пытается оторвать Марка от его привязанностей? Слабость и снисходительность противника сделали смелой эту презренную женщину. Пора положить предел ее наглости и дать ей, наконец, почувствовать силу, которая принудит ее к молчанию! Какая была ошибка, какая глупость так медлить! Я — жалкая трусиха!» — заключила Елена, вытирая слезы.

«Марк ведь, в конце концов, дитя. Не с ним, а с этой бездельницей следует объясниться с глазу на глаз. Ах, будь у меня побольше энергии, — повторяла она,— мы не дошли бы до такого положения!»

Более чем когда бы то ни было эта гордая душа стремилась к борьбе. Мрачный огонь оживил взор Елены. В эту минуту, когда бешенство ее преобладало над душевной мукой, если бы мадам Алискан случайно оказалась в комнате, Елена набросилась бы на нее, как простая торговка набрасывается на обидчицу. Схватить ее, трясти, наносить удары, ранить это тело, которое жаждало Марка,— вот что вознаградило бы Елену за все ее страдания лучше всяких сарказмов, вот что облегчило бы ее душу!

«Я постараюсь избежать физического насилия,— подумала молодая женщина,— но пусть она остерегается. При первом резком слове она получит пощечину... И надо, чтобы она следила за собой до конца, потому что то, что я преподнесу ей, не будет отличаться любезностью!»

Бросив взгляд на маленькие часики, молодая женщина с удивлением заметила, что уже двенадцать часов. Близилось время завтрака. Неужели так близко избавление? Она встала, умылась, отполировала ногти и оделась тщательно, выбрав самый скромный костюм.

Завтрак прошел поразительно быстро. Время от времени она устремляла на Марка решительный, чуть-чуть иронический взгляд своих чудных зеленоватых глаз, но тотчас, боясь себя выдать, опускала ресницы и отворачивалась. Только в решительные минуты была она так спокойна. Восхитительная теплота разлилась

[illegible] тому, душа [illegible] [illegible] какое испытание [illegible] [illegible] ночной от[illegible]

Все и том же [illegible] [illegible] ходу. Уверен[illegible] [illegible] [illegible] [

по ее телу, душа погрузилась в то блаженное оцепенение, какое испытывает усталое тело, предвкушая спокойный ночной отдых.

Все в том же размягченном состоянии готовилась она к выходу. Уверенная в имеющихся у нее средствах, она не задумывалась даже над тем, в какой обстановке придется приводить в исполнение задуманный план, какую защиту ей противопоставят, какой оборот, наконец, примет предстоящий разговор.

Конечный результат — победа — казался ей обеспеченным, а это единственный пункт, который ее интересовал.

В несколько минут Елена была готова. На улице ей посчастливилось сразу найти такси. Пользуясь сравнительно небольшим в эти часы уличным движением, шофер быстро мчался, улицы мелькали одна за другой. «Он чувствует,— подумала Елена,— что я тороплюсь». Быстрота движения опьяняла молодую женщину, и мысль ее с интересом отмечала малейшие подробности этого путешествия. Когда автомобиль остановился перед указанным шоферу домом, она быстро сошла и проникла в парадный, не бросив даже взгляда на фасад дома. На площадке третьего этажа она перевела дыхание и позвонила.

Слуга, отворивший двери, видимо, колебался.

— Передайте эту карточку вашей госпоже,— сказала она решительно.

Ее проводили в гостиную. Большая, светлая комната была меблирована со вкусом, который скорее можно было приписать молоденькой девушке, а не пожившей замужней женщине. Слишком много картин, подушек, разбросанных на слишком низких диванах, маленьких столиков, переполненных китайскими безделушками, огромных ламп. Явно чувствовалась погоня за модой.

При мысли, что Марк в течение последних месяцев приходил сюда постоянно, чувствовал себя здесь как дома, что между ним и этой безвкусной обстановкой протянуты невидимые нити, Елена готова была расплакаться, но, призвав все свое мужество, она подавила слезы. Когда первое волнение прошло, молодая женщина с любопытством осмотрелась. Внимание ее было привлечено прозрачным хрустальным сосудом, в котором резвились золотые рыбки. Подобный предмет в гостиной казался ей забавным. Она улыбнулась с сожалением и почувствовала себя лучше.

мадам Алискан не показывалась. В квартире было [illegible] в могиле. «Или она трусит,— прошептала [illegible] терпением, или своими каракулями на[illegible] кошку. В ее возрасте всякий неожиданный ви[illegible] малоприятен».

Прошло еще несколько минут. «Скорее всего, она [illegible] — решила Елена. Внезапно ее ужаснула мысль. «А что, если она скроется! Что, если умрет? Я здесь — она на улице; хорошо же я попалась».

Терзаемая опасениями, она нервно взялась было за звонок, чтобы вызвать прислугу и выяснить положение, но в эту минуту появилась мадам Алискан.

Обе женщины обменялись сдержанными поклонами. Потом Елена начала ледяным тоном, каким она обыкновенно обращалась к прислуге:

— Надеюсь, сударыня, что мой визит не очень удивил вас?

Та, другая, подняла лишь протестующе руку, и нежный голос не без волнения спросил:

— Вы принесли дурные вести?

Непринужденность этого вопроса смутила молодую женщину.

— Марк,— возразила она,— поправляется. Небольшой грипп (она замялась), ничего опасного... Кроме того,— оборвала она,— ведь вы осведомлены. Не о физическом состоянии будет речь. Дело касается другого!

— Объяснитесь! — твердо сказала мадам Алискан.

— Как вам будет угодно! Я надеюсь быть понятой без лишних объяснений! — отпарировала Елена с вероломной улыбкой.— Раз нельзя иначе — пойдем прямо к цели! У Марка много легкомыслия, много неосторожности, он скорее дитя, чем мужчина. Я пришла просить вас порвать с ним.

Молодая женщина вложила всю свою надменность в последнюю фразу. Старая любовница, закрыв глаза, казалось, размышляла. Потом вдруг отчетливо, вызывающе произнесла:

— Но, сударыня, кто вам сказал, что моей воли будет достаточно для разрыва?

— О! — воскликнула Елена в замешательстве.— По-истине, сударыня...

— Известно ли вам, какие чувства питает ко мне Марк?

— Нет. Признаться, я не интересовалась этим. Но, наконец, у меня есть глаза. Я вижу прибывающую в мой

дом почту. Когда женщина преследует каждый день...

— Вы говорите, преследует?..

— Это точное выражение! Преследует. Вы можете подыскать другое, если угодно. Еще сегодня утром эта телеграмма...

— Я была бы очень удивлена, если бы она смутила Марка.

— Действительно! — возразила Елена. Он ее и не получил.

— Так же, вероятно, как и все остальные письма и телеграммы, адресованные ему мной во время болезни, когда он пригвожден был к постели.

— Да, я уничтожала их по мере того, как они поступали.

— Представьте, сударыня, не зная этого, я была наперед уверена, что именно так и будет,— с ядовитой улыбкой заметила мадам Алискан.— И я счастлива. Его молчание начинало меня мучить. Но вернемся к интересующему вас вопросу. Ваша откровенность дает мне право на такую же откровенность, которая, вы меня простите, придется вам, вероятно, не по вкусу. Мое счастье мне слишком дорого, чтобы я стала его разбивать. Если бы Марк бросил меня, он вышел бы лишь из моего существования, но из сердца — никогда! Я слишком сильно люблю его, чтобы он мог причинить мне подобное огорчение!

Твердость этого ответа окончательно смутила Елену. В глубине души она преклонялась перед этой женщиной. Но, когда взгляд ее остановился на этих помятых, увядших устах, она вспомнила о Марке, и слова, за минуту перед тем вызвавшие ее уважение, показались ей смешными и жалкими. Доверчивость и самонадеянность этой старухи заслуживали наказания. Лицо Елены омрачилось, и она быстро возразила:

— Ваше поведение было бы понятным, и я, человек без предрассудков, допустила бы его, если бы природа без стыда могла сослаться на свои права в ваших отношениях с Марком. Но, увы!

— Как, сударыня, если природа... что вы хотите этим сказать?

— О! — протянула Елена с гримасой.— Не принуждайте меня...

— Я прошу просто разъяснить,— прервала ее собеседница.— Говорите! Правда меня не пугает.

— Но эта правда потрясающа.

Вероятно, но не для меня!

— Ну, тем хуже... я сожалею. Вы сами этого хотели. Марку двадцать лет, — заговорила молодая женщина, отчеканивая каждое слово, — а вам сорок шесть. Если бы он был вашим сыном, можно было бы сказать, что вы не поторопились с его рождением.

Мадам Алискан густо покраснела. В наступившем молчании Елена с наслаждением наблюдала за впечатлением, произведенным ее ужасными словами.

«Удар был силен,— думала она, — она не выдержит».

Но к мадам Алискан уже вернулось самообладание. Грациозным движением поправила она складку на юбке и, найдя в себе силы для улыбки, произнесла:

— Для моего любовника моим возрастом является тот, который он мне дает!

Эта наглость заставила Елену привскочить.

— А вы знаете, какой это возраст? Подозреваете ли вы это? Высказал ли вам Марк свое мнение по этому поводу? — выкрикивала она.— Вы испытываете, я в этом уверена,— ваши преследования доказывают это,— не только его холодность, но и его отчуждение. Спросили ли вы себя, чем это объясняется? Так удобно, когда опасаешься истины, утешать себя иллюзиями!

— Тут, сударыня,— сухо оборвала мадам Алискан,— вы затрагиваете вопрос, который касается лишь меня одной.

— Марк слишком заинтересован в нем, чтобы я об этом молчала! Да и я сама — не замешана ли в нем? Если этот ребенок под влиянием вашей настойчивости и своей слабости не может сойти с пути порока, не мне ли, его матери, следует направить его и помочь ему вернуться на путь истины? Если вы хотите правды — извольте! Марк устал от этой унизительной страсти! Да, унизительной,— подчеркнула она,— я повторяю и настаиваю на этом, вы слышите? Из тщеславия, из упрямства, из глупого предубеждения вы заставляете меня говорить возмутительные вещи. У молодой женщины мне было бы еще понятно такое безумие, это безжалостно по отношению к себе самой. Но когда женщина достигла ваших лет, когда у нее замужняя дочь...

— Замолчите! — приказала мадам Алискан.

Она страшно побледнела. В ее серых глазах смертельная тоска боролась с ненавистью, тонкие пальцы судорожно сжались, однако ей удалось пересилить себя.

— Вы... осведомлены! — проговорила она с трудом.

— Это всегда возможно при желании,— ответила Елена.

— И когда заплатят сколько потребуется! Да, я хорошо это знаю...

Они пристально смотрели друг на друга. Если наружность их выражала лишь некоторое волнение, то пронзительные взгляды, исполненные презрения, поражали, как пули, нанося смертельные удары. С лицами, выражению которых из чувства человеческого достоинства они старались придать спокойствие, эти два существа стояли на границе той драмы, где достаточно иногда одного лишь слова, чтобы нанести смертельный удар.

Мадам Алискан спросила:

— Марку известны те интимные подробности, которые вы только что так деликатно использовали?

— Да,— ответила Елена,— он знает... Эти и другие.

— Он узнал их от вас?

— Я этим горжусь!

Елена чувствовала сжигающую ее физическую смелость. Мадам Алискан опустила голову, она долго размышляла или, вернее сказать, мысленно измеряла всю глубину грядущего ужаса; душа ее заранее разрывалась от горя. Когда она, наконец, подняла голову, лицо ее было залито слезами.

— Хорошо! — промолвила она.— Не стоит больше говорить об этом! Я удаляюсь, сударыня. Вашему сыну не придется больше краснеть из-за меня...

— Но,— возразила Елена,— если Марк...

— Мое слово нерушимо!..

— Мне остается лишь благодарить вас.

Она направилась к двери, но на пороге мадам Алискан остановила ее.

Ее дивные глаза горели странным огнем.

— Коль скоро,— начала она,— мы обе матери... выслушайте то, в чем я была уверена и раньше,— продолжала она с отчаянием,— и в чем меня окончательно убедила наша ужасная встреча. Вы любите Марка не как сына, а иначе, совсем иначе! Загляните в свою душу и...

Она вздохнула:

— Сударыня, мне жаль вас.

Глава IX

Елена смеялась, торопливо спускаясь с лестницы. Ей хотелось скорее покинуть этот проклятый дом; она продолжала еще смеяться, выйдя на улицу. Какое блаженное облегчение напряженного дотоле организма! Победившая, успокоенная, она лишь теперь осознала всю трудность одержанной победы. Какое опьянение при мысли об удаче! Выдумка этой безумной старухи ее так насмешила. Какая дикая шутка: она — влюблена в Марка. Есть от чего умереть со смеху! Тяжела же должна быть агония порока, чтобы в минуту падения поднять такое оружие! До какой низости может довести бессильная злоба!

«С тем же успехом,— подумала Елена,— она могла бы обвинить меня в убийстве или воровстве. Надо сознаться, что она зашла довольно-таки далеко и хорошая пощечина была бы ей очень полезна. Я, кажется, напрасно пощадила ее!»

Эта мысль придала немного горечи ее торжеству, но она подавила ее и решила забыть оскорбление. Но в памяти Елены настойчиво вставал страшный взгляд униженной любовницы, а в ушах звенели оскорбительные слова. Одна фраза особенно поразила молодую женщину: «Я была уверена». «Уверена в чем?— мысленно спрашивала себя Елена и задумалась:— В этой гадости, очевидно (надо же быть сумасшедшей!), но откуда у нее такая уверенность, чем навела я ее на такую мысль? Сказала ли я какую-нибудь двусмысленность?»

Она мучительно перебирала в памяти весь разговор, но, кроме горячности, ничего не нашла в нем предосудительного. «Может быть, выражение моего лица?— гадала молодая женщина.— Эта бездельница воображает себе, что сына требуют так же спокойно, как потерянную вещь! Да, я беспощадно открыла ей горькие истины, говорила горячо, страстно, но ведь всякая мать у которой порок не отнял разума, поступила бы так же на моем месте. Если и мало осталось честных женщин, все же они есть. Разве что она не понимает этого?»

На этом объяснении Елена успокоилась. Чудная погода и легко доставшаяся победа опьянили ее. Она всецело отдалась своей радости. Но, когда, вернувшись домой она увидела Марка, странное чувство неловкости охватило ее, и она перешительно, почти принужденно поцеловала пасынка. Можно было подумать, глядя на нее, что она предавалась нечистому делению. Но какова

были ее удивление и стыд, когда при мысли, что этих свежих юношеских щек никогда больше не коснутся пожелтевшие губы старой любовницы, она испытала жгучую ревнивую радость.

Напрасно она старалась подавить ее. Недавно брошенное в душу семя сомнения делало эту радость неправильной; в груди звучали радостные аккорды, и все усилия заглушить их оставались тщетными.

Марк, подавленный, сидел в кресле, прикрыв глаза рукой. Он казался задумчивым и печальным. Но почему теперь вместо испытанного утром огорчения, заставившего ее расплакаться и убежать в свою комнату, Елену охватила такая радость? Почему, действительно, если в чувствах ее к Марку не было ничего двусмысленного или по крайней мере подозрительного, она, исполнив лишь простой долг матери, обрела в своей победе такое опьяняющее чувство удовлетворенной мести?

Тревога закралась в душу молодой женщины, но она успокаивала себя: «Ведь это естественно. Я была бы бесхарактерной тряпкой, если бы нравственное зло, причиненное Марку, не восстановило меня против этой бездельницы. Ее смущение доставляет мне удовольствие, а вовсе не мрачное настроение Марка». Чтобы убедить себя в этом, она старалась вторично вызвать в себе взволновавшее ее чувство, как мы часто настойчиво вызываем в себе боль, чтобы определить ее источник.

«Я становлюсь идиоткой!— решила Елена.— Неужели же я стану мучиться выдумками обезумевшей от ненависти и страсти женщины, когда у меня есть собственные совесть и рассудок?»

Она бросила на пасынка равнодушный взгляд, лишенный всякого сочувствия. Потом ушла к себе, тщательно прибрала комнату, посчитала белье, думая, что, наконец, душа ее спокойна и она сможет опять приняться за повседневные мирные занятия.

Но в глубине ее души беспрестанно воскресало беспокойство, воспоминание о вызвавших его словах бросало в жар. В течение часа сначала книга, потом вышивание, взятое в надежде отвлечься от назойливых мыслей, оказались небрежно отброшенными на столик, и, запрокинувшись в кресле, с полузакрытыми глазами, в полном изнеможении, она углубилась в свои удручающе-мрачные мысли. Все силы ее ума были направлены к тому, чтобы в поведении своем за последние месяцы найти объяснение тому ужасному обвинению, которое

положительно удручало. Где его взять? Оно было во
и, если хотите, ни в чем. Подорванная уверен-
ность в себе заставила ее подвергнуть себя той подо-
зрительной, обескураживающей критике, которая не
столько изучает, сколько перерождает. Прошлое каза-
лось ей неясным, затянутым почти непроницаемой пе-
леной.

В Люксембургском саду, например, год тому назад, чем был вызван ее бешеный выпад? Было ли это пре-
то негодование или ревность? Она бранила Марка, на-
казывала его, а когда он дулся, ласкала и утешала. Как
знать, разум ли диктовал ей такую снисходительность
или что-то другое? Чем больше напрягала Елена свой
ум для разрешения этих вопросов, тем больше ее му-
чила совесть.

— Глупая игра!— вырвалось у нее громко.— Мож-
но ли, видя перед собой белый снег, убедить себя в
том, что он черный?

Вдруг молодая женщина вздрогнула, веки ее затре-
петали, дыхание перехватило, как под впечатлением
сильного удара. Рассеянно-блуждающий взгляд ее упал
на единственный портрет мужа, стоявший на этажер-
ке. Тогда невыразимый испуг охватил потрясенную
Елену.

Представьте себе лунатика, пришедшего в себя лишь
для того, чтобы увидеть в правой руке своей блестящее
лезвие ножа, который в следующую минуту вонзается
в спину живого человека. Какое удивление, какой вопль
недоверия, какой ужасный переход от недоумения к от-
чаянию!

Физическое отчуждение, которое она испытывала за
последнее время к своему покойному мужу, вдруг по-
лучало ужасный смысл. Нет, Мишель не мог изменить-
ся в три месяца! Если по отношению к нему снисходи-
тельность резко сменилась отвращением, то это про-
изошло лишь потому, что Марк на правах подростка
занял в ее пустом дотоле сердце слишком важное мес-
то. Тысячи признаков должны были предостеречь мужа.
Ее слабость, постоянное горделивое восхищение, инте-
рес, проявляемый к пасынку, бросались в глаза. И, быть
может, когда на балу тайно проклинаемые губы ваши
складывались в горькую усмешку, вы с досадой раз-
мышляли о своей непредусмотрительности, честный
Мишель! С нахмуренными бровями, потухшими глазами
вы искали свою вину. Как могли вы знать, что вся вина

вина заключается в том, что вы доверчиво поручили недостойной женщине своего очаровате лого сына? Даже будучи более предусмотрительным, могли ли вы предполагать, что она воспитает в нем свое собственное «я», чтобы потом боготворить в нем самое себя? О, лицемерная изворотливость страстного желания! Как она маскируется, как умеет заглушать шаги свои! Умом Елена ясно нащупывала свою вину, но, пораженная тем, что выдала себя, она все же не решалась признать ее. Все эти совпадающие признаки, наполняющие ее душу смертельной тоской, не отчаяние ли приписывало их любви?

«Нет,— яростно протестовал внутренний голос.— Когда заговорит в нас совесть, все сомнения исчезают, расплываются, как голос труса в темноте».

Временами под влиянием угрызений совести Елена содрогалась от ужасной уверенности и чувствовала к себе такое отвращение, что упрекала себя в том, что еще живет.

В порыве раскаяния она схватила портрет Мишеля. Каждый взгляд, брошенный на помятое, пожелтевшее от времени изображение, сопровождался долгим поцелуем, которым она как бы подчеркивала свое раскаяние. Она нежно шептала слова любви, которых при жизни не доводилось слышать Мишелю даже в самые счастливые дни. Мизинцем Елена медленно поглаживала давно знакомые черты, находя в них даже благородство. Она изливала перед портретом свою душу, свое отчаяние, клялась ему в верности, молила о прощении.

Такое исступленное состояние продолжалось до вечера. Когда настал час обеда, Елена под предлогом мигрени легла в постель и просила, чтобы решительно никто ни под каким видом не беспокоил ее. Лежа в темноте с открытыми глазами, она продолжала размышлять о своей низости, но уже с покорностью человека, который, выпив чашу страдания до дна, не может оскорбиться никакой новой подробностью своего позора. Больше всего Елену поражало то спокойствие или, вернее сказать, неведение, в котором она существовала до сих пор.

Если даже пребывание в «Адмиралтействе», бурная сцена с отцом, тысячи других ускользающих признаков не вызвали в ней тревоги, то каким образом слабость, испытываемая ею по отношению к пасынку в течение всей этой осени, не заставила призадуматься? Не шла

ли она разрез со всей ее жизнью? Не являлась ли пе-
ревозбудительностью? А старые привычки покинуты не
ради желания понравиться Марку? Потом эта необъяс-
нимая ревность — характерная ревность, пожиравшая
ее еще до вдовства, которая жгла сердце, которую она
не могла победить даже во время похорон Мишеля, под
влиянием которой, наконец, она решилась на посещение
агентства и на сегодняшний визит.

Вспомнив о признаках этой ревности, она ужасну-
лась при мысли о том, что Марк мог заметить их. «Да,
он не мог их не заметить»,— повторяла она в отчаянии,
так ясны казались они ей теперь. Стыд охватил ее,
жгучий стыд, заставивший спрятать голову в подушки.
Ужасное опасение заставляло ее страдать, как приступы
колик. С отчаянием спрашивала она себя, как завтра
утром встретится с Марком, будет ли в состоянии
справиться со своими нервами.

Наконец истомленная, Елена заснула.

Проснувшись утром и хладнокровно обсудив поло-
жение, Елена убедилась в том, что тревоги ее были на-
прасны. Какую же почти демоническую развращенность
приписывала она Марку, чтобы предположить в нем
такую догадливость? Она устыдилась своего заблужде-
ния и, освобожденная от гнетущей тоски, почувствовала
облегчение. Самые ужасные угрызения совести исчезли.
Ее мысли можно было выразить следующими словами:
«У меня к Марку преступное чувство, но, поскольку он
о нем не догадывается и я одна страдаю от этого, я
вольна предпочесть эти страдания своему спокойствию.
Я вольна любить его!» Она пьянела от этого рассужде-
ния, и Марк представлялся ей в новом восхитительном
свете.

Никакое желание не волновало Елену, она просто
наслаждалась созерцанием своего очаровательного ин-
томца. Его присутствие — свет и радость, отсутствие —
мрак и печаль. «Невинное сумасшествие!»— думала она

Это блаженное состояние продолжалось несколько
дней. Некоторые признаки успокоения у пасынка были
отмечены ею с особенной радостью, они укрепили дове-
рие Елены, наполнили счастьем. Ей казалось, что Марк
стал ей ближе.

Но однажды утром, увидев его угрюмое лицо, Елена
поняла, что он опять впал в мрачное настроение. Это-
го было достаточно, чтобы причинить ей огромное огор-
чение. Напрасно она уверяла себя, что этот приступ

тоски является лишним доказательством того, что мадам Алискан не изменила данному слову; эта мысль, хотя и приятная, не принесла успокоения. Ей слишком недоставало исчезнувшей улыбки Марка. Как вернуть ее и удержать надолго? Можно было бы обмануть тревогу молодого человека развлечениями, но глубокий траур препятствовал этому. Под влиянием своей страсти Елена, пожалуй, и решилась бы на это, но побоялась оскорбить в душе юноши еще свежую память о покойном отце. Путешествие? Но это непосильный расход. Да и каким предлогом можно было бы объяснить его?

«Предоставим все времени!» — заключила она.

Марк между тем переживал не менее тревожные часы. Тотчас по выздоровлении он лихорадочно нацарапал десять страниц, испрашивая у своей любовницы хоть какой-нибудь весточки. Не получив ответа на первое письмо, он подкрепил его вторым, более коротким, потом, одна за другой, полетели телеграммы. После трех дней бесплодного ожидания, полупомешанный от опасения получить известие о болезни или скоропостижной смерти своей любовницы, он явился к ней на квартиру. Служанка сказала ему, что мадам Алискан нет дома, и в то же время передала письмо.

Это была отставка, выраженная в пяти строчках. Без единого слова объяснения или хотя бы намека на нежность. Сухой тон рассудительного освобождения от данного слова. Ничто не выдавало того отчаяния, тех слез, из которых вылилось это ледяное, тщательно обдуманное послание. Пораженный Марк принужден был несколько раз перечитать текст, чтобы убедиться в том, что он не ошибся. Потом, озадаченный, он остановился на тротуаре.

Не подозревая настоящей причины этой отставки, Марк строил всевозможные предположения, причем все они были одинаково неправдоподобны. Самые рассудительные при ближайшем рассмотрении разлетались в прах. В тот же день вечером он снова послал письмо.

Но, не надеясь на собственную силу воли, несчастная женщина, к которой он взывал, не вскрывая его писем, сжигала их.

В душе Марка произошел неожиданный переворот. Давно уже в его влечении к любовнице проскальзывало отвращение. Если он и вернулся к ней по выздоровлении, то скорее из самолюбия и по привычке, но теперь, внезапно лишившись ее, он терзался. Она царила в его

[illegible] и, мучения его вожделением и обаяние, ко- [illegible] вместе с чистотой, сде- [illegible] его существование, как сама любовь. Какими [illegible] он ее преследовал, полными раскаяния и [illegible]!

При мысли, что он владел ею и потерял, его охва- [illegible] негодование не только против нее, но и против себя, потому что своей холодности приписывал он то, что она его бросила. Неужели по собственной вине его счастье кончилось такой катастрофой? Лишенный сна и [illegible] отчуждении от отсутствия, он день и ночь [illegible] способа склонить мадам Алискан [illegible] по безуспеш- но. Всю силу убеждения вложил он в свои письма. В ее присутствии он смутился бы и дрожал. Единственный способ, казалось Марку, добиться ее милости — это пойти к ней с нежной мольбой и представить доказательства своего полного раскаяния. Но, чтобы использовать эту возможность, надо было, по крайней мере, повидаться с ней, а мысль о том, чтобы ворваться к ней силой, не приходила Марку в голову.

С каждым утром отчаяние его возрастало, потому что с ним воскресала, чтобы тотчас погаснуть, надежда, связанная с утренним приходом почтальона. После минутного возбуждения на расстроенное лицо юноши возвращался отпечаток горечи. Видя его возрастающее отчаяние, Елена была охвачена таким беспокойством, что возненавидела себя за намеренное бездействие, вызванное ее небрежностью. Неужели она не могла придумать ничего лучшего, как светские развлечения, чтобы заинтересовать Марка и отвлечь его? Куда девались его ум, его серьезные жизненные запросы?

«Отныне надо окружить его заботой и лаской, а не отворачиваться с отвращением, как отворачивается дурная сиделка от раны больного!» — решила Елена. Не обескураживаясь его угрюмостью, она стала искать путь к сближению, для достижения которого женщины, как кажется, обладают шестым чувством. Каждая удобная минута стала ей дорога. Недостающую мягкость характера заменяла у нее гениальность.

Марк испытал сладостное ощущение облегчения. Он достаточно испытал на себе когда-то непреклонную, порой даже надменную властность мачехи, а потому теперь был особенно чувствителен к ее благоволению. Больше всего мучило его одиночество. С раннего детства, лишая его из ревнивой нежности товарищей, Елена

сама того не желая, сделала его душу недоверчивой и крайне чувствительной. Он жил, всегда погруженный в самого себя.

Теперь, окруженный заботой, он расцветал, как двадцать месяцев тому назад, когда мачеха его была так озабочена его интеллектуальным развитием (проявляя, впрочем, в то время гораздо меньше рвения, чем теперь). Иногда ее немилость страшно огорчала Марка. Тогда, обиженный ее веселой суетой, которая так не соответствовала его настроению и так раздражала его, он начинал капризничать и дуться. Такие случаи, впрочем, бывали очень редки. Чаще всего он бывал хоть и не оживлен, но вежлив и приветлив.

У Елены самой было слишком тяжело на душе, чтобы требовать от него большего. Взгляд, улыбка, проявленный интерес, простое сочувственное слово, казалось, вознаграждали ее за все усилия. В них она черпала уверенность в том, что к Марку возвращается его прежняя беззаботность. Чаще всего темой их разговора служили прочитанные книги или рассказ, почерпнутый Еленой из ее девичьей жизни.

В рассказах своих Елена была неистощима. Она бы удивилась, если бы ей сказали, что она так откровенна с Марком, как бывает откровенна молодая жена, безумно влюбленная в своего мужа и стремящаяся раскрыть ему всю душу. Ей не так хотелось нравиться Марку, как убедить и растрогать его. Низкий, слегка подернутый свежестью голос ее придавал особую патетичность старым сокровенным мыслям. Без выбора, без последовательности, не пропуская ни одной подробности, поведала она ему свои симпатии, отвращения, радости, мечты и обрывки тех тщательно скрываемых воспоминаний, которые поражали ее теперь, как открытия.

* * *

Это случилось как-то вечером. Ее охватило страстное желание. Марк сидел рядом с ней на большом диване. Благодаря случайному капризу позы бедра их соприкасались, и оба они в одинаковой степени способствовали этому интимному положению тел. Никогда еще, с тех пор как она поставила себе целью облегчить тяжелые переживания пасынка, расстроенного первым тяжелым разочарованием, Елена не чувствовала такой близости его души. Казалось, их разделяла лишь тонкая перепонка. Обезумевшая от радости, уверенная заранее

[illegible] в наступление, но, несмотря на [illegible] прорвать препятствие. И то же [illegible] что это тонко, чтобы пре[illegible] препятствие, он только нетерпе[illegible] Что делать? Нем разрушить эту [illegible] Елена Марковна вместе с [illegible] казалось, что они проспечивают через ка[illegible] подобно тому как сверкает ручеек сквозь утренний туман.

Внезапно ощущение толчка, потом уверенность «То, что служит препятствием, рассеялось бы в одну минуту, если бы ты поцеловала его в губы»! Краска стыда залила лицо Елены. Она вскочила как ужаленная, потом, найдя в себе достаточно силы, чтобы побороть страстный порыв, пересела на соседний стул.

Проведенная ею ночь не поддается никакому описанию. Несчастная женщина испытала все муки ада. До сего времени тревога ее была велика, но причиной ее было одно злоключение, которое, казалось Елене, когда-нибудь рассеется само собой. Только теперь под влиянием промелькнувшей ужасной истины измерила она всю глубину своего несчастья. Ему и дна не было видно. Хуже того — оно представлялось ей в виде позорного наслаждения. В манерах Марка, под этой еле уловимой осторожностью, она угадывала ту потребность в женщине, которая бывает у юноши настоятельнее любви. Он, казалось, заранее желал ту женщину, которая предложит себя. «Меня, как и всякую другую!»— шептала Елена, уверенная, что ее ласки не вызвали бы в нем отвращения. Она видела его перед собой, как наяву, со снисходительным и растерянным выражением лица. Потом, взаимно возбуждая себя своей смелостью, как играющие собаки, они отдавались мощному призыву страсти: руки их судорожно схватывали добычу, лихорадочные уста одни в других утоляли жажду, лепетали слова, выражающие не удивление, а ослепление и восторг; в любовном экстазе они предавались чисто демоническим радостям.

В ужасе, криках боли и отчаяния, горьких слезах переживала она свою первую ночь страстной любви. Под истощающими ласками она угадывала ад. Минутами, совершенно обессиленная, она засыпала тяжелым сном, но вскоре просыпалась в смертельной тоске, потрясенная видениями, которыми через минуту опять жадно наслаждалась.

После каждой вспышки наслаждения, покрытая холодной испариной, несчастная опять начинала терзаться сознанием своего падения и позора, и так без конца... На рассвете, наконец, Елена уснула.

Но какое смятение охватило ее, когда утром она увидела Марка! Страстное желание вспыхнуло в ней с удвоенной силой и терзало ее тысячами игл. Никакого успокоения ума, никакого физического ослабления! Наоборот, можно было подумать, что, как ни мучительны были ночные видения, она вошла во вкус, она желала их повторения наяву. Наблюдая, изучая своего слишком любимого пасынка не свободным от всякого влияния взором, а с сознанием той почти демонической власти, которую, она знала, он имеет над ее телом, она, казалось ей, впервые любовалась им.

Каким предательским в сущности был этот облик, бесконечная дерзость которого довела ее ночью до безумия! Ненавистные губы! Недостойная тень! А этот подвижный, выразительный рот, который ей так хотелось целовать! Когда его взгляд, непобедимой волей направленный на нее, задерживался на минуту на ее нежном теле, губы Елены судорожно вздрагивали, ресницы трепетали, блаженное томление охватывало ее.

Несколько раз в течение дня без всякого повода она небрежно похлопывала Марка по щеке или целовала его, каждый раз в душе сожалея о своей нерешительности. Уверенность в том, что достаточно одного соприкосновения их уст, чтобы сделать ее счастливой до самой смерти, крепла и преследовала ее.

«Чего я боюсь?— думала Елена.— Стоит только посметь!» И она решилась вечером, уходя спать.

Марк принял поцелуй с удивлением, но скрытое побуждение, вызвавшее его, осталось ему непонятным. Юноша только рассмеялся, приняв движение мачехи за неловкость.

Любовь — самый послушный толкователь. Никакая менее прикрытая снисходительность не могла бы привести молодую женщину к разочарованию. Непринужденную веселость Марка она приняла за скрытое волнение. И тотчас она взволновалась последствиями. Без всяких угрызений совести, со слепым увлечением, свойственным страсти, она предвидела для себя и Марка огромное счастье, столь близкое, что даже не было времени о нем помечтать. Несомненно, ее беспокоило со-

...мы скверняются семейные узы, связывающие ... так мимолетно и мило. Если единственная связь и внушала ей отвращение, то ведь для ... от первого брака вновь женившегося вдовца второй мать является лишь воспитательницей. «А с каких пор отношениям учителя к ученику стали приписывать кровосмешение?» — оправдывала она себя.

Несчастная при построении такого софизма забывала про узы, связывавшие Марка с ее собственной дочерью. В ее мозгу находили место лишь картины тех разнообразных удовольствий, которые ожидали ее в интимной жизни с Марком. Тем не менее плоть в них не участвовала. Как при безумии, охватывающем нас при большой радости, мы перечисляем ценные последствия, которые она будет иметь для нас, так теперь Елена мысленно перебирала тысячи мелочей будущей повседневной жизни. Например, она была совершенно счастлива при мысли, что для того, чтобы приходить к ней, ему нужно будет пересекать лишь узкую ванную комнату, разделяющую их спальни. Она представляла себе, как будет сопровождать его в театр, на скачки, во многие другие места, которые она не знала и не любила, но куда последует за ним; среди массы людей, которые будут восхищаться ими, только он да она будут знать, что они любовники. Неожиданности в их связи мало беспокоили ее, она сумеет вызвать и направить их так, чтобы они способствовали их радости.

Следующие два дня были полны безумия. Елена прожила их, как кошка. Все, что оставалось в ней от порядочности и чувства собственного достоинства, исчезло.

Уверенная в своем скором падении, сгорая от нетерпения и стыда при мысли, что сама делает первый решительный шаг, Елена решилась на самые провокационные уловки, чтобы привлечь Марка в свои объятия. Как учесть тысячи увертюр этой кокетки? Взгляды, легкие прикосновения, слова, улыбки, свободные позы, известная манера облизывать губы, удачно использованное движение юбки, нечаянно раскрытый лиф — все средства, которыми пользуется развратная женщина для достижения своей цели, были применены Еленой в совершенстве. Там, где не хватало опыта, помогал инстинкт. Сорок восемь часов этого маневра больше подвинули ее на пути порока, чем вся жизнь от самого замужества.

Между тем силы ее истощились, на второй день вечером она совсем ослабела. Ни разу, хотя бы на мгновение, не исказилось лицо Марка, ничто в нем не отозвалось на те невероятные усилия, которые она прилагала, чтобы пленить его. Вся ночь прошла в волнении. Увереннность и даже надежда ее покинули. Быть может, она решится на все. Утром, за завтраком, она вдруг вздрогнула от неожиданности и, проследив взгляд Марка, заметила, что он устремлен на ее грудь.

Волнение заставило Елену побледнеть.

Дважды, обращаясь к Марку, она ловила на себе его смущенный, бегающий взгляд, горящий странным, возбужденным огнем.

У молодой женщины закружилась голова. Отгаданной, наконец, и понятой, ей оставалось сделать лишь небольшое усилие для того, чтобы желанная добыча пала ей на грудь. Елена встала, быстро прошла в свою комнату и там, запершись, опустилась в кресло и залилась слезами. Страсть была ни при чем в этом отчаянии. Оно было вызвано стыдом.

Проверив состояние Марка, прежде даже, чем заметить нечистое пламя, вспыхнувшее в устремленных на нее глазах, Елена почувствовала такое негодование, как если бы в пылу спора рука пасынка нанесла ей пощечину. Но ведь это было то, чего она так настойчиво добивалась! Этот ужасный конец, жалкий и оскорбительный, безумный в своей требовательности, грубый — и ради того, чтобы добиться его, она сделала все это... Боже!.. Кто же она, в конце концов,— женщина или чудовище... да еще вдобавок слепое? Как могла она в своем исступлении искренне думать, что между ней и Марком, кроме общественных предрассудков, не существует никаких преград? А пятнадцатилетняя привязанность? Неужели достаточно было внезапно вспыхнувшего желания, чтобы новый порядок установился в ее потрясенном чувстве?

Жестоко терзаемому рассудку Елены предстояло еще перенести пытку сновидений, которые под влиянием возбужденных до крайности чувств достигли чудовищного развития. Это последнее испытание окончательно доконало ее.

Лежа с закрытыми глазами, она громко стонала, затыкая уши. Ей мерещились горящие глаза Марка, в ушах звенел его презрительный смех.

Внезапно у нее мелькнула ужасная мысль. Раская-

ние, смущение не определяли положения. Как после этого позорного приключения сможет она продолжать жить под одной кровлей со своим пасынком? Единственный выход и возможность облегчения — разлука! Разлука? А их сердца? Сердце Елены, униженное и обескураженное, горело все тем же огнем.

Даже если, повинуясь самолюбию, она постарается своим поведением убедить Марка, что он ошибочно ее понял, разве может она поручиться за то, что в будущем их не ждет новая гроза? Наконец, более или менее уверенная в себе, может ли она поручиться за Марка?

Родной дом внушал теперь Елене отвращение. Истомленные нервы еще больше, чем рассудок, подсказывали ей один выход — бежать.

— Немедленно! — заключила она.— Чем скорее, тем лучше! Так надо!

До утра следующего дня Елена старательно поддерживала в себе эту мысль, но что-то в ней протестовало против такого решения. Какой, наконец, можно найти предлог для такого неожиданного отъезда?

Как нельзя более кстати в восемь часов ей подали письмо. Это был неповторимый случай.

Притворившись поглощенной чтением письма, она покачала головой и с непринужденным видом обратилась к Марку:

— Здоровье твоего дедушки меня положительно беспокоит! Мне придется покинуть Париж!

— Ненадолго, надеюсь?

— Навсегда, быть может.

— Что? — воскликнул он, пораженный.

— Тебя удивляет,— возразила она,— что я покину Париж? Но я уж не раз думала об этом, дружок!

— Но зачем? — спросил он.

— Мой долг зовет меня,— сказала Елена.— Твой дедушка становится стар. В его возрасте подагрику и ревматику трудно двигаться; с другой стороны, ты знаешь, он постоянно один, а одиноким и больным дни кажутся порой такими нестерпимо тоскливыми и длинными! Когда я буду с ним, повседневная жизнь ему покажется легче.

— А Мария-Тереза?

— Я возьму ее с собой.

— Ну а я?

— Ты? Ты уже взрослый! Ты мужчина и не ну-

жаешься в моем присутствии! Твоему деду, быть может, недолго осталось жить... Я постараюсь найти тебе подходящую квартиру, и ты будешь продолжать свои занятия.

Голос Елены дрожал. Марк опустил голову.

— Когда это будет? — прошептал он.

— Ты слишком много от меня требуешь! — воскликнула она.— Ничего еще не решено. Я посмотрю, подумаю. Может быть, в конце августа, быть может, в июне, почем я знаю...

Молодой человек, казалось, размышлял. Потом вдруг обратил к Елене побледневшее, расстроенное лицо:

— Нет, положительно я чего-то не понимаю!

Елена испугалась.

— Говори, мой дорогой,— с усилием выговорила она.

— Как это дедушка, который до сих пор никогда ни на что не жаловался, неожиданно почувствовал себя так нехорошо?..

— Но он и не жалуется! Разве я это говорила? Ты меня не понял,— живо возразила Елена.— Он стар, его старые привычки...

— Как в прошлом, как в позапрошлом году, как всегда,— сухо оборвал Марк.— Его подагра не усилилась!

— О дорогой, как ты жесток!

— Жесток? — спросил юноша.— В чем?

Он запнулся. Потом, более мягким тоном сказал:

— Я не понимаю, по какой причине вы меня покидаете.

Елена в свою очередь побледнела.

— Покинуть тебя! — воскликнула она и, подойдя к нему, с нежностью и отчаянием обхватила обеими руками склоненную голову юноши.— Об этом нет и речи, сумасшедший! Будь справедлив! Разве я когда-нибудь пренебрегала тобой, была холодна? И сейчас, наконец, можешь ли ты сомневаться во мне? Ты отлично знаешь, что я имею в виду только твое счастье.

— Тогда останьтесь, о, останьтесь! — умолял он.

Елена покачала головой.

— Ну, подумай сам... Твой дедушка...

— Он не требует вас,— перебил ее Марк.— Вы только что сами сознались, мамочка. Будьте уверены, что, пока волшебная книга жизни сохранит еще хоть

дедушка легко будет переносить свое одиночество. Я же, если вы меня покинете, что со мной будет?

Он произнес последние слова с каким-то надрывом. Потом, ласковым движением прильнув к талии своей молодой мачехи, юноша спрятал лицо в складках ее платья. Наклонившись к нему, Елена увидела его полузакрытые глаза и то странное выражение сверкающих глаз, которое так испугало и возмутило ее давеча. Потрясенная, но еще сильная, с ясной головой, она одним взглядом измерила всю глубину этой бессознательной силы и имеющиеся в ее распоряжении способы сопротивления. Вдруг молодая женщина почувствовала, что слабеет. Этого было достаточно. Все угрозы ужасного будущего представились ей с такой ясностью, что заставили сразу возненавидеть Марка, который глупыми мольбами чуть не поколебал ее решимости и тем самым бессознательно подвергал опасности ее спасение.

Мрачное негодование охватило молодую женщину, и, не думая о том, справедлив ли ее гнев, Елена бешено крикнула:

— Эгоист!

Она отступила на несколько шагов. Глаза ее метали искры. Ошеломленный Марк, не находя возражений, испуганно смотрел на нее, беззвучно шевеля губами.

Тогда она безжалостно продолжала:

— Эгоист, именно эгоист (слово это она повторила раз двадцать). Я тебя слишком нежила, слишком баловала! Ты видел меня строгой, подчас грубой, а теперь, когда, поддавшись постыдной слабости, я исполняю все твои прихоти, ты требуешь, чтобы я пожертвовала тебе всем! Ну нет, друг мой, на это ты не рассчитывал! Если ты смеешься над одиночеством больного дедушки, то я считаю, что мое место при нем. Я решила поссориться с ним и уеду! Ты хочешь знать, когда? Через восемь дней! Вернусь ли я? Нет, тысячу раз нет! Как устроишься ты, я тебе уже говорила! Вот видишь, заключила Елена,— все решено, и нам не о чем больше говорить! Теперь плачь, умоляй, сколько хочешь,— я тебя не послушаюсь!

Повернувшись на каблуках, Елена вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Марк сразу впал в отчаяние. Без этапов достиг он самого дна его, подобно тому как без борьбы овладевают молодыми существами радость, энтузиазм, ис-

торг. Не в состоянии постичь тайных мотивов, вызвавших такую резкую отповедь мачехи, он сознавал, однако, что ничем не заслужил такого обращения, и приписал его всецело ее антипатии к нему. По каким-то неизвестным ему причинам его возненавидели, проклинали. Да и к чему искать объяснения? Что пользы в стонах?

В мозгу юноши с мучительной ясностью определилось сходство между поступком Елены, покидавшей его, и посланием бывшей любовницы. Та же неожиданность, таинственность, беспощадная решительность. Здесь, как и там,— враждебность после порывов трогательной нежности. По мере того как из проведенной параллели возникала щемящая душевная боль, память, отвлекая его от второго, менее чувствительного удара, лихорадочно рисовала картины первого. Как бы по волшебству жестокость Елены показала ему в новом свете мадам Алискан. Какой она казалось ему красивой, нежной, как он упрекал себя за то, что потерял ее! Оглянувшись на недавнее прошлое, он возмутился своей уступчивостью. В чем ее награда и преимущества? Быть может, она вызвала не восхищение, а проклятие? Угасает ли так быстро страсть немолодой уже женщины, если к ней возвращается (готовый искупить свою вину) пылающий страстью любовник? Скоро — жертва своих иллюзий и тайных желаний — он вообразил себе, что, игнорируя недавний разрыв, он имеет право претендовать на эту роль. Взвесив еще раз обстоятельства, он решил, что весь вопрос заключается только в смелости. Что сможет противопоставить мадам Алискан его клятвам, просьбам, тысяче убежденных аргументов, которые придумает его страстная искренность?

Отчаяние придавало юноше силы, способные, казалось ему, преодолеть все препятствия.

Он взял шляпу и вышел.

Никогда еще сердце Марка не билось так бурно. В такси, склонившись вперед, он топал ногами, как будто эти беспорядочные признаки нетерпения могли ускорить движение автомобиля.

Третий этаж. Он звонит — никакого ответа. Еще два длительных звонка прозвучали напрасно. Марк приложил ухо к замочной скважине — в квартире была мертвая тишина.

Он спустился вниз, судорожно сжимая перила.

В швейцарской спросил тихим голосом:

— Мадам Алискан нет дома?

— Она уехала десять дней тому назад,— ответил [illegible]. — В Индию,— добавил он чванливо, заметив разочарование Марка.— А может быть, впрочем, и вокруг света!

— Вы говорите,— пробормотал совершенно уничтоженный Марк,— вокруг света?

— Таково было, по крайней мере, ее намерение при отъезде. Впрочем, если мадам передумала в дороге...

Марк бессмысленно покачал головой.

— Но вы знаете, по крайней мере, ее адрес? Куда можно адресовать ей письма?

— Нет, сударь, до сих пор мы не получали никаких распоряжений. Мы сохраняем корреспонденцию,— добавил он, указывая неопределенным жестом на ящик, полный писем.

Марк вышел, даже не поблагодарив. По переулку проезжал автомобиль. Он вскочил в него, назвал номер улицы Вано и замер на сиденье, стиснув зубы. Преследуемый названием «Индия», он не в состоянии был собраться с мыслями. В его мозгу, как огненные языки, мелькали видения слонов, пагод, бонз.

Быстро катилась машина. Когда она остановилась, толчок, хоть и незначительный, вызвал сотрясение кузова. Это вывело Марка из оцепенения. Он вздрогнул как от пощечины. Рассчитавшись с шофером, поднял голову и смотрел на родной дом взглядом человека, который впервые видит фасад здания.

Войдя в квартиру, юноша сразу пошел в свою комнату.

В ящике комода лежало оружие: запущенный, старый револьвер, огромный и страшный, принадлежавший когда-то его отцу. Марк хранил его вместе с биноклем, портфелем, из которого выглядывали пожелтевшие, смятые листки, и другими семейными реликвиями. Юноша схватил его, осмотрел, зарядил пулей и нетерпеливым движением, не раздеваясь, приставил дуло к груди и обеими руками нажал курок...

На звук выстрела прибежала Елена. На пороге она громко вскрикнула. Минуту ей казалось, что она теряет сознание. Но энергичная натура взяла верх. Как сумасшедшая, бросилась она в коридор:

— Скорей доктора! Несчастный случай! Господин Марк ранил себя, разбирая револьвер!

Кухарка, крепкая женщина, не переставшая причитать, помогла ей перенести Марка на кровать. Марк был в глубоком обмороке, из левого бока сочилась кровь. Елена уже овладела собой. Она потребовала ножницы. Расстегивая, разрывая, вспарывая и разрезая, она быстро обнажила раненый бок, взяла салфетки, осушила рану и соединила ее края, потом промыла их кипяченой водой.

Когда пришел врач, Марк открыл глаза. Из его запекшихся губ вместе с дыханием вылетел слабый вздох. Мачеха молча поцеловала его.

Ничто в мире не существовало теперь для Елены, кроме человека в сером, который, склонившись над больным, тщательно исследовал рану.

По окончании перевязки она остановила врача в передней.

— Ну что? — спросила она голосом, преисполненным тревоги.

— Ничего! Ваш сын счастливо отделался! Ни один важный орган не задет. Это довольно редкое явление в несчастных случаях подобного порядка. Если бы пуля попала сантиметром ниже — он бы погиб!

— А теперь?

— А теперь — дней через пятнадцать он будет на ногах. Ну да! Не более как через пятнадцать дней, а я знаю случаи, когда при подобных же происшествиях поправлялись еще скорее. Если он ночью будет беспокоиться — дайте ему немного хинина, как я говорил. Я зайду завтра утром. Мое почтение!

Лишь после ухода врача, когда тревога, поглощавшая в течение этого часа все ее чувства, немного улеглась, Елена стала лицом к лицу с совершившимся фактом. Впрочем, она уже оценила его. В тот момент, когда, выскочив в коридор, она кричала прислуге о несчастном случае, все в ней говорило с уверенностью о попытке самоубийства. Она знала, что револьвер не был заряжен. А зачем Марк стал бы заряжать его после двадцатиминутного отсутствия? Здесь была граница ее размышлений. Хлопоты, за которые пришлось тут же приняться, помешали ей продолжить эти мысли.

Теперь, терзаемая горем, она старалась найти правдоподобное объяснение этому безумию. С протянутыми поверх одеяла руками, в бледно-золотистом полусвете проникающих сквозь закрытые занавеси солнечных лучей пасынок спал.

[illegible] в кресле у изголовья раненого, кусая губы. Елена жадно созерцала любимое лицо, будто ожидая [illegible] на нем ту тайну, которая побудила это мо[illegible] вооружиться против самого себя.

При мысли о том, что пасынок, увлеченный ею, пытался путем насильственной смерти избежать разлуки с ней, она чувствовала себя более виновной и более жестоко пораженной, чем если бы сама вооружила его руку. В сущности не так ли это было на самом деле? Чем отличалось убийство от того гнусного приема, которым женщина-кокетка потрясла душу ребенка, чтобы потом повергнуть ее в отчаяние? Да и кокетки уважают священные границы.

«Чтобы преступить их,— думала Елена,— нужна не кокетка, а зверь!»

Не в силах отвести взора от лица спящего, она находила в его удивительно юном облике черты ребенка, каким он был еще так недавно. Было ему девятнадцать лет или двенадцать? Что уложило его в постель — легкий ли насморк или пуля, направленная в самое сердце? Действительно, надо быть безумной, чтобы с такой силой влюбиться в наивного, хоть и очаровательного мальчика. Но действительно ли она влюбилась? Возмущенная ужасными последствиями, она начала сомневаться в существовании самой страсти, так недавно потрясавшей ее. То, что она видела теперь, было так ужасно, что самые жестокие из ее прежних терзаний казались по сравнению с этим лишь капризным упрямством любви. Так отрицаем мы в каждом постигшем нас несчастье прежние невзгоды. Если этот взрыв несправедливого негодования против самой себя, возбуждая смутную надежду на менее мрачное будущее, и принес некоторое облегчение молодой женщине, это сколько горьких угрызений совести вызвал он в ней! Ее единственное оправдание было разрушено. После ужасного поступка, совершенного Марком, в душе ее вместо яркого пламени безумного увлечения сверкал лишь мрачный огонь возбужденной больной фантазии. Чем больше крепла в Елене уверенность в собственной вине, тем решительнее становились аргументы, подтверждающие эту уверенность.

Какие упреки, какие муки, какое отчаяние!

Елена не замечала, как летело время, и очнулась лишь к вечеру.

Вдруг Марк застонал и открыл глаза.

— Ну что, родной, как ты себя чувствуешь?

Он ответил, что почти не страдает. Потом слабым голосом:

— Я серьезно ранен? Я умру?

Последние слова сопровождались испытующим, умоляющим взглядом, пронзившим сердце Елены как стрела.

— Умереть! — крикнула она.— Да ты с ума сошел? Через две-три недели ты будешь на ногах. Пуля лишь порвала ткани, не причинив серьезных повреждений. Доктор сказал мне это, уходя. Но все равно,— вздохнула она, целуя Марка.— Какой ужасный случай!

Воцарилось молчание. Молодой человек, казалось, размышлял. Мачеха нежно поглаживала его. Наконец, слегка покачав головой, он проронил:

— Не случай... я хотел!..

— Как? — воскликнула Елена.— Хотел что?

— Хотел стрелять,— объяснил он.— Я это сделал нарочно!

— Но по какой причине? — прошептала она беззвучно.

Марк сделал неопределенный жест рукой.

— Ну скажи, дружок, по какой причине?

Он опустил глаза, потом нетерпеливо, повинуясь ее настойчивости, прошептал:

— Ваш отъезд... одиночество... Потрясение... Я уж не знаю, что! — отозвался он слабо.

— Гадкий неврастеник! — воскликнула Елена почти радостно.— И тебе не стыдно? Так вот каково твое доверие! Вместо того чтобы поговорить со мной, раскрыть душу (она забыла в эту минуту, как грубо оборвала его нежные мольбы несколько часов тому назад), ты предпочел совершить подобное безумие! Мое горе... отчаяние твоего дедушки — подумал ли ты об этом?.. Скажи, Марк, неужели ты разлюбил нас?.. Да, конечно, я должна была бы подготовить тебя, осторожнее сообщить о нашем отъезде. Но могла ли я предположить, что это приведет тебя в такое состояние?

Молодой человек слушал, не поднимая глаз.

Елена почувствовала, что ее слова не проникают в его душу.

Внезапно она воскликнула:

— Будь откровенен, любимый мой!.. Скажи, это не все? Ты что-то скрываешь. Я жду! — промолвила она с нежностью, склонившись над ним и почти касаясь

...кой своего ума его сомкнутых уст.— Это та скверная ... Да, правда?..

Марк сильно покраснел.

— А вы знаете? — прошептал он.

— Бедный мой! — сказала она просто.

Юноша устремил на мачеху удивленный взор, в котором блестели слезы.

Потом тихим, немного хриплым голосом произнес:

— Она уехала... Она отправилась в кругосветное путешествие... Давеча... когда я ушел от вас... когда я узнал это...

Елене казалось, что ей вернули воздух. Она вздохнула полной грудью с безумной радостью жизни, окрасившей ее побледневшие за последнее время щеки. Итак, ее страхи и угрызения совести были напрасны! Она не только не была причиной, побудившей пасынка совершить ужасную попытку, ничто в ней — ее честь, добродетель, характер — не было скомпрометировано в глазах Марка. Так велико было его доверие, что ей удалось до конца провести свою двусмысленную роль.

Ее достоинство, едва сошедшее с пути порока, осталось незапятнанным.

Под влиянием счастья, охватившего Елену от этой уверенности, стоило лишь слегка надавить на ее плечо, и она опустилась бы на колени.

Великие милости всегда поражают нас.

Марк молча смотрел на нее.

Елена коснулась лба его материнским поцелуем, поправила сбившуюся прядь волос. Потом дрожавшим от волнения голосом сказала:

— Я останусь... не бойся, дитя мое... сколько тебе заблагорассудится... Ты всегда найдешь свою старую маму, когда она тебе понадобится, ах ты, мой бедный глупыш!

Сидони Габриель Колетт

ИСПОВЕДЬ ЖЕНСКОЙ ДУШИ

5 Зак. 1158

Часть первая

I

Половина одиннадцатого... Я опять оделась раньше времени. Мой товарищ по сцене, Брат, помогавший моим дебютам в пантомиме, постоянно меня за это упрекает.

— Глупая любительская привычка, тебе постоянно не терпится! Послушать тебя, так нужно бы начать гримироваться в половине восьмого, не закончив даже обедать...

Три года моих скитаний по театрам и мюзик-холлам нисколько не изменили меня в этом отношении, я всегда готова раньше времени...

Тридцать пять минут одиннадцатого...

Если бы я не перелистывала эту книгу, читанную и перечитанную, валявшуюся на баночках с белилами, или же «Пари Спор», весь грязный от карандаша для бровей, я чувствовала бы себя совершенно одинокой, видя перед собой в зеркале только гримированную особу, глядящую на меня своими глубокими глазами с сильно подкрашенными ресницами. Щеки ее цвета флокуса, губы окрашены кармином, блестящие, точно лакированные. Она долго на меня смотрит, и я знаю, что она мне скажет:

— Разве это ты?.. Ты ли сидишь одиноко в этой клетке с белыми стенами, которые праздные, нетерпеливые, скучающие руки испещрили перевившимися инициалами, неприличными и глупыми рисунками? На этих выштукатуренных стенах чьи-то ноготки, розовые, как и твои, написали несвязную жалобу покинутой женщины. Позади тебя женская рука нервно написала: Мари... Росчерк в конце слова поднимается точно крик негодования... Неужели это ты? Под этим потолком, гудящим, точно мельничный жернов, под ногами танцоров?.. Зачем ты здесь, в одиночестве?

Да, это час опасного раздумья. Кто постучится в дверь моей уборной, чье изображение встанет между

моей и моей набеленной собеседницей, смотрящей на меня из зеркала?

Случай, мой друг и наставник, осмелится еще раз послать ко мне послушных теней своего беспорядочного царства... Я никому так не верю, как ему и себе самой, в особенности же ему. Он выводит меня из мрачного настроения, овладевает мною, и меня трясет, как это делают собаки-спасательницы с замерзающими путешественниками в Альпах, слегка царапая зубами их кожу... Правда, я ничего больше не ожидаю, я потеряла надежду и цель жизни, но верю в случай, в обыденное чудо, в возрождающее, блестящее звено цепи моего существования.

Это вера. Это действительно вера со своим ослеплением, иногда деланным, с иезуитством своих отречений, с упорством надежды даже в тот час, когда все кричит: «Все потеряно!»

Я уверена, что в тот день, когда мой наставник случай все это исполнит, я сделаюсь превосходной католичкой.

Как сегодня трясутся подмостки сцены! Заметно, что очень холодно: русские плясуны согревают себя. Когда они орут все вместе «ю-ю!», взвизгивая, словно поросята,— значит десять минут двенадцатого. Эти часы идут верно, не отклоняются и на пять минут. Десять... Я являюсь в уборную театра. Госпожа Каволье поет «Бродяжки», «Прощальный поцелуй», «Пустячки»— три песни. Десять минут одиннадцатого: Антоньев со своими собаками. Двадцать две минуты — ружейный выстрел, лай, конец собачьего номера. Железная лестница скрипит, кто-то кашляет: это идет на сцену мадемуазель Жаден. Кашляя, она не перестает ворчать: ее сердит, что она наступает на подол платья... Тридцать пять минут — фантазист Баччио. Сорок — русские танцовщики и, наконец, десять минут двенадцатого — мой выход.

Мой выход... Я машинально бросаю последний взгляд в зеркало. Оттуда глядят мои размалеванные щеки, подчерненные глаза, краска начинает слегка расплываться по краям... Неужели ждать еще, пока вся гримировка расплывется в какую-то грязную слизь?

Но здесь убийственно холодно! Я потираю руки, чтобы согнать с них оцепенение от стужи даже под покрывающими их белыми перчатками. Черт возьми! Труба калорифера замерзла. Сегодня суббота, суббота, когда здесь собирается простая публика!

Для веселой публики, немного пьяной, не стоит отделывать зал. Об уборных артистов, разумеется, забыли.

Дребезжащий стук пальца в дверь раздался у меня в ушах. Отворяю двери моему товарищу Брагу, костюмированному румынским бандитом, смуглым и свирепым.

— Наша очередь, ты знаешь?

— Да. Не торопись, а то лопнешь!

С верха железной лестницы, ведущей на сцену, тянет теплым пыльным воздухом, охватывающим меня, как приятное, но грязное покрывало. Пока Брат задумчиво ожидает установки задней декорации, изображающей заходящее солнце, я не отрываю глаз от круглого отверстия в занавесе и рассматриваю зал.

Для субботы сегодня очень хороший сбор. Наш мюзик-холл — один из самых любимых местной публикой. Электрического света слишком мало, чтобы осветить зал. Готова держать пари, что со сцены трудно рассмотреть белую манишку во втором ряду второй галереи! Волны табачного дыма окутали весь зал, отвратительный запах табака и дешевых сигар проникает повсюду... На авансцене ярким контрастом мрачному залу царят декольтированные актрисы, разноцветные ленты, чудовищных размеров шляпы, перья... Яркий свет заливает подмостки.

Хорошая суббота! Маленькая Жаден презрительно кидает:

— Мне это все равно: сбор меня не интересует!

С первых тактов нашего вступления я чувствую себя облегченной, взвинченной, отвлеченной от какой-либо другой мысли.

Облокотившись на полотняный балкон, я спокойно смотрю на слой пыли, на грязь от сапог, шерсть от собак, пролитую смолу — все, что покрывает пол нашей сцены, на которой я стою голыми коленями, вдыхая запах бумажной герани.

С этой минуты я ничего не сознаю, все прекрасно! Я уверена, что, танцуя, не упаду, что каблуки будут целы при взмахе моих юбок, что Брат меня не уронит, не сломает мне шею, не разобьет носа. Я бодро ожидаю, не теряя серьезности, треска помощника машиниста, разлающегося за кулисами в самый патетический момент нашей сцены, чтобы вызвать смех. Резкий свет электричества меня поддерживает, музыка управляет моими движениями, таинственная сила меня порабощает и мне покровительствует...

Все идет хорошо! Наша субботняя «черная» публика отблагодарила нас таким шумом и гамом, что трудно понять, кричат ли «браво» или свистят. Мне бросили, сопровождаемый невообразимыми дурачествами, маленький букетик белой гвоздики, попавший мне прямо в губы. Жалкие, полувянувшие цветы, вероятно, не раз были впрыснуты водой, подкрашенной карминой, чтобы придать им свежесть.

Я воткнула букетик, обдавший меня запахом горницы и мокрой собаки, в петельку моего жакета. Мне прислали также письмо. В нем было написано:

«Мадам, я сижу в первом ряду оркестра. Ваш мимический талант заставляет меня предполагать, что вы обладаете еще и другими, более специальными и плениительными талантами. Не откажите в любезности поужинать вместе со мной».

Подписано: «Маркиз де Фонтанж»— и отправлено из кафе «Дельта»...

Как много отпрысков благородных старинных фамилий, о которых думают, что они уже окончательно вымерли, выбрали своим местопребыванием кафе «Дельта»!

Вопреки всякой очевидности я чую в этом маркизе де Фонтанж близкого родственника виконта де Лавальера, предложившего мне на прошлой неделе прийти на чай в его холостую квартиру.

Обычный способ приставания, но нельзя не изумляться романтической любви к большому свету, почтению к титулу, прикрывающему в этом квартале оскотинившихся хулиганов.

По обыкновению глубоко вздохнув, закрываю дверь своей квартиры.

Что это: вздох усталости, облегчения, отдых натянутых нервов или тоска одиночества? Не станем доискиваться.

Но что такое со мной сегодня вечером? Декабрьский туман, леденящий кожу, падающий хлопьями, тающий вокруг газовых рожков и оставляющий на губах неприятный вкус креозота, и этот новый квартал, где я живу, только что выстроенный за Тернами, утомляют мне зрение и мысль.

При свете зеленоватого газа моя улица в этот час кажется какой-то смесью из сливочного торта, пралине, каштанов с мокко и желтой карамели. Одним словом, каким-то вскипяченным десертом или жидкой пуншем

Мой дом, пока единственный на этой улице, имеет сказочный вид, но его новые стены, его маленькие комнаты предлагают за скромную цену достаточно комфортабельный приют для «одиноких дам» вроде меня. Что же касается этих «одиноких дам», кажущихся чем-то ужасным домовладельцам, то они берут первое, что найдут, и ночуют там, где только можно обсушиться от сырости подмостков. Дом, где я живу, представляет собой милосердный приют для целой колонии этих «одиноких дам».

В антресоли живет содержанка, прозванная Юнг-Автомобиль, над нею — очень выдержанная «подруга» графа де Бравайль; выше — две сестры-блондинки, которых каждый день навещает очень корректный господин, какой-то заводчик; еще выше — девица, выводящая днем и ночью по лестнице целую свору злобных фокстерьеров; крики, звуки фортепиано, пение никогда не прекращаются в ее квартире, пустые бутылки выкидывают прямо за окно.

— Это позор дома!— заметила мне как-то подруга Юнг-Автомобиля.

Наконец в нижнем этаже живу я, никогда не кричащая, не играющая на пианино; у меня не бывает ни одного мужчины и ни одной дамы. «Маленькая пьяница» с четвертого этажа слишком много шумит, а меня, напротив, совсем не слышно. Привратница не раз мне повторяла:

— Право, смешно! Не знаешь, дома вы или нет. Совсем не похоже на артистку!

Отвратительный декабрьский вечер! Калорифер пахнет йодоформом.

Бландина забыла положить грелку в постель, и моя собачка, избалованная, зябкая, с укором смотрит на меня из корзинки, трясясь от холода. Боже мой, я не требую от прислуги ничего особенного, но все-таки...

Я заглядываю во все уголки, под кровать, нигде ни души, кроме меня. Большое трюмо не отражает больше загримированного лица цыганки из мюзик-холла, в нем я вижу мое собственное изображение.

Итак, это я сама! Я не избегаю сегодня этой встречи, этого монолога — сто раз повторяемого, начинаемого сначала, беглого, прерываемого... Увы! Все это мне заранее известно!

Сегодня я буду плохо спать, меня не привлекает чтение новой книги, пахнущей еще свежей типограф-

ской краской, сыростью бумаги, заставляющей вспомнить о типографии, о каменном угле, о железной дороге, о путешествиях... Увлеченность книгой не заставит меня изменить мой путь...

Вот я вся тут! Одинокая, одинокая, без сомнения, до самой смерти.

Одинока — так рано! Я перешагнула, нисколько не стыжусь этого, за тридцать лет, это видно по моему усталому лицу, по угасшему взору, по едкой усмешке...

Лисица без злости, не страшная для кур, лисица, не стремящаяся к нападению и помнящая только о капкане и клетке.

Веселая лисица, это правда, потому что в углах ее рта и в глазах мелькает принужденная улыбка. Лисица, которой наскучило прыгать на цепочке под музыку...

Действительно, верно, что я похожа на лисичку, не правда ли?

Брак говорит, что у меня вид крысы, когда я вытягиваю губы и щурю глаза, чтобы лучше рассмотреть что-нибудь... Но меня не сердит это сравнение.

Как я не люблю видеть свой унылый рот, эти опущенные плечи, всю мою мрачную фигуру, лежащую на кровати с подвернутой под себя ногою... Эти ниспадающие волосы, растрепанные, долго не поддающиеся усилиям гребенки, пытающейся их причесать, глаза с плохо стертыми следами синего карандаша, ногти, в которые въелась краска. Мне приходится терять по крайней мере, пятьдесят минут на ванну и на чистку...

Однако уже час... Чего я еще жду? Легкого удара хлыста, чувствительного настолько, чтобы поднять упрямое животное? Но некому это сделать... Я одна, совершенно одна! По окружающей меня обстановке сразу заметно, что я привыкла жить в одиночестве.

Для равнодушного посетителя, для поставщика провизии, даже для Бландины, моей прислуги, я изменила бы свою причудливую позу... Но сейчас я одна, совершенно одна.

Одна! Право, я готова об этом пожалеть.

— Ты живешь одна,— сказал мне как-то Брэг, потому что ты этого очень хочешь, не так ли?

Верно, я «очень» этого хочу, но только это одиночество в мои годы является иногда крепким вином, пьянящим вас свободой, а в другой раз, когда оно имеет горьковато-терпкий вкус,— это яд, заставляющий биться головой о стену.

Сегодня я не хочу об этом думать, стараюсь забыться и кутаюсь в одеяло, не соображая, заставляет ли меня это сделать холод, страх или удобство...

Одна... Немало времени одна! Я привыкла уже к одиночеству, к разговору с собачкой, с огнем в камине, с собственным отображением в зеркале.

Это мания долголетних узников, а я... Я свободна, и если я говорю сама с собой, то только из-за постоянной привычки проверять свою мысль. Мне представляется, что по ту сторону зеркала, в волшебной комнате отражений, находится образ «женщины-писательницы, сбившейся с пути». Про меня тоже говорят, что я «работаю в театре», но никогда не называют актрисой. Почему? Тонкое соображение, вежливый отказ публики и даже моих друзей признать право на сценическую карьеру, которую я все-таки себе избрала, за «писательницей, сбившейся с пути».

Вот почему для всех чужая та, которая не пишет больше ни строчки, которая отказала себе в удовольствии, в блаженстве писать...

Писать! Иметь возможность писать! Это прелестное сновидение наяву перед чистым листом белой бумаги, бессознательные каракули, игры пера с чернильницей — пера, которое язвит плохо вылившееся слово, схватывает его, украшает всевозможными прибавлениями, пока оно совершенно не потеряет возможности быть прочитанным и не превратится в какое-то фантастическое насекомое.

Писать... Это — прикованный взгляд, гипнотизированный отражением окна в серебряной чернильнице, божественная лихорадка, выступающая краской на щеках, на лбу, в то время как блаженное замирание души заставляет руку скользить по бумаге.

Это отрешение от времени, задумчивая леность в уголке дивана, шалости изобретательности, выкидывающей мысли блестящие, оригинальные, иногда слабые, даже глупые, но уже обдуманные, которые немое перо переносит на девственную бумагу, освещенную мягким светом лампы, тогда как все кругом погружено в темноту.

Писать! Бешено бросать на предательницу бумагу всю правду о себе, так быстро, так быстро, что порой рука возмущается и недовольно скрипит пером, подгоняемая богом нетерпения... И завтра утром, прочитав написанное, найти вместо золотой ветви, расцветшей

Сегодня я не хочу об этом думать, стараюсь забыться и кутаюсь в одеяло, не соображая, заставляет ли меня это сделать холод, страх или удобство...

Одна... Немало времени одна! Я привыкла уже к одиночеству, к разговору с собачкой, с огнем в камине, с собственным отображением в зеркале.

Это мания долголетних узников, а я... Я свободна, и если я говорю сама с собой, то только из-за постоянной привычки проверять свою мысль. Мне представляется, что по ту сторону зеркала, в волшебной комнате отражений, находится образ «женщины-писательницы, сбившейся с пути». Про меня тоже говорят, что я «работаю в театре», но никогда не называют актрисой. Почему? Тонкое соображение, вежливый отказ публики и даже моих друзей признать право на сценическую карьеру, которую я все-таки себе избрала, за «писательницей, сбившейся с пути».

Вот почему для всех чужая та, которая не пишет больше ни строчки, которая отказала себе в удовольствии, в блаженстве писать...

Писать! Иметь возможность писать! Это прелестное сновидение наяву перед чистым листом белой бумаги, бессознательные каракули, игры пера с чернильницей — пера, которое язвит плохо вылившееся слово, схватывает его, украшает всевозможными прибавлениями, пока оно совершенно не потеряет возможности быть прочитанным и не превратится в какое-то фантастическое насекомое.

Писать... Это — прикованный взгляд, гипнотизированный отражением окна в серебряной чернильнице, божественная лихорадка, выступающая краской на щеках, на лбу, в то время как блаженное замирание души заставляет руку скользить по бумаге.

Это отрешение от времени, задумчивая леность в складке дивана, шалости изобретательности, выкидывающей числи блестящие, оригинальные, иногда слабые, даже глупые, но уже обдуманные, которые немое перо переносит на девственную бумагу, освещенную мягким светом лампы, тогда как все кругом погружено в темноту.

Писать! Бешено бросать на предательницу бумагу всю правду о себе, так быстро, так быстро, что порой рука возмущается и недовольно скрипит пером, подгоняемая богом нетерпения... И завтра утром, прочитав написанное, найти вместо золотой ветви, расцветшей

[illegible] с [illegible] [illegible] часом, сухой чертополох [illegible] выцветший цветок.

Писать — удовольствие и страдание праздности! Мне кажется, что писать — это такая же живучая потребность, как утоление знойным летом жажды, как потребность рисовать, потребность отмечать все, поразившее вас!

Я опять хватаю перо, чтобы снова начать опасную, заманчивую игру, подмечать, отмечать, наблюдать всю эту сверкающую игру жизни и ее оборотную сторону. Но это только короткий порыв, зуд былого.

Для писания нужно много времени, к тому же я ведь не Бальзак... Легкий рассказик, который я строчила, комкается при первом появлении сапожника, явившегося со счетом, от телефонного звонка адвоката, театрального агента, приглашающего меня в свою контору...

К тому же с тех пор, как я живу одна, надо было существовать на собственные средства, развестись и продолжать жить отдельной жизнью. Все это требует усиленной деятельности, приходится все больше раскидывать мозгами, чтобы добраться... до чего?

Неужели для меня не существует больше ничего, кроме этой жалкой комнаты, плохо обставленной во вкусе Людовика XVI, кроме этого неумолимого зеркала?

Завтра воскресенье, дневное и вечернее представление в «Эмпире-Клиши». Уже два часа ночи! «Писательнице, сбившейся с пути» время ложиться спать!

II

— Пошевеливайся же, Бог мой, шевелись, говорю тебе! Жаден не явилась!

— Не явилась? Заболела?

— Заболела! Как бы не так, этакая-то бомба!

Для нас это неприятная неожиданность — выступать двадцатью минутами раньше обыкновенного.

Брат испуганно выглядывает из своей уборной, когда я прохожу мимо. Я бегу как угорелая в свою уборную первый раз в жизни опаздывая. Жаден не явилась! Быстро гримируюсь, вздрагиваю, волнуюсь. Наша субботняя и воскресная публика шутить не любит. Если ее оставить «голодной» хотя бы на пять минут между двумя номерами программы, она, по словам нашего режис-

сера, забросает исполнителей апельсиновыми корками, огрызками и начнет недовольно рычать.

Жаден не явилась! Этого следовало ожидать. Жаден — маленькая певичка, настолько новичок на сцене, что еще не успела выкрасить свои темные волосы в пепельный цвет. Одним прыжком она перескочила с дальних бульваров на подмостки мюзик-холла полуголодной «девицей» и, шутя, получает здесь двести франков в месяц.

Ей всего восемнадцать лет. Удачу она поймала осторожно, протолкалась к ней своими крепкими локтями, всей своей упрямой фигуркой, отчасти — капризом случая.

Она поет крикливо, по-уличному, совершенно не подозревая, что можно петь иначе; форсирует свое надорванное контральто, вполне подходящее к ее фигуре молодого апаша, краснощекого и задорного.

Публика любит ее именно такой, в длинной-предлинной юбке, купленной черт знает где, любит ее темные незавитые волосы, ее широкие плечи, на которых еще недавно она таскала корзину с бельем, темный пушок над губами, белыми от дешевой грубой пудры.

Антрепренерша обещала ей на будущий сезон печатать второй красной строкой «несравненная», что пахнет прибавкой жалованья.

На сцене Жаден блистает и резвится. Среди публики второй галереи она каждый вечер находит друзей детства и не стесняется с ними громко здороваться, сопровождая свои сентиментальные излияния криками, задорным смехом школьника, похожим на барабанную дробь.

В сегодняшней программке ее имя отсутствует. На протяжении целого получаса публика неистово стучит ногами, палками, выкрикивая: «Жаден! Жаден!» и звенит ложечками о края стаканов,— настоящая буря...

Этого следовало ожидать. Жаден, как говорят, вовсе не больна, и наш режиссер ворчит:

— Думаете, она простудилась? Отнюдь нет! Наткнулась на бревно! Иначе она бы предупредила.

У Жаден в другом квартале есть дружок. Надо же как-то жить. Она путается то с одним, то с другим, со всеми. Увижу ли я снова ее миленькую мордашку в громадной шляпе, смастеренной ею самой.

Вчера вечером она просунула ко мне в уборную напудренную рожицу, чтобы показать обновку — шапочку

ная; слишком тесную для нее, отчего ее небольшие розовые уши некрасиво торчали. Жаден ушла из труппы.

Длинный коридор с уборными по обеим сторонам гудит и зубоскалит. По-видимому, все, кроме меня, уже пронюхали о бегстве Жаден. Бути, второй комик, загримированный людоедом, со стаканом молока проживается мимо моей уборной. Я слышу продолжение его рассказа:

— Убежала! Пять-шесть дней, пожалуй, даже месяц — для Жаден достаточно. Антрепренерша будет рвать и метать, но это не заставит ее повысить жалованье артистам, чтобы привлечь их обратно. Уверяю вас, Жаден вернется. Это только маленькая прогулка. У этой девчонки особый взгляд на жизнь.

Я открываю дверь, чтобы поговорить с Бути, пока сохнут жидкие белила у меня на руках.

— Она вас не предупредила, Бути, что уйдет отсюда?

Он пожимает плечами, поворачивает ко мне свое размалеванное лицо гориллы с глазами, обведенными белыми кругами.

— Вот смешно! Разве я ей мать!— шутливо бросает он мне и пьет маленькими глотками молоко противного синеватого цвета.

Бедняжка Бути, не расстающийся со своим балагурством, с хроническим бронхитом и с бутылкой плохого молока! Под его размалеванной маской скрывается болезненное, нежное существо, интеллигентное лицо с прекрасными добрыми глазами, чуткое сердце собаки, потерявшей своего хозяина, готовой обожать всякого, кто ее приголубит. Болезнь и неприятное «ремесло» укорачивали ему жизнь; он кормился только молоком да макаронами и благодаря этой жалкой пище мог петь и танцевать негритянский танец по двадцать минут ежедневно. Уходя со сцены, он падал от усталости прямо на подмостках, чувствуя себя не в силах добраться до своей уборной. Он лежал, распростершись, словно мертвый, не раз загораживая мне выход, и я сдерживала себя, чтобы не склониться к лежащему, не поднять его, не попросить ему помочь. Товарищи и старик мальчишка сцены не обращали на него внимания и безучастно повторяли:

— Бути — слишком утомляющийся артист!

— Скорей, скорей, как можно быстрее! Там, в зри-

тельном зале, слишком громко орали, вызывая Жадеп. Для нас это выгодно!

Браг толкает меня к железной лесенке. Пыльный, теплый воздух, яркий свет рампы меня ошеломляют.

Это утреннее представление промчалось как тяжелый сон; полдня я провела не помню как, у меня сохранились в памяти только нервный холодок, недомогание желудка. Через час настало время обеда, затем... И снова на подмостки...

Как будто это было вчера!

Представление достаточно понравилось публике. Все-таки нужно дотянуть до смены программы...

— Недурно,— говорит Браг,— сорок дней ни о чем не думать,— и довольно потирает руки.

Ни о чем не думать... Ах, если бы я тоже могла ни о чем не думать! Сорок дней, целый год, всю жизнь мне нужно думать... Как долго мне «бродяжничать» из мюзик-холла в театр, из театра на подмостки казино, потешать публику!

Меня считают «превосходной мимисткой», я обладаю «прелестной дикцией», «изумительной пластикой». Все это очень мило, даже больше, чем я ожидала, но... Какая же во всем этом цель?

Не стоит размышлять! Я заранее чувствую приступ отчаяния и ожидаю его спокойно, с привыкшим сердцем, с уверенностью, что я снова выйду из него победительницей.

Об этом никто не узнает.

Сегодня вечером Браг подмигнул мне и мимоходом заметил:

— У тебя все хорошо?

Вернувшись к себе в уборную, я вымыла руки перед зеркалом, с помощью которого я беседую с той, другой, гримированной «я», достойной моей противницей. Страдать, сожалеть, мучиться от бессонницы, от собственных вздорных мыслей глубокой ночью... Я не могу этого избежать. Я иду с веселостью похоронного марша, с сознанием, что я еще молода, сильна и на виду у других. Две привычки удерживают меня от слез: привычка глубоко прятать свои мысли и густо накрашивать ресницы.

— Войдите!

Кто-то постучал, я ответила машинально. Это не Браг, не старуха-прислужница, какой-то незнакомец

Дальнего роста, сухой, как палка, черный; он кланяется и сразу начинает:

— Мадам, целую неделю я являюсь сюда и аплодирую вам. Надеюсь, вы извините мой непрошеный визит, но мое глубокое восхищение вашим талантом и... вашей пластикой позволило мне предстать...

Я ничего не ответила этой скотине. Тяжело еще дыша, только что вернувшись со сцены, потная, с полурасстегнутой юбкой, вытирая руки, я так сердито посмотрела на него, что он умолк на полуслове.

Не дать ли ему пощечину? Не запечатлеть ли на его щеках следы моих пальцев, еще мокрых от подкрашенной кармином воды? Не бросить ли в сторону его угловатой костлявой фигуры с черными, как у таракана, торчащими усами «словечка», подслушанного мною у нас, за кулисами, и на улице?

У нахального гостя глаза печального угольщика.

Я не знаю, что сказали ему мой взгляд и молчание, но он сразу же изменил свое обращение:

— Простите меня, мадам, я грубый невежа, к сожалению, я сейчас только это понял. Вы меня гоните,— я вполне это заслужил,— но прежде позвольте выразить вам мое глубокое почтение.

Он сделал вид, что уходит, и... не ушел. Заметив, что он не уходит, я, хоть вовсе и не жестока, настойчиво сказала:

— Я вам вежливо повторю, месье, то, что вы сами мне сейчас сказали: уходите!

Я добродушно засмеялась, указывая ему на дверь. Он оставался серьезным, с высоко поднятой головой, держа кулак опущенным. Эта поза делала его угрожающим, фальшивым, придавала ему вид хорошего мясника. Свет лампы с потолка отсвечивал в его лоснящихся черных волосах, приглаженных с боков, глаза его следили за мной из глубоких впадин. Они не улыбались; в них я подметила животное чувство, желание обладать мною.

Это было единственной мыслью моего посетителя; в нем отсутствовал даже намек на шутку, хотя бы и грубую. Меня это донельзя стесняло. Мне больше понравился бы мужчина, после сытного обеда возбужденно смотрящий из первого ряда оркестра на сцену.

Охватившее незнакомца вожделение ко мне стесняло его.

— Так что же вы не уходите, месье?

Он поспешно забормотал, точно я его внезапно разбудила:

— Да, да, мадам, я сейчас уйду. Прошу принять мои извинения и... выражение моего глубочайшего почтения.

На этот раз и он рассмеялся; упрямое выражение, смущавшее меня, исчезло с его лица.

— Вы крайне любезны, мадам, что меня торопите, но я хотел вас попросить об одном одолжении...

— Ах нет, нет! Скорее уходите отсюда. Я рискую схватить жестокий бронхит, не снимая костюма, в котором я буквально задыхаюсь.

В конце концов я его вытолкала, потому что, когда я сказала, что буду снимать костюм, мой посетитель снова помрачнел и совсем как раньше уставился на меня. Дверь уже захлопнулась за ним, а он все еще мне надоедал:

— Мадам, мадам, пожалуйста, скажите мне, любите ли вы цветы и какие именно?

— Месье, оставьте меня в покое! Я ведь вас не спрашиваю, кто ваши любимые поэты, предпочитаете вы море или горы. Убирайтесь!

— Ухожу, ухожу, мадам. Прощайте!

Уф, этот грубый верзила прервал мою «черную меланхолию»! Так у меня бывает всегда.

За последние три года я одержала следующие любовные победы: господин, сидящий ежедневно в кресле № 11, зритель ложи на авансцене № 4 и бесшабашный посетитель второй галереи...

Письмо, другое, букет, еще записка... Вот и все, что я получила за это время. Молчание быстро обескураживает, и надо сознаться, что особой настойчивости мои поклонники не выказали.

Судьба до сих пор щадила мои силы и, по-видимому, устранила упрямых влюбленных, готовых, как охотники, гнаться за женщиной, пока она не сдастся. Те, кого я прельщала, не писали мне любовных записок, их письма были коротки, грубы, фальшивы, ясно высказывали их желание, но не мысли.

Я предпочитаю им одного несчастного, болтливо и умиленно изливавшегося мне в любви на двенадцати страницах. Должно быть, он еще очень молод... Бедный мальчик грезил себя сказочным принцем Шармаюном, богатым и могущественным:

«Все это я пишу вам на столе в лавке виноторговца,

[illegible] каюсь, и каждый раз, когда, подняв от тарелки [illegible] в зеркале напротив меня мои покрытые [illegible] глаза.

Я изумляюсь, как это влюбленный младенец с «жирком [illegible] мог мечтать о принце в его розовом Дворце и в очарованном лесе?

Никто не ждет меня на дороге, ведущей к славе, или к богатству, или к любви...

В особенности же к любви, это мне хорошо известно.

Все, что остается для меня в жизни, это мечтать об одном из этих ста двадцати пяти кусков, нескладных и разноцветных, модной игрушки головоломки.

Удастся ли мне в конце концов составить что-нибудь крайне примитивное, а именно — крохотный домик в лесу?

Нет, нет. Кто-то смешал все кусочки. Я даже не могу найти ни краешка голубой крыши, ни молодого виноградника, ни безмолвного леса... Восемь лет замужества, три года одиночества после развода — вот что заполнило первую треть моей жизни. Мой бывший супруг, «вы его все знаете: это Адольф Теланди, живописец пастелью». В течение двадцати лет у него одна и та же манера писать портреты женщин. На золотистом туманном фоне, заимствованном у Леви-Дюрмера, он рисует декольтированную женщину со смешной шевелюрой из растрепанной ваты, с сияющим венцом на напудренном лице. Кожа на висках, тени на шее, на округлостях груди покрывались им каким-то радужным, бархатистым, синеватым цветом, как хороший, соблазнительный виноград.

— Потель и Шабо не написали бы лучше. — заметил как-то Форен, любуясь пастелью моего мужа.

Что касается его знаменитой бархатистости, то я не думаю, чтобы у Адольфа Теланди был какой-то особенный талант, но охотно признаю, что его портреты были неотразимы для женщин; к тому же он рисовал только блондинок. Даже волосам госпожи де Гимон Фурм этой сухощавой, всеми признанной брюнетки, он придал золотистый оттенок и, несмотря на ее греческий нос, сделал из нее венецианскую вакханку.

Написал он и мой портрет... Трудно было узнать меня в этой веселой женщине с блестящим носом, с солнечными пятнами на лице, похожими на перламутр, и я в первый раз узнала, к моему удивлению, что я [illegible]

...ника. Я очень хорошо помню всех этих и последующих пастелей.

Их было много. Это был период, когда место супруги, которая с циничным красавца и счастливчика хвастливо говорил:

— Для моих моделей достаточно моих любовниц, для моих любовниц достаточно моих моделей.

Я не признаю за ним иных способностей, кроме способности к изумительной лжи.

Никто из обитых к нему женщин не может так, как я, оценить его успех по лжи, изумиться ему и его прелести. Альбер Теланди лгал настолько уверенно, с таким вдохновением, лгал импровизированно и почти без всякой причины. Адюльтер был для него только приятным способом лжи. В нем он достиг изумительной изощренности, разнообразия, не уменьшавшихся даже с годами. В то время как он чеканил свои гениальные вздорные, старательно их отделывая, мне было понятно все его безумное мотовство, весь его обман, я слушала серьезно его детские рассказни, порою даже бессмысленные...

Мы встретились, я вышла за него замуж, он был моим мужем более восьми лет, а что я знаю о нем? Что он писал пастели и что у него были любовницы! Мне также было известно, что он тратил свои доходы на кутежи, что этот «труженик» никогда не думает о своем ремесле, что он природный обольститель, фантазия которого доходила до невозможного; я считала его жалким художником; одним словом, это был «артист» из современного светского романа.

Теланди умел легко входить в роль артиста и не оставливался ни перед чем, чтобы завладеть жалкими ...ами замужней дамы, матери двух детей. Он с притворным отчаянием бросал карандаши, рвал свои эскизы, плакал настоящими слезами, орошавшими его усы а ля Вильгельм Второй, и даже готов был броситься в Сену.

Существует немало подобных Теланди, которых я, вероятно, никогда и не узнаю: Теланди — темный деятель. Теланди — грабитель, циничный, грубый, низкий, не...ющийся от какого-либо труда.

Кто же из них лучше? Это решить трудно. Подобно бальзаковский герой лжи безжалостно поверг меня ...ади в отчаяние, окутал сетью интриг, запугал не...жным макиавелизмом... Дальше продолжалось то

же блондинка. Я очень хорошо помню успех этой и последующих пастелей.

Их было много. Это был период славы моего супруга, который с цинизмом красавца и счастливчика хвастливо говорил:

— Для моих моделей достаточно моих любовниц, а для моих любовниц достаточно моих моделей.

Я не признаю за ним иных способностей, кроме способности к изумительной лжи.

Никто из близких к нему женщин не может так, как я, оценить его успех во лжи, изумиться ему и его презирать. Адольф Теланди лгал настолько уверенно, с таким нахальством, лгал импровизированно и почти без всякой причины. Адюльтер был для него только приятным способом лжи. В ней он достигал изумительной виртуозности, разнообразия, не уменьшавшихся даже с летами. В то время как он чеканил свои гениальные выдумки, старательно их отделывая, мне было понятно все его безумное мотовство, весь его обман, я слушала безучастно его детские россказни, порою даже бессмысленные...

Мы встретились, я вышла за него замуж, он был моим мужем более восьми лет, а что я знаю о нем? Что он писал пастели и что у него были любовницы! Мне также было известно, что он тратил свои доходы на кутежи, что этот «труженик» никогда не думает о своем ремесле, что он природный обольститель, фантазия которого доходила до невозможного; я считала его жалким художником; одним словом, это был «артист» из современного светского романа.

Теланди умел легко входить в роль артиста и не останавливался ни перед чем, чтобы завладеть жалкими грошами замужней дамы, матери двух детей. Он с притворным отчаянием бросал карандаши, рвал свои эскизы, плакал настоящими слезами, орошавшими его усы а ля Вильгельм Второй, и даже готов был броситься в Сену.

Существует немало подобных Теланди, которых я, вероятно, никогда и не узнаю: Теланди — темный делец, Теланди — грабитель, циничный, грубый, низкий, уклоняющийся от какого-либо труда.

Кто же из них лучше? Это решить трудно. Подобный бальзаковский герой лжи безжалостно поверг меня однажды в отчаяние, окутал сетью интриг, запутал невозможным макиавелизмом... Дальше продолжалось то

...мое. Иногда я с состраданием думаю о его второ... ...е. Торжествует ли она еще, счастливая, влюблен... ...ею, свою победу надо мной? Нет, нет. В эту минуту она начинает понимать, поражения и бессильная, за кого она вышла замуж. Скользит ли она еще в пропасть или уже копошится на дне ее, истекая кровью от те... же терний, что и на мне оставили свои следы?

Боже мой, как я была наивна, когда любила этого человека, и как я страдала. Это вовсе не крик горя или жалоба мести — вовсе нет! Я говорю это тем же тоном, каким сказала бы: «Вы знаете, как я была больна четыре года!» И когда я признаюсь, что «готова была из ревности убить его и умереть сама», то все это вспоминают, плохо веря в действительность этого признания, так как оно похоже было на болтовню некоторых рассказчиков: «В 1870 году я ел крыс». Они и в самом деле ели крыс, но не могут припомнить этой ужасной пищи и той голодной лихорадки, заставлявшей их это делать.

После первых измен, после возмущения и покорности молодой любви, упрямо надеющейся и живучей, я предпочла гордо страдать и, упрямо закинув голову, занялась литературой.

Чтобы поскорее забыть о недавнем печальном прошлом, я написала маленький провинциальный роман «Плющ на стене», веселый, спокойный и ясный, как пруды на моей родине, милый роман о любви и браке, немного монотонный, очень изящный, имевший неожиданно большой успех.

Моя биография с портретом была помещена во всех иллюстрированных журналах, «Ви Модерн» даже присудила мне свою ежегодную премию, и мы стали с Адольфом самой интересной парой в Париже; парой, которую приглашают к обеду и показывают иностранцам.

— Разве вы не знаете Теланди? Рене Теланди? Очень талантлива!

— Вот как?! А он?

— О, он неотразим!

Моя вторая книга «Около любви» продавалась значительно меньше. Тем не менее я уже отведала наслаждение писать во время ее выпуска, узнала терпеливую борьбу с нескладывающейся фразой, испытала желание отыскать меткое слово...

Все-таки мой второй том продавался плохо, но он меня утешил: на меня обратили внимание настоящие литераторы.

Что касается третьей книги, «Леса без птиц», то она провалилась и не имела никакого успеха. Однако я предпочитала ее другим. Это был мой непризнанный шедевр. Его находили многосложным, запутанным, непонятным и длинным.

Еще и теперь, когда я его перечитываю, я люблю его от всего сердца. Непонятен? Для вас, может быть. Но для меня он ясен как день. Каждого слова для меня достаточно, чтобы воскресить запах, оттенки пережитых цветов жизни. Он серьезен и таинствен, как замкнутая раковина в морских глубинах... Я убеждена, что он будет нравиться мне меньше, если когда-нибудь придется по вкусу большой публике. Теперь я уже не напишу подобного романа... не в состоянии. Другие труды, другие заботы занимают меня сейчас, а главное — заработать себе на хлеб... Я разменяваю на звонкое золото мои движения, танцы, звуки голоса. Я быстро усвоила себе привычку, вкус и чисто женскую алчность к деньгам. Я зарабатываю себе на хлеб — вот и все, говорю я и повторяю это всегда.

Мюзик-холл, где я исполняю мимические роли и танцую, выработал из меня, до тех пор не умевшей торговаться и спорить, упрямую, но честную торговку. Этому ремеслу ничем не обеспеченная женщина быстро выучивается, когда от этого зависят ее свобода и существование.

Никто не понимал причины нашего развода, но разве раньше кто-нибудь понял что-то в моем терпении, в моей долгой трусости и безответном повиновении? Увы, прощать можно только один раз... Адольф быстро сообразил, что я принадлежу к тем лучшим женским натурам, к тем именно, которые, простив в первый раз, предугадывают дальнейшие ловкие обманы, сносят их и соглашаются с ними.

Да, он был очень ловким учителем! Как он умело распределял требовательность и снисходительность! Он меня бил, когда я слишком упрямилась, хотя, я думаю, он этого не хотел: вспыльчивый не бьет так слабо, а он дрался время от времени только для того, чтобы усилить во мне тягу к нему. Со времени нашего развода он приписывал мне всю вину, чтобы оправдать «несчастного Теланди», виновного только в том, что он нравился другим и изменял. Он немного обманывал себя мыслью, что я не выдержу, запуганная этим шумом, поднявшим-

[illegible] покуп[illegible] нас [illegible] [illegible]ла, и, [illegible] [illegible]
нем.

Как, он обманывал ее в [illegible] [illegible]
только теперь она принялась жаловаться [illegible]

У меня немало испытаний, [illegible], по [illegible] [illegible]
красно [illegible]ающих, что [illegible] [illegible] [illegible] и [illegible]
лые, которые со вздохом мне [illegible]

Что же поделаешь, дорогая!

Что поделаешь? О, я это отлично [illegible], с [illegible]
вольно! Лучше умереть, чем [illegible] [illegible]
шие женщины, «согласной на все, чтобы [illegible]
вою», — умереть, да, однако [illegible] [illegible]
ществовать, но не встречаться [illegible] [illegible]
лапди, с ним, который, охраняя [illegible] [illegible]
обязанностей, умел, не повышая голоса, [illegible]
предупреждать меня:

— Завтра я начинаю портрет госпожи Мотке. Вы будете столь любезны, не правда ли, не строить ей кислой рожи?

Лучше умереть, рискуя раньше ужасными пытками, чем узнавать о грязных сценах, описываемых в обидных письмах; умереть и не слышать этих банальных разговоров по телефону, не замечать взглядов всезнающего лакея и не выслушивать многозначительных замечаний супруга:

— Мне кажется, вы хотели уехать на два дня к вашей маме?

Уйти — но не унижаться до того, чтобы гулять с одной из любовниц моего мужа в то время, когда благодаря моему покровительству он будет наслаждаться с другой.

Уйти и умереть, но не притворяться ничего не знающей; не ждать ночи, страдая, холодея от бессонницы на громадной постели, обдумывая планы мщения, [illegible] дающиеся в темноте и с каждым ударом оскорбленного сердца делающиеся все горделивее; не мучиться отравленной ревностью, замирающей при каждом шорохе ключа в замке и подло усмиренной при первом звуке знакомого голоса:

— Как? Неужели ты еще не спишь?

С меня довольно!

Можно привыкнуть голодать, привыкнуть к зубной боли, к спазмам желудка, даже к отсутствию любимого существа, но отвыкнуть, отказаться от ревности — невозможно!

Случилось то, чего Адольф Теланди, все вообще предсматривающий, не мог предполагать: однажды, когда в ожидании прихода госпожи Мотье в его мастерскую он, для «удобства», грубо выгнал меня из дома, я больше к нему не вернулась.

Я не вернулась ни в тот вечер, ни в следующий — я ушла от него навсегда. И с этого дня кончается или начинается моя история. Я ничего не буду говорить о коротком, но мрачном периоде после моего ухода, когда мне пришлось выслушивать назидательные замечания, укоры, советы, утешения и даже поздравления.

Мои редкие друзья были удручены, когда они звонили у двери крохотной квартиры, наскоро снятой мною. Обиженная, что им приходится, чтобы меня повидать, бравировать общественным мнением — этим могущественным и гнусным обычаем, я бешеным жестом обрубила все, что еще связывало меня с прошлым. Ну, а дальше? Уединение?

— Да, уединение, нарушаемое тремя или четырьмя близкими друзьями... Как я их бурно принимала, как я их любила и как боялась, когда они от меня уходили, что я их не увижу снова!

Меня пугало одиночество, как смертоносное средство, но скоро я убедилась, что и раньше я жила в одиночестве.

Вспоминая давно прошедшее детство и сравнивая его с первыми годами моего замужества, я убедилась, что и то, и другое схожи по своим неприятностям, го́рю и повторялось опять то же самое, но иначе выраженное,— все вызывало у меня слезы, пока не закончилось так банально...

Скольким женщинам знакома эта замкнутость в самих себе, это настойчивое терпение, которому предшествовали слезы возмущения!

Я отдаю им справедливость, не льстя себе. Только в горе женщина способна выйти из посредственности; ее упорство неограниченно: можно пользоваться и злоупотреблять им, не опасаясь, что она умрет, как умирают от какого-нибудь физического недостатка или вследствие упрощенного самоубийства.

«Она умерла от горя!» Посмейтесь над этими словами, но не жалейте ее: женщины редко умирают от горя. Они слишком стойкие. Убить ее не так-то легко. Вы думаете, что страдание съедает ее? Никогда!

Напротив, чаще всего она выигрывает оттого, что

...ия, маленькая, родилась с неизносимыми ... непреклонной гордостью, со способностью ... скрывать: эта способность ее возвышает и по... ей презирать более счастливых. В страдании и ...трестве она упражняется и усыпляет себя, как с ...мощью ежедневной чрезвычайно рискованной гимнас... Ей приходится постоянно соприкасаться с самы... острыми, самыми приятными, самыми соблазните... искушениями.

Выходит, несмотря на свою слабость, свое любо... обилие, она убивает

К удивлению всех, назидательный пример особи... ...остей женского существования... Будьте уверены, что ...олгое терпение, ревнивое, скрытое чувство горя обра... зовали, закалили, сделали твердой женщину, о которой все кричат:

— Она не из железа!

Она только лишь женщина — и этого довольно.

Одиночество, свобода, приятный, но в то же время утомительный труд мимистки и танцовщицы, усталые мускулы, все новые заботы, сменяющие друг друга,— зарабатывать себе на хлеб, на одежду, на квартиру,— вот в чем сейчас моя доля, но какая-то странная недоверчивость, отвращение к среде, в которой я жила и страдала, глупый страх перед мужчиной, перед мужчинами, и перед женщиной тоже...

Болезненная необходимость не обращать внимания на то, что происходит вокруг меня, и стараться, чтобы ничто не напоминало мне о прошлом...

Эта причуда не позволяла мне чувствовать себя одинокой, оградила меня от моих товарищей по сцене.

Образумившаяся Брунгильда — я не боялась больше Зигфрида: огненный круг хранит меня от всех.

III

Снова воскресенье. Сырой туман уступил место свежей, ясной погоде, и я с моей собачкой предприняла между одиннадцатью часами и полуднем прогулку в Булонский лес. Ровно в час начиналось дневное представление.

Это животное меня разоряет: без него я отправилась бы на прогулку в метро, но ради него я вынуждена три франка платить за такси.

Черная, как трюфель, точно отполированная шести...

и куском фланели, она блестит на солнце; весь лес принадлежит ей; храпя, словно паровоз, она роется в прошлогодних сухих листьях. Чудное воскресенье и прелестный Булонский лес! Он принадлежит нам обеим, Фоссете и мне, городским бродягам, почти не знающим деревни даже летом. Фоссета бежит около меня, но я иду быстро; она высунула язык, ее выпуклые глаза смотрят дико; она спешит за мной, смешно припрыгивая на трех лапах, заставляя смотреть на себя других гуляющих. Розовый туман затягивает тусклое солнце. С открытых лужаек доносится легкий аромат шампиньонов. Вуаль пристает к носу. Согревшееся от скорой ходьбы тело чуть-чуть вздрагивает от холодного ветер-

XI

В самом деле, переменилась ли я в чем-нибудь за эти восемь лет? Так ли я здорова, гибка физически, счастлива, как в дни моей юности, в такое же зимнее утро? Увы, сегодняшняя прогулка меня разочаровывает: я испытываю большую усталость; в двадцать лет я наслаждалась прогулкой, совсем не чувствуя утомления,— сегодня же она дает о себе знать.

Моя собачка очень избалована. Она любит кататься на такси. Это тем более странно, что мне продала ее не какая-нибудь богатая актриса, а мой товарищ по тем же жалким подмосткам «Эмпире-Клиши», чахоточный танцовщик Стефан. Он скоро перебирается в скеттинг-ринг; иногда он становится «профессором танцев» и в то же время занимается выращиванием комнатных бульдогов на продажу. Зимой он страшно кашляет

По вечерам он частенько заходит ко мне в уборную и, задыхаясь от кашля, садится и предлагает купить какую-нибудь собачку, не получившую в этом году награды на выставке из-за интриг.

Бедняга! Явившись сегодня в театр, я осторожно пробираюсь в уборную подземным коридором, заставленным пустыми ящиками, и неожиданно встречаю Стефана, выходящего со сцены. Узкий в талии, широкий в плечах, стянутых польским зеленым кунтушем, обшитым поддельной шиншилой, с шапочкой, надвинутой набекрень, он еще может нравиться женщинам: привлекая их своими темно-голубыми глазами и разгоревшимися щеками... Но он сохнет с каждым днем; успех у женщин ускоряет его болезнь.

— Привет!— крикнул он мне на ходу.

— Добрый день, Стефан! Публики много?

— Ого! Полный зал! Я не могу понять, что за охота этим дуриям коптеть здесь, в душном зале, когда за городом так хорошо!.. Кстати, не нужна ли вам собачка породы шиперк? Она весит всего шестьсот граммов.. Замечательный случай.

— Шестьсот граммов! Благодарю. Моя комната слишком мала для такого животного!

Ему тоже хочется смеяться, но он не может.

Я отлично знаю этих шиперок, весящих шестьсот граммов: в них всегда оказывается три килограмма! Но это не обман со стороны танцовщика — это просто коммерческая уловка.

Что ждет этого несчастного, когда его легкие окончательно разрушатся, когда он лишится возможности танцевать, интересно проводить время со своими приятельницами, которые оплачивают его сигары, галстуки, рюмки абсента? В какую больницу отвезут это изящное полумертвое тело?

Ах, это вовсе не веселая история — грустная участь подобных людей!

— Добрый вечер, Бути, Браг! Никаких новостей о Жаден?

Браг пожимает плечами, ничего не отвечает, занятый подрисовкой ресниц темно-фиолетовым карандашом, чтобы они казались «жестокими».

У него все особенное: особая синева для морщин, особый оранжево-красный карандаш для губ, телесный цвет для лица, жидкий кармин для крови, крепкие белила для маски Пьерро: «такие, что родной брат не узнает!» Кроме этой «цветовой мании», я не знаю за моим партнером никаких странностей.

Сухой, как палка, Бути в своем развевающемся бумазейном костюме делает мне таинственный знак.

— Я ее видел, эту Жаден, на бульваре с одним типом. Перья на ее шляпке свисали вот так, рукава вот такие! А глотка... Она зарабатывает сто франков в час!

— Ну, если она кладет в карман сто франков в час, ныть ей не приходится!— заметил Браг.

— Я бы так не сказал, приятель, да она и не остается на бульваре. Эта девчонка мало смыслит в делах. Я давно знаю Жаден: она жила с матерью там же, где живу я.

Через открытую дверь моей уборной я вижу в зеркале Брага и Бути, быстро умолкшего. Он поспешно

свои пол-литра молока под стол у трубы калорифера. Он так вымазался красной и белой краской, что под ними трудно узнать его лицо... Порой мне кажется, что бедняга Бути после исчезновения Жадеи пал еще ниже...

Чтобы напудрить и выбелить мои плечи, высинить голые колени,— Браг ведь хватает меня на спене «мертвой хваткой»,— я закрываю дверь, предполагая, что не узнаю от Бути больше ничего интересного.

Как все, как и я сама, он почти никогда не рассказывает о своей домашней жизни.

Это молчание, эта упорная скромность моих товарищей обманули меня во время моих дебютов. Более впечатлительные, более пустые болтают о своих успехах, о своем артистическом самолюбии с напыщенностью и достоинством; озлобленные доходят до зловредных сплетен о «заведении» и о своих товарищах; болтливые плетут всякие небылицы; только один из десяти рискнет открыться: «У меня жена, два подростка... у меня больная мать... я обманут моей подругой...»

Молчание, хранимое артистами об их интимной жизни, является вежливым повторением фразы: «Остальное вам знать не нужно».

Жирные белила, шелковые костюмы, трико, громадные шляпы и все прочее отчуждают артистов друг от друга.

Все они горды, и «бедный» в мюзик-холле теперь исключение. Моя молчаливая симпатия к тем, кто после трех лет совместной работы дружен со всеми и никому не оказывает особого предпочтения.

Как мало знают и понимают артистов мюзик-холлов! Надменные, обольщающие себя мечтою, полные предрассудков и отживших взглядов на искусство, только они одни — последние!— позволяют себе говорить со священным жаром:

— Артист не должен... артист не может согласиться... артист не позволит себе...

От этих, безусловно, «надменных» людей, постоянно повторяющих: «свинское ремесло!», «грязь жизни!», я никогда не слышала сказанного со вздохом: «я несчастен...»

Быть надменным и в то же время покорно соглашаться «существовать» только один час в сутки, потому что неблагодарная публика, только что аплодировавшая им, тут же о них забыла!

Журнал может устареть, о препровождении времени [illegible] Х., о французах, об их мнениях относительно моды, политики, кухни и любви вспоминают правдивые люди... Но бедняга Бути, интеллигентный и слабый, осмеливающийся спрашивать: «Чем вы занимаетесь? Что думаете, почему молчите?», преследуя вас пугливо бегущих по бульвару Рошешуар около полуночи, — разве о нем кто-нибудь вспоминает?

В сотый раз обдумываю я эту скучную историю, оставаясь одна в уборной в то время, как привычные пальцы работают над гримировкой лица.

Едва я с ней покончила, как у двери раздалось знакомое царапанье; я сразу же открыла, зная, кто царапает. Это крошка брабансонский терьер, «работающий» в первом отделении.

— Это ты, Нелли!

Собачка входит ко мне уверенно, серьезная, и позволяет гладить себя по спинке, еще дрожащей от упражнений на сцене, не переставая в то же время грызть желтыми от старости зубками сухое печенье.

У Нелли блестящая шерсть, обезьянья мордочка с горящими, как у белки, глазами.

— Хочешь еще печенья, Нелли?

Хорошо воспитанная, она тут же соглашается. Ее ждет семья: хозяин — высокий, сухой, неразговорчивый мужчина и два белых сеттера, хорошо дрессированные, похожие на своего хозяина.

Откуда он сюда явился? Фасон его шляпы, его жесты, сама его впечатляющая фигура говорят, что он из хорошего общества. Мои товарищи, может быть, кое о чем догадывающиеся, окрестили его Эрцгерцогом.

Он терпеливо ожидает в коридоре, пока собачка съест печенье. Кажется, нет ничего более печального, важного и презрительного, чем этот человек с его тремя животными: человек, горделиво примирившийся со скитальческой жизнью. Я затворяю двери, и лай собачонки затихает.

Увижу ли я ее снова? Кажется, ангажемент «Антоньев и его собаки» сегодня кончается. Куда они перекочуют, где заблестят карие глазки Нелли, так ясно говорившие мне: ты меня ласкаешь, любишь, у тебя целая коробка с гостинцами для меня... но завтра мы уезжаем отсюда.

IV

От восьми часов утра до двух, в светлый день, я блаженствую в своей квартирке, нежась от ласки солнца, проникающего между стен новых домов. Сноп блестящих лучей проскальзывает на мою кровать, раскидывается на скатерти и на одеяле, отражаясь розовым отблеском на потолке.

Я лениво жду, когда луч солнца проползет по моему лицу, ослепит мои еще закрытые глаза и дрожащею тенью протянется через меня, быстрый, как синеватое крыло. Иногда я вспрыгиваю тотчас же с кровати, словно поднятая гальваническим током, и принимаюсь что-нибудь нервно чистить; уши Фоссеты приподнимаются, шерстка ее блестит под движениями щетки. Или же я начинаю рассматривать при ослепляющем блеске солнца все, что у меня утрачивает прелесть: ломкий шелк ресниц, уголки рта, улыбку, которая становится грустнее прежней, морщины вокруг шеи — ожерелье Венеры, под чьей-то невидимой рукой все глубже врезающееся в тело.

Этот строгий экзамен прерван сегодня моим коллегою Брагом, всегда оживленным, серьезным и бодрым. Я его встречаю, как у себя в театральной уборной, кое-как закутанная в кимоно из тюля, на котором остались следы грязных после дождя лапок Фоссеты. Для Брага мне нет нужды ни пудрить нос, ни увеличивать длину моих ресниц... на все это он обращает внимание только на репетициях.

— Это некрасиво... не увеличивай рта на версту — так ты похожа на рыбу... не суживай глаза — только у белых мышей они такие... на ходу не откидывай зад — так делают только кобылы!

Несмотря на то, что он был мне настоящим наставником сцены и я охотно исполняла все его указания, он, тем не менее, не упускает удобного случая, чтобы подтрунить надо мной и назвать меня «любительницей из общества».

Сегодня он вошел ко мне, приглаживая рукою затылок, словно на голове у него был надет парик. Его бритое каталонское лицо, всегда сохраняющее серьезное, бесстрастное выражение, заставило меня строить предположения о том, хорошие или дурные новости он принес.

Он окинул взглядом мой солнечный луч, как бы оценивая его, и спросил меня:

— Сколько ты платишь за квартиру?

— Я уже тебе говорила: тысячу восемьсот

— К тому же еще лифт и ласка солнца, как в Ницце. Кстати, нас приглашают сегодня участвовать в вечере.

— О!

— Ты не можешь?

— Ты шутишь?

— Вовсе нет, говорю серьезно. Ты протанцуешь свои танцы, я исполню «Пьерро-неврастеника»!

— Я не могу танцевать. Я потеряла ноты этих танцев в Эксе; к тому же я не знаю адреса аккомпаниаторши. Если бы меня предупредили дня за два...

— Это было невозможно. Мы должны заменить Баде, которая внезапно заболела.

— Какое мне до этого дело! Играй своего «Пьерро». Танцевать я не буду.

Браг закурил папиросу и небрежно заметил:

— Пятьсот.

— Для нас обоих?

— Только тебе; мне отдельно.

Пятьсот франков — три месяца платы за квартиру!

Браг, не обращая на меня внимания, продолжает курить. Он хорошо знает, что я соглашусь.

— Решено! Пятьсот... В котором часу?

— Разумеется, в двенадцать ночи. Ты позаботишься о своей музыке, да? До свидания. Ах! Кстати... подумай — Жаден вернулась!

— Неужели! Когда?

— Вчера в полночь, когда ты уже ушла. Ты ее увидишь. Она снова будет петь у нас. Семьсот, подумай, поразительно! Одно слово — женщины! — крикнул он на прощание и бодро вышел на улицу.

Участвовать в вечере... особая плата... Брр! Это меня заставляет дрожать. Я не хочу открыться в этом Брагу, но все-таки придется; мурашки забегали у меня по спине.

Снова увидеть «их»... тех, кого я так бурно покинула, тех, кто когда-то называл меня «мадам Рене», намеренно забывая фамилию моего мужа. Тех и других, одних — обманывающих меня, других — указывающих мне на измены моего мужа.

Теперь уже не то время, когда я видела в каждой женщине действительную и предполагаемую любовницу моего мужа, а мужчины довольно смело обращались с покинутой супругой, но все-таки у меня сохранился какой-то животный ужас перед этими салонами, где

я могу встретить свидетелей и соучастников моего минувшего несчастья.

Это предстоящее появление в свете портит мне завтрак с Гамоном, художником, уже вышедшим из моды, моим старым, верным и болезненным другом, кое-когда забредающим ко мне позавтракать.

Говорим мы с ним мало; он сидит, положив свою голову больного Дон-Кихота на стоящую рядом с ним этажерку, а после завтрака мы с ним начинаем рассказывать друг другу о наших неприятностях. Он говорит мне об Адольфе Теланди, не для того, чтобы огорчить меня этим, а чтобы вспомнить о том времени, когда он, Гамон, был счастлив; я же, в свою очередь, завожу разговор о его злой жене, случайно выскочившей за него замуж и через четыре месяца после свадьбы с кем-то убежавшей.

Мало-помалу мы отдаемся черной меланхолии, утомляющей, старящей нас; пересказав друг другу так много горьких и неприятных вещей, мы с засохшими губами клянемся никогда больше не вспоминать о них...

В следующую субботу Гамон снова разыскивает какой-нибудь анекдот об Адольфе... Я наблюдаю из-за шкафа, как плачет мой старый друг, и мне представляется в эту минуту его задорная блондинка-супруга, обвившаяся, точно змея, вокруг его шеи.

Сегодня наш завтрак не ладится. Гамон очень весел, говорлив; он принес с собой черного винограда, по величине похожего на сливы, очень сочного и сладкого... Но все-таки этот проклятый вечер в обществе испортил мне весь день.

. . . . . .

Ровно в четверть первого ночи мы с Брагом явились в Булонский лес.

Великолепный особняк! В нем, должно быть, аристократически скучают.

Гигант-лакей провел нас в комнату для артистов, предложил мне помочь скинуть меховое манто. Я нервно отказалась от его услуг. Не мог же он предположить, что на мне надето четыре синих ожерелья, жучок, прицепленный к ним, и всего несколько аршин газа — для удовольствия собравшихся в особняке гостей!

Прекрасно выученный лакей не настаивал, и мы остались одни. Браг, загримированный Пьерро, стал смотреться в зеркало; весь в белом, он казался зна-

чительно меньше своего обычного роста. Ему [illegible] приходится эти вечера в «свете», у него нет [illegible] отменной преграды, какая отделяет меня от [illegible], и ему не по душе публика салонов. Она возбуждает в нем злорадство.

— Представь себе,— говорил мне Браг,— эти [illegible] никогда не выучатся писать правильно мою фамилию: в программе они поставили Бран!

С деланной улыбкой, сосредоточенный, он исчезает за тяжелой бархатной портьерой, вежливо приглашенный другим гигантским лакеем.

Через четверть часа моя очередь. Осматриваюсь и нахожу себя некрасивой от резкого электрического освещения, от этих белых стен, отражающихся в зеркалах. Есть ли на эстраде ковер? Отделена ли она от зрителей рампой? Парик Саломеи ужасно жмет мне виски и усиливает мигрень... я зябну...

— Твой выход, старушка! Покажи им товар лицом!

Браг закончил свой номер. По его вымазанному лицу стекают струйки пота. Он накинул на себя пальто.

— «Свет» благосклонен, я это заметил, одобряют скромно, без шумных аплодисментов, смеются негромко, в границах приличия. Вот моя доля за такси, два с половиной франка, бери. Я ухожу

— Ты не подождешь меня?

— Зачем? Тебе в Тери, а мне на Монмартр — в разные стороны; к тому же у меня утром в девять часов уроки. Доброй ночи, до завтра.

Пора и мне. Моя рахитичная пианистка уже сидит за роялем. Я обертываю нервным взмахом вокруг своего тела вуаль, составляющую мой единственный костюм, вуаль цвета сирени с белым. Моя газовая темница мешает мне хорошо видеть, голые ноги чувствуют сперва короткий холст, затем мягкую волну персидского ковра... Увы, рампа отсутствует.

Короткая прелюдия пробуждает, кружит эту рослую бесформенную фигуру, которую я в настоящую минуту из себя представляю.

Мало-помалу вуаль развертывается, разлетается и падает, открывая меня взору «тех», которые сидят визу, приготовившись к злобным пересудам и болтовне на мой счет. Я их вижу, вовсе не желая того.

О благодетельное пламя, ты можешь заставить их пасть к моим ногам! Танцуя, прыгая, вертясь, я их вижу и узнаю.

В первом ряду сидит молодая еще женщина, долго бывшая любовницей моего мужа; мы обе не предполагали встретиться сегодня здесь. Красивые страдальческие глаза ее выражают и умление и страх!

Причина тому не я сама: мое появление заставило ее снова испытать всю горечь ее связи с Адольфом, ради которого она покинула все... Она готова была убить своего мужа, убить меня и бежать с Теланди. Он не любит ее больше и находит слишком грузной.

Он поручил мне ее на целые дни с просьбой, да что я говорю — с приказанием не привозить ее раньше семи часов и никогда не задумывался об этом ужасном пребывании с глазу на глаз двух женщин, взаимно обманутых и ненавидящих друг друга.

Нередко бедняжка теряла силы и разражалась жалкими слезами, я безучастно наблюдала ее отчаяние, надменно удерживаясь от слез. Это она в первом ряду, ее кресло у самой эстрады, так что я могу, насмешливо резвясь, задеть ногой ее волосы, предусмотрительно окрашенные в белокурый цвет, чтобы скрыть раннюю седину.

Она очень состарилась за эти четыре года. Она не спускает с меня боязливого взгляда; в эти минуты она снова переживает свой грех, свое отчаяние, свою любовь, которую она не забудет до самой смерти.

Позади нее я распознаю другую и еще одну. Каждую неделю они пили у меня чай, когда я была замужем: быть может, и они не отказывали моему мужу в своих ласках. Впрочем, это не имеет никакого значения. Они делают вид, что не узнали меня, но я замечаю противное: одна, забывшись, оживленно говорит что-то своей соседке, другая пристально всматривается в меня близорукими глазами, третья, вся раскрасневшись, неестественно повторяет:

— Ах, как жарко, как душно!

Они изменили свои прически с тех пор, как я рассталась с этим «настоящим светом», с этими фальшивыми подругами; мода заставила их отпустить волосы на уши, украсить их бандо из лент или металлическими обручами, придающими их лицам грязный вид.

По бокам и в глубине зала тянется темная фаланга мужчин. Они теснят друг друга, толкаются с грубой вежливостью «светских людей», с жадным желанием полюбоваться на женщину, «изгнанную из света», на женщину, у которой они едва осмеливались целовать

[illegible] в ее салоне, а теперь танцующую [illegible] голой здесь, на эстраде!

Вперед, вперед! Сегодня я слишком прозорлива: если я не возьму себя в руки, мой танец поблекнет!

Хорошенькая змейка кружится по персидскому ковру, египетская амфора испускает благоухание, пушистые волосы душистой волной развеваются в дикой пляске, проснулось гневное существо, оно скользит, сфинкс песочного цвета раскрыл свои когти, он выгибается, груди волнуются...

Я ничего не забыла, все пережила! Вперед, вперед! Разве существуют эти люди? Нет, нет! Реальность — это только танцы, свет, свобода, музыка...

Действительна только мысль, изображенная движениями. Одного изгиба стана, свободного от покровов, разве недостаточно, чтобы посмеяться над всеми этими талиями, скованными длинными корсетами в угоду моде, требующей быть худощавой?

Я хочу только на одно мгновение «их» прельстить! Еще немного усилий, открытая шея, украшенная драгоценностями, послушно изгибается в смелом движении... Вот что зажжет во всех этих глазах страстное желание, гадливую улыбку очарованного зверя.

Окончен танец, шум, довольно скромный, аплодисменты нарушают очарование. Я исчезаю, снова возвращаюсь на вызов, мило улыбаюсь, какой-то мужчина в глубине громко выкрикивает «браво», жестикулируя. Я узнаю этот голос, эту черную фигуру: это тот идиот который был у меня в уборной. Раздумывать некогда он и сам здесь, с опущенной головой, в комнате для артистов, где меня уже ждет моя аккомпаниаторша.

Мой идиот не один: с ним другой господин, одетый в черное.

— Мадам, позвольте поблагодарить вас за ваше любезное импровизированное участие в нашем вечере и выразить вам мое восхищение. Мое имя Дюфрен-Шотель,— поклонившись, сообщил он мне — а это мой брат Максим, сгорающий от желания быть вам представленным.

Мой старый знакомый рискует осторожно взять мою руку и тихонько поцеловать ее, оставаясь еще более расстроенным, чем у меня в уборной.

Дюфрен-Шотель № 1 с беспокойством вручает мне закрытый конверт.

— Я не знаю, кому его отдать, вашему импресарио или вам самим.

Дюфрен-Шотель № 2 бросает на брата убийственные взгляды.

— Разумеется, мне, месье, это так просто, лучше всего вложите это в ноты, ведь, сами видите, в моем костюме танцовщицы нет карманов.

Оба покатываются от смеха. Отклоняя предложение Дюфрен-Шотеля проводить меня, я возвращаюсь одна, заботливо пряча мой крупный гонорар — пятьсот франков. Я ложусь спать и тотчас засыпаю.

Опуская вечером в пятницу письмо в почтовый ящик, висящий около конторки контролера, я вынуждена была толкнуть здорового парня в фуражке набок (классический тип нашего квартала). Это тип сутенера, никогда не расстающегося со своей рубашкой без воротника, фуражкой блином и сюртуком с вытертыми карманами; его руки засунуты в них, в зубах — сигаретка, а на ногах стоптанные туфли.

В субботу и в воскресенье эти «господа» занимают половину нашего «Эмпире-Клиши», в особенности галерею, и, уплатив свои два франка 25 сантимов, желают иметь преимущество в виде надоедливого стучания палками об пол, выражающего нетерпение публики.

Они — постоянные посетители, увлекающиеся исполняемым на сцене, разговаривающие с артистами, свистящие, вызывающие их, умеющие вовремя кинуть «словечко», гривуазное замечание, заставляющее заржать всю публику. Частенько собственный успех их настолько опьяняет, что в театре поднимается целая буря, с одной галереи на другую перекидываются разговорами на местном «арго», орут, ругаются, и в конце концов появляется полиция...

Хорошо еще, если артист, исполняющий свой номер на сцене, в ожидании окончания свалки на время умолкает, стоя с бесстрастным лицом; иначе его ожидает дождь из апельсиновых корок, свернутых в комок программок и мелких монет, кидаемых с замечательной меткостью...

Но это случается, повторяю, только по субботам и воскресеньям. Порядок поддерживается неукоснительно в «Эмпире-Клиши», где все чувствуют неограниченную власть госпожи директрисы, хозяйки...

Хозяйка, бойкая шатенка, вся увешенная драгоценностями, сегодня, как и все вечера, восседает возле

[illegible], контролируя билеты. Глаза ее блестят, зоркий [illegible] замечает все, прислуга боится забыть вымести [illegible]ром пыль из самых темных уголков зала.

Глаза ее мечут молнии, когда она видит кого-нибудь из знаменитых «апашей», явившегося взять билет на излюбленное им место, самое удобное для скандала, для кидания в артистов, на сцену.

Хозяйка выпроваживает его без шума, с уверенным видом укротительницы зверей.

— Возьмите обратно сорок пять су и убирайтесь!

«Апаш», разводя руками, беспомощно шепчет, переминаясь с ноги на ногу:

— Почему, мадам Барне, что я такое сделал?

— Да, да, «что я такое сделал?» Ты думаешь, что в прошлую субботу я ничего не заметила? Ведь ты сидел на галерее, а?

— Может быть...

— Это ты поднялся с кресла во время пантомимы и закричал: «Она показывает только одну грудь, а я желаю видеть обе, я же заплатил за них!»

Смущенный малый, прижимая руку к сердцу, пытается оправдаться.

— Я, я... Что вы, мадам Барне, я умею держать себя, я прекрасно сознаю, что так поступать неприлично! Уверяю вас, мадам Барне, что это был не я...

Королева «Эмпире-Клиши» протягивает ему свою беспощадную десницу.

— Без болтовни! Я тебя видела — этого довольно! Раньше чем через неделю ты не получишь здесь билета, забирай свои деньги и убирайся до будущей субботы.

Он молча удаляется, сжавшись, точно побитая собака, и только на тротуаре принимается орать, но она не сердится, понимая, что виноват, и немного погодя умолкает.

Еще на железной лесенке вместе с угарным запахом калорифера до меня доносится издалека голос Жаден, этой маленькой клячи. Ее снова восторженно принимает публика нашего квартала. Я отлично слышу там оглушительный смех, добродушную ругань, в которой слышится одобрение и поддержка артистке.

Ее надорванное, но все еще мягкое контральто, хриплое от частых любовных похождений, задыхающееся, захватывает зрителей. Один из антрепренеров, опытный и знающий, слышавший ее здесь, уверенно заметил:

— Я охотно возьму ее и выдвину; через три месяца вы увидите, что из нее будет!

Он сделал из нее певичку с редким голосом, оружию благим матом! Подобные опыты не годятся для всех артисток, но где, как только не здесь, блистать этой лохматой Жаден?

Я встречаю ее на лестнице такой же, какой видела ее в последний раз: в длинном платье, волочащемся по полу, в фишю Марии-Антуанетты, всю пожелтевшую от табачного дыма в театре, зевающей во весь рот, с многочисленными бейками на плечах, с красными, как вишня, губами и со следами пудры на темном пушке усов.

Я очень рада увидеть эту плохо вымуштрованную девочку; она, в свою очередь, скатывается с последних ступенек лестницы, чтобы кинуться в мои объятия, хватает мои руки своими теплыми лапками и стремительно следует за мной в мою уборную, где я начинаю прямо с упрека:

— Жаден, знаете, это отвратительно! Нельзя же бросать людей таким образом!

— Я ездила навестить мою мать,— отвечает Жаден самым серьезным тоном.

Но я вижу в зеркале, что она лжет: все ее детское лицо свертывается от смеха в комочек, как у ангорского котенка.

— Вы не верите, да? А здесь без меня, кажется, хотели повеситься! Я ведь не переменилась, верно? Ах, какие прекрасные цветы, простите!

Проворная рука Жаден выхватывает пурпурную розу из бумажной обертки, заключающей в себе большой букет цветов, который ждет меня на столе перед зеркалом.

«Максим Дюфрен-Шотель свидетельствует свое почтение».

Дюфрен-Шотель! Наконец я вспомнила имя моего идиота! Ленясь открыть справочную книгу, я припоминала это имя на разный манер...

— Да, можно сказать, что это цветы! — заметила Жаден, когда я начала переодеваться.— Вам прислал их ваш «дружок»?

Напрасно я откровенно возражала ей:

— О нет! Это один господин благодарит меня за вечер, в котором я участвовала.

— Тем хуже,— последовал уверенный ответ Жа-

[illegible] приобрел богатый человек. Тип, который [illegible] на днях, не дарил мне таких цветов. И привязан [illegible] Замечание Жаден опять было [illegible] цветов и [illegible] было непонятно. Она покраснела так [illegible] и пальцами [illegible]

Вы, может быть, не верите, что это был состоятельный мужчина? Спросите-ка Лома, старшего мастера, сколько я заработала вчера вечером; я сумма называла после того, как ушла из театра.

— Сколько же?

— Восемь шестьсот франков! Лом их видел, это не выдумка.

— Что вы с ними сделаете, Жаден?

Она беспечно выдернула нитки, торчащие из ее старого белого платья.

— Разумеется, не буду их прятать; я оплатила машинистам поездку, одолжила пятьдесят франков Мириам для уплаты за шубу, а затем то один, то другой сообщают, что у них нет ни су, жалуются... Да разве я виню! А вот и Бути! Здравствуйте, Бути.

— Добрый вечер, бомбочка.

Вежливый Бути, заметив, что на мне только кимоно, захлопывает дверь моей уборной и вырывает свою руку у Жаден, повторяя нежно «привет» и посылая ей воздушный поцелуй.

«Бомбочка» сразу же забывает о нем и продолжает со мной прерванную болтовню:

— Поймите, мне, право, неприятно иметь так много денег.

— Но лучше вы купите себе платья, по крайней мере, хотя бы одно, чтобы заменить вот это.

Одним взмахом руки она закидывает волосы на плечи и оживленно говорит:

— Вы думаете? Этого платья хватит мне до обозрения. Что «они» сказали бы, если бы увидели меня на сцене в короткой юбке!

Жаден права: «они» — это исключительная публика нашего квартала, ревнивая, которую эта девчонка все-таки надула и которая ее простила; «они» не обращают внимания на ее плохой костюм, обувь, дешевенькую фишю, но ни в чем не терпят новшеств!

После недолгого молчания Жаден, слегка смущенная, продолжала:

— Поймите, я купила себе то, что мне было крайне нужно: шляпу, корсаж и шарф на шею. Вы сейчас

...мою шляпу! До свидания, Бути! — крикнула ...
— Я богата, ты знаешь. Сколько тебе надо?
— Мне надо очень мало, благодарю!
Если я открыто скажу, что Бути любит Жаден, надо мной будут смеяться.
Я осталась одна со своим букетом роз, обыденным, громадным букетом с бледно-зеленой лентой вокруг. Это — почтение Больного Скворца, которого Жаден считает моим новым любовником!
«С выражением моего глубочайшего почтения...» Я прекрасно изучила за эти три года все подобные выражения почтения, и я не нахожу в них никакой «почтительности»; мое старое мещанское чувство просыпается и начинает относиться саркастически к таким замаскированным «уважениям»
В первом ряду оркестра, несмотря на мою близорукость, я замечаю сидящего сосредоточенно и серьезно Дюфрен-Шотеля младшего. Его черные волосы, приглаженные на ровный пробор, блестят, как шелковые. Он чувствует себя счастливым, что я его узнала, и, передвигая голову, следит за моими движениями, за моим появлением и уходом со сцены, словно моя собачка Фоссета, когда я одеваюсь, чтобы идти гулять.

V

Дни бегут. В моей жизни не произошло ничего нового, если не считать, что теперь меня терпеливо дожидается мужчина.
Наступают Рождество и Новый год, сочельник первую возбуждает все наше «заведение». Публика, наполовину пьяная, орет как один человек. Авансцена вся завалена кидаемыми со второй галереи мандаринами и дешевыми сигаретами. Жаден, пьяная уже после завтрака, забыла конец своей песенки и проплясала что-то дикое. Ее юбка задралась, открывая разорванное трико; спутанная прическа болталась по спине... Наша хозяйка восседала в своей ложе, довольная отличным сбором, и сонными глазами поглядывала на зрительный зал.
Браг тоже много выпил за обедом и бормотал какую-то мрачную фантазию «о черном козле». Оставшись один в своей уборной, он импровизировал странный монолог сумасшедшего, защищающегося от бесенят, не дающих ему покоя.

— Довольно! Достаточно! — отчаянно выкрикнул он, будто и в самом деле находился во власти дьявола.

Что же касается Бути, то он, весь трясясь от приступа кашля, тянул свое синеватое молоко.

Возвратясь домой, я с аппетитом съела прекрасный виноград, который принес мне мой друг Гамон. Моей собеседницей была Фоссета, усердно грызшая леденцы, присланные Большим Скворцом. Я чувствовала, смеясь над собой, какую-то зависть ребенка, которого забыли пригласить на вечер...

Чего же мне хотелось? Поужинать с Брагом, с Гамоном или же с Дюфрен-Шотелем? Вовсе нет! Я не лучше и не хуже других. Иногда мне нравится кружить головы мужчинам. Меня это очень забавляет.

Мои настоящие, верные друзья, такие, как Гамон,— это необходимо заметить — постоянно грустны, потерянны; не связывает ли нас взаимная печаль? Я не могу ничего понять. Иногда мне кажется, что скорее я сама навеваю меланхолию на людей, склонных к одиночеству и к бродячей жизни, подобной моей, людей, похожих между собой.

Довольно об этом. Возвращаюсь к моему визиту к Марго.

Марго — это младшая сестра моего бывшего супруга. К сожалению, она с детства носит это уменьшительное имя, которое идет ей, как кольцо, продетое в носу. Она живет одиноко и очень похожа, благодаря своим коротко остриженным волосам, рубашке, украшенной русскими вышивками, и длинной черной кофточке, на Розу Бонер, которая была нигилисткой. Обобранная своим мужем, презираемая братом, обкраденная управляющим, обманываемая прислугой, Марго погрузилась в грустное самосозерцание, полное доброты и презрения.

Старая привычка всегда быть эксплуатируемой значительно сократила ее ренту, иногда она возмущалась, приходила в ярость и выгоняла свою кухарку за слишком пережаренную морковку

— Я ничего не имею против того, что меня обкрадывают, но желаю, чтобы ко мне относились с почтением.

Затем она снова на долгое время погружалась в свое презрение ко всем.

В то время, когда я была замужем, я очень мало знала Марго, всегда холодную, мягкую и молчаливую

Мы с ней не сошлись. Только в тот день, когда был решен мой развод с Адольфом, она вежливо пригласила меня к себе, к изумлению моего мужа, и никогда больше с ним не виделась. Я убеждена, что в Марго я имею самого искреннего друга и верную поддержку. Она выдавала мне по пятнадцать луидоров ежемесячно и этим спасла меня от нищеты.

— Бери их,— говорила мне Марго.— Эти деньги по справедливости твои: это те самые ежедневные десять франков, которые у меня вытягивал Адольф.

Разумеется, у Марго я не могу искать ни утешения, ни той веселости, которая мне так необходима, но, по крайней мере, Марго меня по-своему любит и предостерегает меня от самого досадного конца.

— Ты, моя милая,— сказала она мне сегодня,— будешь иметь успех, если опять не закрутишься с каким-нибудь мужчиной вроде Адольфа. Твое призвание, как и мое, быть обобранной, это я тебе заранее говорю. Ты одна из тех женщин, которые нужны Адольфам лишь на короткое время, для их опытов!

— Марго, вы становитесь невыносимой: каждый раз вы повторяете одно и то же,— возразила я ей, смеясь,— «ты такая, ты этакая, ты из тех...» Да дайте же мне возможность сначала согрешить, а тогда уж можете и проповедовать мне все это.

Марго бросает на меня один из тех взглядов, которые должны все уничтожить, но вместо того не производят никакого впечатления.

— Я этого не желаю, моя милая. Необходимо предупредить прежде, чем ты согрешишь, по твоим словам. Ты непременно постараешься поскорей сделать глупость, а за ней последует и другая. Мне уже кое-что известно. И к тому же,— прибавила она со слабой улыбкой,— ты не признаешь моего мнения.

— В таком случае, что же мне делать, Марго? Что вы не одобряете в моей теперешней жизни? Неужели я должна, по вашему примеру, замуровать себя, чувствуя постоянный страх и печаль, и привязаться, как вы, к маленьким брабансонским терьерам?

— Пожалуйста! — воскликнула Марго с детской живостью.— Нет более преданных друзей, чем они. Вот за этим животным,— показала она на маленькую рыженькую собачку, похожую на обстриженную белку,— я ухаживала четырнадцать ночей, когда она заболела бронхитом. Когда мне приходилось оставлять ее одну

на один только час, бедняжка делала вид, что не узнаёт меня, и лаяла, точно я была ей чужая. Кстати, дружок мой, как твое здоровье?

— Благодарю, Марго, очень хорошо.

— Язык? Пульс? Глаза?

Она приподнимала мне веки, заставляла высовывать язык, щупала пульс, по-видимому, считая меня своим брабансонским терьером; мы обе с ней хорошо знаем цену здоровью и несчастье его потерять... Одиночество все-таки можно перенести, когда ты здорова, но лежать в лихорадке, трястись всем телом, прокашлять всю ночь без передышки, надоедливо прислушиваясь к унылому завыванию ветра, к дождю, ударяющему в окна, и только под утро погрузиться в тревожный сон, обливаясь холодным потом,— для одинокого человека это ужасная пытка.

На протяжении нескольких дней в прошлом году я узнала этот ужас чувствовать себя медленно умирающей, вдали от всех, забытой всеми. Вот почему, по примеру Марго, я очень забочусь о моем горле, желудке, о моей коже, подобно скряге, страстно привязанному к своему имуществу.

VI

Я вспомнила сегодня о странных словах Марго. В них было мало смысла, она... а я?

Мои чувства... верно, но о них я давно уже позабыла.

Кстати, о чувствах... Марго уверяет, что на них не следует обращать внимания, но лучшие произведения литературы, да и плохие тоже, стараются в один голос доказать, что все умолкает, когда заговорит «чувство». Кому верить? Браг мне как-то заметил тоном врача:

— Ты сама должна понимать, что такая жизнь, какую ты ведешь,— нездорова!

И прибавил, как Марго:

— Впрочем, ты проводишь ее не хуже и не лучше твоих товарищей. Не позабудь, что́ я тебе сейчас сказал!

Я не люблю об этом вспоминать. Брагу интересно все вмешиваться и указывать. На это, разумеется, не стоит обращать внимания, но мне не нравится вспоминать об этом.

Мне часто приходится в мюзик-холле присутство-

вать при подобных разговорах о «чувствах» со всеми статистическими и хирургическими подробностями, и хотя я не притворяюсь глупенькой, они интересуют меня так же мало, как интересовало бы известие в газетах о чуме в Индии. Я готова содрогаться, но предпочитаю оставаться безразличной. К тому же меня занимает этот Большой Скворец, всеми силами старающийся ко мне втереться, следящий за каждый моим шагом со старанием настоящей ищейки.

Я постоянно нахожу у себя в уборной цветы, Фоссета получила подарок — никелированную мисочку для питья; три оригинальные фигурки животных — кошка из аметиста, слон из халцедона и бирюзовая жаба — разместились на моем столе. Тут же стоит ваза из малахита с букетом из белоснежных лилий, присланная мне 1 января. Я слишком часто встречаюсь на улице с Дюфрен-Шотелем, чтобы принять эти встречи за случайные.

Он старается мне напомнить, и очень настойчиво, о существовании властного полубога, страстно желающего любви и не могущего завоевать ее, напомнить, что я одинока, что я в расцвете сил и еще больше помолодела и похорошела от моего долгого нравственного воздержания.

Чувство? Да, оно у меня тоже когда-то имелось... В те времена, когда Адольф Теланди был его достоин... Нежное чувство привычки, не сказать ли точнее — банальное.

Счастливая обычной нежностью, выказываемой мужем, боязливо сторонящаяся каких-либо новых, необычных любовных утех... медленно возбуждающаяся и точно так же не скоро гасившая свою страсть... Разве это не было настоящим чувством любви?

Измена, постоянная печаль уничтожили его, но надолго ли? Дни радости, дни физического увлечения миновали для меня навсегда, и я искренне чувствую себя совершенно негодной для того, что делало бы меня такой же женщиной, как все другие...

Но бывают иногда дни просветления, когда я начинаю сама себе возражать: «Берегись! Не забывайся ни на минуту, все близкое тебе слишком обманчиво, но самый опасный враг для тебя — это ты сама! Не повторяй, что ты умерла, отчуждена ото всех, бесчувственна: зверь, забытый тобою, только спит и становится сильнее и могущественнее во время сна!»

К тому же я нарочно старалась выкинуть из памяти все, что я делала, меня страшила возможность снова «ожить», я ни о чем не заботилась, ни о чем не жалела... до будущего крушения моей самонадеянности, до неизбежного кризиса, приближение которого я предвидела с ужасом, до кризиса, сопровождаемого печалью после минутного наслаждения.

VII

Мы репетируем с Брагом новую пантомиму уже несколько дней. Там будут фигурировать: лес, грот, старый троглодит, молодой хамадриад и пожилой фавн.

Фавн — это Браг, лесная нимфа — я. Что же касается старого троглодита, то у нас еще никого нет на примете, его роль эпизодическая, и Браг мне сказал: «Среди моих учеников есть мальчик лет восемнадцати, как раз подходящий на роль этого допотопного животного».

Репетируем мы в «Фоли-Бержер» с десяти до одиннадцати утра и, не стесненные расставленными в конце сцены декорациями, работаем здесь свободно.

Как смешно, что я являюсь сюда без корсета, в потертой блузке и в широких шароварах из черного атласа под короткой юбкой. Я завидую Брагу. Каждую минуту я стараюсь подражать его живости, авторитетности и сознательной деятельности; усиленно борюсь с холодом, с удушливой атмосферой сцены, плохо проветренной за ночь, пахнущей человеческим потом, тухлой говядиной и сивухой.

Паровое отопление в это время еле-еле греет. Я хлопаю руками, стараясь их согреть, передергиваю от холода плечами, ноги плохо двигаются, я чувствую себя какой-то несчастной, потерянной. Браг, привыкший к моему утреннему недомоганию, старается его преодолеть, не перестает надо мной подшучивать, бегает вокруг меня, словно крысолов, бойко выкрикивая указания, которые меня подхлестывают.

Весь театральный зал наполняется пылью: это час, когда служители начинают выбивать пыль из ковров, выметать вчерашний сор.

Ближе нас к авансцене «работает» на мягком ковре труппа немецких акробатов. Это здоровые, цветущие немцы, с белой кожей, внимательные и старательные в своей работе; на них крепкие трико, и во время от-

дыха они все-таки упражняются, придумывают новую эквилибристику, которая им понадобится только, быть может, в будущем месяце. Покончив с репетицией, они серьезно следят за опасным обучением их самого младшего товарища, мальчика, благодаря своим длинным кудрям похожего скорее на девочку, перекидываемого в воздухе и попадающего то на руки, то на ноги своих партнеров; его мягкие кудри разлетаются, окружая его головку каким-то сиянием.

— Внимание! — кричит Браг.— Опять пропустила это движение! Зачем же тогда репетиция, раз ты совершенно не соображаешь, что делаешь!

Я уверяю его, что это трудно.

Над нами перелетают на воздушных трапециях смелые гимнасты, подавая знаки друг другу криками, похожими на крики ласточек. Блеск никелированных колец, скользкие движения рук, натертых канифолью, по полированным гимнастическим снарядам, вся эта суматоха вокруг меня, полная изящества и силы, какое-то презрение к опасности меня увлекают, очаровывают, и в конце концов я про все забываю.

Вот почему, увы, мне неприятно в эту минуту прийти в себя и осознать, что я должна выражать жестами страстные чувства, желания и тому подобное.

Я снова вспоминаю об акробатах, когда возвращаюсь пешком с Фоссетой, которой наши репетиции внушают молчаливый гнев, подобный тому, какой она испытывает при встрече с большими собаками; они ее пугают настолько, что вся ее мордочка, напоминающая лицо японского солдата, сразу преображается: глаза выкатываются наружу, губы оскаливаются, обнажая ряд редких зубов, похожих на криво поставленный забор.

Фоссета, выросшая на сцене, знает мюзик-холл лучше меня, смело бежит по темной сцене; ей знакомы все темные закоулки коридоров; ее влечет хорошо принюхавшийся ей запах благовонной воды, рисовой пудры, ее шерстке знакомо прикосновение рук, покрытых жидкими белилами; она с достоинством грызет сахар, который ей дают статисты.

В первый раз, когда я привела ее сюда вечером, она немного капризничала, а потом спокойно ожидала меня, свернувшись в своей корзинке, пока я не была совершенно готова.

— Побежим скорее, Фоссета, сегодня суббота, Гамон нас ждет,— сказала я ей как-то после репетиции,

и мы пошли, не желая брать фиакр. Воздух был чудный, удивительно мягкий для ранней весны.

Гамон на этот раз был не один. Он уже дожидался нас на тротуаре, болтая с младшим Дюфрен-Шотелем, Максимом, так называемым Большим Скворцом.

— Как, это вы! — воскликнула я и, не давая ему возможности что-либо возразить, сурово спросила Гамона:

— Вы знакомы с господином Дюфрен-Шотелем?

— Разумеется! — смущенно ответил он.— Вы тоже, как я заметил. О, я его знал еще совсем маленьким; у меня в шкафу хранится его фотография с надписью: «На память о первом причастии Максима Дюфрен-Шотеля, 15 мая 18...».

— Это правда,— заметил Большой Скворец,— мама послала вам эту карточку; она считала, что я на ней очень красив.

Я не рассмеялась вместе с ними. Мне было неприятно, что они знакомы друг с другом; к тому же я чувствовала себя неловко с моими растрепавшимися под меховой шапочкой волосами, лоснящимся от солнца носом и пересохшими от жажды губами.

Я сразу же постаралась спрятать мои старые, заплатанные ботинки под юбку: они были слишком неприглядны с лопнувшим во многих местах шевро, хотя для репетиции танцев и были чрезвычайно мне удобны.

Большой Скворец готов был проглотить меня своим взглядом. Я чувствовала чисто ребяческое желание подразнить его и серьезно спросила:

— Что такое вы на мне заметили? Уж не запачкали ли у меня нос?

— Нет, вовсе нет! Но странно, я вас видел только по вечерам и никогда не предполагал, что у вас серые глаза; со сцены они казались мне карими,— смущенно ответил он.

— Да, я знаю. Мне это уже не раз говорили. Однако, Гамон, яичница остынет! До свидания, месье!

Никогда прежде я не рассмотрела его так хорошо, как в этот чудный день; его темные глаза не были совершенно черными, скорее карими, похожими на глаза собаки...

Все кончилось на этот раз пожатием рук, а Фоссета, мошенница, пролаяла «прощайте, месье» и сардонически улыбнулась. Бедный Большой Скворец весь сжа-

ся, когда я говорила о яичнице. Он ждал, что его тоже пригласят!

С Гамоном я обращаюсь непозволительно, заставляю его долго ждать, и, пока хорошенько не вымою руки, он остается с Бландиной, накрывающей на стол. У меня нет столовой; я не вижу необходимости иметь комнату, в которой проводишь один час в сутки. Нужно заметить, что Бландина спит ночью в гостиной, и это уменьшает мои расходы на жилье.

— Так вы знаете Максима? — проговорил Гамон, развертывая салфетку.

Я ожидала этого вопроса и быстро нашлась с ответом:

— Я? Совершенно не знаю! Его представили мне на вечере у его брата, вот и все знакомство.

Я не стала упоминать, не знаю почему, о неожиданном вторжении Большого Скворца в мою уборную.

— Он вас хорошо знает и очень восхищается вами, кажется, даже влюблен.

Хитрый Гамон! Я вижу всю его скрытность, пронырство, ловкость, мне все это так хорошо известно...

— Он знает, что вы любите розы, конфеты с фисташками, он даже заказал ошейник для Фоссеты.

— Ошейник для Фоссеты? — изумленно прошептала я и улыбнулась.— Мне это все равно. Фоссета — безнравственное создание, она все примет.

— Мы, разумеется, говорили о вас. Я был уверен, что вы дружны.

— О, в этом вы не можете сомневаться, Гамон.

Мой старый друг опустил глаза, тронутый моим заверением.

— Это очень милый молодой человек, поверьте.

— Кто именно?

— Максим. Я знаю его мать, она вдова. Позвольте, это было в тридцатом, нет, в тридцать пятом...

И пошел! Мне пришлось выслушать всю историю Дюфрен-Шотелей, матери и сыновей. Она сама управляет имением в Арденнах с большим лесом...

Максим немного ленив. Он младший из сыновей и самый избалованный. Гораздо образованней, чем выглядит; ему тридцать три года...

— Столько же, сколько мне.

Гамон перегнулся через стол ко мне и многозначительно спросил:

— Вам тридцать три года, Рене?

— Увы!

— Не говорите этого. Никто не должен знать об этом.

— Да, на сцене...

— Нет, и в обществе.

Он не продолжал своих комплиментов и снова перешел к истории Дюфрен-Шотслей.

Я недовольно ела виноград, в эти часы мы должны были, по заведенному обычаю, приступить к нашим старым воспоминаниям, к еженедельному грустному аромату нашего прошлого...

Бедный Гамон! Ради меня он отказался от этой печальной и дорогой ему привычки. Я понимаю, что только ради моего одиночества он решился сказать мне тоном родительского наставления:

— Это настоящий любовник для вас, моя дорогая: он здоров, не играет в карты, не пьет... Что же вы меня не благодарите?

VIII

Еще четыре дня — и я покидаю «Эмпире-Клиши». Каждый раз, когда я заканчиваю немного длинный контракт в мюзик-холле, меня охватывает какое-то странное чувство освобождения, о котором я не жалею. Счастливая своей свободой, довольная возможностью оставаться по вечерам дома, я невольно делаю движение, выражающее: «Уф! Наконец-то!»

На этот раз я тоже обрадовалась и, сидя в уборной Брага, перечисляю моему товарищу спешные дела, которые займут все мое свободное время.

— Во-первых, я хочу перекрыть все подушки на диване, затем передвинуть диван совсем в угол и устроить над ним электрическое освещение.

— Выдумщица! Это будет похоже на гостиницу,— серьезно замечает Браг.

— Боже мой, как ты глуп! Кроме того, у меня еще много других дел. Я так долго не занималась своим хозяйством.

— Совершенно верно,— соглашается Браг.— Но для кого все это?

— Как это для кого? Для меня самой.

Браг оборачивается на минутку к зеркалу, я вижу его сбоку, сильно подсиненный глаз кажется громадным синяком.

— Для тебя? Для одной тебя?.. Прости, но мне это кажется глупым. К тому же неужели ты думаешь, что я бросил «Пленницу»? Погоди немного, и мы устроимся в одном из больших мюзик-холлов в провинции или за границей. К тому же Классенс, агент, просил меня передать тебе, чтобы ты зашла к нему...

— Как, уже?

Брат решительно пожал плечами.

— Да, да, я так и знал! «Как, уже?» И в то же время, если бы я сообщил тебе, что у нас не наклевывается никакого ангажемента, ты бы заныла: «Когда же поедем? Когда?» Все вы таковы...

— Я тоже так думаю,— послышался печальный голос Бути позади нас.

Он еще больше похудел за последний месяц и сильно утомился. Я украдкой взглянула на него, но что можно было разгадать под этой красной маской, в этих глазах с белыми кругами? Мы молча слушали голос Жаден, поющей внизу на сцене:

Ах, ах, ах, малютка Маргари-и-ита...

— Итак, через четыре дня вы нас оставляете? — угрюмо спросил меня комик, поднимая голову.

— Да, через четыре дня. Мне было так приятно и так спокойно здесь.

— Так спокойно! — усмехнулся скептически Бути.— Есть места еще более спокойные. Отыскать их вовсе нетрудно. Я ничего не скажу дурного про публику, но она слишком шумная... О, я знаю,— возразил он на мой жест безразличия,— что везде можно быть довольным. Но когда... но когда... Послушайте, как они орут! Как вы думаете, сможет ли женщина, я предполагаю — молодая женщина, не особенно образованная, привыкнуть сдерживать себя?.. Например, такая, как наша бомбочка Жаден?

Ах, бедный Бути! Страдания любви внезапно пробудили в вас аристократа и презрение к этой публике, которая вас так хорошо принимает. Вы ищете и найдете извинение для Жаден, вы сами изобретете теорию влияния толпы, в которую я не верю ни капли.

IX

Русские танцоры уехали, Антоньев и его собаки приглашены куда-то в другое место. Куда? Это никого из нас не интересует. Другие «номера» их заменили,

их приглашали только на неделю, даже на четыре ...ли, так как приближается смена программы.

Я встречаю на сцене, в коридорах новые лица, обме...ваюсь с ними легкой улыбкой, опусканием ресниц, обычным сценическим способом здороваться...

Из старой программы остались еще только мы и Жален, которой поручено — вы подумайте! — несколько ролей в «обозрении», и Бути...

Мы грустно болтали, «ветераны» «Эмпире-Клиши», заслоненные появлением новых артистов. Где-то находятся все те, кого я здесь знала? В Париже, в Лионе, быть может, в Вене и даже в Берлине или же сидят без ангажемента.

В кабинете театрального агента Классенса мы встречаемся всего на пять минут, радостно приветствуем друг друга, дружески пожимаем руки, узнаём, что еще живы, перекидываемся вопросами: «Что вы поделываете, свободны ли?» Узнаём, что «сюда можно ехать», а туда «нельзя подписать контракт».

«Нельзя подписать...» За этой короткой фразой моим бродячим товарищам ясно представляются неприятности, клянчанье денег, недостаток в них, нищета... Впрочем, в этом они никогда не сознаются, удерживаемые каким-то мишурным героизмом, делающим их для меня дорогими.

Некоторых из них, долго остающихся без ангажемента, время от времени приглашают в настоящий театр на крохотные рольки, но они этим не хвастают и мрачно-терпеливо ожидают возможности вернуться обратно на подмостки излюбленного ими «кафе-концерта». Для них самый счастливый тот час, когда они наденут на себя коротенькую юбку с бантиками, изношенный фрак, пахнущий бензином, и будут исполнять номера «своего репертуара».

— Нет, это нельзя подписать,— сообщают мне некоторые и тут же прибавляют: — Я работаю в кино.

Кинематограф — угроза для артистов мюзик-холла, но он же иногда и спасает их. Они пристраиваются на безымянную, бесславную работу, которая им не нравится, перепутывает часы их отдыха, труда и шатания по улицам. Сотни из них живут кое-как, но некоторые даже богатеют на этой работе. А если кинематограф совершенно уничтожит сценическую славу и красную строку, то что же тогда делать артисту?

— Нет, это нельзя подписать!

Обыкновенно эту фразу произносят с подчеркиванием и серьезно, не жалуясь и не сердясь, вертя в руках шляпу или пару старых перчаток.

Затянутая в старомодное платье, хотя и приличное, актриса еще не представляет из себя интереса для всевидящего директора; вытертый жилет, мятый пиджак, брюки, желтые на коленях, жалкое пальто актера точно так же не интересны для агента, в свою очередь заявляющего:

— Это нельзя подписать!

. . . . . .

Где мы будем в следующем месяце? Вечером Бути бродит, словно потерянный, по коридорам мимо уборных, покашливая, пока я не отворяю двери своей уборной и не приглашаю его на минутку присесть. Он опускается, как тощая собака, на хрупкий стул с облупившейся белой краской и подбирает под себя ноги, чтобы не мешать мне одеваться. Вошедший Браг присоединяется к нам, по-цыгански расположившись на корточках, прижавшись спиной к горячей трубе калорифера. Стоя между ними, я заканчиваю одеваться, и моя красная юбка, вышитая желтым суташем, при каждом моем движении задевает их по лицу.

У нас нет никакого желания разговаривать, но мы все-таки болтаем, борясь с суровой необходимостью удерживаться от сплетен и пересудов о своих товарищах. Только Браг по-прежнему оживлен и сохранил свои надежды на будущее.

Для меня оно безразлично, здесь или там... Мой вкус немного устарел, опытность — чисто артистическая, переезды и путешествия, хлопоты по хозяйству с настойчивостью и с ужимчивостью — чисто мещанские; в настоящее время я — богема, кочующая из города в город, богема аккуратная, внимательно зашивающая сама свою одежду и опрятно ее чистящая, богема, таскающая при себе свои жалкие гроши, но держащая свою маленькую сумочку из свиной кожи в строгом порядке, медяки и серебро отдельно, золото же предусмотрительно спрятано в секретное отделение.

Скиталица, да, но сознающая свое место, умеющая осмотреться, как и мои товарищи, мои братья. Переезды меня беспокоят, я становлюсь нервной. Это правда, на мне отражается почти все, что я вижу и испытываю во время путешествия: новые страны, чистое или покрытое тучами небо, моря в сиянии играющих разноцвет-

теми красками лучей — все это воспринимается мною так ярко, что мне даже чудится целый ряд каких-то маленьких существ, похожих на меня, ныряющих в морских волнах, качающихся на листьях, тающих вместе с облаками.

Но последнее из них, больше всего похожее на меня, не осталось ли оно там, около моего камина, с мечтой о будущем облокотясь на книгу, до сих пор далеко еще не прочитанную?..

Часть вторая

I

— Уютный уголок! Как все это не вяжется с вашим присутствием на сцене мюзик-холла, когда вот так видишь вас здесь, при свете розовой лампы, в окружении цветов!

Это сказал мне мой обожатель, уходя от меня вместе со сводником Гамоном, отобедав у меня в первый раз.

Да, у меня имеется обожатель... Я не пытаюсь называть его иначе, по-модному ни любовником, ни предметом моего флирта, ни кавалером... просто обожатель.

«Уютный уголок!» Сегодня вечером я печально усмехнулась за его спиной.

Розовая лампа, треснувшая хрустальная ваза с цветами, плохонькое кресло возле стола, сильно потертый диван, скрывающий беспорядок подушек... И случайный гость, пораженный подобной обстановкой, предполагает, что здесь протекает одинокая жизнь интеллигентной, вдумчивой женщины... Ах, он не заметил чернильницы, покрытой пылью, засохшего пера, книги, валяющейся неразрезанной на пустом ящике из-под бумаги для писем.

Стекло в рамке с небольшой пастелью (эскиз Адольфа Теланди) давно уже разбито и тщетно ожидает, чтобы его заменили целым... Небрежная рука приколола и позабыла лоскуток бумаги над электрической лампочкой, освещающей кухню...

Несколько сотен открыток, изображающих сцены из пьес, прикрепленные серой, уже загрязненной бумажной лентой к стенам с имитацией слоновой кости, с тисненым рисунком XV века...

Все это говорит скорее о безразличии, о небрежности, точно накануне отъезда, а совсем не об уюте.

Какой же может существовать уют вокруг этой лампы с выцветшим абажуром?

Я смеялась до упаду, когда ушли оба мои собеседника, и всю долгую ночь сгорала от стыда, от обожа-

ния Большого Скворца. Этот наивный, нелепый человек рассказал мне сегодня, как он дошел до того, что некоторые вещи невольно будят в нем известные воспоминания, намекают на лица, на фигуры...

С тех пор прошло немало вечеров, проведенных с Гамоном или с моим обожателем без Гамона.

Мой старый приятель установил это «согласие» между нами, как он называл свое грязное ремесло. Иногда он украшал блестящей беседой умного человека визиты своего воспитанника ко мне — воспитанника, который без него — я говорю это искренне — мне страшно надоедал; порой Гамон ненадолго исчезал, заставлял себя ждать и снова рассыпал передо мной свое салонное остроумие, журчавшее ручейком.

Я не стеснялась их обоих и не расставалась ни со своей домашней блузкой, ни с простенькой юбкой темного цвета.

Я не старалась показать себя перед ними, сидела молча, с потухшим взглядом, приняв вид девушки, которую хотят выдать замуж против ее желания. Заботилась о приличной обстановке больше для себя самой, чем для моих гостей; Бландина могла по-прежнему плохо подметать пыльные уголки гостиной, а подушки на диване сохраняли, как и раньше, следы моего «валяния»...

У меня обожатель... Почему именно он, а не кто-нибудь другой? Ничего не знаю и с изумлением смотрю на этого человека, которому удалось ко мне проникнуть. Черт возьми, ему так этого хотелось! Всевозможные случайности давали ему повод для этого, а Гамон помог. Однажды, когда я сидела в одиночестве, раздался боязливый звонок; я открыла дверь и готова была сбросить с лестницы этого человека, трусливо жавшегося в сторонке, с руками, полными роз, но стоявший рядом с ним Гамон красноречивым взглядом умолял меня за него.

Если ему удалось сюда проникнуть — значит, это было предначертано.

Я изучаю его лицо каждый раз, когда он ко мне является, словно вижу его впервые. По сторонам его носа тянутся две складки, теряющиеся в усах, губы красные, бурого оттенка, как это бывает у жгучих брюнетов. Волосы, ресницы, брови черны, как у дьявола, но достаточно дерзкого луча солнца, и я заметила с изумлением, что из-под мрачных бровей на меня глядят темно-серые глаза моего обожателя.

Стоя, он ужасно похож на большого скворца, не красивого, угловатого, состоящего из одних костей, но когда он сидит или растянется на диване, то сразу же принимает другой вид — вид человека ленивого, расслабленного, закинувшего от нечего делать руки за подушки и прислонившегося к ним затылком.

Когда я знаю, что он меня не видит, я смело наблюдаю за ним, пораженная мыслью, что он мне совершенно незнаком и что его присутствие здесь, у меня, так же уместно, как присутствие фортепьяно на кухне. Почему же он, влюбленный в меня, не потрудится узнать меня поближе? По-видимому, он об этом не думает и заботится только о том, чтобы в будущем овладеть мною, поскольку если он и сумел (я готова держать пари, что по совету Гамона) скрыть свои желания, смягчить свой взгляд и голос, обращаясь ко мне, если он и притворяется, лукавя, как животное, что не имеет желания обладать мною, то ему вовсе не интересно узнать меня поближе, расспросить и разгадать; он больше заинтересован отблеском света на моих волосах, чем моими словами.

Как это странно! Он сидит рядом со мной, тот же луч солнца скользит по его щеке и по моей, его ноздря отливает ярким кармином, моя же не столь ярка. А между тем я не ощущаю его присутствия, словно он находится за тысячу верст от меня. Мне так и хочется в эту минуту спросить его:

— Зачем вы здесь? Убирайтесь отсюда.

Но я молчу.

Думает ли он? Читает ли? Работает? Мне кажется, он из тех заурядных людей, что всем интересуются поверхностно и ничего не предпринимают. Отсутствие ума, ограниченная сообразительность, достаточный набор слов, внушительный и красивый голос, способность смеяться, детская веселость — вот что можно подметить у подобных людей, к которым принадлежит и мой обожатель.

Я не солгу, если признаюсь, что мне в нем больше всего нравится: взгляд, иногда тусклый, порою проницательный, затаенная усмешка в глазах, в которых читается робость, отчужденность, а иногда и жестокость.

Он, как все другие, путешествовал не особенно далеко и не часто, читал то, что читают все, знаком с хорошими людьми, причем называет, кроме своего старшего брата, троих близких ему друзей. Я ему прощаю всю эту банальность ради его простоты, не заключаю-

в себе ничего низкого, и за отсутствие в нем са-
мовольства.

Его взгляд встречается с моим очень редко, но я
смотрю на него украдкой и никак не могу забыть ко-
нечной цели его присутствия и терпения; к тому же, ка-
кая разница между человеком, сидящим здесь, у меня
на диване, и тем злым животным, с бешеным порывом
ворвавшимся тогда в мою уборную! Я ничем не напоми-
наю ему о нашей первой встрече, но стараюсь как мож-
но меньше говорить с Большим Скворцом, а когда он
пытается что-нибудь мне сказать, я коротко ему отве-
чаю или же обращаюсь к Гамону с ответом для моего
обожателя. Этот способ косвенного разговора вносит в
наши отношения известную медлительность и до невоз-
можности поддельную веселость.

II

Мы с Брагом ежедневно репетируем новую панто-
миму, иногда в «Фоли-Бержер», дающем нам приют по
утрам, иногда в «Эмпире-Клиши», уступающем нам на
час свои подмостки. Мы пользуемся и портерной Гам-
бринуса, и танцевальной залой Чернуски.

— Это пойдет,— бормочет Браг, скупой на похвалы
для всех, кроме себя.

Старый Троглодит репетирует с нами; это голодный
подросток, лет восемнадцати, которого Браг трясет, вер-
тит и мучает до того, что я с жалостью говорю:

— Это уж слишком, Браг,— он готов заплакать.

— Пусть плачет! Я ему задам перца, слезы — это
не работа!

Может быть, он прав. Старый Троглодит удержива-
ется от слез, подставляет свою вспухшую «доисторичес-
кую» спину и старается; изображающий Хамадриада
грациозно прыгает в белом трико.

Как-то утром, на последней неделе, Браг сам зашел
ко мне, чтобы предупредить, что завтра репетиции не
будет, и застал у меня Гамона и Дюфрен-Шотеля, кон-
чающих завтракать.

Я предложила Брагу чашку кофе и представила
его моим собеседникам. Мне было достаточно одного
мгновения, чтобы заметить, как небольшой черный
блестящий глаз моего коллеги исподтишка уставился
на моего обожателя с таким странным любопытством,
что мне сделалось неловко.

Когда я провожала Брага до дверей, он ни о чем
меня не спросил, не выказал никакой приятельской

фамильярности, и это встревожило меня еще больше. Я не нашла другого объяснения, кроме такого:

— Ты знаешь, это приятель Гамона и пришел с ним ко мне позавтракать.

Фоссета теперь носит ошейник из красной кожи с позолоченными гвоздиками, очень плачевного, хотя и спортивного вкуса, и я не могу сказать, что это очень некрасиво. Она приласкалась, уж такова женская натура, к господину, пахнущему табаком, и он подарил ей это украшение.

В моей квартире Бландина старается, бьет посуду, подает, не спросясь у меня, прибор для чая, когда является мой обожатель... По примеру моего старого приятеля Гамона, она все старается против меня и услуживает Максиму Дюфрен-Шотелю. Увы, а мне так хотелось быть независимой!

Независимой, сказать лучше — вести спокойную жизнь. Когда я протягиваю руку моему обожателю, прикосновение его пальцев, горячих и сухих, удивляет меня и неприятно волнует, я не выношу без нервного содрогания, если его сюртук нечаянно коснется во время разговора моей руки, не выношу его дыхания, никогда не согласилась бы завязать ему галстук и охотнее выпью из стакана Гамона, чем из его. Почему?

Потому, что этот человек — мужчина, и я, несмотря на все мои старания, не могу этого забыть. Гамон — не мужчина, а приятель. Браг — товарищ, Бути — тоже. Бойкие и мускулистые акробаты, демонстрирующие особенности своего сложения под тонким трико... Что же из этого, ведь они все для меня только акробаты!

Разве мне бы пришло когда-нибудь в голову, что Браг, донельзя сжимающий мою талию на сцене и чуть ли не раздавливающий мои губы бешеным поцелуем,— мужчина?

Нет! Почему же скромный взгляд, вежливое пожатие руки моего обожателя всегда мне напоминают, зачем он здесь и на что он надеется?

Какое прекрасное времяпрепровождение для кокетки, какой раздражающий и победный флирт! К сожалению, я не умею флиртовать, у меня не хватает способностей, отсутствует опыт, известная легкомысленность, а главное, главное — воспоминание о моем муже! Если я хоть на минуту вспомню об Адольфе Теланди, обо всех его проделках, то есть я хочу сказать, о той жестокости охотника-соблазнителя женщин или девушек, ко-

...рой он так прославился, я сразу холодею и чувствую себя настроенной враждебно к «любовным утехам». Я представляю себе его фигуру победителя с отуманенным взором, с коварной улыбкой, со вздрагивающими ноздрями, точно вдыхающими какой-то аромат...

Брр... Весь этот обман, вся эта кухня вокруг любви, вокруг этой цели, которую вовсе нельзя назвать любовью! Неужели я к ней привыкну и стану ей подражать? Это я-то?! Бедный Дюфрен-Шотель, порой мне кажется, что вы сильно заблуждаетесь, и я должна сказать... Что именно? Что я сделалась старой девой, не подлающейся ни на какие искушения и, согласно своей привычке, замуровала себя в четырех стенах моей театральной уборной?

Нет, я этого не скажу, потому что мы умеем обмениваться, как на десятом уроке школы Берлица, только элементарными фразами, в которых такие слова, как хлеб, соль, окно, погода, театр, семейство, занимают главное место.

Вы — мужчина, тем хуже для вас! Каждый в моей квартире об этом помнит, кроме меня, но вас можно с этим поздравить после того, как Бландина, очень вам сочувствующая, и Фоссета своей собачьей угодливостью ясно подтверждают: «Наконец-то в доме настоящий мужчина!»

Я не умею сказать вам это, бедняжка Дюфрен-Шотель, я не решаюсь высказать это моим несколько грубоватым языком, не всегда оканчивающим начатую фразу, но хорошо знающим технические выражения,— это язык «синего чулка», образный, живой, впечатлительный, с подхваченными в мюзик-холле выражениями вроде «что рвешь глотку», «я поставлю их на место», «объедки, слишком жалкие для меня»... Чтобы не терзаться больше неуверенностью, я предпочитаю молчать

III

— Дорогой Гамон, как я рада позавтракать с вами! Репетиции у меня сегодня нет, чудный солнечный день к тому же и вы у меня — отлично!

Мой старый приятель, страдающий простелчи, польщенный, улыбается. Он очень похудел, состарился, как-то вырос, нос у него вытянулся, заострился,— настоящий портрет рыцаря печального образа.

— Мне кажется, что мы уже завтракали на этой неделе вместе? В чем же причина такой нежной пред...

предительности с вашей стороны к моему жилкому о
тову, Рене?

— О, я очень о вас забочусь! Сегодня чудная погода, я чувствую себя веселой, и... мы одни!

— Что это значит?

— Отсутствует Большой Скворец, вы угадали...

Гамон кивнул меланхолично своей длинной головой.

— Я вижу, он вам противен.

— Вовсе нет, Гамон, вовсе нет! Это пустяки... Слушайте, уже несколько дней я пытаюсь быть с вами откровенной, представьте себе, я не питаю даже тени никакого чувства к Дюфрен-Шотелю, кроме, быть может, подозрительности.

— Это уже не пустяки!

— Я даже не составила о нем никакого мнения.

— Своего взгляда на него я вам навязать не могу, но все-таки это порядочный человек.

— Этого для меня недостаточно!

— Недостаточно? Вы меня возмущаете. Вы не подаете ему буквально никакой надежды...

— Этого бы еще недоставало! Стоит только посмотреть на него, когда он, положа свою громадную лапу на свое любвеобильное сердце, говорит: «Я не похож на других мужчин...» И это я слышу от него постоянно... Как вам понравится? Мужчины, как и женщины, повторяют в такие минуты одни и те же слова!

Гамон бросает на меня иронический взгляд.

— Я вас очень люблю, Рене, когда вы говорите о вашей опытности, но, к счастью, вы ошибаетесь. «Мужчины поступают так-то... Мужчины говорят вот это...» Откуда у вас подобная уверенность? Мужчины! Мужчины! Разве вы знали многих из них?

— Только одного, но какого!

— Правда, но Максим не напоминает же вам Теланди?

— Ну и что из этого? Это пустяки, по моему мнению. Шотель не из далеких.

— Влюбленные всегда идиоты, например я, когда любил Жанну...

— Я тоже, когда любила Адольфа! Но это — идиотическое сознание, в нем чувствуется даже сладострастие. Припомните те вечера, когда мы с Адольфом обедали где-нибудь в городе и я принимала вид «девицы, вышедшей замуж без приданого», как говорит Марго. Мой муж болтал, смеялся, острил, играл словами,

[illegible] [illegible]ном, первенствовал и если порой бросал на [illegible] взгляд, то только чтобы меня пожалеть, я так ду[illegible]. Он давал мне понять, что без него я не могу существовать.

— О, вовсе нет, вы немного преувеличиваете!..

— Едва ли, Гамон! Не возражайте. Я готова была от всей души совершенно уничтожиться, ведь я его так рабски любила.

Я тоже, я тоже, — оживленно заметил Гамон.— Помните, как моя куколка Жанна высказывала свое мнение о моих картинах: «Анри слишком добросовестен и несовременен!» И я хоть бы слово против!

Мы смеялись и чувствовали себя довольными, помолодевшими от приятных и горячих воспоминаний... Зачем только понадобилось моему старому другу испортить эту субботу и наши добрые отношения, упомянув имя Дюфрен-Шотеля! Я сделала сердитую гримасу.

— Опять! Оставьте меня в покое с этим господином, Гамон. Что мне о нем известно? Что он опрятен, недурно воспитан, любит бультерьеров и курит сигареты, что он влюблен в меня, не правда ли,— будем скромны,— и все-таки это ничего не значащий человек.

— Но вы делаете все возможное, чтобы совершенно разузнакомиться с ним.

Гамон раздраженно прищелкнул языком.

— Это ваше право, ваше право, вы спорите, как ребенок, милая моя, уверяю вас.

Я высвободила руку, которую он держал в своей, и быстро повторила:

— В чем вы меня уверяете? Что это участь всех? Что же вы хотите, наконец, чтобы я сошлась с этим господином?

— Рене!

— Так это нужно сказать открыто! Вы желаете, чтобы я поступила, как все поступают, чтобы я решилась? Сперва один, потом другой и так далее! Вы хотите нарушить завоеванный мною покой, направить мою жизнь по другой дороге, тяжелой, мучительной, грязной, и убедить меня, что она наилучшая? Может быть, вы мне советуете обзавестись любовником ради гигиены, как средством для здоровья? Мне это не надо, я здорова и, слава Богу, никого не люблю и не полюблю никогда, никогда!

Я так громко кричала, не сознавая, что́ говорю, что невольно сконфузилась, когда закончила.

Гамон, расстроенный меньше меня, дал мне время успокоиться, пока кровь, ярко окрасившая мне щеки, отлила обратно к сердцу

— Вы никого не полюбите? Боже мой! Может быть, я вам верю, но это было бы очень грустно. Вы молодая, красивая, нежная... Это было бы печальнее всего...

Возмущенная, готовая заплакать, я посмотрела на моего приятеля, решившегося так говорить со мною.

— О Гамон, и это говорите вы, вы! После того, что случилось с вами и со мною, вы еще не потеряли веры в любовь?

Гамон устремил взгляд своих добрых собачьих глаз, слишком молодых для его старого лица, на окно и нерешительно проговорил:

— Да, да, я очень доволен собой в настоящую минуту, это верно; но чтобы так смело заявлять, что я снова никогда никого не полюблю, у меня бы не хватило решимости.

Этот странный ответ Гамона прекратил наш спор. Говорить о любви мне неприятно. Мне кажется, если бы я потеряла горячо любимого ребенка, то никогда не решилась бы произнести его имя.

IV

— Пойдем сегодня вечером в «Олимпию»,— предложил мне Браг на репетиции,— а оттуда отправимся повидать наших старых товарищей в «Эмпире-Клиши».

Я нисколько себя не обманываю. Это предложение не содержит в себе приглашения поужинать: мы — товарищи, и, по условиям сцены, товарищество между артистами запрещает другие, более близкие отношения.

Я все-таки встретилась вечером с Брагом в баре «Олимпии», пользующемся плохой репутацией. Почему? Мне это все равно; свободная от заботы о собственной репутации, я без особого удовольствия и боязни переступила порог небольшого монмартрского ресторана, безмолвного от шести до десяти часов вечера, оживленного остальную часть ночи, полного шума, криков, звука гитары и звона посуды. В последний месяц я сюда захожу, одна или с Брагом, прежде чем отправиться в «Эмпире-Клиши» Прислуга из провинции, неповоротливая, медленно являющаяся, когда ее зовут, принесла нам суп с капустой, жирные пирожки, засоряющие желудок бедных местных прости-

...ко ужинающих возле нас с голодным эти... ...ых, и плохо питающихся женщин. Да, здесь не всегда весело.

Брак, нервный, возбужденный, заметил двух вошедших молодых сухощавых женщин в чудовищных шляпах, прыгающих на их прическах. Одна из женщин проскальзывает мимо нас с высоко поднятой головой и нахальным видом. Ее поразительная худоба заметна благодаря узкому пальто из розового либерти, купленного на толкучке, на голове у нее, несмотря на холодный февраль, легкая шапочка, тоже из либерти, голубого цвета, поношенная, вышитая серебром.

Она замерзла и дрожит от холода; ее серые глаза безнадежно оглядывают все вокруг; в эту минуту она готова остановить любого, кто скажет ей: «Бедняжка». Это обычный тип девушки с Монмартра, околевающей от нищеты и надменности, прекрасной своими поразительными недостатками. Я их встречаю здесь и там, волочащих свои легкие платья, в ожидании, чтобы кто-нибудь накормил их ужином. Они веселы, немного пьяны, возбуждены, дерзки, готовы оборвать каждого, они ненавидят свое ремесло и все-таки «работают». Мужчины называют их «проклятой падалью», сопровождая эти слова презрительным смехом, ибо они принадлежат к касте, которую никто не уважает, и никто не признает, что они голодны, что они чувствуют и холод, и любовь; эти женщины умирают со словами «я вовсе не больна», истекают кровью от ударов и не умеют возвращать их.

Да, я их немного знаю. Они невольно приходят мне на память, когда я рассматриваю эту замерзшую девушку, счастливую тем, что ей удалось сюда проникнуть. Они-то и подтверждают мне справедливость моего решения, дают яркий пример, защищающий от всех слабостей. В баре царит почти молчание: двое молодых людей перекидываются между собой фразами из одного конца зала в другой. Бойкая проститутка, имевшая на обед только стакан воды с абсентом и мечтающая в будущем поужинать, пытается вступить в их разговор.

Бульдог, готовый лопнуть от жира, тяжело дышит, растянувшись на ковре; его вздутый живот покрыт сальными сосцами...

Мы с Брагом болтаем, пригревшись в уголке. Я невольно вспоминаю о маленьких ресторанах различных

городов, похожих друг на друга, смешных, с курьезными названиями кушаний.

Браг, испортивший свой желудок винами железнодорожных буфетов и отелей, не знает, что ему выбрать. Я думаю о мещанской говядине, но в конце концов останавливаюсь на яичнице с сыром.

— Скажи, Браг, тот человек, который от нас отвернулся, не танцор ли это Стефан?

— Да, это он с «курочкой».

Стефан, заметивший, что мы на него смотрим, полуобернулся к нам и прищурил глаз, словно говоря: «Тс! Это тайна!» и стараясь, чтобы его знака не заметили другие.

— Бедняга,— усмехнулся Браг, — он честно зарабатывает свои деньги. Принесите сюда кофе,— крикнул он прислуге.

Кофе — это чернила с зеленоватым оттенком, оставляющие на краях чашек предательскую полоску, но за неимением хорошего кофе я невольно мирюсь со вкусом этого тепловатого горького напитка, отдающего хиной и солодковым корнем... В нашем ремесле больше внимания обращают на мясо, чем на кофе...

Прежде чем нам принесли заказанное, танцор Стефан закончил свои дела в баре и отправился в «Эмпире-Клиши» со своей грузной спутницей; нисколько не стыдясь, он поплелся за ней, напоминая нам атлета, поднимающего тяжесть в двести килограммов, и заставляя нас смеяться...

Мы покинули это угрюмое место, которое ошибочно считают местом увеселений, где все в этот час дремлют при розовом свете электрических лампочек: толстая собака, одинокие «девочки», деревенская прислуга и управляющий с нафабренными усами.

Недалеко от внешних бульваров на площади Бланш, где крутится холодный ветер, мы приходим в себя; я чувствую возвращение «сценической лихорадки», необходимости «работать», неопределенное и таинственное чувство, заставляющее меня танцевать точно так же, как писать, бегать, играть на сцене или править лошадьми.

Словно захваченный той же мыслью, Браг неожиданно мне замечает:

— Ты помнишь, что мне обещал агент Соломон? Турне, о котором я тебе говорил, устраивается: день здесь, два там, неделя в Марселе, другая в Бордо... Когда ты можешь ехать?

— Я — хоть сейчас! Зачем этот вопрос?

Он искоса бросил на меня живой взгляд.

— Так просто! Иногда... ведь мне известно, что такое жизнь.

А, я понимаю. Мой товарищ вспомнил о Дюфрен-Шотеле и думает, что... Мой громкий смех вместо того, чтобы разуверить его, еще больше подтверждает его предположение, но я чувствую себя в эту минуту такой свободной и веселой, будто я уже отправилась в эту поездку... О да, уехать, снова вернуться, забыть самое себя и город, в котором я была вчера, как можно меньше думать, запоминать только красивые виды, мелькающие в окне вагона, свинцовые крыши, голубое небо, ажурные колокольни монастырей, усеянные гнездами ласточек.

Помню, однажды я уезжала из Ренна майским утром; поезд из-за ремонта дороги двигался очень медленно между кустами терновника, покрытого белыми цветами, между розовыми яблонями, отбрасывающими голубоватую тень, и молодыми ивами с трепещущими листьями...

На опушке леса я заметила ребенка, девочку лет двенадцати, заглядевшуюся на наш поезд; меня поразило необычайное сходство ее со мною: сосредоточенная, с темными ресницами, с загорелыми щечками, с немного выцветшими от солнца волосами, она держала в своих цепких загорелых ручонках, похожих на мои, сорванную ветвь яблони. Ее немного дикий вид, глаза, в которых не чувствовалось ни возраста, ни пола, смотрели на все слишком серьезно. Да ведь это мои, мои собственные глаза! С опушки леса на меня глядело мое нелюдимое детство, освещенное заходящим солнцем.

. . . . . .

— Когда тебе удобно, ты понимаешь!

Это сухое предложение моего товарища вывело меня из задумчивости у самого входа в «Эмпире-Клиши», ярко освещенного красными лампионами.

Мы прошли на сцену.

Знакомый запах пыльных декораций, крема «Симон» и рисовой пудры, охвативший меня, был мне даже приятен. Мы пришли сюда посмотреть товарищей, но не само представление. Я разыскала свою бывшую уборную, занимаемую теперь Бути, в уборной же Брагу царила ослепительная Жаден, игравшая в представлении целых три роли!

— Шевелитесь скорее! — крикнула она нам.— Вы как раз успели к моей песенке «Париж ночью»!

Увы, на Жаден был костюм уличной кокотки: черная юбка, черный же низко вырезанный корсаж, ажурные чулки, красный бант на шее, а на голове традиционный высокий парик с воткнутой в него камелией. Кажется, ничего хуже для нее нельзя было придумать. Нам пришлось подождать у нее; она поспешно переодевалась, это разбитное дитя улицы.

— Здорова? Что нового? Подписала? — так и срывались с ее губ короткие вопросы, в то время как я внимательно окидывала глазами ее уборную, грустно убеждаясь, что Жаден зазналась, как и другие: задрав нос, она старалась при разговоре выдержать «тон» и не сказала нам ни одного дружеского словца.

Бути, танцевавший с ней неизбежный танец апашей, молча торжествовал в своей шелковой фуражке. Казалось, он вот-вот крикнет нам свое обычное «эге!» и жестом покажет, что он — обладатель этого маленького создания... Овладел ли он на самом деле своей сотоваркой? Во всяком случае, он во многом способствовал тому, что Жаден сделалась такой банальной. Они оба в один голос толкуют о «сенсационном номере», очень дорого оплачиваемом в лондонском «Кристал-Палас»!

Как все быстро меняется, в особенности женщины! Вот эта за несколько месяцев, я уверена, потеряет свою природную прелесть, остроту, непосредственность... Принесут ли когда-нибудь счастье Жаден все эти зазнавшиеся, разбогатевшие консьержи, эти мелкие франтоватые приказчики, принесут ли они счастье девчонке, несмотря на свои восемнадцать лет такой глупенькой, но уже испорченной своими поклонниками?

Почему, глядя на нее, я вспомнила о Белль, немецких акробатах с английским именем, с которыми я и Браг познакомились в Брюсселе? Несравненные по своей силе и ловкости, в вишневом трико, оттеняющем белизну их кожи, они жили впятером в двух комнатах без мебели, сами стряпали на чугунке, и каждый день, по словам их импресарио, у них шли таинственные оживленные разговоры об акциях золотопромышленных компаний, Сосновицких копей, поземельного кредита: они внимательно следили за биржевой котировкой! И все о деньгах, о деньгах, о золоте!

Жаден оживляет наше посещение своей безалабер-

[illegible] ей неохотимой. Буш, немного из[illegible] сказал нам, что ему лучше, что на будущий зимний сезон все устраивается отлично.

Я [illegible] то белил и карандашей, лежавших на столике, с жадностью обжоры, с тем примиренным зудом, который хорошо знаком всем, кому приходилось долгие часы просиживать за потайными столиками в уборных.

К счастью, затрещал звонок. Жаден вскочила.

— Ну, полезайте, пожарный вам уступит свою будку на авансцене, вы увидите, какой успех имеют мои куплеты «Париж ночью»!

Пожарный снизошел к нам и предложил свой уголок с соломенным стулом. Я уселась вплотную к решетке, на которой прикреплены электрические лампочки; отсюда, сама оставаясь невидимой, я отлично вижу первые два ряда оркестра, три закрытых бенуара и даже одну ложу авансцены. В нее вошли дама с чудовищной шляпой на голове, со множеством колец на руках, увешанная драгоценностями и безделушками, и двое мужчин... Дюфрен-Шотели, старший и младший, оба во всем черном, в белых галстуках и в перчатках, с нафабренными усами и прилизанными прическами. Они ярко освещены и принимают величественные позы. Женщина, по всему заметно, не жена Дюфрен-Шотеля старшего, а скорее «подруга». Моему обожателю очень нравится шествие тряпичников, извозчиков-обирал, исполняющих небольшие куплеты и удаляющихся, приплясывая.

Наконец-то Жаден выбегает на сцену и громко заявляет:

— А я — я королева ночного Парижа, я кокотка!

Я замечаю моего обожателя, поспешно склонившегося к программке, а затем, подняв голову, рассматривающего мою маленькую сотоварку, начиная с ее высокого шиньона и кончая ажурными чулочками.

Благодаря понятному любопытству она представляет для меня главный интерес спектакля. Я вижу только профиль маленькой Жаден; слепящая глаза рампа показывает мне ее курносой, с черными ноздрями и с протянутой между губ ослепительной полоской зубов; вокруг ее высокой шеи обмотан красный газ, она кажется в эту минуту духом сладострастия, сошедшим с картины Ропса.

По окончании своих куплетов она два раза выходит

кланяться, красиво сдвигая каблуки и посылая воздушные поцелуи. Мой обожатель аплодирует своими большими тяжеловатыми руками так бешено, что она его замечает и посылает ему отдельный поцелуй, многозначительно подмигнув на прощание.

— Ну, ты что, заснула? Я тебе второй раз повторяю, что здесь оставаться нельзя: смена декораций.

— Ах да?! Пойдем.

Мне показалось, что я заснула или же несколько минут находилась в бессознательном состоянии, предшествующем какой-то неприятной мысли, нравственной усталости...

V

— Решаешься ты или нет? Подходит тебе или не годится? Да говори же?

Оба, Браг и Соломон, торопят меня и словами, и взглядом, один смеется, чтобы ободрить меня, другой — ворчит. Тяжелая рука Соломона падает на мое плечо.

— Однако, что же с контрактом? Его нужно подписать.

Я машинально беру бумагу, в десятый раз перечитываю, стараюсь отыскать между этими пятнадцатью строчками какую-нибудь скрытую зацепку, хитроумную уловку и снова читаю, чтобы выиграть время.

Мой взгляд падает сквозь окно на чисто подметенный печальный дворик, на тюлевые занавески; я пытаюсь думать и не могу, жалею об этом; рассеянно оцениваю бюро в английском вкусе с массой иностранных иллюстраций, которое я уже не раз видела, карточки актрис, декольтированных, фантастически причесанных, смеющихся, фотографии мужчин во фраках, из-за которых нельзя угадать, певец он или акробат, клоун или наездник...

— Шестинедельное турне по сто пятьдесят франков ежедневно, это шесть тысяч франков. Ведь это недурно, но, во всяком случае, я не желаю увеличивать твое состояние на шестьсот франков. Десять процентов! Да ведь это безбожно!

Я нахожу слова и способ выражаться. Лицо Соломона делается похожим на его ярко-рыжие волосы, глаза тоже краснеют, тогда как громадный рот агента пытается медоточивым голосом высказать мне целый ряд возражений:

— Моя дорогая! Моя милочка! Пожалуйста, не го- этих глупостей. Ведь я целый месяц работал для же пользы! Целый месяц я старался найти тебе первоклассный кафе-шантан! Сделал такую рекламу, что впору самой мадам Оттеро. И вот благодар- ность! У тебя она отсутствует. Мне следовало бы получить не десять, а двенадцать процентов! Пони- маешь?

— Отлично! Но тем не менее я не желаю платить тебе шестьсот франков: ты их не стоишь.

Маленькие глазки Соломона расширяются еще больше, его тяжелая рука, лежащая на моем плече, гладит его, точно желая раздавить.

— О злая крошка! Ты видишь, Браг. И это говорит дитя, которому я доставил первый ангажемент!

— Но это «дитя» сильно выросло, старикашка, а по- тому ей требуется возобновить гардероб. Мой костюм «пленницы» никуда не годится, ты сам это знаешь! Мне нужен новый, а он стоит тридцать луидоров; затем — обувь, газ для танцев, прочие принадлежности, отдельно за них ты ведь мне не заплатишь, старое чучело?

— Браг, ты слышишь? Мне стыдно за нее перед тобой. Что ты о ней думаешь?

— Я думаю,— спокойно проговорил Браг,— что, со- глашаясь на контракт, она делает хорошо, но она по- ступит плохо, если даст тебе шестьсот франков.

— Хорошо! Давайте контракт обратно.

Громадная рука скинута с моего плеча, нахмурив- шийся и побледневший Соломон садится за свое бюро, не удостаивая нас даже взглядом.

— Соломон, вы знаете, что я не люблю глупостей, они меня сердят, и нисколько не пожалею, если пошлю подобное дело к черту.

— Мадам,— ответил мне с достоинством и холодно Соломон,— вы со мной говорите, как с человеком, ко- торого презирают, я прекрасно это чувствую.

— Шут,— бросил ему Браг, не повышая голоса,— когда же ты бросишь ломаться? Шестьсот франков с нее, четыреста сорок франков с меня... Да ты прини- маешь нас за немецких акробатов! Дай сюда контракты. сегодня мы их не подпишем, я хочу посоветоваться со своими.

— В таком случае дело не сладится,— бросил Со- ломон, надменно издеваясь,— все эти люди, директора

лучших театров, не любят, чтобы другие диктовали им свои условия, эти люди...

— ...с засаленными штанами,— перебил мой товарищ,— так и скажи им, что я откладываю до завтра... Ты идешь, Рене? Соломон, последнее слово: семь с половиной процентов за нас обоих, и это еще слишком жирно для тебя.

Соломон вытер платком свои сухие глаза и вспотевший лоб.

— Ну и свинтусы же вы оба.

— Что до меня, то мне кажется, Соломон, что вы свинья еще побольше нас.

— Брось, Рене! Он ведь нас любит и охотно все для нас сделает. Не правда ли, Соломон?

Но агент упрямится; он по-детски пожимает плечами и говорит жалостливым голосом:

— Нет, убирайтесь, я не хочу вас больше видеть. Мне очень грустно за вас; с тех пор как я занимаюсь этим делом, я первый раз выслушиваю подобные оскорбления. Уходите, я хочу остаться один!

— Отлично, до завтра!

— Нет, нет, между нами все кончено!

— В пять часов?

Соломон, сидящий у бюро, поворачивает к нам свою розовую морду:

— В пять часов! Недостает еще, чтобы ради вас я пропустил свое свидание в «Альгамбре»! Ни в коем случае не раньше шести! Слышите?

Согласившись с ним, я пожимаю его короткую ручку, и мы уходим...

На улице мы обсуждаем неожиданное препятствие. Меня оно пугает, но Браг меня уговаривает, и я снова решаюсь принять ангажемент.

Гамон будет недоволен. Марго мне скажет:

— Ты прекрасно все сделала, малютка!

Она ничего не сообразит, но даст мне несколько превосходных советов, три-четыре коробочки против мигрени, запоров и лихорадки.

Но что-то скажет Дюфрен-Шотель? Я представляю себе его лицо. Он утешится с Жаден, вот и все... Итак, отправляться, но когда же?

— Какого числа, Браг, мы должны ехать? Представь себе, я не обратила на это внимания.

Браг пожимает плечами, шагая рядом со мной, пробираясь между прохожими, ожидающими, когда белая

...мка полицейского оборвет длинную ленту экипажей, и мы переберемся с бульвара Османа на площадь Сент-Августин.

Если бы у него для этого ангажемента была только ты одна! Мадам ломается, мадам капризничает, мадам хочет это, не желает того, и в конце концов «я не обратила внимания на число»!

Я ничего ему не возражаю, сознавая, что он прав. Это одно из самых больших удовольствий для Брага — относиться ко мне, как к новичку, как к неопытной ученице.

— С пятого апреля по пятнадцатое мая! Ты ничего не имеешь против, тебя ничего не задерживает?

Мы поднимаемся по бульвару, немного запыхавшись от теплого пара после минувшего дождя. Он только что прошел, но гроза не разразилась; началась оттепель, темные тротуары блестят, отражая свет газовых рожков, конец улицы теряется в неясной дымной пелене, к тому же начинает смеркаться. Совершенно бессознательно я оборачиваюсь, соображаю, и что? Ничего. Действительно, меня здесь ничего не задерживает, равно как и в любом другом месте. Ничье дорогое лицо не промелькнет среди тумана, как яркий цветок, глядящий из темной поверхности воды, я не услышу нежной просьбы: «Не уезжай...»

Решено: я отправляюсь. Пятое апреля далеко, сейчас еще только пятнадцатое февраля, но мне кажется, что я уже уехала. Браг настойчиво заставляет меня выслушивать невнимательным ухом названия городов, гостиниц и цифры, цифры без конца...

— Ты меня слышишь?

— Да.

— Ну так ведь у тебя нет никакой работы до пятого апреля?

— Насколько мне известно, никакой.

— У тебя не предвидится небольших представлений на светских вечерах?

— Уверяю тебя, нет.

— Если хочешь, я найду тебе на этой неделе какое-нибудь занятие.

Я ушла, поблагодарив моего товарища, тронутая его заботой обо мне, желанием спасти меня от праздности, которая деморализует, уносит средства артистов без амплуа и дает повод злословить о них.

. . . . . .

Три головы поднялись сразу, как только я вошла в свою гостиную: Гамона, Фоссеты и Дюфрен-Шотеля. Они все трое сидели вокруг маленького стола под розовым абажуром и играли в ожидании меня в экарте. Фоссета умела играть в карты, как все доультерьеры; ерзая на стуле, она внимательно следила за движениями рук, готовая схватить карту, брошенную далеко.

Гамон воскликнул: «Наконец-то!», Фоссета — «уа!», а Дюфрен-Шотель ничего не сказал, но, видимо, он был готов обрушиться на меня с выговором. Веселая встреча, приветливый огонек, дым сигарет обрадовали меня, и в порыве неожиданной откровенности я громко сказала:

— Добрый вечер, вы знаете новость... я уезжаю!

— Уезжаете? Как так? Когда?

Не обращая внимания на инквизиторский тон моего обожателя, я спокойно свернула перчатки и отколола шляпу.

— Я расскажу вам все подробно за обедом. Мы пообедаем все вместе, ведь это мой прощальный обед! Продолжайте спокойно вашу игру. Я пошлю Бландину за котлетами, а сама переоденусь, я очень устала.

Когда я вернулась, закутанная в кимоно из розовой фланели, я нашла их обоих смущенными, будто они о чем-то советовались... Но что же было делать! Мой обожатель сегодня торжествовал от необычной удачи: я предложила ему «вспрыснуть» этот вечер, он сбегал без шапки к соседнему виноторговцу и возвратился с двумя бутылками под мышкой.

Слегка опьянев, я устремила на него обезоруженный взгляд, никогда до сих пор им не виденный, громко смеялась, чего он тоже никогда от меня не слышал; я закинула на плечо широкий рукав кимоно, открывая руку, более светлую, чем материя, руку «цвета банана», по его словам...

Я чувствовала себя предупредительной, любезной «на грош» и даже протянула ему мою щеку... Ну что же делать? Я отправляюсь в гурне и никогда больше не увижусь с этим господином!

Сорок дней! Ведь за это время мы даже можем все умереть.

Бедный обожатель! Как я с ним все-таки скверно обошлась! Я считаю его любезным, чистоплотным, отлично причесанным, благообразным только потому что я его больше никогда не увижу!

Вероятно, к моему возвращению я его забуду, и [illegible] с маленькой Жаден или с кем-нибудь еще... Вероятно, все-таки с Жаден.

— Маленькая Жаден,— громко проговорила я, и мне это показалось очень смешным.

Мой обожатель, настроенный сегодня серьезно, посмотрел на меня, сдвинул свои брови угольщика.

— Что это за Жаден?

— Она ведь вам понравилась вчера в «Эмпире-Клиши»? Не правда ли?

Дюфрен-Шотель, заинтригованный, наклонился ко мне. На его лице, освобожденном от тени абажура, я заметила все оттенки его темных зрачков, красноватых, с мелкими пятнышками, как агаты из Дофине.

— Вы были в театре? Я вас не видел.

Я осушила свой стакан, прежде чем загадочно ему ответить:

— Не знаю.

— Я догадываюсь, что вы там были... Да, она очень мила, эта маленькая Жаден. Вы ее знаете? Да, она очень недурна.

— Красивее меня?

Я стоила, чтобы он ответил мне только изумленным молчанием на эти неосторожные, глупые и недостойные меня слова. Я готова была себя поколотить. А-а, пустяки! Я ведь уезжаю... Я все опишу в моем дорожном дневнике. Весь мой путь по Франции, но только большие города. Упомяну об афише, достойной мадам Оттеро! Все там будет: и чудные страны, которые я увижу, и солнце юга... и...

Три бокала шампанского, пить больше нельзя, но они приостановили, к счастью, мою болтовню. Говорить без умолку — какая трата энергии для той, что молчит целыми днями!

Оба моих друга курили, и в дыму их сигарет они казались мне такими далекими, словно я от них удалилась на большое расстояние... Я чувствую себя уже едущей, отдыхающей в пути. Голоса моих гостей приглушаются, сливаются с грохотом поезда, со свистками локомотива, с каким-то фантастическим оркестром.

— Как? Уже шесть часов? Ах, это вы!

Я заснула и грезила о путешествии. Мне казалось, что посыльный в гостинице стучит пальцем ко мне в дверь и сообщает, что уже шесть часов.

Я с изумлением осматриваюсь, замечаю, что сижу

прислонившись к спинке моего старого дивана, в том самом положении, в каком усыпили меня усталость и легкое головокружение от выпитого вина. Передо мной стоит во весь рост Большой Скворец, чуть не касаясь головой потолка.

Я быстро открыла глаза, щуря их от света лампы и стараясь внимательно рассмотреть стол.

— Это вы? А где же Гамон?

— Он уже ушел.

— А который же теперь час?

— Уже полночь.

— Полночь! Я проспала больше часа!

Я встаю и машинально оправляю пальцами смявшуюся прическу, затем одергиваю платье до самых туфель.

— Полночь! Но почему же вы не ушли вместе с Гамоном?

— Мы боялись, что вы испугаетесь, когда проснетесь, заметив, что вы одна... Вот почему я остался.

Он что, смеется надо мной, что ли? Я не могу рассмотреть его лица так высоко в тени.

— Вы, вероятно, заметили, что я устала?

— Вполне понимаю.

Что это за сухой тон, тон выговора? Я падаю с облаков. Действительно, если бы я была трусихой, мне представился бы прекрасный случай позвать на помощь, оставшись наедине с этим черным субъектом, разговаривающим со мной свысока.

— Скажите, пожалуйста, Дюфрен-Шотель, вы страдаете?

— Вовсе нет.

Он принялся ходить. Слава Богу! С меня довольно видеть так близко этого дылду, близко стоящего передо мной.

— Я не страдаю, но я рассержен!

Я подумала минутку, а потом заметила ему весьма глупо:

— Причина тому — мой отъезд?

Дюфрен-Шотель остановился.

— Ваш отъезд? Я о нем совсем и не думаю. К тому же вы еще здесь, и нет никакой необходимости предполагать, что вы действительно уедете. Нет, я хочу вас. Хочу вас, потому что вы спали...

— Что такое?

— Непростительно заснуть таким образом перед

[illegible] мои. Ведь [illegible] и такой [illegible] Это не-

[illegible] от [illegible] вместо него.

— [illegible] Как не [illegible] спишет. Казалось, он закрыл глаза, чтобы скрыть радость, которая [illegible] вас! И правда, ваше лицо не было таким [illegible]. В конце концов, вы понимаете, что я хочу сказать. Это возмутительно, когда я только подумаю, что вы могли заснуть в таком положении в присутствии других людей, я не знаю, что́ готов был бы сделать с вами!

Он сидел на хрупком стуле, полуобернув свое возбужденное лицо, украшенное двумя громадными морщинами, одна на лбу, другая вдоль щеки, точно его негодование выразилось в этой предательской трещине.

Я не испугалась, наоборот: меня даже обрадовала возможность снова узнать искренность того человека, который два месяца тому назад вошел в мою уборную.

И вот он снова передо мной со своим детским гневом, со скотским упрямством, с рассчитанной искренностью. Для меня ясна перемена с моим неприятелем, с моим мучителем: это была страсть. Увы, ошибиться было нельзя: я уже видела этот лоб, эти глаза, эти конвульсивные потирания рук... Да, все это я видела... в те времена когда Адольф Теланди меня желал...

VI

Но что же мне с ним делать?

Я не чувствовала себя обиженной, и если расстроилась, то очень мало. Но как быть? Что ему ответить? Затянувшееся молчание становилось невыносимым.

Его признания...

Хорошо, если он сейчас уйдет, но он, по-видимому, вовсе и не собирался уходить.

Я не решалась двигаться, опасаясь, что мои [illegible] шелест платья способны снова возбудить моего противника,— я не осмеливалась больше сказать — моего обожателя: уж слишком он меня «обожает»!

— Это все, что вы можете мне сказать?

Смягчившийся тон его голоса меня так обрадовал,

что я довольно улыбнулась, освобожденная от невыносимого молчания.

— Что же делать, ничего другого я не вижу..

Он обернулся ко мне с изяществом неповоротливой собаки.

— Справедливо, что вы не видите... вы обладаете талантом ничего не видеть! Все, что относится ко мне, вы не видите! Вы смотрите сквозь меня, смеетесь за моей спиной, разговариваете где-то около меня! И я должен делать вид, что не замечаю ничего этого. Как это жестоко, как недостойно нас обоих!

— Выслушайте меня, Дюфрен-Шотель.

— Вы называете меня Дюфрен-Шотелем! Я отлично понимаю, что у меня смешное имя, имя депутата, фабриканта или директора банка, но разве это моя вина? Это только лишний случай для вас посмеяться надо мной!

— Как же я должна вас называть? Дюфрен? Шотель? Дюдюф? Короче, Максим? Наконец, Макс, что ли?.. Пожалуйста, передайте мне со столика зеркальце и платок: нужно же мне привести себя в порядок... Шампанское, этот неожиданный сон и нестертая с носа пудра!

— Это все пустяки! — нетерпеливо воскликнул он — Для кого вам необходимо приводить себя в порядок в такое время?

— Во-первых, для себя самой, а во-вторых — для вас.

— Для меня не хлопочите, не считайте, что я ухаживаю за вами!.. Представьте себе просто, что я вас люблю.

Я еще подозрительнее, чем когда-либо, посмотрела на него, смущенная его словами, и старалась отыскать под оболочкой Большого Скворца интеллигентность, привлекательные качества... Меня поражала в нем избыточная способность воспламеняться, меня беспокоила и отталкивала от него именно она!

— Скажите мне откровенно, Рене: противно ли вам, безразлично или отчасти приятно сознавать, что я вас люблю?

Его вопрос не был ни угрожающим, ни смиренным, ни плаксивым, в нем не чувствовалось ни робости, ни хитрости.

Его руки, скрещенные на коленях, были неподвижны, он не придвигал своего стула к дивану, на кото-

[illegible] я находилась. Подражая ему в простоте, я смело [illegible] ответила:

— Я сама буквально ничего не знаю!

— Я так именно и предполагал,— проговорил он серьезно,— значит...

— Значит?

— Мне остается только удалиться?

— Половина первого...

— Вы меня не поняли; я хотел сказать: никогда сюда не возвращаться, уехать из Парижа?

— Уехать из Парижа? Зачем? Это вовсе не обязательно; я не запрещаю вам меня навещать.

Он пожал плечами.

— О, мне все понятно!.. Раз мне не удается... Я встречаю препятствия и... я уезжаю к себе домой.

Он по-провинциальному нежно произнес это «к себе домой».

— У вас «дома» хорошо?

— Да, большой сосновый лес, много и дубов. Я очень люблю просеки. Знаете, когда срубили деревья и остались только несколько для семян и большие выжженные площадки, на которых на следующее лето поспевает земляника...

— И ландыши...

— Ландыши... и колокольчики тоже. Вы это знаете? Они вырастают вот такой величины, в них входит весь мой палец.

— Я знаю.

Он плохой рассказчик, мой арденнский ломовик, но мне все это представляется очень ясно.

— Летом я катаюсь на автомобиле, немного охочусь осенью в имении мамы... неутомимой мамы,— прибавил он с улыбкой,— она косит, сеет, затем продает.

— Вот как.

— Но она никогда не прогадывает, скажу я вам! Она отлично разбирается, не хуже любого мужчины, в лесном деле!

Я слушала его с новым чувством, довольная, что он хотя бы на минуту позабыл обо мне, увлекся рассказом о родительском лесе и не перестает уверять меня, что он любит свои Арденны.

Мне теперь совершенно понятно, почему он так напоминает скворца. Костюм сидит на нем немного

«по-праздничному», с неизгладимой неловкостью, как на крестьянине в воскресенье.

— Только если вы меня выгоните, Рене, мама сразу же догадается, что я приехал «утешиться» у нее, и снова попытается меня женить. Вот на что вы меня обрекаете!

— Заставить вас жениться!

— Вам это смешно?

— Почему вы так думаете? Потому что мне горек мой личный опыт? Это еще ничего не доказывает; непременно женитесь, вы отлично подходите для женитьбы, у вас и сейчас уже вид женатого. Вы промените ваше одиночество на положение молодого отца семейства; вы рождены для супружеского уголка; нежный, ревнивый, упрямый, ленивый, как настоящий избалованный супруг, деспот и эгоист с самого рождения!

Мой обожатель с изумлением посмотрел на меня, затем быстро поднялся во весь свой громадный рост.

— Это я-то? Я? — воскликнул он порывисто.— И она мне говорит, что я таков!

Я спокойно восприняла его крики и жесты.

— Замолчите наконец! Что такое я вам сказала? Что вы в общем эгоист и лентяй, мечтающий об уютном уголке? И чему же тут возмущаться?

Он снова послушно сел напротив меня, но его глаза, глаза овчарки, не спускали с меня проницательного взора победителя.

— Нет, для меня все это безразлично, вы сами это хорошо понимаете!

Ах, какая я глупая! Он снова торжествует от сознания моего любопытства, моего живого интереса к нему; ему приятно, что его поняли, и он осмеливается громко сказать: «Да, я весь перед вами, вы соблаговолили меня рассмотреть именно тогда, когда я уже в этом отчаялся! Желаете рассмотреть меня еще ближе? Пожалуйста, не стесняйтесь, выискивайте все мои слабости, все смешные стороны, придумывайте мне воображаемые пороки... Быть может, вы ошибаетесь! Я вовсе не желаю, чтобы вы меня узнали таким, каков я на самом деле; создавайте вашего обожателя по собственному желанию, как хороший мастер исправляет и выравнивает посредственное произведение любимого ученика, после чего я мало-помалу восприму желаемый вами облик!»

Должна ли я ему громко высказать эту мысль, чтобы смутить его? Постой-ка, я доставлю ему большую

[illegible]

[illegible] сейчас? Что я увижу в его объятиях? [illegible] молодого мужчину? Как бы я хотела, чтобы он был далеко отсюда. Я усиленно борюсь с потрясающей в отчаянии, с желанием хорошенько высечься и готова умолять его: «Довольно! Я не умею повторяться. Если мною овладеет желание, мы снова об этом потолкуем, а теперь у меня нет сил внимательно следить за вами, вы и сами это замечаете...»

Его полузакрытые глаза быстро бегают от моих ресниц к губам и обратно, он точно пытается что-то прочесть на моем лице... В конце концов он поднимается и, повернувшись ко мне, решительно заявляет

— Прощайте, Рене, простите, что я так надолго задержался, но ведь это по совету Гамона...

Я возражаю со светской любезностью:

— Вовсе нет, напротив...

— У вашего привратника крепкий сон?

— Кажется, не очень.

Веселость понемногу снова возвращается ко мне.

— Знаете что,— неожиданно говорю я,— мне не хочется, чтобы вы будили привратника: уходите через окно.

— Через окно? О Рене!

— Но ведь мы на первом этаже.

— Я понимаю. Но разве вы не боитесь, что меня увидят; кто-нибудь из жильцов может в эту минуту возвращаться домой.

— Вы думаете, что меня это беспокоит?

Совершенно бессознательно я пожала плечами с таким равнодушием, что мой обожатель не решился мне больше возражать. В конце концов этот уход ночью, через окно моей спальни, как хотите, но обрадовал его, словно молодого студента...

Ах, как он еще юн!

— Да прыгайте же! Вот так. Прощайте!

— До завтра, Рене?

— Как вам угодно, друг мой.

Тридцать три года этому мужчине, и какой он еще юный. Мне столько же лет, через полгода даже будет тридцать четыре.

Я слышала, как он побежал по тротуару под мелким дождем, заливавшим мостовую и подоконник окна, на

который я, как покинутая любовница, облокотилась, сплошной пеленой влаги.

Позади меня стояла моя большая пустая кровать, свежая, тщательно накрытая чистой простыней, но и она не избавит меня от моей бессонницы.

Он ушел, он вернется завтра и будет приходить до тех пор, пока я ему это позволю.

Вернется почти счастливый, веселый, полный надежд, с выражением «мне ничего не надо» на губах, раздражающим меня, как настойчиво протянутая рука нищего.

Как просто было бы ранить его совершенно безопасным отказом, и он навсегда исчез бы со свежей, но легко исцелимой раной.

В отблеске моего окна, бросаемом на черную мостовую, мелкий дождь кажется белым блестящим покровом.

Я разрешила ему прийти, я призналась в своем интересе, я сделала уступку этому мужчине из желания сохранить не обожателя, но друга, жадного наблюдателя моей жизни и меня самой.

— Нужно ужасно состариться,— сказала мне как-то Марго,— чтобы отказаться от тщеславного желания жить на виду у кого-нибудь другого.

Могу ли я откровенно сознаться, что уже несколько недель мне нравится внимание этого страстного наблюдателя, я скрыла от него свой живой взгляд; мой смех сдержан; разговаривая, я понижаю голос, обшаясь с ним; лицо мое ничего не выражает, но тем не менее не делаю ли я это для того, чтобы внушить ему: моя печаль, моя сдержанность происходят именно из-за него, именно его присутствие их объясняет.

Без кокетства нет соблазна, и необходимо немало стараний, много силы воли, чтобы его скрыть.

Если мой обожатель, оглянувшись, заметил бы мое открытое окно, как бы он этим возгордился! Я нисколько не сожалею о нем и его не желаю, но я о нем думаю. Я думаю о нем, и мне вспоминается моя первая ошибка.

Первая? Нет, вторая. Это было вечером... Ах, какое ядовитое воспоминание, как проклинаю я этот час!

Я так же облокотилась, как сейчас, вглядываясь в темный сад, моя длинная коса свисала, подобно шелковой веревке, с балкона... Уверенность, что я любима, овладела мной, мои молодые силы гордились этим с

[illegible] с жалостной радостью за все остальное че-

Ни сомнения, ни маленького следа меланхолии не было во мне в эту торжественную, единственную ночь, увенчанную глициниями и розами!.. Эта слепая и невинная экзальтация, не она ли доводит человека до самоубийства?

Закроем окно! Я очень боюсь, что передо мной снова встанет сквозь это покрывало дождя провинциальный сад, зеленый, весь освещенный сиянием луны, с пробегающей тенью молодой девушки, мечтательно закинувшей свою длинную косу, змеей вьющуюся по ее спине.

VII

— Марсель, Ницца, Канны, Тулон...

— Нет, Марсель перед Тулоном.

— А Гренобль?.. Ведь есть еще и Гренобль.

Мы перебираем города нашего турне, как ребята пересчитывают свои игрушки. Браг решил, что мы повезем с собой две пантомимы: «Пленницу» и «Дриаду».

— Для больших городов, где мы задержимся на пять-шесть дней,— рассуждал он,— необходимо немного разнообразить репертуар.

Я согласна, согласна на все; едва ли кто-нибудь может быть более добродушным и покладистым в это утро!

Танцевальное заведение Чернуски, где мы репетируем, совершенно безлюдно, здесь звонко отдается повелительный голос Брага и смех Старого Троглодита, ликующего при мысли, что он будет зарабатывать во время турне пятнадцать франков в день.

Его молодое голодное лицо со впалыми глазами отражает его самодовольную радость.

— Ах ты, тощая сосиска,— ворчит Браг,— я тебе покажу, как смеяться над танцовщицей! Сразу видно, что ты никогда не видел Троглодита! Скриви рот на сторону, я тебе говорю, еще больше! Выпучи глаза, пусть челюсти дрожат. Ну, теперь совсем как маленький Шаляпин!

Он вытер лоб и, обернувшись ко мне, заметил недовольно:

— Я не знаю, почему мне так трудно работать

с этим «инструментом»! Когда я ему говорю о Шаляпине, он думает, что это глупость! Ну а ты, что ты там на потолке ищешь?

— Вот-вот, теперь и моя очередь. А то я уже удивлялась: почему это Браг так долго не шепчет мне любовных слов.

Мой товарищ-наставник смерил меня с ног до головы взглядом, полным театрального презрения...

— Любовных слов! Это пусть говорят тебе другие; у тебя в них недостатка нет! Уф, на сегодня кончим, завтра репетиция в костюмах со всеми аксессуарами. Это значит, что ты захватишь с собой твою вуаль для танцев, а сей господин, здесь присутствующий, притащит пустой ящик из-под свечей, который будет изображать скалу, висящую над нашими головами. С меня достаточно видеть тебя с этим громадным платком, а его — со скомканным «Пари-Журналь», изображающим осколок гранита! Итак, завтра, в шесть часов, здесь — непременно!

В тот самый момент, когда Браг кончил говорить, солнечный луч прорвался сквозь стеклянный потолок; я невольно приподняла голову, словно кто-то, кто наверху, заставил меня это сделать.

— Ты слышишь меня, фантазерка Рене?

— Да...

— Отлично. Отправляйся домой — самое обеденное время; ты, верно, мечтаешь о нашем турне?

— Ничего-то от тебя не скроешь... До завтра!

. . . . . .

Да, я действительно мечтаю о турне, но вовсе не так, как предполагает мой непогрешимый товарищ, и веселая утренняя суета на площади Клиши не отрывает меня от раздражающего воспоминания: оно еще слишком живо, свежо...

Вчера Гамон и Дюфрен-Шотель катались со мной в Медонском лесу; казалось, что два студента похитили модисточку. Мой обожатель позаботился о новеньком автомобиле, пахнущем свежеобитой кожей и дегтем,— о великолепной игрушке богачей.

Его мрачное молодое лицо сияло от желания предложить мне ее, эту совершенно бесполезную вещь. Я очень смеялась над всей этой медонской затеей, которую с таким старанием придумали они оба, Гамон и Шотель, и которая включала в себя поднесение мне новой шляпы цвета маррон, с громадными полями, что

между этими двумя большими
Гамон?

Мой обожатель сидел напротив меня на сиденье, скромно подобрав ноги, чтобы избежать соприкосновения своих коленей с моими. Сероватый, но хороший, по-весеннему теплый, позволял мне подробно рассмотреть лицо моего обожателя. Оно казалось еще темнее, чем обыкновенно, благодаря фетровой шляпе. От ресниц его падала на лицо странная сетчатая тень; полуоткрытый рот, чуть прикрытый черно-бурыми усами, заинтересовал меня, точно так же, как и небольшие морщины под глазами, глубокие, но короче глазных впадин, немного топорщащиеся, как у охотничьих соколов.

Нетерпеливой рукой я беспрестанно искала зеркальце в своей сумочке...

— Вы что-нибудь потеряли, Рене?

— Нет, ничего, благодарю,— отвечала я живо.

Не любоваться же ему моим отцветающим лицом, не привыкшим показываться при дневном свете! Что может сказать мне зеркало? Искусная гримировка коричневым карандашом, удачно подведенная синева под глазами, пурпур губ не могут привлечь внимания, но мои глаза и рот — разве это лучшие украшения моего лица? Побледневшие щеки, усталые веки уже, увы, без задорного подмигивания...

Радость сидевшей у меня на коленях Фоссеты доставляла нам возможность обмениваться фразами. Я любовалась прелестью этого леса, пока еще одетого в зимний убор, сероватыми кустами, хмурым небом.

Но едва лишь я высовывалась из автомобиля, чтобы свободнее вдохнуть в себя этот легкий воздух, напоенный горьким ароматом палой листвы, как сразу чувствовала на себе взор своего обожателя...

От Парижа и до самого Медонского леса мы не обменялись и сотней слов. Прогулка не сделала меня болтливой, и мой старик Гамон соскучился очень скоро.

Наша немота могла всему придать мрачный оттенок, но только не моему обожателю, решившему эгоистически не спускать с меня взгляда, словно в его эмпире я была пленницей — довольной прогулкой и улыбающейся от тряски по сырой невыровненной дороге.

Горжестующая Фоссета решительным лаем звала нас немедленно идти дальше, в глубину этой безлистной чащи, по лесной тропинке, на которой еще блестели лужи от только что прошедшего дождя. Мы все трое послушно за ней следовали.

— Хорошо пахнет,— заметил неожиданно Большой Скворец, втягивая в себя воздух,— совсем так, как у «нас».

Я отрицательно качнула головой.

— Нет, не как у «вас», а как у «нас». Чем пахнет, Гамон?

— Осенью,— уныло протянул он.

Его замечание заставило нас остановиться и, подняв глаза, посмотреть на узкий клочок неба, видимый между высокими деревьями, прислушаться к чуть слышному говору леса, вдыхая испарения его вянущей листвы, мокрых пустых ветвей, колеблемых черными дроздами, этими спутниками зимы.

Маленькое рыжеватое животное трусливо проскользнуло у моих ног. Фоссета помчалась вслед за ним, заставляя и нас направиться тем же путем, за собакой, воображающей, что она догонит зверька.

Увлеченная этим преследованием, я бежала по аллее, наблюдая за Фоссетой, надвинув скунсовую шапочку на самые уши и приподняв обеими руками юбку.

Остановившись, задохнувшись от быстрого бега, я почувствовала, что мой обожатель находится позади меня.

— Вы бежали за мной? Вот уж не предполагала этого!

Дюфрен-Шотель быстро дышал, его глаза блестели из-под неровных бровей, волосы растрепались, но он не обращал внимания на свой вид.

— Я бежал следом за вами, но совершенно неслышно, тем же шагом, что и вы... это так легко...

Да, это легко, так он думал, но я ничего не соображала и, словно опьяненная, дерзкая нимфа леса, громко рассмеялась ему в ответ. Я чувствовала искушение снова зажечь в глубине этих красивых зрачков с серыми и красноватыми точками злой огонек похоти...

В них уже теплилось угрожающее выражение, но меня это не пугало, точно упрямого ребенка, настойчиво напрашивающегося на пощечину.

Наказание не замедлило последовать в виде внезапного поцелуя, не имевшего успеха, плохо полученного,

...ного и в то же время обманувшего мои губы...

Все события вчерашней поездки я обстоятельно взвешивала в уме, возвращаясь на Батиньольский бульвар, взвешивала для того, чтобы сообразить, испытываю ли я наслаждение или же считаю себя виноватой. Извиняться мне не в чем, особенно перед человеком, который мне смешон.

«Это так мало на меня похоже!» — невольно подумала я, когда мы возвращались к Гамону, недовольные, не доверяя друг другу.

Ах, ну и что из этого! «Самый страшный враг для тебя это ты сама»!..

Поддельное безрассудство, притворная неосторожность — вот что побуждает к плохому концу, но до него мне еще далеко. Нужно строже относиться к тем, кто с огорчением восклицает: «Ах, я больше не сознаю, что делаю!», распознавать и подмечать в их расстройстве изрядную долю преднамеренной хитрости. Я совсем не допускаю какой-либо безответственности с моей стороны, даже и случайной...

Что я скажу этому мужчине сегодня вечером, если он захочет меня обнять? Что я этого не желаю, что я вовсе не хотела его соблазнять, что это была только игра с моей стороны, что я предлагаю ему дружбу на месяц и десять дней, остающихся до моего отъезда? Нет! Он хочет совсем другого! Совсем другого...

Я иду, иду и приостанавливаюсь только тогда, когда какая-нибудь зеркальная витрина отразит мое лицо, выражение которого я нахожу слишком театральным для решения серьезного вопроса, а взор моих глаз — недостаточно убедительным.

О, я отлично изучила это лицо! Оно маскируется под суровость и отречение, а между тем с нетерпением ожидает чуда, знака благоволения ко мне моего властителя Случая, который сразу же начертит свое фосфорически блистающее на черной стене решение, едва лишь сегодня ночью я потушу свет...

Как ароматен воздух вокруг этих повозок, переполненных мокрыми фиалками и белоснежными лилиями! Старичок с большой бородой продает подснежники во мху, их белые поникшие цветки похожи на пчел, а их запах напоминает флер-д'оранж, но очень слабый, едва ощутимый.

Посмотрим, посмотрим! «Ему» хочется совсем другого!

Я иду, иду, слишком досадуя на мою чрезмерную доверчивость, на мои сомнения, на все мое состояние духа, от которого я хотела бы отделаться, точно чувствуя, что мое окончательное решение будет совершенно иным, чем то, какое я предполагаю...

VIII

Усталость! Но какая усталость! Я заснула после завтрака, как всегда после утомительных репетиций, но проснулась по-прежнему усталой. Проснулась испуганной, изумленной, печальной и думающей только о неприятностях... Пробуждение, по правде сказать, не из веселых, но все-таки я не страдаю... Почему?

Лежу неподвижно, смотрю на мою свисающую с кровати руку, будто на чужую. Не узнаю материи моего платья...

Кто растрепал мне прическу, пока я спала, мою пышную корону из волос, обвивавшую чело, словно повязка суровой и недоступной Цереры?

Я была... была...

Сад... небо цвета увядшей розы... пронзительный детский голос, похожий на крик ласточек...

Затем отдаленное журчание ручья, то усиливающееся, то замирающее, будто вздохи леса... Воспоминания уносят меня в младенческие годы... Не близкий путь, чтобы вернуться так далеко назад!

Я призываю исчезнувший сон, темная бархатистая его завеса, укрывавшая меня, сдернута... я брожу, словно нагая... Больным, сознающим, что они поправились, знакомо чувство возвращения боли, оно изумляет их и пугает...

— Но я ведь думала, что все уже кончилось! — вздыхаю я томительно, как они...

Печальный и слишком волнующий сон. За один час он стер из моей памяти все воспоминания! Откуда слетела я, на каких крыльях, чтобы снова стать самой собой? Рене Нере, танцовщица и мимистка! Неужели это та цель, к которой готовило меня горделивое детство, моя сосредоточенная, но страстная юность, столь бесстрашно постигнувшая любовь?

О Марго, унылая моя подруга, почему я не в силах бежать к вам, чтобы поделиться с вами своим горем... Но вы уважаете мою решимость, и я не рискну высказать перед вами слабость.

Мне кажется, что ваш проницательный взгляд, по-

[illegible] от холод-
[illegible] победе над
[illegible] силы...

Мой предстоящий отъезд! Свобода? Ах! Свобода представляется ослепительной только в начале любви, первой любви, в тот день, когда говоришь, отдаваясь тому, кого любишь:

— Возьми меня! Ты для меня — все в этом мире!..

Новые города, незнакомые страны, вскользь увиденные, с трудом отмеченные взором, служат пищей для воспоминаний!..

Но разве возле новых стран постоянно кружит моя мысль, словно привязанная за нитку птичка?

Начиная с самого утра и до позднего вечера разве не стремится она к фатальному «кафе-шантану первого разряда», навязанному мне Брагом и Соломоном? Немало пришлось мне повидать этих «первоклассных заведений»! Со стороны публики это зрительный зал, залитый светом, или же густая волна табачного дыма застилает все его позолоченные резные украшения. А закулисная сторона представляет собой грязные, вонючие уборные и винтовые лестницы, насквозь пропитанные запахом отхожих мест...

И вот тебе необходимо в течение сорока дней настойчиво бороться против усталости, двусмысленных усмешек и замечаний машинистов сцены, против бешеного самолюбия капельмейстера провинциального оркестра, безобразной дороговизны гостиниц и железнодорожных буфетов!

Приходится в себе отыскивать и без устали возобновлять запасы энергии, этого сокровища, поддерживающего жизнь бродяг и одиноких существ... Приходится, кроме того, еще бороться — и этого нельзя забывать — с собственным одиночеством...

Чтобы достигнуть... чего?.. Чего?

Когда я была ребенком, мне часто говорили: «Прилежание заключает награду в самом себе», и я, накинув на себя хомут, действительно ожидала какой-то чудесной награды за мое изнурение, какой-то присужденной мне милости...

Я все еще ожидаю ее...

. . . . . .

Приглушенный звонок, сопровождаемый лаем моей собаки, заставляет меня стряхнуть с себя этот тяжелый кошмар. Я вскочила с постели, довольная, что

снова возвращаюсь из мира грез к действительной жизни.

— Можно ли войти господину Дюфрен-Шотелю, мадам? - вполголоса спрашивает Бландина.

— Нет.. попросите его минуточку обождать...

Чтобы провести пуховкой по щекам, подкрасить карминным карандашом губы и слегка причесать гребенкой мою растрепанную прическу не требуется помощи зеркала; это делается машинально, вроде того, как полируют ногти: скорее ради приличия, чем из кокетства.

— Вы здесь, Дюфрен-Шотель? Входите, я сейчас включу свет...

Его приход меня нисколько не волнует. Случайный, бесплодный поцелуй, которым мы с ним вчера обменялись, нисколько не смущает меня в эту минуту. Неудачный поцелуй далеко не так важен, как сложный обмен взглядами...

Я почти изумлена, что у него такой несчастный, унылый вид. Я по обыкновению называю его Дюфрен-Шотелем, как будто у него нет имени, и обращаюсь к нему на «вы» или «Дюфрен-Шотель»... Не угождать же мне ему!

— Ну вот и вы! Как поживаете?

— Благодарю вас, хорошо.

— Вы сегодня не в духе?

— Ах, как я несчастен! — невольно вырвалось у него.

Большой Скворец! Мне смешны его огорчения, недовольство мужчины, неудачно поцеловавшего любимую женщину.

Мою насмешливую улыбку скрывают от него расстояние и спасительная тень, отбрасываемая абажуром.

Я предлагаю ему его любимые сигареты, набитые светлым подслащенным табаком, отзывающим пряным хлебом.

— Почему вы сегодня не курите?

— Сейчас закурю, но все-таки я чувствую себя несчастным.

Усевшись на диван, прислонившись к низенькой подушке, он машинально выпускает из ноздрей длинные струйки ароматного дыма. Я тоже курю ради компании.

С непокрытой головой он красивее: высокая шля-

мягкий фетр делает его похожим на
...жители жизни...

Подняв глаза кверху, он курит так, словно серьез-
...сть слов, которые он готовится мне сказать, поглоти-
...ет все его внимание. Его длинные блестящие ресни-
...ы — единственное женственное и чувственное украше-
...ние этого лица, слишком уж мужественного,— часто
дрожат, обнаруживая его волнение и нерешительность.
Я слышу его тяжелое дыхание в такт равномерному
тиканью моих часов и потрескиванию в камине угля,
раздуваемого порывом ветра.

— Дождь идет?

— Нет,— ответил он быстро.— Зачем вы меня об
этом спрашиваете?

— Чтобы знать! Я не выходила сегодня после
завтрака и не знаю, какая погода.

— Какая погода... Рене!

Он нервно выпрямился, бросив сигарету, схватил
меня за руки и близко придвинул свое лицо к моему.
Оно казалось мне слишком большим, я могла подробно
рассмотреть на нем все прыщики, все недостатки, тре-
пещущие уголки его больших глаз...

Как много любви таится в них! Увы, как они выра-
зительны, как нежны и влюбленны! А эти большие
руки, сжимающие мои мягко, заразительно, как остро
чувствую я их страстное пожатие!..

В первый раз я так надолго оставляю свои руки в
его руках; мне кажется, что я победила свое отвра-
щение, и их жар уничтожает мои последние сомнения
и убеждает меня в этом. Я уступаю охватившему меня
внезапно наслаждению, так долго не испытанному
мною желанию безмолвно довериться другу, открыться
ему хотя бы на минуту, а затем снова замкнуться,
притвориться, молчать...

О, как безудержно желала я в ту минуту кого-
нибудь обнять: собаку ли, человека ли, одним словом,
существо, которое бы любило меня!

— Рене! Вы плачете, Рене?

— Я плачу?

Но он прав! Мои глаза полны слез, свет от лампы
дробится, отражается в них цветной радугой. Кончи-
ком платка я быстро их вытираю, я не отрицаю, что
плакала, я только улыбаюсь при мысли о слезах.

Сколько времени я не плакала? О, целую вечность!
Мой друг тронут ими. Он притягивает меня ближе

и заставляет сесть возле него на диван. Бедняжка, его глаза тоже мокры, он не такой человек, чтобы притворяться и подделывать свои чувства.

— Что с вами, дорогое дитя?

Приглушенный крик, нервное содрогание служат ему ответом. Забудет ли он их? Надеюсь...

«Мое дорогое дитя...» Его первые слова нежности были: «Мое дорогое дитя!» Те же самые слова, почти тот же тон, как и у того, «другого»! Детский страх заставляет меня вырваться из его рук, словно тот, «другой», должен сейчас появиться на пороге. Мне кажется, что я уже вижу его усы а-ля Вильгельм, его затуманенный лживый взгляд, его широкие ужасные плечи, его короткие мужицкие бедра.

— Рене, дорогая моя, да скажите же мне хоть что-нибудь.

Мой друг совершенно бледен, он не рискует снова обнять меня... Только бы он не причинил мне вреда!

Слезы мои совершенно высохли, они неожиданно застряли у меня в горле и в моих глазах, точно их спалили. Достаточно одного моего жеста, чтобы образумить моего друга, в тоске ожидающего услышать мой голос.

— Я вас рассердил, Рене?

— О нет, друг мой.

Я спокойно отодвигаюсь от него, опасаясь, как бы мои движения и слова снова не возбудили в нем нежного, фамильярного и гнусного порыва.

Инстинкт подсказывает ему не радоваться такой быстрой удаче, рука не тянется обнять меня снова, я не чувствую больше передающегося мне опасного, сближающего пыла... Он настолько любит меня, чтобы сообразить, что если я положу на его сильное плечо мою покорную голову, то расценивать это следует не как дар, а только как опыт.

Моя голова на плече мужчины! Я что, грежу? Нет, я не грежу, и я не сплю. Моя голова, мои чувства спокойны, мрачно спокойны. Может быть, в той отрешенности, которая меня охватила, это все же лучше, чем безразличие, и если я нежно играю рассеянной рукой с золотой цепочкой на его жилете, сама сознавая, что это неудобно, вульгарно, то при этом невольно вспоминаю о подобранной на улице кошке, которая не может не играть и не пользоваться отдыхом, когда у нее есть приют.

бедный влюбленный... О чем он мечтает, покоренный моим молчанием?

Поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него, и сразу же опускаю глаза, ослепленные, пораженные выражением лица этого человека. Ах, как бы я желала полюбить его сильно, как бы желала разделить такую красивую страсть!

Он поймал мой взгляд и героически улыбнулся.

— Рене... Верите ли вы, что когда-нибудь полюбите меня?

— Полюбить вас? О, я так бы этого желала, друг мой. Но не сердитесь на меня... Разве вы не чувствуете, что я начинаю к вам привязываться...

— Привязываться ко мне? Именно этого-то я и боялся, Рене! Привязанность — не дорога к любви!

Его замечание настолько справедливо, что я не возражаю.

— Но... Подождите... Кто знает, может быть, когда я вернусь из турне... Во всяком случае, вы приобрели мою самую искреннюю дружбу!

Он опустил голову.

Зачем ему, в самом-то деле, моя дружба? Я, в свою очередь, очень рада иметь друга, друга средних лет, не такого «конченого человека», как Гамон, одним словом, настоящего друга.

— Когда вы вернетесь... К тому же, если вы надеетесь когда-нибудь меня полюбить, то вы меня не прогоните, Рене. И через два месяца, совсем как сейчас, та же самая Рене, доверившая мне свои маленькие холодные ручки, с этими глазами, в которые я не могу проникнуть, с этими обольстительными губами, манящими к поцелую, но не дающими его...

— Это не моя вина... Но вот вам мои губы...

Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза, покорная, но не любопытная, затем снова их открыла, удивленная тем, что он не спешит воспользоваться случаем со вчерашней жадной поспешностью. Он только немного повернулся ко мне и удобнее обхватил мою талию правой рукой; потом взял обе мои руки в свою свободную руку, наклонился... Я видела, как медленно приближается ко мне это серьезное, чужое для меня лицо, этот мужчина, которого я еще так мало знала.

Между нашими лицами почти не осталось не только пространства, но даже воздуха, я тяжело дышала... Мне казалось, что я тону, и я хотела освободиться

внезапным движением, но он крепко держал мои руки, его рука не отпускала моей талии.

Напрасно я откинула голову назад в ту минуту, когда губы Максима прижались к моим. Я не закрыла глаза, а только опустила ресницы, чтобы защитить себя от этих зрачков, пытавшихся проникнуть своим взором в мои глаза. Целовавшие меня губы, нежные свежие, безразличные, были такими же, как вчера. Их настойчивость меня раздражала... Порой оживленные горячие, бешеные поцелуи превращались в спокойные, скромные, прерываемые на мгновение, словно ожидавшие с моей стороны ответа, но ответа не было...

Я пыталась осторожно отодвинуть голову от его усов, от которых шел запах ванили и сладкого табака, раздражавший мне ноздри...

О... неожиданно для меня самой мои губы открылись, точно спелая слива, лопнувшая на солнце...

Какой-то мучительный, но в то же время сладостный трепет, подобно электрической искре, пробежал от моих губ, коснувшись бедер, до самых колен, старая рана заныла и готова была снова открыться... Проснулось забытое сладострастие...

Я не мешала разбудившему меня мужчине жадно прильнуть ко мне...

Мои руки, за минуту до того еще такие упрямые, холодные, стали в его руках теплыми и вялыми, а мое тело искало его объятий...

Точно сроднившись с обвившей меня рукой, я все сильнее прижималась к его плечу, стараясь, чтобы наши губы, слившиеся в поцелуе, не разъединялись и наслаждение не прекращалось...

Он понимал все и соглашался с этим счастливым для него насилием...

Вполне уверившись, что я не убегу от него, он первым прекратил наши поцелуи и, взволнованно дыша, наблюдал за мной, покусывая влажные губы.

Я опустила глаза, смотреть на него мне не хотелось... Может быть, у него появилось желание раздеть меня и овладеть мною окончательно... Ну и что из этого! Безотчетная радость и нега захватили меня.

Ничто не мешало нам снова начать наши поцелуи... Все время — наше... Гордый своей победой, мой друг поднял меня сильными руками, как поднимают жнецы на поле снятые снопы, осторожно положил на диван и снова приблизил свои губы к моему лицу...

[illegible] вернулись к моим, невольно перенимая [illegible] и блик розовой пудры...

Они готовились к новым поцелуям, но я первая прильнула к ним и, замерев, вся отдавшись наслаждению, не отрывалась от них...

Мы напоминали два цветка — недвижимые, зачарованные, прислушивающиеся только к биению собственных сердец и забывшие о существовании остального мира...

Я ушла первая. Мне нужно прийти в себя. Я взяла в руки зеркало, чтобы привести в порядок прическу, посмотреть на себя, и невольно улыбнулась, когда увидела в стекле это заспанное лицо, эти трясущиеся, блестящие и воспаленные губы.

Максим спал на диване; на его немой призыв следовал с моей стороны ласковый ответ. Мой взгляд теперь — это взгляд покорной собаки, немного смущенной, слегка побитой, очень изнеженной и согласной на все: согласной быть покорной рабой, надеть на шею тяжелый хомут и валяться у ног своего хозяина...

IX

Он ушел поздно. Мы наскоро, кое-как пообедали. Бландина приготовила котлеты с грибным соусом... Я умирала от голода.

— И любовь была превыше всего,— продекламировал Максим, чтобы показать, что и он читал Поля Верлена.

Во время обеда мы совершенно избегали объятий и вовсе не были похожи на нежных любовников; он был слишком скромен, а мне неожиданности не нравятся... Но я была в хорошем настроении.

— У нас много времени, правда, Макс!

— Ну, не особенно, дорогая! Я очень постарел за это время, ты заставила меня ждать слишком долго.

Постарел!.. Он не знает моего возраста!

Он ушел и вернется только завтра. Он никак не мог расстаться со мной, и я боялась, что уступлю и снова открою ему мои объятия. Мне было ужасно жарко, а он обнимал меня так бешено, словно готов был укусить.

Наконец-то он ушел... Я говорю «наконец», потому что нужно же мне хорошенько обдумать все, что случилось...

«Любовь»,— сказал он. Разве это любовь? Я хочу быть справедливой. Разве я его люблю? Мое сладостное смятение меня пугает, но, может быть, это только первое возмущение моей силы, столь долго находившейся в плену? Кроме того, я не замечаю разве, что люблю его? Да, я его люблю, без сомнения, люблю... А если он, вернувшись, постучит мне в окно? О, я уверена, что люблю его!

Растревожившись, я начинаю вспоминать нежную интонацию его голоса во время сегодняшнего разговора, мне слышится его любовный шепот, и этого достаточно, чтобы я снова потеряла голову. Кроме того, он так добр, так силен и так сочувственно отнесся к моему одиночеству, когда я положила на его плечо мою голову! Да, я его люблю!

Но что же заставляет меня бояться?

Какая борьба предстоит мне в будущем? Бежать слишком поздно... Я снова вижу мою безжалостную советчицу, беседующую со мной из зеркала: «Недолго же ты раздумывала! Когда любовь на тебя обрушилась, она нашла тебя слишком безумной, слишком отважной! Ты не спросила у себя самой в ту минуту, была ли это любовь! Обмануться ты, во всяком случае, не могла. Твоей первой любовью был тот, «другой»! Это был он, и никто никогда тебе его не заменит! Твоя наивность маленькой девушки не могла усомниться, чтобы распознать его и не запродать ему твое тело и твое девственное сердце. И никогда «этому» не быть на его месте! Прежний любовник забрал у тебя то, что ты могла подарить только однажды: твое доверие, мистическое изумление первых порывов нежности, новизну твоих слез, цветы твоего первого страдания. Люби, если можешь, без сомнения, это тебя успокоит, по-прежнему в твоей жалкой радости, кроме первой любви, никакая другая не идет в счет; каждую минуту ты испытываешь кару своих воспоминаний и ужас сравнения! Даже когда ты говоришь: «Ах, этот лучше!», ты страдаешь, сознавая, что все идет не так, потому что ничто не повторяется. Господь сказал рыбаку: «Ты никогда бы не искал Меня, если бы раньше уже Меня не нашел». Но у любви нет такого сострадания: покинутый любовь один раз теряет ее навсегда.

Ты думаешь, что, потеряв его, ты достаточно выстрадала? Нет, это далеко еще не конец твоим страданиям. Наслаждайся, пытайся вознаградить себя за

совершила, вернуть твою потерю; страдай на
пиру твоей новой жизни от яда, который в тебя
твоя первая и единственная любовь».

X

Мне нужно сообщить Марго о случившемся со мной воскресении, о луче солнца, проникшем в мою жизнь.

Решено. Мы любим друг друга. Это так, и, кроме того, все мною выяснено. Я послала к черту все мои воспоминания и сожаления, а также мою манию излишней чувствительности и мои «если», «потому что», «однако» и «тем не менее».

Мы видимся с ним постоянно, он меня увлекает, ошеломляет своим присутствием, мешает мне думать. Он решает, почти приказывает, и я все исполняю, но в то же время он уважает мою свободу, мою гордость и посылает мне целый ворох цветов и плодов. Кроме того, я ношу на шее блестящую стрелку, точно воткнутую мне в горло и всю усыпанную рубинами.

И все-таки мы не любовники. Макс, набравшийся с тех пор терпения, старается разнообразить наши наслаждения. С его стороны это не порок, а скорее кокетство мужчины, заставляющего желать себя, который при этом все время оставляет меня в обманчивом заблуждении, что это не его, а меня желают.

Во всяком случае, больше мне ничего не надо... Я вздрагиваю, предчувствуя этот забытый пыл, вспыхиваю от первого же его прикосновения, готовая в своем безумии каждую минуту быть его рабою.

Он старается отдалить час наслаждений; теперь мне вполне понятна и та жертва, которую я ему принесла, и подаренное ему счастье.

Его волнуют самые несбыточные желания, но я вполне убеждена, что я их опережаю! Пусть он беспрепятственно хозяйничает в своем винограднике.

К моему удовольствию, случай наделил этого большого младенца хорошим телосложением и простодушной ласковостью в любви, создал его специально для женщины и таким очаровательным, что его нежность предугадывает мои желания.

Он мне напомнил (я невольно краснею) одно меткое словцо моей блистательной сотоварки по мюзик-холлу, хвастав шей изяществом своего нового любовника:

— Дорогая, он сложен лучше, чем я сама!

Но... Во всяком случае, я должна сообщить обо всем Марго... Бедняжка, я ее совсем позабыла! Что же до Гамона, то он исчез: благодаря Максу он все про меня знает, и он избегает моей квартиры, как осторожный родственник.

А Браг! О, я припоминаю его лицо во время нашей последней репетиции! Оно исказилось гримасой Пьерро, когда я подъехала на автомобиле Макса, но тогда он мне ничего не сказал; более того, он выказывал по отношению ко мне незаслуженную предупредительность, поскольку я в тот день была придирчива, рассеянна, каждую минуту краснела и извинялась. Наконец он воскликнул:

— Да замолчишь ли ты! Убирайся и возвращайся сюда, когда ты будешь сыта по горло своей любовью!

И чем больше я смеялась, тем сильнее он бесился, как азиатский дьявол:

— Хохочи, хохочи! Посмотрела бы ты на себя, как ты хороша!

— Ну и что из этого?

— Она еще спрашивает! Не смей смотреть на меня, Мессалина! Вы только полюбуйтесь на нее,— орал он,— она не боится показывать свою постыдную рожу при дневном свете! А когда я требую для любовной сцены Дриады немного больше увлеченности, страстного поцелуя, она ломается, точно невинная институтка!

— Разве по мне действительно что-нибудь заметно? — спросила я Макса, подвозившего меня домой.

Зеркало, отразившее в тот вечер мое торжествующее лицо грешницы, теперь показало мне осунувшуюся физиономию, подозрительную улыбку ласковой лисички. Я не знаю, какое пламя сушит его, но мне кажется, что это отцветающая молодость.

. . . . . .

Я во всем откроюсь Марго: в моем возвращении к прежнему, в моем счастье и сообщу имя того, кого я полюбила. Марго не из тех женщин, которые с укором скажут: «Ведь я тебя об этом предупреждала», но мне кажется, что в ее взгляде я прочту: «Блудливая ты кошка! Ты вернулась в свой теплый уголок!»

Да, я нашла его себе, и какое еще сердце к нему вдобавок!..

. . . . . .

Я застаю Марго в обычной для нее обстановке, в

...ском зале, где она спит, кормит и воспитывает своих брабансонских собачек.

Большого роста, прямая, в русской косоворотке, в длинном черном вестоне, она склонила свое бледное лицо с классическими римскими щеками, жесткими седыми волосами, остриженными до ушей, над корзиной, где копошится маленький желтый недоносок-щенок, закутанный во фланелевую рубашку и повернувший к хозяйке свою мордочку бонзы с трогательными глазками. Вокруг меня запрыгали и затявкали шесть нахальных животных, и только щелканье хлыста заставило их скрыться в своих соломенных будках.

— Как, Марго, еще брабансон? У вас к ним какая-то страсть.

— Боже мой, вовсе нет,— ответила Марго, усаживаясь напротив меня и качая на коленях больное животное.— Я вовсе не люблю эту бедняжку.

— Вам ее подарили?

— Нет, разумеется, я купила ее сама. Это научит меня никогда не ходить мимо торговца собаками, этого старого мошенника Гартмана. Если бы ты только видела эту бедную собачку в витрине, ее жалкую фигурку, напоминающую больную крысу, а особенно эти глаза... Ты знаешь, меня ничто так не трогает, как взгляд собаки, выставленной на продажу, и, конечно же, я ее купила. Она еле жива, но у торговца этого никогда не заметишь: они дают таким собакам возбуждающее средство... Однако, дитя мое, я тебя уже давно не видела. Ты работаешь?

— Да, Марго, я репетирую.

— Сейчас это заметно: у тебя усталый вид.

Она взяла меня за подбородок и нежно притянула к себе. Меня это взволновало, я закрыла глаза.

— Да, ты устала, ты постарела,— прибавила она глухо.

— Постарела! О Марго!

Этим горестным криком я выдала свою тайну и заплакала.

Я старалась скрыть лицо от моей строгой подруги, гладившей меня по плечу и с чисто женским чувством шептавшей:

— Бедная малютка!

Марго говорила это таким же тоном, как о больной собачке.

— Довольно, довольно, бедняжка!.. Все пройдет!

Вот борная вода, освежи глаза, я только что приготовила ее для Мирет. Только не своим платком, возьми гигроскопической ваты, она вон там. Бедная малютка! Ты сейчас так дорожишь своей красотой?

— О да, да, Марго...

— Марго, Марго! Ты говоришь это так, будто я тебя бью! Посмотри на меня! Ты бы этого хотела, моя бедная малютка?

— Нет, Марго...

— Тебе прекрасно известно,— продолжала она своим ровным и нежным голосом,— что у меня ты всегда найдешь самую разную помощь, даже самую мучительную из всех — правду... Что же такого я тебе сказала? Что ты состарилась.

— Да... О Марго!

— Довольно, не начинай сначала. Но ты постарела за эту неделю, сегодня ты постарела. Завтра, даже, может быть, через час ты будешь казаться на пять, даже, возможно, на десять лет моложе... Если бы ты пришла вчера или завтра, я сказала бы тебе наверняка: как ты помолодела.

— Вот еще придумала, Марго: мне скоро тридцать четыре года.

— Успокойся, мне пятьдесят два.

— Это совсем другое дело, Марго. Мне так нужно быть молодой, красивой, счастливой... я... я...

— У тебя любовник?

Ее голос по-прежнему нежен, но выражение лица быстро меняется.

— У меня нет любовника, Марго, но без сомнения... он у меня будет. Но... ведь я люблю его.

Мое простодушное оправдание успокоило Марго.

— Ты его любишь? Он тебя тоже?

— О!

Горделивым движением я оградила моего друга от малейшего упрека.

— Хорошо. А сколько ему лет?

— Столько же, сколько и мне. Скоро тридцать четыре.

— Это... это хорошо.

Я не нашлась больше что сказать, я была страшно смущена. Я надеялась после того, как смущение пройдет, высказать ей мою радость, рассказать все о моем друге, о цвете его глаз, о красивой форме его рук, о его доброте, о его благородстве...

— Вы знаете, Марго, он очень красив,— решилась я робко заметить.

— Тем лучше, дитя мое. У вас есть какие-нибудь планы на будущее?

— Планы? Нет, мы еще ни о чем не думали. Для этого еще будет время.

— Времени немало, совершенно верно. А твое турне? Как же с ним-то быть?

— Мое турне? Все останется по-прежнему.

— Ты возьмешь с собой... этого... этого господина?

Я готова была, хотя только за минуту перед этим плакала, громко рассмеяться. Марго говорила о моем друге с такой брезгливостью, словно это было нечто невероятно грязное.

— Я его повезу? С собой? То есть как это? По правде сказать, Марго, я об этом еще не думала. Там увидим.

Моя собеседница сурово подняла ресницы.

— Ты ничего не знаешь! У тебя нет никаких планов! Ты посмотришь! Честное слово, вы меня поражаете! И о чем же вы думаете? Вам необходимо без промедления обстоятельно все обсудить и подготовить ваше будущее!

— Будущее?! О Марго, мне оно неинтересно. Будущее! Брр! Он сам позаботится об этом.

— Вопрос стоит о браке или о простой связи?

Я ничего не ответила сразу, впервые смущенная этим грубым выражением, которого я никогда прежде не слышала от скромной Марго.

— Этот вопрос совсем еще не поднимался. Вот познакомимся ближе друг с другом, тогда столкуемся.

— Столкуемся!

Марго, поджав губы, наблюдает за мной, в ее блестящих глазках светится жестокая радость.

— Они столкуются! Я замечаю, что вы переживаете период взаимного самоотречения. Не правда ли?

— Уверяю вас, Марго, вовсе нет,— ответила я, пытаясь улыбнуться.— Такая игра хороша для совсем юных влюбленных, а мы уже вышли из этого возраста.

— Тем более,— беспощадно возразила Марго,— вас тем более есть поводы хранить свою тайну. Дитя мое,— прибавила она мягко,— ты сама не раз смеялась над моей манией; брак представляется мне чем-то чудовищным, ты бы хохотала до слез, если бы я тебе рассказала, что в первые дни моего брака я отказы-

лась от общей спальни с мужем: мне казалось безнравственным жить вместе с молодым человеком, чужим для моей семьи. Чего же ты хочешь от меня, такой я родилась, и я не могу переменить своих взглядов. Почему ты не привела с собой сегодня твою Фоссету?

Я, как Марго, сделала над собой усилие, чтобы переключиться на другую тему:

— Ваши собаки в прошлый раз обидели ее.

— Это правда, хвалить мне их не за что! Ну, идите сюда, вы, хромоногие!

Собаки не заставили ее повторять дважды. Они повылезали из своих закоулков, дрожащие, жалкие; самая крупная из этой своры могла поместиться в шляпе.

Я знаю их почти всех, этих несчастных животных, спасенных Марго от торговца собаками, выставлявшего их в витрине: больных, голодных, напоенных алкоголем. Некоторые из этих собачек поправились у нее, пополнели, стали веселыми, другие же остались, как и раньше, чахлыми, облезлыми и больными...

Марго постоянно заботится о них и в то же время понимает, что ее собачья благотворительность не приносит никакой пользы и только увеличивает торговлю больными собаками.

. . . . . .

Больная собачонка уснула. Говорить мне было не о чем. Я оглядывала громадную неуютную комнату с большими окнами без занавесок; весь стол был заставлен аптекарскими склянками, свернутыми бинтами, между ними валялись градусник и резиновое приспособление для мытья собак, пахло микстурой, йодом и карболкой.

Я быстро собралась уходить, мне захотелось сразу же перенестись в мою маленькую теплую комнатку, на мой продавленный диван, увидеть себя в окружении цветов, почувствовать присутствие любимого человека...

— Прощайте, Марго, я ухожу.

— Иди, иди, дитя мое.

— Вы на меня не сердитесь?

— За что?

— За то, что я такая сумасшедшая, странная, влюбленная, наконец...

— Сердиться на тебя? Бедная малютка, это было бы слишком жестоко с моей стороны!.. Новая любовь. Тебе не следовало бы повторять этот опыт.

Я спешила возвратиться домой, чувствовала себя замерзшей, недовольной, печальной... Все равно, дело сделано, я все сказала Марго.

На меня вылили душ, которого я ожидала, я торопилась теперь обсушиться, встряхнуться, погреться возле огонька, и с опущенной вуалью, скрывающей следы моего горя, я бежала к нему.

XI

— Господин Максим ожидает мадам.

Моя прислуга Бландина произносит теперь «господин Максим» так нежно, будто она говорит о своей кормилице.

— Он здесь.

Я бросаюсь в свою комнату и поворачиваю ключ: он не должен видеть мое лицо.

Скорее! Рисовой пудры, немного румян, карандаш для ресниц... Вот здесь, под глазами заметна морщинка, нужно ее смягчить...

«Ты стареешь...» Дурочка, кто тебя заставляет плакать, как маленькая девочка? Разве ты все еще не научилась сдерживать слезы? Где то время, когда сверкающие капли катились по моим бархатистым щекам, не оставляя на них никакого следа?

Чтобы снова завоевать моего мужа, я тоже много плакала перед ним, не спуская с него широко открытых глаз, из которых сбегали целые каскады жемчужин, делавших меня еще красивее! Бедная я, бедная!

— Наконец-то вы, дорогая, прелесть моя, моя...

— Боже мой, как вы глупы!

— О да! — восторженно согласился мой друг.

Он тут же принялся за свою любимую игру: схватив меня на руки, приподнял высоко, чуть ли не до потолка, не переставая целовать мои щеки, уши, губы, подбородок...

Я пыталась сопротивляться, ему пришлось бороться со мной. Наша борьба окончилась его победой, и он стал без всякой пощады качать меня на своих руках, ноги вверх, голову вниз, пока я не закричала отчаянно «на помощь» — только тогда он перестал.

Фоссета пыталась меня защитить, ее хриплый лай, мой пугливый крик и хохот Максима сопровождали эту слегка грубоватую шутку, но тем не менее доставлявшую мне удовольствие.

Ах, как мне приятно качаться в его сильных руках! Мой веселый товарищ не обращает внимания даже на то, что я сбила на сторону его галстук...

Он вспотел от нашей игры, в его радостном смехе слышатся нотки сладострастного вызова.

Он пожирает взором «свою» прелесть, медленно, как знаток, любуется мною.

— Ах, как бы мне хотелось тебя съесть, моя солененькая!

— Как? Ваша солененькая! Какой ужас!

— Да, ты солененькая! Твои ручки, твои плечи, когда я их кусаю, кажутся мне немного солеными. Твои губки — слаще сахара, это верно, но сама ты от головы до ног соленая, как живая селедочка!

— Не скоро вам удастся отведать этой селедочки, Большой Скворец!

Я до сих пор называю его Большим Скворцом, но... с другим выражением.

— Когда же? Сегодня вечером? Ведь сегодня четверг, не правда ли?

— Кажется, четверг. А к чему этот вопрос?

— К тому, что четверг — очень хороший день...

Он болтает глупости, счастливый, раскинувшись на подушках дивана; прядь волос повисла у него над глазами, а в самих глазах светится огонек желания, он порывисто дышит полуоткрытым ртом. Он кажется мне славным провинциальным малым, дровосеком, в небрежной позе отдыхающим на траве, но это не мешает мне смотреть на него с наслаждением.

— Встаньте, Макс, нам необходимо серьезно поговорить.

— Я не желаю ни о чем заботиться и разговаривать серьезно,— жалобно вздыхает он.

— Но, Макс...

— Нет! Мне прекрасно известны все эти серьезные разговоры! Это выражение мамы, когда она предлагает поговорить о делах или о женитьбе!

Он зарылся в подушки и закрыл глаза. Не в первый раз выказывает он легкомысленное упрямство.

— Макс, вы разве забыли, что пятого апреля я уезжаю?

Он чуть-чуть приподнял свои женственные ресницы и устремил на меня долгий взгляд.

— Вы уезжаете, дорогая? Но кто же так решил?

— Агент Соломон, импресарио и я сама.

— Прекрасно, но я еще не дал моего согласия...
— Прекрасно, вы едете, но я поеду вместе с вами.
— Вы, со мною! — воскликнула я смущенно.— Да ведь вы не знаете, что это такое — турне!
— Отлично, это путешествие вместе со мною.
— С вами? Целых полтора месяца! Разве у вас нет других занятий?
— О, разумеется! С тех пор, как я вас узнал, Рене, у меня нет ни одной свободной минуты.
Благородный ответ, но я в смятении разглядываю этого мужчину, у которого нет никаких занятий и у которого в бумажнике постоянно есть деньги...
Правда, ему нечего делать, но я никогда о таком не мечтала! У него нет никакого ремесла, никакая работа не связывает его свободы...
Как это странно! До сих пор я не была знакома ни с одним ничем не занятым мужчиной! Он может посвящать любви и дни, и ночи, как... как дурак...
Странная мысль, что из нас двоих не я — куртизанка, а он, развеселила меня настолько, что ресницы Макса заморгали.
— Что такое? Ты смеешься? Ты не поедешь?
— Вот еще что выдумал! А моя неустойка?
— Я ее уплачу.
— А неустойка Брага и Старого Троглодита?
— Заплачу и за них.
Хотя это шутка, но она начинает мне надоедать.
Я нисколько не сомневаюсь, что мы любим друг друга, но мы на грани размолвки... Однако я ошиблась... Мой друг чуть не валяется у меня в ногах.
— Моя Рене, вы можете поступить, как пожелаете, вы сами прекрасно это знаете!
Он кладет свою руку мне на лоб, его глаза впиваются в мои, ища в них покорность...
«Как пожелаете»! Увы, в эту минуту все мои желания связаны с ним одним!
— В турне вы будете исполнять «Пленницу»?
— Кроме того, мы разучили еще «Дриаду». О, какой у вас прелестный сиреневый галстук, он еще больше оттеняет желтизну вашего лица!
— Оставьте в покое мой галстук! «Пленница», «Дриада» — это только способ показать ваши прелестные ножки и... и дальше...
— Не приставайте! Разве вы на подмостках добились всего этого... остального?

Он крепко, до боли прижал меня к себе.

— Замолчите, я все это хорошо помню!.. Каждый вечер на протяжении пяти дней я только повторял жалкие слова и ни на что не решался. Я сознавал неимоверно глупым, как ты говоришь, ежедневно являться в «Эмпире-Клиши», а когда ты появлялась на сцене, я уходил оскорбленный. Потом, на другой день, я смирялся с этим и говорил себе: «Решено, сегодня меня увидят в этом заведении в последний раз!» Но я страстно желал рассмотреть выражение глаз Рене Нере, и к тому же вчера я пришел не к самому началу... В конце концов я становился идиотом...

— Идиотом! Вы употребляете слишком мягкое выражение, Макс!.. Мне совершенно непонятно, как можно увлечься женщиной, лишь глядя на нее.

— Это полностью зависит от женщины, которой любуешься! Вот вам, Рене Нере, эти вещи непонятны... Представь себе, что после того, как я в первый раз увидел тебя в «Пленнице», я провел целый час, пытаясь начертить карандашом на обертке книги черты твоего лица, пытался верно разместить, геометрически правильно, в этаком треугольнике твой рот и глаза особым, понятным только мне способом. В твоей пантомиме есть одно место, когда ты выражаешь неописуемую радость: это когда, сидя на скале, ты читаешь обидное письмо обманутого мужчины. Знаешь, ты так звонко хлопала руками по ляжкам, заливаясь хохотом, что казалось, будто под узкой юбкой они у тебя голые. Ты делала грубые движения рыночной торговки, но твое лицо выражало еще более утонченную злость, чем твое порочное тело... Помнишь ли ты это?

— Да, да, совершенно верно. Браг был очень доволен мной в этой сцене... Но, Макс, ведь этим можно только восхищаться... чувствовать какой-то порыв... а уж потом это превратилось в любовь.

Он посмотрел на меня с глубоким изумлением.

— Превратилось? Я никогда не уходил в мечты, я полюбил вас с той самой минуты. Есть немало женщин гораздо красивее вас, но...

Одним движением руки он объяснил мне все, что было непонятного и непоправимого в любви.

— Представьте себе, Макс, а вдруг бы вы случайно натолкнулись вместо добродушной буржуазочки, вроде меня, на ловкую, хладнокровную бабенку, злую, как язва? Разве такая мысль не останавливала вас?

Мне это никогда не приходило в голову, — сказал он, смеясь,— какая глупость! Да разве можно хладнокровно все обдумывать, когда любишь?

Эти слова совершенно обезоружили меня, меня — не перестающую строить всевозможные предположения.

— Малютка, ну почему тебе вздумалось появиться на подмостках мюзик-холла?

— Большой Скворец, почему вы не краснодеревец? Не говорите мне, что у вас и без того достаточно средств, это мне известно. Но я-то, что же я должна была делать? Шить, изучать речь немых или пойти на панель? Мюзик-холл — это занятие для тех, кто не умеет ничего.

— Но...

Мне почудилась в его голосе серьезная нотка, я приподняла голову, лежавшую у него на плече, и наблюдала за этим лицом с прямым строгим носом, за густыми ресницами, скрывающими добрые глаза, за жесткими усами, оттеняющими маленький рот с чувственными губами...

— Но, дорогая, теперь вам совершенно не нужны эти мюзик-холлы, раз я с вами, и...

— Псть!

Я испуганно заставила его замолчать. Да, я знаю, он готов сделать для меня все, но это ко мне не относится, я не хочу ни от кого зависеть. Меня нисколько не интересует, что мой друг богат. Я вовсе не желаю быть в будущем у него хозяйкой, чего так желает он, хотя, без сомнения, так оно и будет, и я свыкнусь с этой мыслью.

А теперь я не хочу ничего иного, кроме как слиться с ним в поцелуе и тем самым подтвердить ему, что я ему принадлежу, но не могу свою жизнь соединить с его жизнью. Если он мне скажет: «Я женюсь!», мне кажется, я вежливо ему отвечу: «Искренне поздравляю!», а в душе подумаю: «Мне это все равно». Кроме того, две недели назад, когда я его еще не любила, он старательно добивался благосклонности маленькой Жаден.

Сентиментальные рассуждения, психологические выводы... Боже мой, какой смешной я стала! Разве не было бы, в конце концов, честнее и достойнее для любящей женщины ответить ему:

— Совершенно верно, ты со мной, и пока мы любим друг друга, ты будешь во всем заботиться обо мне,

это так просто! Если ты меня действительно любишь, то ты должен будешь это делать, и другого заработка у меня не должно быть!

Все эти мысли прекрасны, мне следует их громко высказать, вместо того чтобы смущенно молчать, прижав свою щеку к чисто выбритой щеке моего друга, напоминающей очень гладко отполированный камень.

XII

Мой старый Гамон упрямо сидит дома уже несколько дней, ссылаясь на свой ревматизм, на грипп, на спешную работу; приходится мне самой бежать к нему.

Он был рад меня повидать. Выражение его лица, осторожное, но не принужденное, напоминающее выражение лица родственника, пришедшего к новобрачным, удвоило мое удовольствие снова его увидеть.

Опять мы с ним вместе, по-прежнему растроганные встречей...

— Все совсем как прежде, Гамон, а между тем, какая перемена.

— Слава Богу, дитя мое! Счастливы ли вы, наконец?

— Счастлива?

Я смотрю на него с искренним изумлением.

— Нет, я не чувствую себя счастливой, да и не мечтаю об этом. Как я могу быть счастливой?

Гамон прищелкивает языком, это его манера сердиться. У него приступ неврастении.

— Значит, Рене, все вышло не так хорошо, как я предполагал?

Я принялась смеяться.

— Вовсе нет, Гамон, все вышло отлично! Мы начинаем — и я этого очень боюсь — обожать друг друга.

— И что же?

— Что же! Разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой?

Гамон не успел еще улыбнуться, как я меланхолически заметила:

— На какие мучения вы снова меня обрекли, Гамон? Это вы, ваши старания, вы... Мучения,— прибавила я тихо,— которые я не променяю на самую большую радость!

— Ах, облегченно вздохнул Гамон,— по крайней

...ись от прошлого, которое все еще в нас ... мне уже надоело видеть вас мрачной, раз... и всего отдаетесь воспоминаниям и свое... ...перед Гелией! Простите меня, Рене: я по... ...немного дурно, но причиной тому было мое же... ...вам вернуть вас новым счастьем, новой привя...ностью!

— Это правда! Но вы подумали, что новая привязанность, возможно, заставит забыть о прежней, а возможно... воскресит ее?

Смущенный такой постановкой вопроса, Гамон не знал, что мне ответить. Но он так неосторожно задел мое больное место... К тому же он только мужчина, ему незнакомо чувство женщины. Он не один раз любил, но забыл сейчас об этом. Его смущение меня смягчило.

— Нет, друг мой, я не чувствую себя вполне счастливой, это, может быть, лучше или хуже, но ведь главное — я не знаю, куда иду. Я чувствую необходимость вам это сказать прежде, чем окончательно сделаюсь содержанкой Максима.

— Или его женой!

— Его женой?

— Почему бы и нет?

— Потому что я сама этого не хочу.

Мой быстрый ответ опередил мою мысль, зверек убегает подальше от клетки, едва лишь завидев ее...

— Кроме того, это ведь все равно,— небрежно заметил Гамон,— это одно и то же.

— Вы думаете, это одно и то же? Может быть, для вас и для многих мужчин, но не для меня! Вспомните, Гамон, чем было мое замужество... Дело идет не об изменах, не забывайте этого: оно касается супружеского сожительства, превращающего немало жен в нечто вроде нянек, охраняющих адюльтер! Быть замужем это, как бы объяснить получше... волноваться и трястись, что котлета для господина супруга слишком прожарена, вода «Виттель» недостаточно холодна, сорочка плохо выглажена, воротничок мнется, ванна слишком горяча,— это взять на себя роль посредницы-пробки между плохим настроением своего властелина, его скупостью, обжорством и его ленью...

— Вы забыли еще упомянуть роскошь, Рене,— мягко прервал меня Гамон.

— Нет, я не забыла! Роль посредницы, повторяю

между господином супругом и остальным человечеством. Вы не можете этого постигнуть, Гамон, вы были женаты слишком недолгое время! Супружество это... это: «Развяжи мне галстук! Выгони прислугу! Обстриги мне ногти на ногах... Встань, завари мне припарку... Приготовь умыться! Достань новый костюм, уложи чемодан, я еду «ее» догонять!» Экономка, сиделка, нянька для детей... С меня этого довольно, довольно!

Я с громким смехом посмотрела на вытянутое, сконфуженное лицо моего старого приятеля.

— Боже мой, Рене, как вы огорчаете меня своей манерой обобщения! «В этой стране все служанки грубы!» Не всегда же выходят замуж за таких, как Теланди! Что касается меня, то, клянусь, я бы постыдился требовать от женщины чего-либо подобного. Напротив, я...

Я хлопнула в ладоши.

— Довольно, я отлично все знаю! Напротив... я уверена, что вы не имеете соперника в застегивании на пуговки дамских ботинок и в ловле блох на верхней юбке! Увы, нельзя же всем женщинам выйти замуж за Гамона!

После небольшого молчания я утомленно продолжала:

— Позвольте мне, как вы это называете, обобщать, несмотря на единственный опыт, забыть который я до сих пор не в силах. Я уже не столь молода, не столь восторженна и уступчива, чтобы снова начинать супружескую жизнь, жизнь вдвоем. Позвольте мне подождать, приведя себя в порядок, в праздности и в одиночестве, появления в моей комнате того, кто выбрал меня в свой гарем. Кроме его нежности, страсти, я ничего не хочу о нем знать, я желаю только любви, одной лишь любви...

— Я знаю многих людей,— проговорил после некоторого молчания Гамон, — считающих подобную любовь освобождением.

Я пожала плечами, недовольная, что он меня плохо понял.

— Да,— настаивал Гамон,— освобождением! Но я, а вы меня знаете... немного, я склонен предполагать, что у вас просто слишком буйная фантазия — следствие детской неосуществленной мечты: чета влюбленных, пленник в сыром подземелье, оторванный от остального мира... так думают обычно молоденькие девушки...

[illegible] женщины... зрелые, Гамон!

[illegible] я вежливым жестом выразить свое несо-
[illegible] и твердо заметил:

Во всяком случае, дитя мое, это не любовь.

А почему?

Мой старый приятель перенес [illegible] на пол сига-
рету:

— Потому, что вы мне сейчас сказали: «Замужество для женщины — это всего лишь заведывание домашними делами мужа, печальное, обыденное занятие; это — «завяжи мне галстук, приготовь мне умыться, пережарь котлетку, рассей мое скверное настроение»; но необходимо заменить слово супружество словом любовь. Только она одна помогает выполнять легко, весело и охотно все то, что я сейчас упомянул. Вы презираете это в настоящую минуту, вам это противно, отвратительно потому, что вы больше не любите Теланди. Но вспомните то время любви, когда галстук, ножная ванна, припарка были священными символами! Помните ли вы об этой жалкой роли? Я был возмущен, видя вас за исполнением всех этих поручений, порою рискованных — в отношении его приятельниц, но в тот день, когда я потерял терпение и готов был это ему высказать, вы сами мне сказали: «Любить — это значит повиноваться!» Будьте откровенны, Рене, наберитесь храбрости и скажите мне: разве все эти самопожертвования не имеют цены в ваших глазах с тех пор, как вы познали свободную любовь? Вы поняли их настоящую цену теперь, когда вы больше не любите! Прежде, когда вы были замужем, Рене, в то скверное время вашего горестного смирения, разве все эти обстоятельства не радовали вас, не дававшую себе отчета в несчастной бесчувственности, которая изображала любовь?

Что ему ответить? Я готова была бы спорить с ним без конца, но я не могла сегодня соглашаться ни с кем, кроме этого скромного старика, которому так близко мое несчастное супружество, напоминающее ему его... Как он заслуживает быть горячо любимым, как он страдает от этого фальшивого чувства!

— Гамон, сегодня я впервые услышала, как любовь сравнили с кокаином.

Ошеломленный моей злой иронией, он сухо ответил мне:

— Вы так думаете, дорогая? Человек моих лет,

уже отживший как я, никогда не позволит себе высказать подобное оригинальное суждение!

Боже мой, как он еще молод, чувствителен и весь напоен этим ядом, от которого он так хочет исцелиться.

Однако мы далеко отошли от моих приключений и от Максима Дюфрен-Шотеля.

Я хочу открыться Гамону и попросить у него совета...

По какому пути мы победно вернемся к прошлому, полному мертвых терний? Мне кажется, если бы сейчас сюда вошел Максим, то у нас с Гамоном не было бы времени изменить выражение наших лиц, которые никто не должен был видеть: Гамон — весь желтый от желтухи, с нервным тиком, дергающим его левую скулу, а я — с опущенными ресницами, точно под действием мигрени, как-то деревянно опустила мою полную шею, утратившую свою нежность.

— Гамон,— мягко заметила я,— вы не забыли, что я должна отправиться в турне?!

— Уехать... да... да...— произнес он, точно его внезапно разбудили,— ну, так что же?

— Как что же, а Максим?

— Разумеется, вы возьмете его с собой!

— Это вовсе не так просто, как вам кажется! Ездить вдвоем во время турне — это нечто ужасное! Просыпаться чуть свет, отправляться ранним утром или поздней ночью, бесконечные вечера для того, кто так нетерпеливо ожидает, а потом — гостиницы. Недурное времяпрепровождение для медового месяца... Женщина даже в двадцать лет не согласится на все случайности раннего пробуждения, а этот сон по окончании утомительного дня, когда лицо у тебя распухает, как у покойницы... Нет! Нет, эта опасность слишком велика для меня. Право, и он, и я заслуживаем лучшего! Я мечтала... может быть, немножко смело, отсрочить наше...

— Нежное сожительство.

— Благодарю, до конца моего турне, и тогда уже начать жизнь. О! Какую жизнь... Поселиться с ним где-нибудь в стране, которая мне нравится, наслаждаться ее прелестями, что теперь доступно только моему взору через окно вагона: влажные листья, цветы, склоняющие головки по воле ветра, свесившиеся с ветвей зрелые плоды, бесчисленные ручейки, весело журчащие по камням чистой, как слеза, водой... Вы не можете

себе представить это, Гамон, но когда проведешь в ва-
не чуть ли не два месяца, вид этих шумливых струек
пробивающихся меж свежей травы, возбуждает
во мне какую-то бесконечную жажду... Во время мо-
его последнего турне, я помню, мы зачастую ехали це-
лое утро, иногда и после обеда. На юге в лугах работ-
ницы с ферм доили коров, я часто видела блестящие
ведра с только что надоенным густым молоком. О, ка-
кое страстное желание испытывала я прикоснуться
жадными губами к этому теплому, покрытому белой
пеной живительному напитку! Это было какое-то на-
сущное наслаждение, уверяю вас! Вот видите, я и те-
перь желаю одновременно соединить все, чего мне не-
достает: чистый воздух, чудную, изобилующую краса-
тами природы местность и... моего возлюбленного!

Совершенно против воли я сложила просительно ру-
ки, словно надеясь, что это поможет моим желаниям
исполниться.

Гамон продолжал меня слушать, не предполагая,
что я уже все сказала.

— Ну и что же дальше, дитя мое, что же дальше?

— Как дальше?— изумилась я его вопросу.— Это
все, чего я желаю, больше мне ничего не нужно.

— Счастливое желание,— пробормотал он,— но все
же, скажите мне, как вы устроите вашу дальнейшую
жизнь с Максимом? Вы откажетесь от дальнейших
турне, не будете работать в мюзик-холлах?

Такой понятный вопрос достаточен, чтобы озадачить
меня, я бросила на своего старого друга беспокойный,
скорее даже вызывающий взгляд.

— Почему вы так думаете?— робко спросила я его.

Он пожал плечами.

— Подумайте хорошенько, Рене. Вы можете благо-
даря Максиму вести комфортабельную, даже роскош-
ную жизнь и... мы все надеемся, что вы снова возьме-
тесь за свое талантливое перо, которое не могу пове-
рить, чтобы у вас притупилось... Кто знает, быть может,
ребенок, хорошенький мальчуган, довершит остальное!

Неосторожный Гамон! Неужели в нем заговорило
чувство бывшего художника? Хорошенькая картинка
моей будущей жизни в обществе верного возлюбленного
и прелестного малютки произвела на меня неизгладимое,
громадное впечатление... И все-таки он продолжал
рисовать дальше, несчастный, не замечая дикой радос-
ти, мелькавшей в моих глазах, неустанно следивших

за выражением его глаз, и вырывал у меня невольно надоедливые выражения ученицы, скучающей от слишком длинного урока: «Да... разумеется... я не знаю...»

XIII

Хорошенький малютка... верный муж... Есть над чем посмеяться! Я стараюсь отыскать причину моего злого смеха. Хорошенький малютка... Признаюсь, я никогда об этом не думала: когда я была замужем, у меня не было времени помыслить о ребенке; всецело поглощенная сперва своей любовью, затем ревностью, я была, одним словом, вполне занята Теланди; к тому же сам он не заботился о потомстве, стоящем немало хлопот и денег. Я прожила до тридцати трех лет, не мечтая стать когда-нибудь матерью! Чудовище я, что ли? Ребенок... серые глазки, остренькая мордочка, похожая на лисью, как у меня... крупные руки, широкие плечи Максима... Ах нет! Я пытаюсь его себе представить, полюбить этого малютку, могущего у меня родиться...

— О чем вы думаете, дорогой Большой Скворец?

Он тихо вошел, мое сердце точно чувствовало его приход, и я, не стесняясь, громко высказала свои мысли:

— Что бы вы сказали, если бы у нас родился ребенок? Представьте, таково желание Гамона!

Мой возлюбленный, пораженный моим вопросом, уставился на меня с широко открытыми ртом и глазами и воскликнул:

— Вот так штучка, да здравствует Гамон! О, у него будет прелестный маленький приятель, мы ведь исполним его желание, не правда ли, Рене?

Я пыталась защищаться от его порывистых объятий и невозможного качания на руках, он даже укусил меня слегка, невольно при этом перепугав.

— У нас ребенок!— кричал он.— Я никогда не мог даже предполагать этого! О, как Гамон мудр! Это ведь гениальная идея!

— Вы находите, дорогой мой, вы, суровый эгоист? Разве вам понравится, если я стану неуклюжей, некрасивой и буду испытывать страдания?

Он продолжал смеяться и, не выпуская меня из своих рук, опрокинул на диван.

— Неуклюжей, некрасивой? Вы просто гусыня, мадам! Ты будешь прелестна, малютка тоже, он будет нашей отрадой!

[illegible] и нахмурил свои свивающие такие добрые глаза.

— К тому же это не позволит тебе покинуть меня, убежишь снова на подмостки, не правда ли? Теперь уж ты в плену! Пленница...

Я уступаю и играю с удерживающими меня пальцами, но уступка — это хитрость слабых... Взята в плен... с уничтожающим эгоизмом... Я правильно оценила его, когда шутливо смеялась над ним, это типичный буржуа-одиночка, отец, сидящий у семейного очага...

Предстоит ли мне недурно окончить свою жизнь в кругу семейства? Будут ли любоваться мною эти верные глаза, когда все мои прелести увянут одна за другой? Ах, какая разница, какая разница между ним и тем, другим! Исключая разве только то, что тот тоже обращался ко мне повелительно и держал меня в железном кулаке: «Направо, налево, я держу тебя крепко!»

Мне больно... от разницы между ними и в то же время от их сходства... Я глажу беспечно, наивно его лоб, повторяя: «Мой маленький...»

— Не называйте меня «мой маленький»... дорогая, это делает меня смешным.

— А я хочу, чтобы вы были смешным! Вы — мой маленький, потому что вы моложе... ваших лет, потому что вы мало страдали, мало любили, потому что вы не злы! Итак, мой маленький, я хочу ехать без вас.

— Без меня? Ни за что, Рене!

Как он закричал! Я вздрогнула от горя и удовольствия.

— Без вас, дорогой мой, без вас! Так надо. Выслушайте меня... Выслушайте, Макс! Вы не захотите, вы не сможете меня подождать? Для этого вы еще недостаточно меня любите.

Он сжал мои руки и резко отодвинулся.

— Недостаточно! Недостаточно! О, все эти женские рассуждения! Я недостаточно тебя люблю, если поеду за тобой или останусь здесь! Скажи мне, если я тебе отвечу: «Хорошо, дорогая, я буду тебя ждать», что ты обо мне подумаешь? И ты, уезжая, когда у тебя есть реальная возможность не ехать, как можешь ты уверять, что любишь меня? К тому же...

Он стоял передо мной с нахмуренным лбом.

— К тому же ты мне никогда не говорила...

— О чем?

— Что ты меня любишь!

Я чувствовала, что покраснела, словно меня в чем-то уличили.

— Ты мне этого никогда не говорила,— настаивал он.

— О Макс.

— Ты мне говорила: «Дорогой... Мой Большой Скворец, любимый... Макс, мой дорогой друг». Ты громко заявила в тот день, когда...

— Макс!

— Да, в тот день, когда ты не торопилась назвать меня «моя любовь», ты не сказала мне: «Я тебя люблю».

Это правда. Я безумно надеялась, что он не заметил этого. В тот день и на другой я настолько задыхалась в его объятиях, что слова «люблю тебя» вылетели у меня, как вздох, и сразу же умолкли от его поцелуев... «Люблю тебя»... Я не повторю этих слов никогда! Я не хочу слышать интонации моего голоса того времени, глухого, шептавшего тогда неотразимые слова... но других слов у меня нет...

— Скажи мне, скажи, что ты меня любишь, скажи, умоляю тебя!

Мой возлюбленный опустился передо мной на колени, и его настойчивая просьба не давала мне покоя. Я улыбалась ему, словно бы сочувствуя его просьбе, порой готовая сказать ему что-нибудь резкое, чтобы заставить и его страдать, но он так нежен, так далек от моего горя! Зачем его беспокоить, он этого не заслуживает...

— Бедный друг, не злитесь, не печальтесь! Да, я вас люблю, люблю тебя, о, я люблю тебя! Но я не хочу об этом говорить. Я слишком горда, если хочешь знать.

Прижавшись к моей груди, он закрыл глаза, с нежной доверчивостью слушал мою ложь, наслаждаясь наступившим молчанием, в котором ему все еще чудилось: «Я тебя люблю!»

Странная ноша у меня на руках, так долго оставшихся пустыми!

. . . . . .

Я не могу убаюкивать такого большого ребенка, его голова слишком тяжела... Но как он мирно дремлет, уверенный во мне! Уверенный во мне... Какое-то странное чувство делает его ревнивым к моему настоящему, к моему будущему скиталицы по мюзик-холлам, но он

доверчиво покоится на моем сердце, которым так долго владел тот, другой!

Моему честному, неразумному возлюбленному и не снится, что он делит меня с моим воспоминанием и не может с гордостью сказать себе: «Я тебе доставил ту радость, ту печаль, которых ты никогда еще не знала...»

Да, он здесь, на моей груди! Почему он, а не кто-нибудь другой? Я не знаю. Я склоняюсь над его челом, хочу защитить его от меня самой, умолить простить меня, что я подарила ему только усталое, исстрадавшееся сердце. О, как я желаю предохранить его от того зла, что я могу ему причинить... Марго мне предсказала, что я вернусь в теплый уголок, где найду отдых, не представляющий собой ничего особенного, похожий скорее на семейный очаг...

— Проснитесь, дорогой...

— Я вовсе и не сплю,— пробормотал он, не открывая глаз,— я тебя слушаю.

— Вы будете ждать меня в Париже, пока я буду в турне, или отправитесь в Арденны, к вашей матушке?

Он молча поднялся и провел рукой по своим гладким волосам.

— Говорите же.

Он взял со стола свою шляпу и молча, опустив глаза, направился к выходу.

Одним прыжком я догнала его и схватила за плечи.

— Не уходи! Я все сделаю, как ты хочешь. Вернись! Не оставляй меня одну! О, не оставляй меня одну!

Что же это такое со мной сделалось? Я стала какой-то жалкой тряпкой, смоченной слезами... Я видела, что он от меня уходит, и с ним вместе — жар, свет и любовь, так тесно перемешавшаяся с горячим пеплом прежней любви.

Я повисла у него на шее и, запинаясь, настойчиво повторяла, не слушая его:

— Все меня оставляют! Я совершенно одинока.

Он, так меня любивший, прекрасно знал, что ему не понадобятся ни слова, ни увещевания, чтобы меня успокоить. Ему достаточно было сказать мне пару нежных слов и меня поцеловать... и целовать без конца.

— Не смотри на меня, друг мой: я такой урод, глаза распухли, нос покраснел, мне совестно моей глупости.

— Моя Рене, моя крошка, я был слишком жесток с тобой. Да, да, слишком жесток! Бедная малютка! Вот

теперь я могу тебя называть моя «соленькая». Твое лицо мокро от слез... Ты хочешь, чтобы я подождал тебя в Париже? Я подожду. Хочешь, чтобы я поехал домой, к маме? Хорошо, я поеду.

Расстроенная своей победой, я уже сама не знала, чего хочу.

— Послушайте, дорогой Макс, вот что мы сделаем: я отправлюсь одна, как собака, которую побили. Мы будем писать друг другу ежедневно, не правда ли, мы будем мужественны. Наступит же, наконец, желанное пятнадцатое мая, которое нас соединит.

Он чуть заметно наклонил голову.

— Пятнадцатое мая, Макс,— прибавила я еще тише,— мне кажется, что в этот день я брошусь к вам, как бросилась бы в море, так же очертя голову, так же беззаветно.

Под впечатлением его объятий и взора, которым он мне ответил, голова моя закружилась.

— А если, послушай, если нам обоим будет тяжело... что же, тем хуже, ты приедешь ко мне, или я тебя вызову... Ты доволен? В конце концов, это так глупо, весь этот героизм, а жизнь так коротка... Решено, тот из нас, кто будет чувствовать себя одиноким, приедет или вызовет другого, но, во всяком случае, надо попытаться, потому что... Медовый месяц в вагоне... Ты доволен?.. Чего ты ищешь?

— Мне страшно хочется пить. Позвони Бландине.

— Зачем? Постой, я все тебе приготовлю.

Счастливый, довольный тем, что я за ним ухаживаю, он пил; я наблюдала за ним, словно этим он доставил мне какую-то особую милость. Если он того хочет, я буду завязывать ему галстук и заботиться о его обеде, принесу ему его туфли и позволю ему меня спрашивать тоном хозяина: «Куда ты идешь?» Женщиной я была, и я снова себя чувствую ею, как в страдании, так и в радости.

. . . . . .

Сумерки скрыли мое наскоро припудренное лицо; я терпеливо сносила поцелуи Макса, тяжело дыша от только что разыгравшейся сцены.

Я невольно поцеловала его крупную руку, гладившую меня по лицу, и снова очутилась в его объятиях, точно слабая жертва, даже не заявляющая о своем бессилии, но, тем не менее, мне удалось вырваться из его рук, и я решительно воскликнула:

— Нет!

Но он тут же снова овладел мною и сжал в своих сильных руках...

Ошеломленная, я посмотрела на него без гнева и бросила ему упрек:

— Почему вы так поступили, Макс? Как это нехорошо!

Смущенный моим упреком, он нагнулся ко мне, задевая плечом курительный столик и стул, и еле слышно пробормотал тоном провинившегося ребенка:

— Прости, я больше не буду, дорогая.

Надвигалась ночь, мне было не до его извинений, но я сразу угадала за этим грубым захватом настоящее чувство, уверенные слова: «Ты моя, тебе не нужно больше бежать на подмостки».

— Бедный Макс,— нежно проговорила я.

— Вы надо мной потешаетесь? Я был очень смешон?— жалко спросил мой возлюбленный. Он словно сам спешил навести меня на только что промелькнувшую в моей голове мысль, спешил заставить меня поверить в искренность его намерений. Мне не пришлось долго разуверять его:

— Я не смеюсь над вами, Макс! Я не думаю, чтобы каждый решился, подобно вам, наброситься на женщину таким диким зверем, нисколько не уважая ее достоинства! Только ваша кипучая натура да эти глаза влюбленного волка извиняют вас! У вас вид настоящего подрядчика, который, возвращаясь с работы, бросил в воду встретившуюся ему на дороге девушку!

Я оставила его, чтобы привести себя в порядок, надеть пальто и приколоть на голову высокую шляпу, напоминающую своим цветом, формой и украшениями, по словам Макса, «ожившие полевые цветы»: опрокинутую чашечку мака, колокольчик ландыша, громадный ирис с ниспадающими лепестками...

Мы вышли вместе и тихо покатили в машине по темным аллеям Булонского леса. Эти вечерние прогулки мне очень дороги... Я держу в темноте руку моего друга, будто желая убедиться, что он здесь, со мною, и чтобы он знал, что мы вместе. Я могу закрыть глаза, мечтая, что еду с ним в какую-то неведомую страну, где для меня не будет ни прошлого, ни имени, где я снова воскресну в ином обличье, с пылким любящим сердцем...

XIV

Еще неделя, и я отправляюсь...

Уеду ли я на самом деле? Меня берет сомнение, особенно в те дни, когда, поддавшись очарованию весны, мой возлюбленный увозит меня за город в какой-нибудь парк, изъезженный вдоль и поперек велосипедистами и автомобилями, но, несмотря на это, превращенный чудесницей весной в очаровательное таинственное местечко...

Бурый туман застилает к концу дня все вокруг, и неожиданная находка лесного гиацинта, робко покачивающего белым, как фарфор, колокольчиком на пустынной поляне парка, доставляет мне необычайное удовольствие.

Всю прошлую неделю мы часто гуляли под лучами полуденного солнца в Булонском лесу, по той дорожке, где ездят верхом. Нам были приятны эти прогулки вдвоем, мы были оживленны, но разговаривали мало, только я мурлыкала какую-нибудь песенку...

Заметив одинокую амазонку, мы остановились перед ее лошадью, невольно изумленной нашим появлением и тоже не двигающейся дальше... Породистое животное почувствовало волнение; его тонкие ноги непроизвольно задрожали, но продолговатые глаза, казавшиеся еще длиннее благодаря глянцевитой темной шерсти в их углах (совсем как у меня), выказывали скорее изумление, нежели страх.

Мне очень хотелось погладить эти бархатистые уши, эту мягкую-мягкую морду, но едва я протянула руку, как животное дико повернуло голову и ускакало.

— Вы не убивали на охоте, Макс?— спросила я.

— Убить животное? Почему же не женщину?— ответил он просто.

В тот день мы обедали в Виль-Авре, как большинство гуляющих, в ресторане, на террасе возле озера, и после обеда курили, словно признанные всеми любовники...

Я была рада подметить у Макса ту же любовь к природе, к чистому воздуху леса, к растениям, как и у меня...

Облокотившись на балюстраду, я смотрела на тихую поверхность пруда, окаймленную цветущими орхидеями и орешником, потом мой взгляд помимо моей воли упал на спутника моей жизни... Его лицо выражало

[illegible] сбывшейся надежды, удовольствие дол[illegible] жизни, счастья...

Чему же я на самом деле? Иногда мне кажется это каким-то сновидением. Саквояж с туалетными принадлежностями, дорожный плед, непромокаемый плащ вынесены из шкафов, приведены в порядок, совсем готовы для поездки. Я с отвращением достала из ящика револьвер, желтый вазелин, пахнущий керосином...

Это принадлежности моего ремесла, но в настоящую минуту я не чувствую к ним тяги, как раньше. Зашедшего ко мне Брага я приняла очень рассеянно, хотя и вежливо, что его очень задело, а самое главное, уходя, он необычным для него почтительным тоном проговорил:

— До свидания, дорогой товарищ.

Ба, у меня будет немало времени, чтобы видеть его и потешаться над ним в течение предстоящих сорока дней... Сейчас я жду его для последних согласований; Макс явится немного позднее...

. . . . . .

— Добрый день, дорогой товарищ!

Я этого ожидала, он все еще заморожен!

— Ну, довольно этого тона, Браг. Тебе вовсе не идет это благородство предместий, разве оно годится для серьезных разговоров? Ты мне напоминаешь Драгема в «Короле-Солнце», когда произносишь: «Дорогой товарищ».

Браг вспыльчиво заворчал:

— Тон предместья? Почему? Я ничуть не хуже Кастеляна; ты разве не видала меня во фраке?

— Нет.

— Я тоже не видал... Знаешь, твой будуарчик из светленьких... Не пройти ли нам в твою комнату, там поговорим... откровенно.

— Пойдем.

Брагу сразу же бросилась в глаза фотография Макса, стоящая на камине: Макс в новом пиджаке в полоску, черные, слишком черные волосы, белки глаз чересчур белые, важный, пожалуй, немного смешной, но тем не менее очень красивый.

Браг тщательно рассматривал карточку, свертывая папиросу.

— Это, вероятно, твой друг? Хорош, нечего сказать.

— Да... это мой друг

Он вежливо хихикнул, немного по-идиотски.

— В нем есть шик! Можно подумать, что он правительственное лицо! Почему ты смеешься?

— Ничего. Твоя мысль, что он правительственное лицо... Совсем на него не похоже...

Браг закурил папиросу и, скосив глаза, наблюдал за мною.

— Ты берешь его с собой?

Я пожала плечами.

— Подумай, разве это возможно! Ты этого хочешь?

— Вовсе нет, разумеется, нет! — вскричал Браг уверенно.— Все это отлично, моя милая, но мне приходилось наблюдать немало турне, совершенно не удавшихся потому, что мадам не желает оставлять супруга в одиночестве или же месье желает самолично наблюдать за нею! Вечные ссоры, ругань, разлад, неприятности, в которые опасно сунуться постороннему. Одним словом, неразбериха, даром потерянное время! Назови мне хоть одно хорошее турне, когда в него затешется чужой! Ты меня отлично знаешь, я не разбрасываюсь: любовь и ремесло вместе ужиться не могут! К тому же шесть недель — не вечность: можете переписываться, после разлуки встреча будет еще приятнее. У твоего друга контора?

— Контора? У него нет конторы.

— У него фабрика автомобилей? Ведь чем-нибудь он занимается?

— Он ничего не делает.

Браг тихо свистнул, выражая этим свое изумление и насмешку.

— Так-таки ничего?

— Ничего!

— Поразительно!

— Что же тебя поражает?

— Как можно жить, ничего не делая, не занимаясь ни конторой, ни фабрикой, ни репетициями! Даже скаковой конюшни у него нет! Разве тебе это не смешно?

Я искоса посмотрела на него и немного смущенно ответила:

— Да!

Я не могла ответить иначе; безделье моего возлюбленного, это вечное шатание без дела, точно как гимназист во время каникул, являются для меня больным местом.

— Я так прямо околел бы,— заметил Браг после молчания.— Впрочем, это привычка.

— Разумеется.

Теперь поговорим о деле — произнес он усажи-
вая меня на стул. — Ты приготовил все, что надо?

Несомненно. Новый костюм Арлекина. Честно за
и только: зеленый, как крылышки молодого кузнечика,
он едва ли весит больше пятисот граммов. Другой кос-
тюм починен, вычищен, перешит; ты подумаешь, что он
совсем новый, и выдержит он, по крайней мере, шесть-
десят представлений.

Браг скосил рот.

— Хм, хм... ты так думаешь? Могла бы сделать
вый костюм и для «Пленницы»

— Совершенно верно, а ты бы заплатил за него не
так ли? А твои шаровары в «Пленнице» из выцветшей
оленьей кожи, на них ведь куча грязи, впитанной на по-
мостках, а разве я тебя за это упрекаю?

Мой товарищ успокоительно поднял руку:

— Извини, не будем об этом спорить. Мои шаровары
превосходны, они теперь имеют натуральный, чисто арти-
стический вид, заменить их другими нельзя. А ты —
мотовка...

Ну, кажется, время остановиться. Наш разговор пе-
реходит во взаимную пикировку, будто мы репетируем
оживленную сцену.

— Довольно! — кричит Браг.— Вопрос о костюмах
исчерпан; перейдем к вопросу о багаже.

— Разве это тебя касается, разве мы в первый раз
едем вместе? Уж не хочешь ли ты учить меня склады-
вать мои рубашки?

Браг бросает на меня из-под прищуренных ресниц
уничтожающий взгляд.

— Бедное создание, калека с испорченными мозгами!
Шумишь, шумишь, как майский жук! Ну можно ли
тебя выучить? Разумеется! Слушай и пытайся понять:
лишний багаж за наш счет...

— Псть!

Я знаком останавливаю его, заслышав в передней
осторожный звонок. Это он! А Браг еще здесь! При-
дется их познакомить.

— Входите, Макс, входите. Это — Браг. Мы беседуем
о турне, вам это, наверное, не интересно?

Нет, оно его интересует, но меня это немного сму-
няет. Мои дела, связанные с мюзик-холлом, ничтожно
аккуратны, мещански мелочны, и мне не хочется посвя-
щать в них моего друга, моего ленивого дорогого воз-
любленного...

Браг, чрезвычайно любезный, когда захочет, улыбается Максу.

— Вы позволите, месье? Это кухня нашего ремесла, где мы приготовляем блюда для публики. Я считаю себя очень экономным поваром, не желающим ничего потерять и плясать под чужую дудку.

— Напротив, я вас очень прошу! — воскликнул Макс.— Для меня, совершенного невежды в этом деле, все будет очень занимательно, я кое-чему научусь...

Врун! Для человека, которого это интересует, его тон слишком насмешлив, хотя и печален.

— Я продолжаю,— проговорил Браг.— В последнем, сентябрьском турне излишек багажа, если ты помнишь, съедал у нас ежедневно от десяти до одиннадцати франков, как будто мы были миллиардером Карнеги.

— Но ведь не все же время, Браг.

— Разумеется, были дни в три или в четыре франка. Но и это слишком много. Мне это дорого. Что у тебя, кроме ручного багажа?

— Мой черный чемодан.

— Это большой-то? Потрясающе! Я не согласен.

Макс застенчиво кашляет.

— Вот что ты сделаешь: ты обойдешься моим чемоданом. В одном отделении — костюмы для сцены, в другом — наше белье: твои рубашки, панталоны, чулки, мои тоже и тому подобное.

Макс настораживается.

— А в самом низу — обувь, необходимая сменная одежда для тебя и меня, дорожные вещи и прочее. Ты поняла?

— Да, это недурно.

— Однако...— заметил Макс.

— Таким образом,— продолжает Браг,— у нас будет один большой чемодан. (Мать Троглодита — перовщица, она дает ему корзинку!) Значит, у нас будет только одна вещь в багаже: это сократит нам расходы на чай носильщикам на станциях, в театре, и если мы не сохраним каждый ежедневно добрый десяток франков, я позволю отрезать себе голову! Как часто ты меняешь белье во время турне?

Я покраснела. Мне было совестно перед Максом.

— Через два дня.

— Хорошо! Судя по скорости работы прачек больших городов — Лиона, Тулузы, Марселя, Бордо, я считаю десять рубашек и по десяти остальных принадлеж-

вполне достаточно, не правда ли, дитя, ты вполне
на со мной?

Будь спокоен

Брат поднимается, пожимая руку Макс

Вот видите, месье, как быстро мы обо всем договорились! Ты явишься на вокзал ровно в семь с четвертью во вторник утром.

Я проводила его до передней и, когда вернулась обратно, была встречена целой бурей возражений, упреков и жалоб.

— Рене, это нечто невообразимое, чудовищное, вы совсем потеряли голову: ваши рубашки, ваше белье вместе с кальсонами этого типа! Ради чего? Для того, чтобы сэкономить пятнадцать франков в день. Какая насмешка, какая нищета!

— Почему нищета? Ведь это двести франков в месяц.

— А, отлично понимаю, это жалкое мещанство.

Я удержалась от резкого ответа, который мог его обидеть: откуда ему знать, этому испорченному ребенку, что деньги, деньги, заработанные трудом,— нечто чрезвычайно уважаемое, почтенное, о чем можно говорить только серьезно?

Он вытер лоб дорогим шелковым платком сиреневого цвета. С некоторых пор мой друг прилагает все усилия, чтобы быть элегантным; у него великолепные рубашки, платки в тон галстукам, изящная, дорогая обувь. Я постоянно замечаю каждую мелочь у моего дорогого Большого Скворца.

— Почему ты на это согласилась,— заметил он мне с упреком.— Ведь это же глупо и гадко!

«Мелочно» — я ожидала этого слова, он часто его употребляет...— «закулисный сброд».

— Скажи мне, дорогой,— проговорила я, закручивая пальцами его шелковистые усы.— Если бы речь шла о ваших рубашках, о ваших кальсонах, то это не было бы гадко? Не забудьте, что я всего лишь ничтожная актрисочка мюзик-холла, которая живет своим ремеслом

Он не замедлил обхватить меня руками и крепко сжать:

— К черту твое ремесло! Ах, когда же ты будешь совсем моею! Я наполню для тебя самые роскошные вагоны цветами, платьями, одним словом, всем, что только смогу придумать!

Его красивый резкий голос облагородил это пошлое обещание.

Я чувствовала в тоне его слов страстное желание положить к моим ногам всю Вселенную.

Платья? Правда, ему казались слишком бесцветными и скромными мои костюмы: серый, коричневый, темно-синий, особенно после тех костюмов, которые я носила на сцене: блестящие, освещенные рампой, искусное сочетание легкого газа, блесток, воздушных юбок и шелкового трико...

Почему же вагоны-люкс? Зачем они? Ведь в них едешь такое же расстояние, как и в других... Фоссета просунула между нами свою мордочку старого бонзы, блестящую, как палисандровое дерево. Моя маленькая компаньонка чуяла, что мы уезжаем, она заметила открытые чемоданы в углу, непромокаемое пальто, ящик с гримировкой, она знала, что я не буду водить ее гулять и что ей придется в недалеком будущем довольствоваться обществом Бландины, проводить вечера в конуре привратницы и не обедать больше в Булонском лесу... «Я знаю, что ты вернешься,— говорили ее глаза.— но когда?»

— Макс, она вас любит. Обратите на нее внимание.

Итак, отлично! Мы оба склоняемся над этим беспокойным зверьком и плачем... Я стараюсь удержаться от слез, но у меня щекочет в горле и в носу... Как прекрасны глаза моего возлюбленного! Они стали еще больше от двух крупных слезинок, сверкающих, словно алмазы, на его темных ресницах! Неужели я должна его покинуть!

— Я сейчас же отправлюсь за небольшой дорожной сумкой... я ее заказал для тебя... очень прочная... для путешествия...

— Неужели, Макс?

— Из шкуры акулы.

— Макс, прошу тебя, побольше мужества.

Он возмущенно на меня посмотрел.

— Для чего? Напротив, я полностью отдаюсь своим чувствам.

— Мы очень смешны, и ты, и я, очень расстроены предстоящей разлукой, но пытаемся это скрыть.

Фоссета послужила громоотводом. Макс долго, старательно вытирал глаза, с той простотой, которую он вносит во все и которая помогает ему не сделаться смешным.

— Вероятно, это так, моя Рене... И если вы желаете, чтобы я разлился настоящим фонтаном, вам стоит только

окружающих нас предметах, которых
[illegible] возвращения. Этот старый диван,
[illegible], на которой ты читаешь, твои фотографии,
[illegible] луч, протягивающийся на ковре от полу-
ния до двух часов...

Он печально улыбнулся.

— Не говори мне ни о камине, ни о щипцах, иначе я расстроюсь еще больше!

. . . . . .

Он отправился за новой дорожной сумкой из шкуры акулы.

— Когда мы будем жить с тобой вместе, ты мне подаришь всю эту мебель,— важно сказал он, уходя,— я для тебя закажу другую обстановку.

Я улыбнулась, чтобы не ответить отказом. Это старье у Макса? Эти остатки супружеской обстановки, брошенной Теланди, или купленные мною на жалкое авторское вознаграждение, которую я при всем моем желании не могла заменить ничем другим из-за отсутствия денег!

Какие веселые куплеты могла я распевать в этих креслах, грубой подделке под голландские, на этом древнем диване, видевшем различные «игры», участницей которых я не была... Презираемая мною мебель, просыпаясь на которой я чувствовала безумный страх, что завоеванная мною с таким трудом свобода окажется только лишь сновидением...

Странный свадебный подарок новому любовнику! Одна тень, но не сам уют... Все, что осталось позади меня,— вагоны первого и второго класса, гостиницы всех разрядов, грязные уборные мюзик-холлов Парижа и провинции,— казалось мне уютнее, чем моя квартира, которую мой возлюбленный прозвал хорошеньким, уютным уголком! Разве мало того, что я убежала из этого первого этажа, скрываясь от самой себя! Теперь, отправляясь в дорогу любимой, любящей, я страстно желаю быть обожаемой еще сильнее, любить его еще больше, перемениться и стать в собственных глазах еще достойнее этой любви!

Правда, это еще слишком рано, еще не пришло время... но все-таки я уезжаю взволнованной, мечущейся между сожалением и надеждой, торопящейся поскорее вернуться, искушаемой моим новым жребием, словно молодая змейка, освободившаяся от своей старой мертвой кожи.

Часть третья

I

«Прощай, мой обожаемый друг! Сундук мой закрыт, красный саквояж из шкуры акулы, костюм для путешествий, длинная, темная вуаль, украшающая мою шляпу, ожидают, когда я завтра утром встану с постели; они важно, с печальным видом лежат на нашем большом диване. Я уже еду, вспоминая о вас, о своей собственной слабости, и чувствую чрезвычайную радость и удовольствие написать вам мое первое любовное письмо. Вы получите мое письмо завтра утром, в тот час, когда я покину Париж. Это только слова прощания, жаркое желание скорее увидеться, написанное перед тем, как пойти спать, с целью напомнить вам, что я вас люблю, что я дорожу вами! Не забывайте, что вы обещали «все время» мне писать и утешать Фоссету. Я обещаю возвратить вам Рене, уставшую от турне, похудевшую от одиночества и совершенно свободную от всех, кроме вас.

Ваша Рене».

...Быстро промелькнувшая тень моста пробежала по моим закрытым векам, я невольно подняла их и посмотрела в левое окно, в котором промелькнул фруктовый сад, полный яблонь в цвету, приткнувшийся к высокой стене укреплений.

В вагоне я одна. Браг, чрезвычайно экономный, едет с Троглодитом во втором классе. Дождливый день, тусклый, как вечерняя заря, проснулся над полями, и без того затянутыми дымом фабричных труб.

Восемь часов утра — это первое утро моего путешествия; после понятного волнения при отъезде я, плохо выспавшись, сразу же задремала, убаюкиваемая ровным покачиванием вагона. Увы...

Я была одета по-дорожному, на ногах у меня лежал плед из верблюжьей шерсти, я надула две резиновые подушки, одну для спины, другую для головы, и плотно обвязала вуалью волосы. Все это я делала машинально, внимательно, но внутреннее недовольство заставляло мои руки дрожать. Мне было досадно на самое себя...

каждым оборотом колеса я удаляюсь от Парижа [illegible] и дальше. Мне невольно приходит на ум [illegible] несмотря на весну, еще голые ветви дуба, земля слегка обледенелая, да и вообще чувствуется студеное дыхание осени. А ведь я могла бы совершенно спокойно спать в это время в моей теплой постели. Мне начинает казаться, что моя досада пробуждает во мне сожаление обо всех удобствах, о роскоши, об эгоистических желаниях, безрассудно оставленных мною там, в Париже...

Мне были крайне противны и вся эта знакомая местность, и все эти бесцветные дачки с зевающими буржуа, поздно встающими, чтобы сократить ничем не занятое время.

Я должна была бы остаться вместе с Брагом в переполненном вагоне второго класса, где запах пота, дешевых сигар невольно гармонирует с приятельской болтовней.

Ритмическое постукивание колес, надоедливо отдающееся у меня в ушах, бессознательно аккомпанирует мотиву из «Дриады», который я мурлыкаю.

Долго ли продлится это гнетущее состояние, совершенно уничтожающее мою волю и мысль?

Мне холодно после столь раннего вставания, я пытаюсь уснуть, но это скорее какое-то полузабытье. Несуразные детские арифметические задачки лезут мне в голову: «Если там, в Париже, осталась половина моего «я», то значит ли, что я потеряла 50 процентов моего личного значения?..»

II

Дижон, 8 апреля.

«Да, да, я совершенно здорова, получила ваше письмо, имела успех... Ах, дорогой мой, узнайте всю правду! Мне было грустно вас покидать, я была охвачена каким-то диким отчаянием. Почему я уехала и вас покинула? Сорок дней! Мне кажется, что я не выдержу этого долгого срока, а я только еще гастролирую в третьем городе.

В третьем городке
Милый разрядил
В золото ее...

Увы, мой возлюбленный! Мне не нужно ни золота, ни серебра, я желаю только вас! Достаточно мне было проехать две станции, как я уже почувствовала себя

отвратительное одиночество; теперь же, находясь в отдельных стенах цвета шоколада с молоком, в этих столовых, отделанных под дуб, при тускло мерцающих газовых горелках, я полна отчаяния!

Вам, избалованному ребенку феи, «готовой к услугам», неведом хаотический беспорядок турне. Когда мы с вами встретимся, я все вам расскажу, чтобы объяснить эти хлопоты, заботы, свалившиеся на меня, и тем заставить вас еще больше меня ценить. Все эти возвращения в гостиницу после полуночи, усталые от тяжелого гримировального ящика руки, терпеливые ожидания посреди сырого тумана, у запертой двери гостиницы заспанного портье, лениво поднимающегося с постели, плохо проветренные комнаты с влажным постельным бельем, отсутствие в кувшине теплой воды...

Не правда ли, вы разделите со мной все эти неприятные воспоминания?

Нет, друг мой, прежде необходимо познакомиться с моим времяпрепровождением, а уж потом кричать: «Да приезжай же скорее обратно».

В Дижоне прекрасно, но я все-таки боязливо приветствую солнце, как редкий подарок, который могут отнять у меня каждую минуту.

Вы мне обещали заботиться о Фоссете, она принадлежит ныне вам. Обратите внимание, она не простит вам во время моего отсутствия излишней услужливости. Своим тактом бультерьера она понимает пределы и обижается, когда я не разделяю ее печали...

Прощайте, обнимаю вас и обожаю! Какие сумерки, если бы вы только знали! Голубое безоблачное небо, как в январе, когда так сильно морозит. Пишите мне, любите меня, согрейте вашу озябшую

Рене»

10 апреля.

«Мое последнее письмо навело на вас тоску; я очень недовольна и собою, и вами. Ваш красивый почерк, крупный, четкий, местами тонкий, элегантный, кудрявый, как растение, называемое у нас «цветущей ивой»,— им заполнены все восемь страниц, нестрящих: «я тебя обожаю», любовными клятвами, горячими сожалениями, но тем не менее чтение письма отняло у меня всего двадцать секунд! Надеюсь, что при случае вы напишете мне более подробное письмо о себе; в этом вы говорите исключительно обо мне! Мой дорогой, мне предстоит прокатиться без остановки по родному краю,

...ли мое д...тво. Сердце мое невольно охваты-
...нежное чувство... Как-нибудь потом мы
приедем сюда вместе с тобою, ты обещаешь мне это
сделать? Ах, какую глупость я написала! Мы вовсе сю-
да не вернемся! Ваши арденнские леса затмят в ваших
воспоминаниях мои дубовые рощи, терновник, ивы... И
вы не оцените их так, как я, не оцените ни распростер-
тых над водою ветвей, ни глубоких ручейков, ни обви-
тых голубой тенью холмов, увенчанных красивыми по-
левыми цветочками, ни этой радуги, в которой маги-
чески отражается весь родной мне край!

Здесь ничего не переменилось! Несколько крыш за-
ново покрашены красной краской. Переменилась только
я одна! Ах, мой дорогой друг, как я постарела! Неуже-
ли вы можете любить такую старуху? Я невольно
краснею за себя... Почему вам неведом тот детский ле-
пет, оглашавший эти величественные рощи, нарушавший
насмешливое молчание лесных дриад? Все это, чем я
была так щедро одарена, я отдала другому, другому,
но не вам!

Простите мне это невольное признание, Макс, оно
мучило меня с той поры, как я вас полюбила! И что
только вы теперь во мне любите, теперь, когда уже
слишком поздно, любите то, что во мне изменилось,
что вас обманывает· мои густые, как листья на деревь-
ях, волосы, мои голубые глаза с увеличенными атро-
пином зрачками или поддельная свежесть моего напуд-
ренного лица? Что бы вы сказали, если бы я могла вос-
становить и показать вам для сравнения все те прелес-
ти, которыми я обладала раньше: мои тяжелые косы,
мои густые ресницы, опущенные на глаза, невинно гля-
дящие на все, — глаза моей матери, невинные, но в то
же время таящие где-то у себя в глубине бойкий,
задорный огонек — наследие моего отца!..

Не бойтесь, мой дорогой, я вернусь к вам почти та-
кой же, какой с вами рассталась, может быть, не-
много утомленной... немного более нежной...

Я восхищаюсь моим родным краем, но каким-то
мимолетным, обозляющим меня восхищением, всякий
раз, когда я его вижу, я не в силах остаться в нем...
Может быть, меня охватывает это чувство потому, что
я потеряла его навсегда.

Прощайте, дорогой Макс, завтра нам надо очень ра-
но отправиться в Лион, иначе мы не успеем прорепе-
тировать с оркестром, что для меня крайне необходи-
мо. Никогда не знающий усталости Брага хлопочет о

...ка я с...
...ницей! ...
...мое тело. ...
...Помните, как мо...
...ась от холо...
...ле! Мне не хоте...
...у плеча, как солн...

Наше турне продо...
играю и танцую без п...
я только один раз исп...
вшю у прислужницы в
письмо. Я с жадность...
к грязному косяку две...
кольной атмосфере, пр...
гроба и аммиака... Зате...
ять больше нечего, и
ем штемпеле дату отп...
конверт, словно ожида...
цветок или изображени...

На города, где мы
го внимания, я все их
зания познакомиться с

Я предоставляю это
со всеми местными усло...
Бетанкоп он завоевал с
— Ты заметила, мал...
ку на том же углу набер...
ту же узнают, когда мы
ажусты в белом вине!
Он глубоко вздыхает
какой-то радостью на...
ы все лавочки, бегает по...
ывая как в прошлый ра...
ния, иногда мы встреча...
вольную привычку ходи...
ьшое впечатление сни...
ьном, олетом и
ьших брюках.
...читается,
...об этом

[illegible] открытка...

Ах, как я [illegible] в своем [illegible] легком холодном пеньюаре! Холод — мой враг, он замораживает не только мое тело, но и мою мысль!

Помните, как мои руки сжимали увядшие листья, сжимались от холода и их согревало ваше горячее пожатие! Мне не хватает тебя, дорогого мне врага, совсем такого, как солнце.

Твоя Рене».

III

Наше турне продолжается; я ем, сплю, двигаюсь, играю и танцую без подъема, без усилий. За весь день я только один раз испытываю волнение: когда спрашиваю у прислужницы в моей уборной, есть ли для меня письмо. Я с жадностью читаю письма, прислонившись к грязному косяку двери входа для артистов, в невозможной атмосфере, пронизанной запахом сырого погреба и аммиака... Затем следует недовольство, что читать больше нечего, и я начинаю разбирать на почтовом штемпеле дату отправления письма, верчу в руках конверт, словно ожидая, что оттуда выпадет увядший цветок или изображение дорогого для меня лица...

На города, где мы играем, я не обращаю никакого внимания, я все их хорошо знаю и не чувствую желания познакомиться с ними еще ближе.

Я предоставляю это Брагу, быстро осваивающемуся со всеми местными условиями. Реймс, Нанси, Бельфор, Безансон он завоевал с добродушной хитростью...

— Ты заметила, маленький ресторанчик по-прежнему на том же углу набережной? Я уверен, что меня сразу же узнают, когда мы будем там сегодня вечером есть лангусты в белом вине!

Он глубоко вздыхает, устремляется в узкие улицы с какой-то радостью настоящего бродяги, заглядывает во все лавочки, бегает по церквам. Я сопровождаю его, тогда как в прошлый раз сама его водила, тащусь за ним; иногда мы встречаемся со Старым Троглодитом, имеющим привычку ходить в одиночку, он производит жалкое впечатление своим изнуренным видом, несчастной фигурой, одетой в вытертый пиджак и в слишком короткие брюки.

Где он питается, где спит? Я не знаю, а Браг, которого я об этом спросила, коротко мне ответил:

— А где хочет, я ему не нянька!..

В Нанси я заметила Троглодита в его уборной; он стоя усердно откусывал большие куски от фунтового хлеба, осторожно держа двумя пальцами другой руки ломтик дешевого студня. Жалкая пища бедняка, жадно работающего челюстями! У меня сжалось сердце, я отыскала Брага.

— Слушай, Браг, хватает ли Троглодиту денег, чтобы существовать во время нашего турне?

— Он просто экономит,— спокойно ответил, по обыкновению, мой товарищ.— Все прикапливают деньгу за турне! Разумеется, это все не должно относиться к Вандербильду или... к Рене Нере, позволяющей себе занимать комнату в гостинице за пятнадцать франков в день и кушать утренний кофе из севрского прибора! Троглодит еще должен мне за костюм, который я ему оплатил, и он выплачивает мне долг по частям из ежедневного заработка, через три недели долг будет погашен, и он может, если хочет, есть устрицы и мыть себе ноги в шампанском, когда надумает это сделать.

Что я могла ему ответить после такого выговора? Пришлось и мне экономить, скорее по привычке, а главное — чтобы избежать презрительных взглядов товарищей и их зависти.

Трудно узнать подругу Макса в этой посетительнице маленького лоренского ресторана, скромно обедающей у загаженного мухами, покрытого пылью стенного зеркала, безобразно отражающего ее фигуру; узнать ее в этой путешественнице с синевою под глазами, с большим шарфом, свисающим с дорожного жакета, в поношенном дорожном костюме, в утративших изящество вещах: начиная со шляпы и кончая ботинками; в путешественнице, сидящей с усталым и равнодушным видом женщины, не знающей, что ей предприняты! Неужели это возлюбленная Макса — полуприкрытая розовым кимоно, в одной юбке и в корсете усталая кокетка, роющаяся в громадном чемодане Брага, чтобы отыскать свою рубашку и остальную смену белья?

Ежедневно я ожидаю письма от моего друга, оно служит мне утешением и ободряет меня. Он пишет просто, но не легко, у него красивый, но неровный почерк, кроме того, он стесняется своей нежности, его печаль выражается чрезвычайно наивно: «Что ты мне отвечала, когда я тебе сотню раз повторял, что я тебя люблю, что я не хочу, чтобы ты меня покинула? Моя

дорогая женушка, мой маленький «синий чулочек», похоже, вы надо мною потешаетесь, но мне это все равно... Мой брат едет в Арденны, и я его сопровождаю, пиши мне в Саль-Неф, к маме. Я хочу взять у нее денег, денег для нас, для нашего хозяйства, милая малютка!»

Он подробно описывает все свои дела поступки, без особых комментариев и хвастовства посвящает в самые интимные стороны своей жизни, называет своей женой... Его теплая заботливость передается сюда, ко мне, значительно охлажденная бумагой, написанная этим нервным почерком... Как много и в то же время как мало можно выразить письмом! Мне кажется, необходимо для большей выразительности не писать их, а рисовать...

IV

11 апреля

«Ну, теперь вам крышка! Вам пришла мысль просить Бландину погадать вам на картах, теперь вы потерянный человек. Она имеет обыкновение предсказывать всевозможные несчастья, самые оригинальные катастрофы; ее гадание мне отлично известно! Когда я отправляюсь в турне, она видит во сне кошек и змей, бурлящие волны, выглаженное белье и постель — это печальные предзнаменования для Рене Нере (дама треф), при этом еще непременно примешиваются фальшивый молодой человек, военный и крестьянин! Не слушайте ее, Макс, считайте дни, как это делаю я, и улыбайтесь — о, улыбаясь, вы смешно раздуваете ноздри — первая неделя уже прошла.

Через месяц и четыре дня, гадаю я себе,— и вышло, что мне предстоит «дорога», чтобы соединиться с «сердечным человеком», что вас «ожидает большая радость» и что «фальшивый молодой человек» останется при пиковом интересе, точно так же, как «зловредная дама», изображаемая дамой пик.

Мы живем в Лионе уже пять дней. Это отдых, по вашему мнению? Да, если принять во внимание то обстоятельство, что я могу четыре утра подряд не торопиться на поезд, боясь на него опоздать, а затем, утомленная донельзя, едва добираться вечером до подушек и тем не менее страдать от бессонницы, терпеливо слушая, как поднимается в гостинице прислуга, как звонят трамваи на улице, а в коридоре трещат электрические звонки,—

...а это действительно отдых! И все-таки ...м, дорогой мой, что такой отдых хуже раннего ... Мне начинает казаться, что я прикована к моей ...ти, все вокруг меня бешено кружится, и я ничего не могу сообразить...

О дорогой друг, мы могли бы прекрасно провести здесь вместе эти пять дней. Не прими этого за призыв: я вовсе не желаю, чтобы ты приехал сюда! Не думай, что от скуки я умру; тебе почему-то постоянно кажется, что я на краю гроба! Мой добрый муженек, я всего лишь заснула, как медведь на зиму; я замерла.

Дождя нет, тепло, немного сыро и серо — для Лиона это прекрасная погода. Не правда ли, глупо, что во всех своих письмах я сообщаю тебе мои метеорологические наблюдения, но зачастую участь нашего турне и хороший настрой нашего духа всецело зависят от того, какого цвета небо!

«Мокрая погода — сухой карман»,— говорит Браг.

За эти четыре года, друг мой, я провела в Лионе семь-восемь недель, и мой первый визит был к сернам в парке «Сен-Жан», к их маленьким детенышам с кроткими и нежными глазами. Их здесь так много, и они так похожи друг на друга, что у меня нет выбора; они бегают за мной вдоль изгороди, тихонько постукивая изогнутыми ножками о землю, и, звонко блея, выпрашивают у меня кусочки хлеба.

Аромат свежей травы и проснувшейся земли так силен в этом саду, особенно под вечер, когда воздух недвижим, что мне трудно было бы убежать отсюда к вам, если бы я решилась на это.

Прощайте, дорогой. Я отыскала здесь, в Лионе, таких же скитальцев, как я. Сообщаю вам их имена: Кавельон, комический певец, и Амалия Баралли, «наперсница» из комедии; она почти моя приятельница, потому что мы играли с ней в одной трехактной пьесе в поездке по всей Франции два года тому назад.

Это бывшая красавица, видная брюнетка, законченная актриса захолустных театров, превосходно знающая по названиям гостиницы всего света. Она пела в оперетке в Сайгоне, играла в трагедии в Каире и проводила чудные ночи с одним из хедивов.

Мне в ней нравится, кроме веселости, с какой она относится к жизненным неурядицам, покровительственный юмор, заботливость, изящество в движениях и жестах, присущие женщинам, предпочитающим общество

[illegible] это оставляет особый запах, не замечаемый и не [illegible] самим мужчинами.

Боже мой, как много я вам написала! Все мое свободное время уходит на письма к вам, мне кажется, что таким способом я с вами разговариваю! Обнимите меня, сейчас почти уже ночь, скверный час! Крепче, крепче прижмите меня к вашей груди.

Ваша Рене».

15 апреля

«Дорогой, как вы любезны, какая чудная мысль! Благодарю вас от всего сердца за этот моментальный дурно [illegible] снимок, желтый от гипосульфита, но, все же живые! Право, я не могу сердиться на вас, что вы взяли Фоссету с собой в Сан-Ноф без моего разрешения. У нее такой довольный вид на ваших руках. Ее мордочка обращена к фотографу, она очень похожа на старого разрядного борца, претендующего на золотой пояс.

Что вполне ясно, я это заметила не без чувства зависти, что в момент съемки она совсем обо мне не думает. Но о чем мечтают ваши глаза, которые, как я вижу с отеческой заботой опущены на Фоссету? Меня трогает что вы так нежно обняли эту маленькую собачку... Я невольно сравниваю эту фотографию с двумя другими, хранящимися в моем старом портфеле, где вы выглядите таким загадочным и злым.

Пришлете вы еще и другие снимки? Я получила четыре, рассматриваю их через лупу, пытаясь отыскать под ретушью ваши настоящие черты, вашу тайну... Тайну? Честное слово, скорее перемену в вас, но при всем моем старании я вижу, что вы, как и я, совсем не изменились.

Я просто болтаю, не думая о словах... В моей придирчивости к вам есть злое желание укротить, смягчить в вас моего старинного врага... Я всегда называю так человека, достойного обладать мною... Неужели так много анемонов и фиалок в ваших лесах? Я видела фиалку неподалеку от Нанси, проезжая эту холмистую западную провинцию, покрытую соснами, всю изрезанную бойкими, шумливыми речками с темно-зеленой водой. Не вы ли были тем громадным парнем, стоявшим с голыми ногами в ледяной воде и ловившим щук?

Прощай. Завтра мы едем в Сент-Этьен. Гамон мне почти ничего не пишет, скажите ему, что я обижаюсь

I

Мы пришли обедать к Берту в артистический ресторан. Со мной были Баралли, Кавельон, Браг и Треплодэ, этого беднягу пригласила я. У него все мысли направлены на еду. Оживленный обед артистической богемы, не лишенный поддельного веселья и даже скупой Кавельон расщедрился на бутылку красного вина.

— Следовало бы расколоть тебя на большее,— насмехался над ним Браг.

— Ну ты тоже скажешь! — оборвал его артист.

Кавельон еще не стар, но уже известен в кафе-концертах: он исполняет разнообразную программу. Про него говорят, что сам Драгем его боится, что он добивается всего, чего захочет. Мы с ним уже два-три раза встречались на артистическом пути, одно время он изображал человека-змею, жонглировал тяжестями... Его лицо можно даже назвать красивым, белокурые волосы, обрамляющие его, острижены бахромой, но его беспокойный, мрачный взгляд ясно обнаруживает обостренную неврастению, почти помешательство. Его любимое словечко — «я околеваю». Целый день он ждет своего номера, во время которого он забывается, молодеет, забавляет себя и чарует публику. Он не пьет, не развратничает, копит деньги и околевает от тоски.

Баралли, целый сезон «стрелявшая» у Селестенов, упивается собственным разговором, смехом, показывает свои прелестные зубы и рассказывает невероятные случаи из своей молодости; ее воспоминания о колониальных театрах двадцать лет тому назад, когда она еще пела в оперетке в Сайгоне, в зале, освещенном восьмьюстами керосиновыми лампами, заставляют нас неудержимо смеяться...

Без гроша в кармане, уже почти старуха, она являет собой яркий тип вышедшей из моды актрисы, непристойной, но чрезвычайно симпатичной...

Хорошо проведенный вместе обед согрел воспоминаниями собравшихся вокруг маленького столика людей одной профессии, а потом — прощайте, без сожаления, с уверенностью, что завтра в этот же час никто о нем больше и не вспомнит.

Наконец — отъезд, пять дней в Лионе подошли к концу.

Капельон проводил нас в курзал. Для него, гримирующегося за десять минут, еще рано, но он присоединился к нам, томимый одиночеством, стал мрачным и молчаливым. Восхищенный Троглодит, немного навеселе, поет, обращаясь к звездам; я мечтаю, прислушиваясь к завыванию ветра, пролетающего над набережной Роны.

Откуда у меня сегодня это спокойствие, укачивающее меня, словно на волнах? Я готова перенестись на другой край света, щеки у меня холодеют, уши озябли, нос мокрый, вся я как-то замерла; только у входа в курзал я начала отходить, теплый воздух вестибюля, проникая в мои легкие, понемногу согревал меня...

Капельон, опередивший нас на лестнице, уже сидел перед гримировальным зеркалом, опустив голову на руки.

По словам Брага, комик проводит в таком молчаливом, мрачном настроении все вечера и, похоже, уже наполовину сошел с ума. Мне хочется выкинуть из своих мыслей этого сидящего мужчину, который так жалко и горестно закрывает руками свою голову. Мне страшно походить на него, совершенно обезумевшего от одиночества.

VI

18 апреля

«Вы боитесь, что я вас забуду? Вот оно что! Дорогой Макс, бросьте эти глупости! Я думаю о вас, слежу за вами издалека с таким вниманием, что вы невольно должны это чувствовать сами, слишком уж настойчиво я останавливаюсь на этой мысли. Не правда ли?

В настоящую минуту, когда ваша любовь ко мне не вызывает сомнений, я представляю себе все наши движения, наши взгляды, слова, всю гармонию нашей любви... «Вы меня забыли! Вы слишком далеки от меня»,— я точно слышу эти слова и вижу, как вы прикладываете палец к углу рта для большей убедительности!

Я удаляюсь от вас, мой друг, это верно. Мы приехали в Авиньон, и я, проспав два часа, подумала, что спала два месяца. Весна захватила меня, весна такая, какой ее изображают в волшебных сказках: фантастическая, властная весна юга, зеленая, свежая, одевшая деревья плотной листвой, высоко поднявшая стебли трав, расцветившая поля и перелески фиалками, глициниями, ромашками, маргаритками и... розами.

...ами, мой друг! Я купила их на ... Они совсем связанные, еще желтоватые ..., их нежные лепестки прозрачны на солнце, ...шко девушки, на котором видно, как перели... я молодая кровь, а пестики у них точно коралловые. Они стоят у меня на столе и благоухают абрикосами, ...ью, а также дорогой, долго выдержанной сигарой, ...ом как ваши руки, Макс, сухие и темноватые.

Друг мой, меня повергает в слабость и оживляет наступившее время года, это торжественное, неподвижное небо, эта солнечная позолота камней... Нет, нет, не жалейте меня оттого, что мне приходится отправляться в путь с зарею! Заря в этом крае исчезает, точно нагая любовница, осененная пурпуром в голубом небе, которое тревожат лишь мелодичный перезвон колоколов да пронзительные крики ласточек...

О, вы не должны писать мне «заботливых» писем, не должны обдумывать, что вы мне напишете. Пишите все, что взбредет вам в голову, опишите, как вы поднимаетесь утром, как раздражаетесь по пустякам и еще — наполняйте ваши письма нежными словами, повторяемыми словно крики влюбленных птиц, которые призывают своих подруг! Мой возлюбленный, мне необходима беспорядочность в твоих письмах, это согласуется с безалаберной весной, поглощающей своим беспорядком весь мир!»

Мне не часто удается перечитывать свои письма, это я перечитала и отправила со странным чувством какой-то ошибки и уверенностью, что оно дойдет до человека, который его никогда не прочтет. После Авиньона у меня немного закружилась голова, позади осталась страна туманов, там, за этой плотной занавесью из кипарисов, колеблемых мистралем.

Спокойный шелест высокого тростника слышится из окон вагонов, проносящихся возле самой воды. В то же время отовсюду льется аромат меда, сосны, молодых почек, еще не распустившейся сирени, этот горьковатый запах завязи, предшествующий запаху смолы и горького миндаля, которыми отдают сами цветы. Тень от вишневых деревьев стелется фиолетовыми очертаниями по красноватой высохшей земле. Дороги пылят тучами сыроватого песка с глиной, покрывая им кустарники... В ушах у меня приятно и вместе с тем назойливо раздается жужжание пчел и больших мух...

Я вся во власти этих ароматов, цветов, жары и неумолчного жужжания, это меня одурманивает, кружит

мне голову. Не таится ли в этой одуряющей неге какая-нибудь опасность?

Каннабер глухо шевелится под моим балконом ни днем, ни ночью не умолкающим шумом. Если я напрягусь, мне виден в конце улицы, позади кружевной решетки, порт, уголок моря густо-синего цвета, покрытого белыми барашками волн.

В моей руке, застывшей на решетке балкона, смято последнее письмо от моего друга, ответ на мое письмо из Лиона. Он в нем вскользь упоминает, что моя подруга Амалия Баралли ненавидит мужчин и что-то пишет о пороке, видимо, совсем этого не понимая. К чему это замечание? Две обнявшиеся женщины кажутся ему чем-то чудовищным, а не изображением метаморфозы, соединением двух слабых существ, прильнувших друг к другу, чтобы выплакать свое горе и тоску на груди у подруги, высказать свою затаенную мысль о злобе мужчины, причинившего им немало вреда, забыться в сладострастных объятиях. Мой любящий друг слишком эгоистичен в своей любви...

VII

21 апреля

«Не делайте этого, не делайте, я вам запрещаю! Приезжать сюда, когда вас не зовут, не просят сами о помощи, зачем это, скажите? Что мне делать, если вы вобьетесь сюда, в мою уборную, как это было пять месяцев тому назад в «Эмпире-Клиши»? Я предостерегаю вас от сложностей, в этом вы не можете сомневаться, вот почему вам не следует сюда приезжать. Я храню вас, мой дорогой, от моего сердца, от моих губ, которые вы так любите целовать; ах, как я вас берегу и... не приезжайте сюда!

Предоставьте мне заниматься моим ремеслом, которое вы не любите. Осталось только двадцать дней, и потом я вернусь. Позвольте мне закончить мое турне, не нарушив его строгой, чисто деловой дисциплины, вменяемой в обязанность всякой честной работнице, и не впутывайте в него нашего личного счастья. Ваше письмо меня испугало, дорогой мой, я каждую минуту ожидала, что ты войдешь ко мне... Постарайся не огорчать свою подругу, не заставляй ее испытывать ни нежданного горя, ни непредвиденной радости.

Рене».

Выступ крыши, низко опустившейся над нами, оставляет нас в тени и защищает от солнца ресторанную террасу, где мы собрались позавтракать.

Браг просматривает журналы и время от времени разражается восклицаниями и говорит сам с собой.

Я его не слушаю и едва вижу; долгая привычка уничтожила в наших отношениях предупредительность, кокетство, излишнюю стыдливость, одним словом, всю светскую ложь. Мы приготовились есть креветки в томате и свежую треску в соусе; перед нами расстилается море, совершенно спокойное, отражающее бока лодок и деревянную ажурную решетку нашей террасы, длинный вымощенный переход, по которому спешит множество занятых людей со счастливым выражением лица. Ветер доносит до нас различные запахи цветов, черных бананов, пахнущих эфиром, пропитанных морской водой ракушек, синеватых мулей... Мы принимаемся за рыбную закуску, обильно поливая ее розовым уксусом и выжимая на нее сок лимонов.

Я опускаю руку в низкую вазу с холодной водой, стоящую на столе... Мне кажется, все, что здесь есть, принадлежит мне. Завтра я не смогу воспроизвести этого впечатления, но мне кажется, что моя тень, как забытый сухой лист, повторит то же самое и завтра... Я осматриваю свое быстро меняющееся царство, словно готовлюсь его потерять; ничто так не нарушает этой легкой бродячей жизни, как письмо!

Оно здесь, в моей маленькой сумочке! Как он пишет, мой друг, когда захочет, и как его нетрудно понять! Вот здесь, на восьми страницах, то, что я могу наконец назвать настоящим посланием любви! Оно несвязно, в двух-трех местах орфография сомнительна, но оно нежно и властно. Это какая-то высшая власть, которая распоряжается мною, моим будущим, всей моей короткой жизнью. Мое отсутствие совершило чудо, он страдает без меня, все тщательно обдумывает и серьезно решается на долгое счастье. Он предлагает мне выйти за него замуж, будто это замужество — заржавленный гвоздь, вколоченный в крепкую стену.

«...Мама немножко посердилась, покричала, но я оставил ее в покое; она всегда поступает так, как я хочу. Ты ее очаруешь и, поверь, скоро с ней сблизишься. Вы любите путешествовать, моя дорогая женушка, это будет вам предоставлено, пока вам самим не надоест, в вашем распоряжении будет весь мир, пока вы не по-

любите наш мирный уголок, где вы не будете уже Рене Нере, а будете госпожой и моей супругой. Надеюсь, что эта будущность вас удовлетворяет... Я уже занимаюсь...»

Чем он уже занимается? Я быстро переворачиваю маленькие листки твердой бумаги, похожие на банковские билеты: он занимается приготовлением для нас нового уютного гнездышка, второй этаж в доме его брата больше подходит для холостяка, теперь Макс подыскал квартиру на улице Перголезе.

Я нервно комкаю письмо и недовольно восклицаю:

— Отлично! А ведь со мной он и не посоветовался! Что же я такое на самом-то деле?

Браг поднимает голову, затем молча принимается снова читать.

Его скромность, в которой немалая доза сдержанности и безразличия, меня нисколько не удивляет.

Я ни в чем не солгала, когда два дня тому назад писала Максу:

«Я вас отлично вижу, несмотря на то, что далека от вас! Вы молоды, слишком праздны, свободны, нежны, уверенны в себе, но испорчены: „Моя мать всегда сделает то, чего я пожелаю...“»

Я слышу его голос, когда он произносит эти слова, его красивый, мягкий голос, захватывающий, немного театральный, придающий значение словам,— я слушаю, а дьявольское эхо пробуждает мои воспоминания: «Женщина, которая может мною управлять, еще не родилась...» Бахвальство, быть может, но мне все-таки слышится в нем некоторая уверенность...

Но чего я достигну всем этим? Стану счастливой женщиной? Пробившееся в наш темный уголок солнце мешает мне думать.

— Я ухожу, Браг Я что-то устала.

Браг бросает на меня взгляд поверх своей газеты, его голова склонилась на плечо, чтобы отстраниться от дыма сигареты, полупотухшей в углу его губ.

— Устала? Не больна? Сегодня суббота, ты сама знаешь, публика в «Эль-До» будет чуткая, подтянись!

Я не считаю нужным ему ответить. Уж не принимает ли он меня за дебютантку! Знаю я эту марсельскую публику, раздражительного и доброго ребенка, который презирает робость и наказывает самонадеянность, ее нельзя завоевать, не напрягая всех своих сил.

. . . . . .

Я разделась, освеженная кожа под голубоватым кимоно, стиранным несколько раз, сразу прекратила мою начинавшуюся мигрень. Я не легла на кровать, чтобы крепко заснуть.

Усевшись в кресло возле открытого окна, поджав под себя ноги, я прильнула затылком к подушке, вот уже несколько дней как я привыкла прислоняться спиною к краю стола, садиться на ручку кресла, неудобно располагаться на деревянном стуле, словно короткие минуты отдыха не влекли за собой необходимости разместиться более удобно.

Комната, в которой я сплю, выглядит так словно я вошла в нее на минутку, чтобы скинуть шляпу и повесить пальто. Только в вагоне я располагаюсь с удобством между моим саквояжем, моим свернутым пледом, газетами и книгами, моими резиновыми подушками, помогающими мне хорошенько уснуть тем глубоким сном путешественницы, которому не мешает свернувшаяся кверху вудль или сбившаяся юбка.

А сейчас я не отдыхаю. Я стараюсь привести в порядок свои мысли борюсь, напрягаю силы. затем, после минутного раздумья, снова рассеиваюсь. Мои глаза широко открыты, они словно стараются проникнуть в будущее и предугадать его... Нелегкая гимнастика одиночества. Одиночество! Почему это мне вздумалось вспомнить о нем, когда мой возлюбленный предлагает мне вступить с ним в союз на всю жизнь. Вот уже три месяца, как я произношу эти ужасные слова: десять лет, двадцать лет, не понимая их смысла, теперь же настало время это понять.

Мой возлюбленный предлагает мне свою жизнь жизнь, полную достатка и великодушия молодого человека таких же лет, как я. Он не сомневается в моей молодости, он не предвидит ее конца, его ослепление заставляет меня отказываться от права измениться, постареть, а между тем всякая протекшая минута говорит мне об этом. У меня есть еще чем привлечь его — скорее, ослепить!— я могу изменить это лицо, точнее, поменять маску, сделать его более красивым, таким, каким оно ему нравится... И я должна поступить так, как поступают другие, ведь я была моделью Телаши, прежде чем стать танцовщицей, должна откинуть опасность появиться перед ним безо всего при свете и чувствовать, что на мне надето платье... Но... надолго ли хватит у меня этого средства?

Мой друг предлагает мне свое имя и богатство вместе с любовью. Решительно, мой повелитель Случай хорошо все устроил и захотел отплатить мне капризным ударом, каким я обязана одному ему, так неожиданно, так глупо, пожалуй — даже слишком.

Мой дорогой возлюбленный нетерпеливо ожидает моего ответа и высматривает вместе с Фоссетой почтальона на дороге — с моей Фоссетой, играющей важную роль, катающейся в автомобиле и бегающей рядом с верховыми лошадьми. Макс, вероятно, выражает свою радость в наивной гордости, вполне законной гордости быть настолько самостоятельным господином, что он решился привести с подмостков «Эмпире-Клиши» на белую террасу Саль-Неф «маленькую хорошенькую женушку из мюзик-холла».

Дорогой отважный буржуа! Почему он не полюбил какую-нибудь другую женщину, ведь она могла бы сделать его счастливым! А я? Мне кажется, что я никогда не смогу этого сделать. Если он не понимает, что предлагает мне, если у него на уме одно наслаждение... Наслаждение занимает в безграничной пустыне любви знойное, но вместе с тем маленькое, незаметное местечко. Я вовсе не молодая наивная девица, чтобы ослепнуть от его блеска. Вокруг него — темная неизвестность. Что я знаю о человеке, который любит и желает меня? Когда мы соединимся, когда наш союз будет более тесным, мы должны будем приучиться жить один для другого, рука об руку. Он мужественно скроет первое недовольство, вызванное мною, я умолчу о его недостатках — из гордости, из стыда, из жалости, а в особенности потому, что я их узнала и поняла. Меня, которую брачный контракт позволяет моему мужу называть «мое дорогое дитя», меня, которая невольно вздрагивает теперь при некоторых его жестах, при некоторых интонациях, какое множество еще неведомых духов ожидает за этой еще закрытой завесой?

С зеленой черепичной крыши исчезла танцующая тень, солнце клонилось на закат; в воздушном мирке, между двумя группами неподвижных облаков, нежно тронутых по краям золотом, вырезался небесный бирюзовый простор. Мои опущенные руки сжаты, колени словно онемели. День промчался бесплодно; я ничего не решила, ничего не написала; я не могла вырвать из сердца непреодолимого влечения, столь безрассудно принимаемого мною в другое время.

[illegible]. Коротко написать сегодня вечером, по[illegible] мало времени, и солгать...

Мой дорогой! Уже почти шесть часов вечера. Це[illegible] я страдаю ужасной мигренью... Неожидан[illegible] наступила невыносимая жара, я охаю, постанываю, [illegible]точно Фоссета перед горячим камином. Ко всему этому [illegible]еще ваше письмо! Слишком много солнца и света сразу. Небо и вы слишком нагрузили меня вашими дарами; я могу сегодня только вздыхать: «Это уж слишком!» И такой друг, как вы, Макс, и безграничная любовь, и бесконечное счастье, и масса денег... Считаете ли вы, что нервы у меня достаточно крепкие? Обычно я умею ими владеть, но сегодня... Дайте мне время все обдумать.

Прилагаю к письму мою фотографию: Баралли снимала меня в Лионе. Не находите ли вы меня излишне темной, маленькой, растерянной, когда я сижу, скрестив руки, с видом побитой собачонки? Скажу откровенно, мой дорогой, этот дорожный портрет создает недостаточное представление о том благополучии и чести, которые вы мне предлагаете.

Выражение глаз, смотрящих на вас сбоку, и мой подбородок, похожий на лисий, кажется, говорят вам: «Неужели все это для меня, и вы в этом вполне уверены?»

Прощайте, мой дорогой друг! Вы — лучший из людей и достойны лучшей из женщин. Не сожалеете ли вы, что избрали для себя всего-навсего Рене Нере?»

У меня есть в запасе целых два дня!

Не буду терять времени!

Переодевание, обед у Бассо на террасе, где дует прохладный ветерок, одуряюще пахнет лимоном и мокрыми мулями, быстрая прогулка до Эльдорадо по проспекту, купающемуся в электрическом свете,— разрыв наконец, на несколько часов той невидимой нити, что без устали тянет меня назад...

VIII

Ницца, Канны, Ментон. Я верчусь, меня преследует все более увеличивающееся головокружение. Головокружение растет у меня настолько быстро и так настойчиво, что порой мне кажется, будто я замечаю какое-то теневое отражение его, двигающееся рядом со

мею, на белых камнях набережных, окаймляющих морской берег, на раскаленной мостовой с гниющими банановыми корками.

Головокружение меня буквально замучило, оно мешает удовольствию жить и наслаждаться, свободно дышать...

Как-то ночью мне приснилось, что я никого не люблю, и в эту ночь я спала освобожденная, мертвым сном.

На мое двусмысленное письмо из Марселя Макс ответил мне спокойным, счастливым письмом, длинной благодарностью без конца, в котором любовь его принимала дружественный, уверенный в себе характер и гордилась возможностью преподнести мне все и получить за это благодарность — одним словом, письмом, получив которое я, им ослепленная, должна была бы воскликнуть: «Тогда-то, в такой-то день и час, я полностью ваша, и мы пойдем по жизни вместе».

Но этого не случилось: разве меня можно этим прельстить? Разве это нетерпение, эта поспешность, привычная лихорадка, переходящая с одного дня на другой, из одного города в следующий, сменяющая одну ночь другою, разве они заставили меня тяготиться временем?

Вчера в Ментоне, в одном семейном пансионе, я заснула с открытым окном; меня разбудило пение птиц, жужжание мух, крики попугаев. Утренняя заря освещала пальмы мертвенно-розовыми лучами; мне припомнились почему-то все звуки, вся гармония такого же утра в прошлом году; но теперь свист попугаев, жужжание пчел при восходе солнца, теплый ветерок, тихо шептавшийся с пальмами где-то не близко от меня, казались словно бы аккомпанементом не оставляющей меня мысли, нажимали на педаль ее — любовь.

Под моим окном, в саду, в тени желтой листвы клумба, засаженная фиалками, блестит росою, еще не согретая лучами солнца.

Около стены вьются розы без запаха, которым я невольно завидую; их оттенок напоминает небо раннего утра, еще не голубое, а светло-розовое.

Те же розы, те же фиалки, что и в прошлом году...

Но почему же я не в состоянии приветствовать их скромной улыбкой, так ярко отражавшей в прошлом году мое душевное счастье, мой покой одиночества?

Я страдаю, я не могу постигнуть всего, что мне открывается... Еще одно, другое мгновение, и я сделаю

громное безумство, нанесу непоправимый вред всей [illegible] мне жизни.

Когда я себя успокаиваю, когда я доверяюсь своему быстротечному будущему, соглашаюсь на все, что меня там ожидает, небольшая фотография возвращает меня к холодному рассудку. Это снимок Макса, играющего в теннис с молоденькой девушкой.

Разумеется, это пустяк: молоденькая барышня, случайно заехавшая в Саль-Неф, его кузина, он ничего не думал о ней, посылая мне эту карточку, но я о ней думаю, я думала о ней, когда еще ее не видела! Я не знаю ее имени, едва различаю ее лицо, залитое солнцем, загорелое, с веселой улыбкой, с белой полоской зубов между губами...

Ах, если мне удастся увидеть моего возлюбленного у моих ног, в моих руках, я ему скажу...

Нет, я ничего ему не скажу, я напишу — это так легко...

Писать, быстро двигать пером по большим белым листам бумаги, не заботясь о выражении моего лица, выдающего мои затаенные мысли. Искренне написать, почти откровенно! Я надеюсь на облегчение, на какое-то внутреннее спокойствие, которое даст мне верный совет...

«Макс, мой дорогой друг. Я спрашивала у тебя вчера имя молодой девушки, с которой ты играл в теннис. Этого больше не нужно. Ее зовут для меня «молодая девушка», из тех молодых девушек, молодых женщин, которые станут моими соперницами позднее, но скоро... Ее зовут «незнакомка», «младшая», та, с которой меня будут жестоко, открыто сравнивать, с гораздо большей жестокостью и пристрастием, чем это сделала бы я сама.

Побеждает ли она? Часто ли? Что такое это торжество, когда борьба продолжается и далеко еще не окончена? Пойми же меня! Пойми! Это не упрек, не моя будущая измена, которая меня убьет, это мое пятое! Мы с тобой одних лет, я уже больше не молода. Представь себе, о моя любовь, зрелость недурненькой женщины на несколько лет старше меня! Представь себе меня еще красивой, но уже отчаявшейся, недовольной, в стягивающем меня корсете и в платье, под моими румянами и пудрой, под моими легкими молодыми красками... Представь себе меня спелой розой, к которой нельзя прикасаться! Одного твоего взгляда

брошенного на молодую женщину, будет достаточно для того, чтобы едва заметная складка на моей щеке превратилась в резкую, печальную морщину — ночь счастья, проведенная в твоих руках, немало будет стоить моей красоте! Я достигла, тебе это известно, предельного возраста страсти! Это последствие своевольной неосторожности... Тебе это понятно! Твоя привязанность победит, успокоит меня, но не приведет ли она меня к слепой вере любящих женщин? На короткие, опасные минуты воскреснет самообладание минувшей молодости, забавляющейся, как юный подросток, играми, заставляющими трястись ее дряблое, огрузшее тело.

Я ужасалась глупой безрассудности одной квадратной на вид подруги, которая дышала любовью при каждом взгляде на кепи своего любовника, гусарского офицера.

Да, да, я безумствую, говорю бессмыслицу, пугаю тебя, ты этого не понимаешь. В этом письме отсутствует длинное предисловие, есть только мои мысли, скрываемые от тебя, отравляющие мне каждый день...

Не правда ли, как проста любовь? Ты не придаешь ей ее головокружительного, захватывающего значения. Мы любим, отдаемся друг другу, и вот мы счастливы на всю жизнь, не так ли? Ах, как ты еще юн, хуже чем юн: ты, терзающийся только от ожидания меня увидеть поскорее. Отказаться от обладания тем, чего желаешь... Тебе это непонятно, твои мучения возникают именно там, где другие находят устои для всей своей жизни. Обладать тем, что любишь, и чувствовать каждую минуту, что твое единственное достояние разбивается, плавится и проскальзывает между пальцами, как золотая пыль... И не иметь столько мужества, чтобы разжать руку и распрощаться сразу со всем сокровищем, и вместо этого сжимать ее все крепче и крепче, кричать и умолять, ради того чтобы сохранить, но что именно? Крохотный кусочек золота, жалкий остаток драгоценности на пустой ладони...

Тебе это непонятно? Мой милый малыш, я готова отдать все на свете, чтобы походить на тебя, я хотела бы испытывать страдания только из-за тебя одного и забыть о мрачной опасности надвигающейся старости... Помоги, чем можешь, твоей Рене, но, любовь моя, если я возлагаю эту надежду только на тебя, не увеличит ли это наполовину мое отчаяние?»

Моя рука твердо нажимает на вставочку пера. Че-

[illegible] на столе — сидеть[illegible]
[illegible] как можно больше, они
[illegible], то вверх, то вниз
[illegible] в это беспорядочных
[illegible]ах? Нет, я далеко еще не все ему высказала. Сказать всю правду, вовремя открыться — нельзя и не должно.

Перед мной на площади, по которой теперь гуляет ветер, стихающий мало-помалу и снижающий, как утомленные крылья, вырисовывается в лучах солнца на сероватом мрачном небе, предвещающем грозу, древняя узорная стена Нимской арены. В мою комнату вползает удушливый воздух, мне почему-то захотелось увидеть в этом странном освещении сады и фонтаны.

Тряский экипаж, хромая лошаденка довозят меня до черной изгороди, защищающей или, скорее, отображающей парк.

Почему до этого времени здесь, в этих местах, не продолжается чудная весна прошлого года? Она была такая прелестная, феерическая, так подходила ко всему здесь, что я дрожу от боязни увидеть разительную перемену.

Трепетной рукой я прикасаюсь к горячим камням развалин, к листьям, обвившим древние колонны, кажущиеся мокрыми. Купальни Дианы, в которых я лежала, красуются и теперь в окружении сочных пальмовидных, цветущих красными цветами, и колючего терновника.

Все в парке отражается, наоборот, в тихом зеленоватом озерке, меняя в воде и сами краски. Чудный сад! Всюду царит молчание, его нарушает только тихое журчание воды, прозрачной, как хрусталь, но с синеватым зеленым оттенком. Двойная аллея поднимается к башне Ман между стен, осененных тисовыми деревьями.

Я немного отдыхаю возле каменного водоема; вода выгладила его края и украсила их зелеными прожилками плесени и следами медных ведер, ставленных здесь болтливыми водоносками.

Немного выше над ним меня манит мягкая постель из ползучих растений. Подо мной протянулась ровными геометрическими фигурами железная изгородь, стягивающая сад в своих объятиях.

Чувствуется приближение грозы, все смолкло; она медленно поднимается на горизонте в виде легких облаков, окруженных тяжелыми мрачными тучами.

Весь этот уголок — мое царство, чудный уголок, самим Богом подаренный прохожим, странникам, одиноким людям. Земля здесь принадлежит тому, кто остановится на мгновение в раздумье и снова двинется дальше; солнце же принадлежит бойким голым ящерицам, греющимся под его лучами.

Посреди моего пути высится что-то наподобие ларька, торгующего всевозможным товаром и мешающего проходу.

Однако нужно торопиться.

Несомненно, я не должна говорить Максу всего... Она некрасива, еще не выровнялась, испугана, немного ветрена. Ее дикость отталкивает его. Она еще не умеет его завлечь и лаконично отвечает: «Я не хочу... Не нужно... Я боюсь...»

Бояться состариться, ожидать измены, страдать... Робкий голос подсказывал мне искренние слова, когда я писала письмо Максу. Этот страх — власяница, царапающая нежную кожу народившегося Амура и болезненно сжимающая его, когда он начинает расти... Я носила эту власяницу и не умерла и надену ее снова, если... если «поступить иначе не смогу».

Эта фраза недурна. Она запечатлелась в моей памяти, она всегда у меня перед глазами, будто пропись.

Я постараюсь измерить мою дряхлую любовь и освободить мою настоящую надежду — бегство.

Но как согласовать их между собой? Всё против меня. Первый призрак, с которым мне приходится сражаться, это тело женщины, распростертое на моей дороге, сладострастное тело с умышленно закрытыми глазами; оно готово скорее страдать, чем покинуть это место наслаждения...

Эта женщина — я, я — это существо, думающее только об удовольствиях... «Твой злейший враг — это ты сама». Боже мой, разве я этого не знаю?

Удастся ли мне победить это алчное существо, самое опасное для меня, похожее на покинутого ребенка, трепещущего во мне, нервного, готового протянуть ручонки, умоляя: «Не оставляй меня одного».

Он боится ночи, одиночества, болезни и смерти, он по вечерам задергивает занавеской пугающие его темные впадины окон и чахнет, если его не приласкают. А вы, мой горячо любимый противник Макс, как же я поборю вас, если меня саму мучают сомнения? Стоит

...ько появиться и... Но я вас не зову. Нет, я не ...ываю вас! Это моя первая победа!

Грозовые тучи проходят мимо меня, не разразившись грозою, изредка из них нехотя падают несколько капель, одна из них упала на мои губы, я невольно ощутила на вкус пыли...

IX

Ним, Монпелье, Каркассон, Тулуза... Четыре дня и четыре ночи без отдыха! Приезжаешь, умываешься, закусываешь, выступаешь, танцуешь под звуки оркестра, плохо разбирающего ноты, засыпаешь — да стоит ли еще спать? — и снова в путь.

Непроизвольно худеешь от усталости; ничто тебя не радует, самолюбие твое страдает. Меняешь мюзик-холлы, уборные, гостиницы, комнаты с безразличием солдата на маневрах. Гримировальный ящик облупливается, на углах выступают железные скрепы, костюмы ветшают, затаскиваются, старательно вычищаются перед спектаклем бензином, и запах его смешивается с запахом розовой пудры.

Я подмазываю кармином мои лопнувшие красные сандалии из «Пленницы», моя туника «Дриады» потеряла свой стальной блеск и зеленоватый отлив.

Браг великолепен в своем грязном костюме, его болгарские шаровары из вышитой кожи, отвратительные от пятен искусственной крови, до того засалились, что кажется, будто их обладатель только что заколол быка. Старый Троглодит на сцене ужасен в своем линялом парике, плохо надвинутом на вонючую кожу!

Да, были настолько знойные дни, что мы задыхались под этим голубым небом, окаймленным только редкими узенькими тучками, на земле, растрескавшейся от жажды и невозможной жары. Мои два товарища, когда мы приезжали в новый город, скидывали со своих плеч тяжелые дорожные куртки и мечтали облачиться во что-нибудь легкое; мои же мечты направлены были только на появление почтальона, приносившего письма от Макса.

Я сразу же замечаю на просаленном столе в стеклянной будочке консьержа среди только что вынутых им писем длинный голубоватый конверт, исписанный затейливым почерком, и мой покой исчезает.

— Передайте ...

что это адресовано ...

Боже мой, что ...

быть, только: «Я пр...

Я уже четыре д...

письмо из Нима; за...

другом тоне...

скрывала под изящн...

будто я забыла сод...

За все эти четыре ...

получила только дл...

моей Марго, угрюм...

крытки от Бландины.

Ах, наконец-то ...

читываю его со зна...

перестного воспомина...

иногда, соскучившись...

чанию, писал мне ...

сжатого почерка зас...

тив воли билось сил...

как сегодня...

Письмо Макса за...

сдерживая дыхание, ...

но все же чувствую ...

тать...

Благословение Слу...

он посчитал, что э...

беспокойство женщи...

тверждение любви и...

чине все эти уверени...

потому что он призна...

ожидаемую сестру,

сачку.

«Ты всегда будешь ...

Нет сомнений, что ...

ве он не мог ответить...

он писал эти слова, о...

окинул взглядом тянут...

нежное сожаление, с...

в его мысли... Затем он...

по-холодно, и меда...

все всех».

— Передание мне вот это! Да, да, я же вам говорю, что это адресовано мне.

Боже мой, что там внутри? Упреки, проклятья, может быть, только: «Я приезжаю»?..

Я уже четыре дня дожидаюсь ответа Макса на мое письмо из Нима; за это время я написала ему в совершенно другом тоне, с нежностью письмо, в которое скрывала под извилистой болтовней мои треволнения, как будто я забыла содержание моего пылкого послания. За все эти четыре дня нетерпения и беспокойства я получила только длинное наставительное письмо моей милой Марго, угрюмое ворчание старого Гамона и открытки от Бланшины.

Ах, наконец-то я получила ответ от Макса, прочитываю его со знакомым мне трепетом, с оттенком горестного воспоминания о временах Теланди, который иногда, соскучившись по мне и не радуясь моему молчанию, писал мне любовные письма,— даже вид его сжатого почерка заставлял меня бледнеть, сердце против воли билось сильнее, точно так же... как сегодня, как сегодня...

Письмо Макса зажато в моей руке; не читая его и сдерживая дыхание, бегу... я не могу его прочесть... но все же чувствую неодолимое искушение, нужно читать...

. . . . . .

Благословение Случаю! Мой друг ничего не понял, он посчитал, что это ревнивый порыв, кокетливое беспокойство женщины, желающей получить подтверждение любви из любимых ею уст... Он дает мне все эти уверения; я даже не могу улыбнуться, потому что он признает свою «дорогую» то за очень уважаемую сестру, то за какую-то прелестную самку.

«Ты всегда будешь красивее всех!»

Нет сомнений, что он пишет то, что думает, но разве он не мог ответить мне иначе; может быть, когда он писал эти слова, он поднял голову, бессознательно окинул взглядом тянувшийся перед ним густой лес, и невольное сожаление, странная привязанность проникли в его мысли... Затем он пожал плечами, словно ему стало холодно, и медленно, но смело написал: «Ты красивее всех».

Великий Макс!.. Все мои лучшие чувства встали в заговор против него...

Три дня назад мы отправились на заре: в вагоне я раз двадцать пыталась уснуть, наконец мне это удалось, но теплый, солоноватый ветерок, напоенный ароматом цветущих водорослей, проникнув сквозь открытое окно вагона, разбудил меня...

Море! Морская полоса тянулась вдоль рельсов, то исчезая, то неожиданно появляясь перед моими глазами. Солнце, поднявшееся на горизонте в семь часов еще невысоко, не озаряло его лучами; море казалось плохо выспавшимся, ночные тени, словно синеватые бархатистые чернила, витали над ним...

Вдоль берега тянулся ряд солеварен, окаймленных зеленым газоном, блестящим от соли. Они сменялись еще погруженными в сон дачками, белыми, как соль, осененными лавровыми деревьями, цветущей сиренью и плакучими ивами.

Еще в полусне, подобно морю, вся отдавшись мягкому покачиванию поезда, я бессознательно вздрагиваю от стремительного полета ласточек, от резкого шума волны... Я испытываю блаженное состояние смертельно больного, неожиданно память, подобно молнии, рисует мне образ, имя, отголосок только что минувших дней...

Сколько времени мне понадобилось, чтобы в первый раз позабыть Макса! Да, позабыть о нем совсем, словно я никогда не видела его чарующего взгляда, не знала нежной прелести его поцелуев, как будто главной заботой всей моей жизни было подыскать слова, чтобы выразить впечатление, что солнце похоже на золото, море синее, а блестящая бахрома соли похожа на белый янтарь... Да, забыть его настолько, чтобы сознавать единственное мое желание — это обладать всеми чудесами мира!

В это мгновение сознание мне коварно повторяло: «А если «это» действительно единственное? Если все остальное один лишь прах?»

X

Беспокойные мысли не покидают меня, большим усилием воли и терпения мне удается надеть на себя маску уравновешенности и притворства.

Мне пришлось снова сопровождать Брага по всему городу, вместе с ним посещать скверы, соборы, музеи, забираться в дымные помещения маленьких ресторанчиков, где «изумительно кормят!» Наш «дуэт» мало говорит, редко смеется, но уже если расхохочется, то кажется, что нашему веселью нет предела. Я смеялась над различными историями Брага, стараясь придать резкий характер смеху, когда он пытался рассказать какую-нибудь артистическую непристойность...

Мы оба искренни, но не всегда естественны... У нас есть привычные увеселения, которые привычно радуют нас: самая любимая игра Брага — очень меня раздражающая — это игра в «сатира», которую он ведет в вагоне трамвая, избирая для этого себе в жертву иногда печальную молодую женщину, а иногда и задорную старую деву. Сев напротив нее и небрежно раскинувшись, он окидывает ее возбужденным взглядом, от которого бедняжка краснеет, в смущении покашливает, оправляет свою вуалетку и отворачивает голову. Взгляд «сатира» мрачно упорствует, затем все черты лица — рот, ноздри, ресницы — соперничают между собой, чтобы выразить особую радость эротомана.

— Превосходное упражнение для лица!— уверяет Браг.— Когда для меня создадут в консерватории класс пантомимы, я заставлю всех своих учеников, вместе или поодиночке, изучать эту сцену.

Я смеюсь, наблюдаю за бедной дамой, вынужденной выйти из трамвая, и все-таки меня возмущает эта дикая игра.

Макс... Он мне пишет, что ждет меня. Как тяжело мне переносить это доверие! Переносить это тяжелее, чем обманывать его ложными надеждами. Я тоже много пишу ему, нисколько не стесняясь. Пишу ему на хромых этажерках, примостившись на краешке высокого стула, обутая только на одну ногу; во время завтрака начатое письмо валяется между щетками, флаконами с духами и крючком для сапог... Передо мной окно, выходящее в сад, я вижу прелестный цветник и дымчатые очертания гор, чувствую себя как дома среди этого беспорядка гостиницы и совершенно ни на что не обращаю внимания.

VI

— [illegible] о Южной Америке?

[illegible] вопросом ошарашил меня Браг вчера [illegible] обеда, когда я в кресле предавалась сиесте, [illegible] с охватывающим меня сном и неприятной необходимостью идти гримироваться и надевать костюм.

— Южная Америка? Да, это не близко.

— Соня!

— Ты меня не понял, Браг, я сказала: «это не близко», что следовало понимать: «это недурно».

— Ну, если так, то хорошо... Соломон зовет меня туда!

— И что же?

— Подумаем?

— Подумаем!

Мы оба отлично понимаем друг друга; в моих артистических скитаниях я научилась не высказывать особого восхищения перед импресарио турне своим немедленным согласием. Браг, в свою очередь, опасается «до нового сообщения» расписывать мне это дело, не желая из-за излишней поспешности получить от меня отказ.

Южная Америка! За три месяца мне предстоит увидеть ослепительную панораму Нового Света, феерический дождь из звезд, гигантские цветы, драгоценные камни и птиц размером с муху. Бразилия, Аргентина... Какие яркие, заманчивые названия! Марго мне рассказывала, что ее возили туда в детстве, и мое восхищение доходило до тайного желания увидеть своими глазами паука с золотым брюшком и деревья, покрытые светящимися жучками, которых она мне так живо описывала.

Бразилия, Аргентина! Но... а Макс? Со вчерашнего дня я кружу вокруг этого вопросительного знака... Макс, а Макс? Это уже не только воспоминание, это отголосок, зловещее карканье, настойчиво говорящее мне о задуманном мною поступке.

Кто из моих предков неудачно протрубил сигнал тревоги в моем сердце, от кого я унаследовала эту ядовитую сентиментальность? Я готова разорвать начатое письмо к моему возлюбленному...

А Макс! А Макс! Как долго он будет заграждать мне дорогу? А Макс! А Макс! Значит, я должна всего

только заботиться об этом мешающем мне раньше? Довольно, не надо больше идиллии, потерянного даром времени, глупостей и мужчин! Взгляни на себя трезво! Ты еще не старуха, но у тебя все манеры старого холостяка, те же привязанности, тот же вздорный характер, чувствительная мелочность — зачем же мучиться, зачем принуждать себя стать невыносимой? Какая работа предстоит тебе на этой галере... Ты даже сама не знаешь, что ждет тебя в этой портомойне, крепко причаленной, где стирают по старинному способу? Если бы ты могла, по крайней мере, расплатиться каким-нибудь пустячком с этим молодчиком: двумя, тремя неделями, двумя месяцами, наконец, а потом — прощай! Ни тот, ни другая ничего не должны друг другу и спокойно расходятся. Но ты могла хорошенько понять, наблюдая за Теланди, как крепко это склеивается!

И я продолжаю, продолжаю... Я начинаю обвинять моего друга и себя саму с гениальным преувеличением, с озлоблением; это похоже на какую-то особенную игру, во время которой я решаюсь высказывать вещи, прежде и на ум мне не приходившие.

Это продолжалось до тех пор, пока я не заметила, что идет дождь: крыши на другой стороне улицы, водосточные трубы — все источало воду. Холодная капля скользнула по стеклу и упала мне на руку, в комнате позади меня стало темно...

Как уютно мне было бы за спиной того, кого я только что презрительно назвала мешающим мне раньше... Я нажимаю на кнопку средней лампы и присаживаюсь к шаткому столику, чтобы начать писать, открываю бювар, и при одном взгляде на зеркальце и сухой букет нарциссов воображение тотчас же рисует мне милую домашнюю обстановку, я сожалею о горячем чае, о моей старой лампе с розовым абажуром, о ворчании Фоссеты и о моем старом приятеле Гамоне...

Большой лист почтовой бумаги искушает меня, и я пишу:

«Макс, дорогой мой, да, я возвращаюсь, с каждым днем понемногу. Вероятно, только двенадцать ночей разделяют нас. Ничего еще не решено, мне кажется, что я совсем не должна с вами видеться... Как это было бы ужасно, но вместе с тем разумно!..»

Я останавливаюсь: не слишком ли это ясно? Нет! Кроме того, я пишу: «это было бы», любящий человек

никогда не придает трагического значения подобному [illegible] выражению. Я могу продолжать в том же [illegible] тоне, с меланхолическими подробностями, с [illegible] ограничениями, и поскольку я, тем не менее, приняла суровое решение, которое заставит Макса примчаться сюда быстрее, чем за полдня, я не забываю расцветить мое письмо нежными выражениями, увы, волнующими меня... Не совсем это приятное занятие — обманывать...

XII

Как быстро мчится время! Где остались Пиренеи с цветущими вишневыми деревьями, высокие суровые горы, которые, казалось, преследуют нас; их покрытые девственным снегом вершины возбуждали во мне жажду, синеватые расщелины и темно-золотистые леса радовали взор, где они? Где эти узкие цветущие долины Испании, покрытые ковром из диких орхидей и белыми гарденией? Эти маленькие площади басков, на которых вился дымок от варившегося шоколада? Как далеко это замороженное питье, страшно холодное, смешанное со снегом, прозрачное, желтоватое, словно лунный камень!

Мы покидаем Бордо после пяти представлений за три дня.

— Хороший город!— вздыхает на станции Браг.— Я пристал здесь к одной малютке... Она, знаешь ли, из тех, что гуляют на Курссе. Высокая; грудь, как яблоко; красивый подъем; маленькая полненькая ножка; и, кроме того, столько черноты в глазках, столько пудры на лице и кудряшек, что я предоставляю тебе решать — красива она или нет! Все блестит, говорит, трогает... В самый раз для меня.

Он выражал свою радость спокойно, а я смотрела на него с неудовольствием и с отвращением, подобным тому, которое испытываешь, глядя на людей, поглощающих пищу, если сама не голодна... Весна пугливо бежала перед нами, она с каждым днем становилась все моложе, распускала все больше и больше цветов, украшала деревья листвою по мере того, как мы двигались все дальше на север. В прохладной тени изгороди робко глядели маргаритки и последние фиалки, потерявшие свой лиловатый оттенок. Бледная синева не-

ба, низкая травка, сырые дорожки как-то странно говорили о весне, повернувшей вспять.

Ах, если бы я могла точно так же вернуть обратно все время до того зимнего дня, когда Максим вошел ко мне в уборную!

Когда я была ребенком и училась вязать, меня заставляли нанизывать петли ряд за рядом, пока я случайно не пропускала одной из них, и тогда приходилось распускать все вязанье. Это называлось у нас в школе «проскользкой».

Вот такая «проскользка» и случилась в моей жизни, в моей несчастливой второй любви, той самой, которую я называла моим искренним пылом и моим светом... Она еще здесь, я могу ее осязать, и все-таки я бегу от нее...

Да, я убегаю! Где-то там, глубоко во мне, этот тайный побег уже решен, но я еще не придумала куда.

В критический момент, когда ничего уже не остается, как только очертя голову крикнуть: «Бландина, скорее чемодан и бегите за автомобилем!», меня, быть может, испугает все это беспорядочное, неустроенное будущее, но мой дорогой и любимый Макс, моя самая правдивая советница теперь — моя печаль, и с этой минуты все решено.

Не натолкнуло ли меня на эту печаль воспоминание о том, какой я была, пока пользовалась свободой и одиночеством? Счастье быстро промелькнуло, едва успев меня тронуть и отказавшись у меня приютиться. Вместо того чтобы сказать счастью: «Останься со мною!», я спросила его: «Что ты мне даришь? Меня самое? Неправда, другой похожей на меня нет! Ты мне посылаешь друга, молодого человека, пылкого, ревнивого, искренне увлеченного? Я отлично понимаю, что получу для себя хозяина, но я отнюдь этого не желаю... Прекрасно: он прост, обожает меня и не изменится? Но тогда это мой раб, а женой раба я быть не хочу... Достаточно одного его взгляда — и я не знаю, что со мной станет, хватит одного его поцелуя! Значит — это мой враг, готовый воровски отнять меня у меня самой... У меня будет все, что только можно приобрести, я смогу сидеть, лениво раскинувшись, на белой террасе, окаймленной чудными розами из моих садов... Оттуда мне хорошо будет видно проходящих мимо настоящих хозяев земли — кочующих бродяг!.. Возвра-

[illegible] орел тщое ремесло, расстав-
[illegible] каким печальным состоянием, и которым
[illegible] вернусь в общество равных тебе... у
[illegible] меня есть только дорожные спут-
[illegible]ки...»

Мельничные крылья мелькают на горизонте. На ма-
[illegible]ленких промежуточных станциях множество разукра-
[illegible]шенных первыми цветами молоденьких бретонок. Точ-
но ослепленная я попадаю в желтое царство ромашек
и тюльпанов. Золото, кожа, позолота — все это смеша-
лось, слилось в какое-то ярко-желтое пятно, украша-
ющее этот небогатый край лавок. Я прижалась щекой
к стеклу вагонного окна и приложила к нему ладони,
довольная, что это меня освежает.

Проезжаем ли мы мимо пожара, или это огненное кольцо Зигфрида.

XIII

В Кайене, по возвращении, я нахожу письмо от Макса; в нем только одна строчка, без подписи: «Моя Рене, неужели вы меня больше не любите?»

Больше — ни слова, я не предвидела такой нежности, и этот вопрос, такой простой, перечеркнул все мои послания.

Что же я написала ему в последний раз? Не стоит вспоминать! Если он меня любит, то не в моих письмах он прочел предупреждение. Если он меня любит, ему внятны эти таинственные порывы, этот легкий, вредно действующий укол в сердце, все эти громовые приготовления, вызываемые зачастую одним жестом, взрывом смеха. Ему известно, что измена, ложь, разлука передаются на расстояние, ему знакомы и жестокость, и слабость, и предчувствия!

Бедный, бедный друг, как я хотела бы тебя любить! Ты мог бы умереть, изменить мне, а я ничего не знала бы об этом — я, которой измена нанесла такую жестокую рану...

«Моя Рене, неужели вы меня больше не любите?» Я не заплакала слезами счастья, а сразу же с детской поспешностью отправила ему телеграмму:

«Послезавтра в пять часов буду дома. Нежно обнимаю». Я завидую этому страдающему мужчине, я пере-

читала его жалобу и стала разговаривать с письмом, словно это был он сам с его резко очерченным ртом и сердитыми бровями:

— Ты любишь, ты страдаешь и жалуешься. В эти минуты ты совершенно похож на меня, какой я была в двадцать лет. Я тебя покидаю, и благодаря мне ты, быть может, восполнишь то, чего тебе не хватает. Ты теперь уже способен это предугадывать, не изумляет ли тебя это, грузный самец? Изощренные нервы, пробужденное страдание, надежда, очень скоро расцветающая снова,— все это приходит с годами, теперь очередь за тобой. Я не могу сама внушить тебе надежду, но я так этого желаю...

Вслед за письмом Макса прилетели и другие весточки. Бландина писала мне: «Мадам, месье Максим привез обратно Фоссету, у нее опять новый ошейник, месье скучает по мадам и ждет ее с нетерпением...»

Письмо от Гамона чрезвычайно простое, но написанное вежливым и слегка церемонным языком; письмо от Марго, ни о чем мне не сообщившей, заполнившей целых две страницы религиозной болтовней... Все они спешат написать мне теперь, когда я возвращаюсь, словно их дружеские отношения помогли им угадать мое желание побыть некоторое время одной...

С кем мне посоветоваться, когда я вернусь домой? С Гамоном, с Марго? Ни с ним и ни с ней.

Я легкомысленно порвала все мои связи с обществом перед тем, как поступить на сцену — в эту затхлую могилу, называемую в Фоли-Каеннезо «уборной этуали».

Мы в кафе-шантане старой постройки; чтобы попасть на сцену, нужно проходить через публику — это вечером самая скверная минута. Нас задевают, задерживают в проходе, чтобы подольше на нас глазеть; моя голая напудренная рука пачкает чей-то пиджак, кто-то дергает меня за вышитую шаль, щиплет за бедро...

Высоко подняв голову, мы переносим презрительные насмешки и издевательства возбужденной толпы, как бы доверяясь ей...

XIV

Где-то очень далеко пробило половину первого. Поезд из Кале, которым я должна ехать в Париж, придет сюда только через пятьдесят минут.

Я сошла ночью одна, никого не предупредив. Брат и Старый Грегуар, нагрузившись благодаря мне шампанским и пивом, пошли куда-то подремать в Булонь-сюр-Мер. Три четверти часа ушло у нас на болтовню, на всевозможные планы, проекты южноамериканского турне, а потом я добралась до железнодорожной станции Тинтеллери, пустынной в это время, и стала ждать поезда. Для меня одной даже не зажгли электрических фонарей.

Холодная безлунная ночь. Я вдыхаю аромат невидимой мне сирени, где-то в море слышны завывания корабельной сирены... Кто может догадаться, что я сижу здесь одна-одинешенька на набережной, плотно закутавшись в пальто? Меня даже трудно узнать в этой черной тени.

Чуть свет я бесшумно прокрадусь в свою квартиру, словно вор, ведь меня не ожидают так рано; разбужу Фоссету и Бландину, а затем наступит самая тяжелая минута...

Рисую себе подробности своего возвращения: мне приходится мириться по жестокой необходимости с воспоминанием о запахе английского табака и о нежном аромате жасмина, в моей памяти встает атласная подушка с двумя пятнами — следами моих слез в минуту моего высшего счастья... Я готова растрогаться от этих воспоминаний, но это быстро проходит.

Я издалека прощаюсь со всем тем, что может меня там задержать, и с тем человеком, который получит мое последнее письмо. Опыт и рассудительность подсказывают мне, что следует увидеться с ним еще раз, без всяких объяснений между нами, но такая женщина, как я, страшится снова попасть под власть демона...

Правда, он будет сердиться, негодовать на меня, но это только к лучшему. Бедняжка, его рана скоро заживет! Нет, нет, излишняя честность здесь не годится, не нужно и лишних фраз: они только все испортят.

Чьи-то шаги громко раздаются по перрону; прошел носильщик, согнувшийся под тяжелым чемоданом; вспыхнули электрические полушария. Я поднялась, мне стало холодно... Слышится свисток поезда. Наконец-то...

XV

«Прощай, мой дорогой! Я уезжаю недалеко отсюда в одну деревню, а затем отправляюсь с Брагом скорее всего в Америку. Больше мы с вами не увидимся, мой дорогой. Читая это письмо, вы не должны думать, что я поступила жестоко. Еще третьего дня вы мне писали: «Моя Рене, неужели вы меня больше не любите?»

Я уезжаю, это наименьшее из зол, которые я могу вам причинить, я не зловредна, Макс, но я чувствую себя совершенно усталой от жизни, потерявшей способность любить и страдать из-за любви. Вы не сочтете меня обманщицей, мой дорогой? Когда-то мое сердце могло быть достойно вашего, но теперь... Что я могу вам предложить, о мой дорогой? Лучшее, что может быть,— это материнское чувство, которое бездетная женщина переносит на своего мужа, да и то через несколько лет. На это ни вы, ни я не согласимся.

Бывают дни, когда мне, безумно боящейся состариться, старость кажется каким-то благодеянием...

Мой дорогой, когда-нибудь вы все это поймете, поймете, что я не должна быть ни вашей, ни чьей-либо еще, что в досаде на свое первое замужество и на вторую любовь я жила, как старая дева... Старая дева похожа на тех влюбленных, которым ни одна любовь не кажется достаточно прекрасной и которые отказываются от нее, не оставляя себе возможности ее объяснить; они отталкивают все сентиментальные подробности, считая, что лучшая доля — это сидеть у окна, делая стежки иголкою, и находиться во власти своей неосуществимой мечты. Именно этого я и желаю, у меня нет больше дерзновений, вот и все... Вы сердитесь, что я так долго скрывала от вас мои тщетные усилия возбудить в себе любовный пыл, слепую надежду, призрачную возможность — всю эту веселую свору любви. Теперь для меня больше нет никаких наслаждений,

...м моего внутреннего чувства, и будущее мне от-
...кодь не улыбается.

Напрасно ты будешь мне сочувствовать. Ты, чей взор, чьи поцелуи, чья долгая ласка и чуткое молчание дали мне возможность на короткое время забыться и испытать призрачное счастье.

Прощай, мой дорогой, ищи вдали от меня молодость, свежую, нетронутую красоту — залог счастливого будущего для вас. Ищите любви такой, какой вы стоите, которую прежде я могла вам подарить; у меня хватит сил, чтобы скрыться от вас. Если бы сейчас, когда я пишу, вы вошли бы сюда, но вас нет!

Прощайте, единственный человек в мире, которого я называю «мой дорогой», в последний раз обнимите меня как прежде. Крепче, крепче!

Рене».

Я пишу очень медленно, перед тем как подписать, я перечитала письмо, проставила запятые, исправила некоторые буквы и четко вывела: «Пятнадцатого мая, семь часов утра».

Но и готовое к отправке, заклеенное, оно все еще не отправлено. Не открыть ли его?

Я вздрагиваю, словно, заклеивая конверт, я потушила электрическую лампу, в которой еще краснела платиновая проволочка. Утро без солнца. Зимний холод забрался в эту комнату, целых шесть недель оставшуюся пустой. У моих ног сидит, насторожившись, Фоссета и выжидательно смотрит на двери: она ждет того, кто сюда больше не придет. Я слышу, как Бландина переставляет кастрюли, чувствую запах свежемолотого кофе.

Голод начинает одолевать меня. Так рано меня не ждали, все еще носит следы отсутствия хозяйки, запах сырость, пыль, плохо обтертое зеркало, опущенные шторы, мой письменный стол, на котором лежит неоконченное письмо.

Неоконченное...

«Дорогой непрошеный гость, любить которого я так хотела, я избавляюсь от тебя, предоставляя тебе единственную возможность подняться в моем мнении — покинуть тебя. Одно лишь горе ты почувствуешь при чтении моего письма, ты не можешь себе представить

какой унизительной очной ставки ты избежал, не должны ошибиться, в какой битве ты одержал победу, победу, которую я тебе определила; потому что я сама тебя оттолкнула и выбрала нечто, совершенно чуждое тебе. Я тебя уже знала, но узнала снова еще больше

Ты явился, чтобы разделить со мною мою жизнь, взять свою долю и стать участником моих поступков, проникать в тайный храм моих мыслей, не правда ли? Но почему же ты, а не кто-нибудь другой? Этот храм закрыт для всех. Ты добр, ты требователен, ты дал мне счастье, потому что ты видел меня несчастной, но ты и не предполагал, что я гордилась своей бедностью: самые красивые страны мира казались мне ничтожными в зеркале твоего влюбленного взгляда.

Счастье? Ты так уверен, что счастье могло меня достаточно обезоружить? Только счастье придает цену жизни. Тебе хотелось осветить меня банальными зарницами счастья, ты жалел мою темноту — такую, как в комнате, если смотришь на нее сверху. Темноту, но не мрак. Моя темнота — это следствие ужасной тоски, я сумрачна, как сова, весела, как летучая мышь. Сумрак моей души прорезывался воспоминаниями... Но ты именно тот, в чьем присутствии я не имела права тосковать.

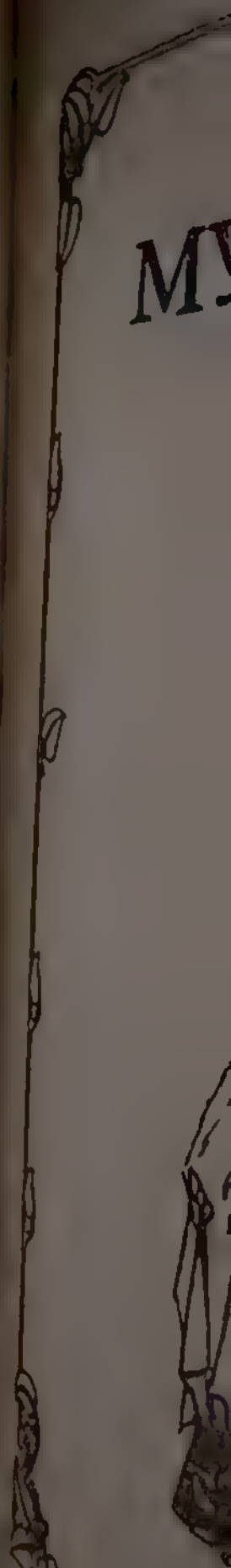
Я убегаю, но я еще не покинута тобою, я это знаю. Скиталица, обожающая свою свободу, я не раз еще пожалею об уюте твоих гостеприимных стен... Сколько раз порывалась я к тебе вернуться, мой дорогой, чтобы отдохнуть. Нередко я стремилась к тому, что ты мог бы мне дать: долгое взаимное наслаждение, многократно повторяемое... захватывающее падение, сладкое забвение, после которого возрождаются силы и ты чувствуешь, как переливается в тебе кровь... Ах, еще долго на моем жизненном пути ты будешь оставаться источником, которого я так жажду!

Я все-таки желаю тебя, как свесившийся с ветки, манящий мой взор плод, как недосягаемый ключ, как уютное, счастливое жилище, мимо которого я прошла, лишь слегка его коснувшись...

Я оставляю повсюду следы моих бродячих желаний, тысячу теней, похожих на меня, одни покоятся на горячих синеватых камнях моей родины, другие — в мрачных долинах одиночества, третьи свободно мчатся за птицами, за тучами и ветром, за волною...

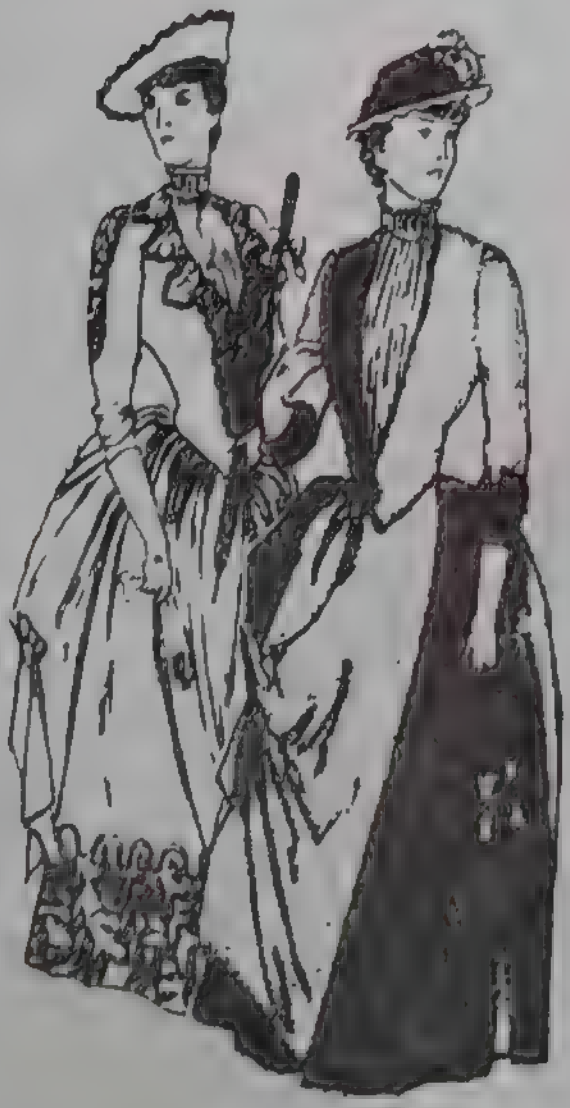
Сохрани в памяти самую большую из этих теней, самую дорогую для тебя: нагую, с растрепанными волосами, которую наслаждение колеблет, как травинку в ручейке... Но время сотрет в твоей памяти и ее, и ты ничего не будешь знать обо мне, пока я не найду себе где-нибудь упокоение: там, где покинет меня моя последняя тень...

Кто знает, где это случится?»



Поль Бурже

МУЧИТЕЛЬНАЯ ЗАГАДКА



I

Два ангела

Всякому, в чувствах которого воображение играет большую роль, хорошо известен род не сравнимой ни с чем грусти, вызываемой чересчур близким физическим сходством между матерью и дочерью, когда матери пятьдесят, а дочери двадцать пять лет и когда в лице одной из них мы как бы заранее усматриваем призрак старости другой. Как полно горечи для влюбленного это предвидение неизбежного увядания красоты любимого существа! Постороннего же наблюдателя подобные сходства наводят на массу странным образом порождаемых размышлений.

Действительно, редко бывает, чтобы сходство черт обоих лиц простиралось до полного тожества; еще реже встречается, чтобы выражение этих лиц было совершенно одинаковое; от одного поколения к другому существует как бы поступательное движение общего им темперамента; выдающаяся особенность физиономии становится еще более преобладающей — очевидный признак добытого путем наследственности развития характера, тонкие уже черты лица еще более утончаются, чувственные — делаются более рельефными, своенравные — более жесткими и сухими.

В том периоде, когда жизнь закончила уже свою работу, когда мать перешла шестидесятилетний возраст, наблюдателю становится как бы осязаемой эта последовательность в сходствах лиц и, вместе с тем, и весь ход нравственных обстоятельств, воздействовавших на душу целого поколения, две степени которого представляют собой данные два существа. Уяснение себе расовых предопределений становится тогда до мучительности ярким. У лиц, даже лишенных чувства обобщения идей, подобные сходства вызывают представление неумолимого, трагического воздействия законов природы, а как тяжело себе представить это воздействие,

...на предметом его являются близкие нам существа, даже к которым мы и не питаем чувства любви!

Хотя семидесятидвухлетний старик, страдающий от полученной им в Африке болезни печени и от приобретенных в пятнадцати кампаниях пяти ран, некогда отправившийся на войну простым солдатом и вышедший в отставку в чине дивизионного генерала, и не должен был бы, собственно, быть способным на какие-либо философские размышления,— тем не менее именно подобного рода размышлениям предавался в этот вечер генерал граф Александр Силли, выйдя из гостиной небольшого дома на улице Вано, где он оставил своего старого друга, госпожу Кастель, и ее дочь, госпожу Льоран.

На стоящих на камине этой гостиной часах чистейшего стиля Империи, подаренных Наполеоном I отцу госпожи Кастель, пробило одиннадцать; как и всегда, при первом же ударе генерал поднялся с места и уехал в поданном к подъезду экипаже. По правде говоря, у графа имелись довольно основательные причины, вызвавшие в нем столь глубокое смущенное состояние духа. После кампании 1870 года, последней для него, доставившей ему чин дивизионного генерала и окончательно расстроившей его здоровье, он очутился в Париже, где имел из всей родни только каких-то дальних кузенов, которых он недолюбливал, у него вышли с ними какие-то неприятности из-за полученного им после смерти их общей кузины наследства. Какую историю подняли они с завещанием этой старушки и кого осмелились они обвинить в обманном захвате имущества! Его, графа Силли, родного сына лейпцигского героя! Руководимый присущим холостякам всех возрастов чувством необходимости заменить пристанище отсутствующей родной семьи установленными привычками, генерал принужден был создать себе домашний угол, конечно, вне своей квартиры старого, отставного служаки.

По некоторым обстоятельствам он сделался чуть ли не ежедневным застольным гостем дома на улице Вано, занимаемого двумя дамами, к которым, впрочем, он уже издавна питал чувство особой привязанности. Старшая из них, Мария-Алиса Кастель, была вдовой первого его покровителя, капитана Губерта Кастеля, убитого на его глазах в Алжире, в то время, когда он, Силли, был еще только простым сержантом; вторая, Мария-Алиса Льоран, была вдовой самого дорогого его

протеже, капитана Альфреда Льорана, убитого в Италии. Тому, кто хоть сколько-нибудь изучал характер старого холостяка и старого военного служаки, так сказать — холостяка вдвойне, должно быть вполне понятно при простом изложении этих фактов, какую роль эта мать и эта дочь играли в жизни генерала Силли.

Всякий раз, когда он покидал их и в карете возвращался к себе домой, генерал только и делал, что мысленно восстанавливал малейшие подробности своего посещения. А возвращение это длилось довольно долго, так как он жил на Орлеанском бульваре, в нижнем этаже унаследованного им от своей кузины старинного дома; к тому же карета двигалась довольно медленно, так как влачила ее бывшая полковая, почтенного возраста и очень смирная лошадь; лошадью этой добродушно правил бывший денщик генерала, верный Бертран, который не согласится хоть бы раз хлестнуть ее даже за целый бочонок своей излюбленной водки из виноградных выжимок. Да и сам по себе экипаж подвигался вперед довольно туго: низкий и тяжелый, он представлял собой настоящий тип вдовьего рыдвана, оставленного генералом в неприкосновенном виде, с его обивкой из бледно-зеленой кожи и темно-зелеными шторами. Нет надобности, конечно, прибавить, что карета эта досталась Силли одновременно с домом. Привыкший к невзгодам военной службы, которой он предался всей душой, старый ворчун в своем неведении наивно считал этот экипаж верхом роскоши; пропустив руку в ремень у окна кареты и расположившись на том самом сиденье, на котором в дни оные с негою покачивалась его кузина, он мысленно представлял себе гостиную дома на улице Вано с двумя обитательницами этого тихого убежища, с его высокими запертыми окнами, позади которых простирается тянущийся от улицы Варэн до улицы Бабилон княжеский сад со всеми его подробностями, ему так хорошо знакомыми...

Висевшие на стенах три больших портрета свидетельствовали о том, что со времени революции все принадлежавшее к этой семье мужское поколение служило на военной службе. Первый из них — дед, полковник Губерт Кастель, изображен художником Гро в суровой форме кирасиров Империи с обнаженной головой, с могучей шеей, плотно охваченной воротником из темно-голубого сукна, с кирасой на груди, с узкими рукавами и с белыми кирасирскими перчатками. Слишком быст-

помешало Наполеону вознаградить по за-
фицера, которому он был обязан спасе-
во время русской кампании. Затем следовал
сына этого сурового кавалериста, капитана
риканской армии, которого Делакруа увековечил в
голубом длинном мундире с мелкими фалдочками и в
их, суживающихся книзу красных панталонах;
портрет Альфреда Льорана, рисованный
Фландреном, в форме пехотного офицера, одинаковой
с той, которую носил сам Силли. Висящие там и тут
миниатюрные портреты изображали то снова полковни-
ка Кастеля в эпоху, предшествовавшую получению им
его последнего чина, то разных лиц из общества ста-
рого режима, так как госпожа Кастель была урожден-
ной де Транс, из весьма многочисленной и благородной
семьи провансальских Трансов, живших в окрестностях
городка Эг-Морта.

Отец полковника Кастеля, бывший простым управ-
ляющим в имении отца Марии-Алисы во время смутной
эпохи 1792 года, спас весьма скромное, в сущности,
имущество этой семьи, и, когда в 1829 году мадемуазель
де Транс пожелала выйти замуж за внука этого чест-
ного малого, внука, кстати бывшего сыном всем извест-
ного офицера, она не встретила ни с чьей стороны нака-
кого препятствия. Таким образом можно было про-
честь все прошлое госпожи Кастель и ее дочери на сте-
нах этой гостиной, строгой по стилю и в то же время
весьма уютной, как и все те комнаты, в которых подолгу
проводят время лица, свято чтущие свои воспоминания.

Конечно, обстановка этой гостиной, представляющая
весьма любопытную смесь стилей Империи, Реставра-
ции и Июльской монархии, не соответствовала мате-
риальным средствам обеих дам, сделавшимся благодаря
их скромному образу жизни довольно значительными;
но зато там не было ни одной вещи, которая не напо-
минала бы о каком-нибудь существе, одинаково дорогом
как им, так и Силли, посвященному с детства во все,
касающееся этой семьи. Да и отец Силли был возведен
в графское достоинство в тот самый день, когда Кас-
тель, его сослуживец, получил чин полковника. Именно
глубокое знание всей жизни этих двух женщин и делало
старика столь чувствительным ко всему, их касающе-
муся. Он до такой степени сжился с их существова-
нием, что всю ночь проводил без сна, если ему случа-
лось оставлять этих дам чем-либо озабоченными. У это-

го сухого и как бы ушедшего в самого себя человека, у которого во всем, начиная с неподвижного выражения глаз и до размеренности походки и строго правильной осанки, так и проглядывала военная выправка,— как только дело касалось его двух друзей, обнаруживался такой запас чувствительности, какой вряд ли можно было бы в нем подозревать по роду его жизни.

Именно в этот февральский вечер 1880 года он находился в одном из подобных состояний волнения, которое испытывает любовник при виде слез своей метрессы, не зная причины их происхождения. «Что могло бы их огорчить, о чем они не пожелали ему сообщить?» — в сотый раз задавал себе вопрос генерал в то время, как экипаж его при сильном ветре и под проливным дождем медленно подвигался вперед.

Погода была «прусская», как выражался кучер графа; но граф и не думал поднимать окно в карете и, несмотря на врывавшиеся каждые пять минут порывы ветра с дождем, продолжал ломать себе голову над интересовавшим его вопросом. А его бедные друзья весь вечер были, действительно, ужасно грустны, и генерал мысленно представлял себе их обеих в том виде, какой запечатлелся у него в последнюю минуту их расставания: мать — в качалке, у камина, с совершенно белыми волосами, с гордым профилем и с черными глазами, странно выступающими на этом сморщенном лице с продольными морщинами, которые указывают на благородство происхождения. Постоянная, поражающая бледность ее лица, бесцветного, точно лишенного вовсе крови, обнаруживала перенесенные ею безмерные горести вдовства, недоступного уже никаким утешениям. Но в данный вечер бледность эта показалась графу еще более поразительной, равно как поразило его и особое беспокойное выражение лица ее дочери. Несмотря на то, что госпоже Льоран было уже за сорок, нельзя было найти ни одной седины в ее черных волосах, украшавших увядшее, но не поблекшее еще лицо, на котором можно было отыскать черты ее матери, только еще более исхудалые и более страждущие. Вследствие нервной болезни она почти не вставала с кушетки, находившейся в этот вечер как раз против кресла госпожи Кастель, так что генерал, покидая салон, имел возможность наблюдать выражение лиц обеих женщин и как бы угадать, что младшая из них находилась под игом двойного вдовства. В сущности в этой

не осталось уже никакого сопротивления
им жизненным невзгодам.

Зная хорошо ту полную нежности и огорчений
женщину, в которой выросла вторая Мария-Алиса,
прежде чем переступить в область новых страданий,
Сигэи отлично понимал, что это чувство двойного
вдовства происходит от преувеличения у дочери чувст-
вительности, и так уже обостренной у ее матери. Тем не
менее уже много лет это грустное настроение обеих вдов
оживлялось или, вернее, скрашивалось присутствием
сына и внука, Александра-Губерта Льорана, родившего-
ся за несколько месяцев до итальянской кампании.

Это было прелестное существо, немного хрупкое,
по мнению его крестного отца, генерала, называвшего
его часто мадемуазель Губерт, но очень грациозное,
как и все молодые люди, воспитанные исключительно
в женском обществе. Было бы странно, чтобы при тех
обстоятельствах, в которых находились его мать и баб-
ка, он не составлял для них всего в мире. «Должно
быть, он-то и составляет причину их грусти, да ведь
о войне пока еще нет никаких слухов...»,— убеждал се-
бя старый вояка-граф, припоминая данное ему молодым
человеком обещание немедленно же поступить на воен-
ную службу, как только между Германией и Францией
возгорится новая борьба. Под этим единственным толь-
ко условием он решился не противоречить отчаянному
желанию обеих женщин — не отпускать от себя моло-
дого человека, который сначала, действительно, чувство-
вал было влечение к службе; но одна только мысль —
видеть это дитя в военной форме — приводила в ужас
госпожу Кастель и ее дочь, и Губерт остался около
них, променяв на их взаимную любовь какую бы то
ни было карьеру.

Воспоминание о крестном сыне навело графа на це-
лый ряд мыслей. Экипаж его в это время сворачивал
с улицы Вас на бульвары. Обливший лицо старого воина
дождь побудил его наконец поднять бывшее все время
спущенным окно. Внезапное ощущение холода застави-
ло его еще более углубиться в угол кареты и в свои
думы. Очень часто случается, что вызываемое у челове-
ка вследствие какого-либо неприятного физического
ощущения чувство самозащиты почему-то увеличивает
у него в то же время способность воспоминания; это-то
именно и произошло теперь с генералом, которому
вдруг почему-то пришло в голову то обстоятельство,

что уже несколько недель крестный его сын весьма редко бывает по вечерам на улице Вано. Генерал не особенно и беспокоился об этом, зная, что госпожа Льоран из боязни наскучить сыну их замкнутой жизнью сама желала, чтоб он не удалялся от общества. Но какое-то предчувствие заставляло теперь Силли находить связь между отлучками Губерта и той необъяснимой грустью, которая написана была на лицах обеих женщин. Он так хорошо понимал, что существование этого сына и внука представляло собой конечную цель всех сердечных помыслов бабушки и матери!..

И он восстанавливал в своей памяти тысячу самых разнообразных сцен проявления страстной нежности, при которых ему случалось присутствовать со времени рождения Губерта... Он вспоминал эту бледность, внезапно покрывшую лицо госпожи Кастель, и эти мучительные мигрени госпожи Льоран при малейшем нездоровье мальчика... Ему снова представлялись учебные дни ребенка, за занятиями которого следила сама мать... Сколько раз удивлялся он терпению молодой женщины, видя, как она проводила целые вечера за какой-нибудь страницей латинской или греческой книги, которую должен был на другой день перевести ее дорогой ученик. Вследствие свойственного многим матерям трогательного и безумного избытка нежной любви, заставляющего их страдать при малейшем разногласии между их мыслями и мыслями их сыновей, госпожа Льоран неотступно следила за развитием своего ребенка. На каждом уроке Губерта, наверху в небольшой комнате, неизменно присутствовала его мать с какой-нибудь работой для благотворительного общества или для бедных, без устали следя за каждым словом преподавателя.

Эта удивительная, граничащая с ревностью чувствительность довела ее до того, что она даже не пожелала пригласить обыкновенного учителя, а выбрала для обучения Губерта профессоров из лиц, рекомендованных ей знакомым священником церкви св. Клотильды. В то же время она совершенно отстранила профессоров от какого бы то ни было влияния на ребенка, влияния, которое она допускала только со стороны его бабушки. Когда настало для него время брать уроки верховой езды и фехтования, несчастная женщина, которой каждый час разлуки с ним причинял трудноскрываемое даже от посторонних беспокойство, целые месяцы не

решиться на это. Наконец она согласилась, но условии, чтобы уроки фехтования проходили в ее доме, в комнате нижнего этажа. Уроки эти преподавал три раза в неделю некий Леконтр, бывший ротный командир в полку генерала Силли начальником фехтовального класса и ныне поселившийся в Париже.

Несчастная мать не смела признаться, что при одном только лязганье сабель ее охватывала безграничная боязнь какого-нибудь несчастного случая. Генерал убедил ее также доверить ему молодого человека для верховой езды в манеже, но и то при условии, чтобы он его не покидал ни на минуту, хотя каждый урок верховой езды служил новой причиной ее тайного страха.

Граф Силли отлично понимал все эти оттенки проявления любви, превратившей воспитание молодого человека в целую поэму ложных страхов, блаженств, смешанных с горестью, и постоянных опасений. И хотя все это сильно противоречило его взглядам, он в силу своей сердечной привязанности к этой семье извинял эту ненормальность, зная к тому же, что и госпожа Кастель в этом отношении была так же слаба, как и ее дочь. Сколько раз случалось ему подмечать взгляды, полные самого пламенного и нераздельного обожания, которые бросала на Марию-Алису Льоран и Губерта эта бледная старуха!..

С тех пор прошло много времени. Несмотря на двадцатидвухлетний возраст молодого человека, обе вдовы продолжали окружать его той сферой нежной заботливости, с помощью которой матери, жены, любовницы или вообще любящие женщины умеют так хорошо сделаться необходимыми предмету их страсти. С необыкновенной тщательностью, полной тайных наслаждений, устроили они ему самую очаровательную холостую квартиру. Они велели увеличить флигель, находившийся позади дома, на повороте в небольшой сад, граничивший с громадным садом улицы Варэн. Из окон своей спальни госпожа Льоран могла видеть окна своего сына, имевшего, таким образом, свой собственный, независимый мирок. Обе женщины отлично понимали, что самый лучший способ удержать Губерта около себя заключался в том, чтобы дать молодому человеку волю и возможность устроить свой образ жизни по собственному усмотрению.

В нижнем этаже этого флигеля, на уровне с садом, находились две большие комнаты, бильярдная и другая,

приспособления для
принимал своих при
женского предместья;
уже больше не выезж
кали еще постоянные
этого предместья, уча
тельных делах. Лица э
и строго отличающее
гораздо более сплоче
более серьезных и чис
из молодых друзей
обстановкой, подобной
лись устроить в бельэ

Сами они, живя в
ным вдовам, и сохраняя
обстановку, по отноше
стремление к современ
молодого человека бы
очень красивого и кокет
выписанной из Англии.
родственниц, отчаянно
вавших их вещей, госп
точно побуждаемые ка
ставили себе удовольс
такими же элегантным
обращенной к югу и в
лись прелестный трех
рельефные деревянные
зеркало над камином,
чика, низкая квадратна
торых не хотелось вста
стоящий «home»* с сам
торый можно встретить

Рядом находились
Хотя Губерт еще не кур
предвидя и эту привыч
этим, чтобы устроить м
вкусе с массой персид
ванном, драпированным
ми, принесенными генер
материи покрывали пото
возможное оружие,
ний военных. Египетски

* Дом (англ.)

приспособленная для фехтования. Здесь-то Губерт и принимал своих приятелей — молодежь из сен-жерменского предместья; хотя госпожа Кастель и ее дочь уже больше не выезжали, тем не менее они поддерживали еще постоянные знакомства с некоторыми лицами этого предместья, участвующими в разных благотворительных делах. Лица эти составляли совершенно особое и строго отличающееся от светского круга общество, гораздо более сплоченное вследствие более близких, более серьезных и чисто личных отношений. Но ни один из молодых друзей Губерта, конечно, не располагал обстановкой, подобной той, которую обе дамы постарались устроить в бельэтаже флигеля.

Сами они, живя в простоте, свойственной безутешным вдовам, и сохраняя в неприкосновенности старинную обстановку, по отношению к Губерту проявили вдруг стремление к современной роскоши и комфорту. Спальня молодого человека была обтянута японской материей очень красивого и кокетливого рисунка и убрана мебелью, выписанной из Англии. Заметив у одной из своих дальних родственниц, отчаянной англоманки, несколько очаровавших их вещей, госпожа Кастель и госпожа Льоран, точно побуждаемые капризом влюбленных женщин, доставили себе удовольствие снабдить своего любимца такими же элегантными предметами. Так, в комнате, обращенной к югу и всегда залитой солнцем, находились прелестный трехстворчатый зеркальный шкаф, рельефные деревянные украшения по стенам, большое зеркало над камином, два кокетливых угольных шкафчика, низкая квадратная постель, чудные кресла, с которых не хотелось вставать,— словом, это был тот настоящий «home»* с самым утонченным комфортом, который можно встретить у любого богача-англичанина.

Рядом находились ванная и курительная комнаты. Хотя Губерт еще не курил, тем не менее обе женщины, предвидя и эту привычку в будущем, воспользовались этим, чтобы устроить маленькую комнатку в восточном вкусе с массой персидских ковров и с широким диваном, драпированным разными алжирскими материями, привезенными генералом из его походов. Такие же материи покрывали потолок и стены, на которых висело всевозможное оружие, оставшееся после трех поколений военных. Египетские сабли напоминали о первом

* Дом *(англ.)*

помоге, совершенном Губертом Кастелем, состоявшим в свите Бонапарта; арабское оружие принадлежало капитану африканской армии; разные сувениры из крымской кампании указывали на то, что подпоручик Льоран находился под стенами Севастополя.

За курительной следовал кабинет с двойными окнами и расписными стеклами, и посреди этой комнаты стоял большой письменный стол и стул-вертушка, на котором сидящий мог, не вставая, повертываться в сторону камина; если бы молодому человеку вздумалось писать стоя, к его услугам была небольшая конторка; в углу стояли пианино и кушетка и совсем в глубине комнаты — длинный и низкий библиотечный шкаф. Выбор находившихся в этом шкафу книг, пожалуй, лучше всего характеризовал ту боязливую заботливость, с которой госпожа Кастель и госпожа Льоран постарались все устроить в комнатах сына: даже выбором книг они хотели держать в своих руках молодого человека в продолжение самого опасного для него возраста от двадцати до тридцати лет.

В качестве вдов военных они обе сохранили потребность в деятельной жизни, но в то же время вследствие своей крайне преувеличенной любви к Губерту не допускали и мысли, чтобы он мог принимать какое-либо участие в подобной жизни. Чтобы как-нибудь примирить эти оба свои стремления, их мечтою сделалось создать для него совершенно особый род занятий, и они наивно вообразили себе, что наиболее подходящим для него занятием будет какое-нибудь большое историческое исследование, вроде того, какое оставил после себя один из Трансов XVIII столетия — «О походах фельдмаршала Саксонского». Не было ли это, в самом деле, наилучшим средством, чтобы Губерт большую часть времени проводил у себя, а также и у них? С этой целью они приобрели, согласно указаниям генерала Силли, порядочную коллекцию необходимых книг. Полное собрание писем Наполеона I, разные мемуары, касающиеся Франции, и масса книг о всевозможных путешествиях составляли ядро этой библиотеки; затем пополняли ее несколько религиозных книг, небольшое количество романов и из новых писателей одни только сочинения Ламартина. Нелишне также упомянуть, что в этом захолустном уголке не получалось ни одной газеты и современная литература

была совершенно неизвестна, и в этом отношении мнения генерала и обеих женщин совпадали.

Точно такое же неведение царило здесь относительно современных событий и жизни. В этой гостиной на улице Вано можно было подслушать самые удивительные разговоры, в которых граф сообщал, например, что Францией теперь правят уполномоченные от разных тайных обществ, или же излагал другие политические теории такого же рода. Одинаковые причины ведут всегда к одинаковым последствиям: как это случается с живущими в каком-нибудь маленьком провинциальном городке, монотонность повседневных привычек обеих вдов привела к такому же однообразию в их мыслях. У обитательниц этого старого дома чувства были очень глубоки, но мысли далеко не отличались той же глубиной. Заглянув вовнутрь двора, ворота которого открывались весьма редко, можно было заметить здание, на фронтоне которого виднелась латинская надпись, выгравированная некогда в честь маршала Крэки, первоначального владельца этого дома: «Marti invicto atque indefesso», то есть «Непобедимому и неутомимому Марсу». Вышина окон бельэтажа и нижнего этажа, старинная окраска кирпичей, тишина во дворе — все отвечало характеру обеих обитательниц, отличавшихся необыкновенными предрассудками.

Госпожа Кастель и ее дочь верили в предчувствие, ясновидение, сомнамбулизм и были, например, убеждены, что Наполеон III предпринял итальянскую кампанию вследствие клятвы, данной им в качестве члена тайного итальянского общества карбонариев. Обе эти безгранично добрые женщины ни за что не согласились бы даровать свою дружбу какому-нибудь протестанту или еврею. Одна мысль, что он мог бы оказаться вольнодумцем, точно так же ужасала их, как если бы им вздумали рассказывать о святости какого-нибудь преступника. Даже сам генерал признавал их довольно наивными женщинами. Впрочем, как часто бывает со многими военными, которым вследствие их бродячей жизни и скрытой под суровой наружностью робости доступна только мимолетная любовь, Силли слишком мало знал женщин, чтобы достаточно оценить всю ту простоту и то полнейшее неведение зла, в которых жили обе Марии-Алисы. Он полагал, что так должны жить порядочные женщины, всех же остальных обзывал общим именем «подлые». Тон, которым ему случалось

в печени произносить это
рывать в его прошлом какое-
ьание. Но изменила ли ему или
гарнизонная искательница приклю-
аберное, и не подумал поинтересовать-
из тех немногих посетителей, которых он
у своих двух ангелов, как он называл госпожу
Кастель и ее дочь...

Убаюкиваемый движением экипажа, увозившего его с улицы Вано, генерал продолжал отдаваться этому охватившему его наплыву воспоминаний, восстановивших ему в какие-нибудь четверть часа все подробности существования его друзей. Рядом с ними припомнились ему и другие лица, и в том числе, между прочим, родная кузина госпожи Кастель — одна из Трансов, проводящая часть года в провинции и приезжающая на зимний сезон в Париж с тремя своими дочерьми — Иоландой, Изольдой и Изабеллой. Эти четыре особы останавливались в частной квартире на улице Месье, и все их парижское времяпрепровождение заключалось в слушании каждое утро обедни в маленькой церкви монастыря на улице Баруйер, в посещении разных других монастырей или же в занятиях рукоделием после полудня. Спать ложились они в половине девятого, обедали в двенадцать и ужинали в шесть.

Два раза в неделю эти «дамы де Транс», как говаривал генерал, бывали по вечерам у своих кузин. В эти вечера они возвращались к себе в десять часов, причем за ними заходил их лакей с целой кучей калош и с фонарем, предназначенным для безопасности прохождения через двор дома госпожи Льоран. Лица у графини де Транс и ее трех дочерей были точно у мужичек — загорелые и в веснушках. Одевались они у модисток, рекомендованных им монашенками. Во всей их внешности так и проглядывало скряжничанье, и единственным признаком их аристократического происхождения служили прелестной формы ручки и ножки, очаровательные, несмотря даже на готовую обувь, которую они покупали в каком-то приюте на улице Сэвр.

Замечательный контраст с ними представлял собой Жорж Льоран, кузен второй Марии-Алисы, единственный представитель всего изящного в гостиной на улице Вано. Это был мужчина лет сорока пяти, вращавшийся в очень богатом обществе, обладавший сначала весьма

скромными средствами, но разбогатевший потом вследствие удачных спекуляций на бирже. У него была своя квартира в клубе Эмперьяль; там же он завтракал, а обедал у одних своих близких знакомых, у которых его прибор был всегда накрыт. Роста он был маленького, худой, с узкими и хитрыми глазами и с очень темными волосами, вопрос о том, был ли цвет его волос и остроконечной бородки натуральный или он их красил, составлял издавна предмет спора между тремя сестрицами де Транс, которые приходили в необыкновенный восторг от удивительной его манеры держаться, от его бальных башмаков с блестящей подошвой вышитых стрелок на шелковых чулках, узорных золотых запонок на манжетах и большой жемчужины в галстуке, — словом, от всех этих мелочей, по которым можно было судить о его широком образе жизни.

Девицы эти решили между собой, что он имел губительное влияние на Губерта. Их мнения, впрочем, вовсе не разделяла госпожа Льоран, поручившая Жоржу быть покровителем ее сына в светском обществе, когда она пожелала, чтобы этот последний завязал кое-какие знакомства. Этим знаком доверия эта благородная женщина вознаграждала Жоржа за его постоянные, давнишние посещения ее дома. Уже много лет он аккуратно являлся в это мирное жилище, потому ли, что незыблемость этой привязанности являлась для него отрадой среди повальной лжи, царящей в парижском обществе, или потому, что он уже издавна питал к своей кузине Льоран то чувство тайного поклонения, которое внушают иногда, помимо их желания, непорочные женщины мизантропам, а Жорж именно и был таким пессимистом, какие встречаются почти между всеми клубными завсегдатаями. Склад характера этого человека, склонного во всем и всегда видеть зло, составлял постоянно предмет удивления генерала, который не мог никак с этим смириться. Но сейчас Силли вовсе не задумывался над этим; воспоминание о Жорже Льоране только еще более направило течение его мыслей к Губерту. Этому достойному человеку становилось ясно, что единственной причиной столь сильной грусти обоих ангелов могло быть только их детище. Да, но почему?.. Этот вопрос, к которому направлены были все его думы в продолжение всего пути, еще глубже засел в голове у графа, когда его вдовий экипаж подъехал к дому. По другую сторону ворот стояла чья-то карета; Силли по-

маленькая каретка, подаренная госпо-
ну.
вы, Жан? — крикнул он среди дождя ку-
Да, господин граф,— ответил ему голос, который
знал с испугом
«Значит, Губерт у меня»,— подумал он и вошел
в дверь, охваченный таким любопытством, какого он уже
много лет не испытывал.

II

Губерт Льоран

Для удовлетворения этого любопытства генерал, впрочем, не сделал ни одного более быстрого движения, чем обыкновенно. Благодаря строго выработанной военной точности никакое волнение не могло вывести его из обычного хладнокровия. Он сам поставил на свое место тросточку, медленно снял одну за другой меховые перчатки и положил их на столик в передней рядом со своей так же аккуратно положенной шляпой. С той же медлительностью лакей снял с него пальто. Только после этого он вошел в комнату, в которой, как ему сказал лакей, уже полчаса дожидался его молодой человек.

Комната эта отличалась довольно грустным видом, указывавшим на то, что образ жизни ее хозяина ограничивался удовлетворением только самых насущных потребностей. Две стены были заняты дубовыми полками с грудой книг, по одному виду которых можно было судить, что это разные официальные сборники. На остальных стенах красовались карты и оружие — трофеи былых походов. На письменном столе, стоявшем посредине комнаты, лежали расположенные по отделам разные бумаги; это были выдержки большого, неоконченного труда о преобразовании армии, предпринятого графом в сотрудничестве со своим старым сослуживцем и другом генералом де Жадром. Между наугольниками и линейками лежали аккуратно сложенные два рабочих люстриновых нарукавника. На украшенном решеткой камине, в котором догорали остатки каменного угля, красовался бюст Бюжо. Пол в этой комнате был плитяной, и только под столом находился небольшой, не выходивший за пределы ножек, ковер. На столе стояла зажженная в настоящую минуту

лампа из полированной меди, с зеленым бумажным абажуром, благодаря которому свет лампы еще более падал на лицо молодого Льорана, расположившегося в кресле напротив камина. Он до такой степени углубился в свои мечты, что, казалось, не слыхал, как подъехала карета, как генерал вошел в комнату.

Никогда еще Силли не был так поражен, как в эту минуту, тем удивительным сходством, которое существовало между физиономией этого юноши и лицами воспитавших его обеих женщин. Уже госпожа Льоран на вид казалась гораздо слабее своей матери и менее способной противостоять каким бы то ни было житейским невзгодам; Губерт же оказался существом еще более хрупким. Под фраком из тонкого сукна (он был одет по-бальному, с бутоньеркой из белых цветов в петлице) обозначались худенькие плечи; пальцы рук были тонки, как у женщины. Бледность его лица, обыкновенно розового, благодаря правильному образу жизни указывала в эту минуту грусти, как глубоко отражалось малейшее волнение на этом крайне нежном организме. Под его красивыми глазами были черные круги; но в то же время — нечто необыкновенно гордое в очертаниях благородного лба; тонкий, немного приплюснутый нос, склад губ с темными усами, твердый подбородок с мужественной ямочкой, очертания нахмуренных бровей и другие признаки указывали на происхождение этого избалованного двумя уединившимися женщинами юноши от поколения весьма деятельных людей. Если бы генерал столько же понимал в живописи, сколько в оружии, он, наверное, при виде этого лица вспомнил бы о вандейковских портретах молодых принцев, в которых замечалось соединение почти болезненной чувствительности вымирающего поколения с гордостью крови былых героев. Но вовсе не подобного рода воспоминания заставили генерала призадуматься, прежде чем он подошел к столу.

Губерт поднял свою красивую голову, которую черные кудрявые волосы, спутанные в настоящий момент, делали еще более похожей на портреты работы придворного художника Карла I, и, увидев своего крестного отца, встал, чтобы поздороваться с ним. Несмотря на небольшой рост, он был очень строен, и по одной только грациозной манере, с какой он подал руку, можно было угадать влияние долгой материнской заботливости. И действительно, разве наши манеры не пред-

[illegible] ной никогда не сглаживающегося результата [illegible] ваний, которые нам делались с самого раннего детства?

— Ты, должно быть, хочешь поговорить о чем-нибудь очень серьезном,— сказал генерал, приступая прямо к делу.— Я, впрочем, уже догадывался об этом — прибавил он,— я оставил твою мать и бабушку в таком грустном настроении, какого я у них не помню со времени итальянской кампании. Отчего ты не был у них сегодня?.. Знаешь, Губерт, ты был бы жестоко неблагодарным существом, если бы огорчил чем-нибудь этих двух женщин, пожертвовавших ради твоего счастья всей своей жизнью... Ну-с, в чем дело?..

Произнеся эти слова, генерал продолжал вслух высказывать те мысли, которые его так беспокоили в течение всего возвращения к себе с улицы Вано. По мере того как он говорил, он мог заметить, как черты лица молодого человека искажались от волнения. Вследствие несчастного темперамента, унаследованного этим избалованным любовью юношей, малейший жесткий звук чьего-нибудь голоса заставлял его сердце болезненно сжиматься, а жесткость тона графа Силли, конечно, усиливалась еще жесткостью смысла его слов. Слова эти довольно грубо затрагивали рану, слишком свежую... Губерт опустился на место точно разбитый; затем голосом, от природы не особенно звучным, а теперь казавшимся еще более глухим, он ответил, не пытаясь даже отрицать того, что он именно и был причиной огорчения обеих женщин:

— Не расспрашивайте меня, крестный; могу только дать вам честное слово, что я не виноват, объяснить же вам недоразумение, вызвавшее их огорчение, я не могу... Все мое преступление заключается в том, что я несколько чаще стал выходить из дому...

— Ты мне не говоришь всей правды,— возразил Силли, смягчаясь под влиянием очевидного страдания молодого человека.— Я всегда думал о том, что твоя мать и бабка чересчур уж желают пришить тебя к своим юбкам. Если бы я был твоим отцом, ты был бы немножко посуровее воспитан; женщины в этом ничего не смыслят. Но вот уже два года, как они сами хлопочут о том, чтобы ты бывал в обществе... Тут дело вовсе не в том, что ты выходишь из дому, а в причинах, почему ты выходишь...

Произнеся эту фразу, которую он считал необыкно-

венно ложью сказанной, граф посмотрел на своего крестного сына сквозь дым закуренной им только что коротенькой трубочки — машинальная его привычка, достаточно объяснявшая царившим в комнате острый запах. Он заметил, как кровь сразу прихлынула к щекам Губерта, что для наблюдателя более опытного служило бы неопровержимым признанием. Один только намек или опасение подобного намека относительно любимой женщины в состоянии были бы так смутить такого, видимо, нравственного молодого человека. Очевидно, он очень боялся дать это заметить, так как, смутившись еще более, ответил:

— Уверяю вас, крестный, в моем поведении решительно нет ничего такого, чего я должен был бы стыдиться. Первый раз со мной случается, что ни моя мать, ни бабушка меня не понимают. Но я им не уступлю в том, что составляет предмет нашего спора. Они обе несправедливы, ужасно несправедливы...— продолжал он, поднявшись с места и начав ходить по комнате. На этот раз лицо его выражало уже не страдание, а неукротимую гордость, бывшую у него в крови вследствие военного атавизма. Он даже не дал генералу времени возразить на его слова, которые в устах сына, обыкновенно очень почтительного, теперь звучали страстью, доведенной до крайних пределов. Наморщив брови, он тряхнул головой, как бы желая отделаться от докучливой мысли, и, снова овладев собою, сказал:

— Я не для жалоб пришел к вам, крестный: вы косо посмотрели бы на это и были бы правы... Я хочу попросить у вас услуги, большой услуги, но я желал бы, чтобы все, что я вам доверю, осталось между нами.

— Ну, подобных обязательств я на себя не беру,— сказал граф,— потому что не всегда имеешь право молчать. Все, что я могу тебе обещать, это — хранить твою тайну, если только, конечно, моя привязанность — к кому, ты сам знаешь,— не поставит меня в необходимость говорить. Теперь решай сам...

— Хорошо,— возразил молодой человек после некоторого молчания, во время которого он, вероятно, понял свое положение,— то, что я хочу вам сказать, не требует длинных фраз. Крестный, можете ли вы мне одолжить три тысячи франков?

Вопрос этот был столь неожидан для графа, что течение его мыслей сразу приняло другое направление.

...ый пытался разгадать секрет моло-
...вляющий в то же время и секрет
...ий, и был почти убежден, что здесь дело
...кой-нибудь приключении, в котором замешана
... Подобное обстоятельство, в сущности, его не
...кировало. Несмотря на всю свою набож-
...ность, Силли сохранил в себе слишком много военного
...чтобы не быть снисходительным к любовным
...влечениям. Военная жизнь приводит всех причастных
к ней людей к упрощению образа мыслей, допускаю-
щего всевозможные факты в истинном их виде. Какая-
нибудь «негодница» была в глазах просто-напросто не-
обходимой болезнью для молодого человека, лишь бы
только эта болезнь была не особенно продолжительна
и сам молодой человек был не слишком затронут ею.
Но вдруг у него закралось подозрение чего-то более
ужасного, подозрение карточного долга: убедившись
еще во время службы на собственном опыте, он считал
карты более опасными, чем женщины.

— Ты играл? — резко спросил он.

— Нет, крестный,— ответил молодой человек,— я просто издержал в эти месяцы более назначенного мне содержания. Мне надо заплатить кое-какие долги и ехать,— прибавил он,— послезавтра в Англию.

— Твоя мать знает, что ты уезжаешь?

— Конечно. Я проведу в Лондоне две недели у моего приятеля, Эммануила Деруа, служащего в посольстве, вы знаете его.

— Да, но если мать тебе позволяет ехать,— возразил старик, продолжая свой допрос со строгой логикой,— то потому только, что поведение твое в Париже заставило ее сильно страдать. Скажи мне откровенно: у тебя есть любовница?

— Нет,— ответил Губерт с новой краской в лице,— у меня нет никакой любовницы.

— Ну, если дело не идет ни о даме пик, ни о даме сердца,— сказал генерал, ни на минуту не усомнившись в правдивости слов своего крестного, которого он не считал способным солгать,— окажи мне честь и скажи, куда девались пятьсот франков, которые тебе дает мать ежемесячно на карманные расходы? Пятьсот франков — це-лое полковничье жалованье!

— Ах, крестный,— возразил молодой человек с видимым облегчением,— вы не знаете всех требований светской жизни. Вот, например, вчера я угостил обедом

в английском кафе своих трех приятелей, и это мне обошлось почти в восемь луидоров, разослал несколько букетов, взял экипаж для поездки в окрестности, послал несколько подарков... Пятисот франков ненадолго хватит! Словом, повторю вам, у меня есть долги, которые надо заплатить, да и на дорогу мне нужно денег, а я не хочу теперь обращаться ни к матери, ни к бабушке. Они не понимают, что значит жизнь молодого человека в Париже, а я не желаю одно недоразумение осложнить еще другим. Расскажи я им, как я провел сегодняшний день, они увидят ошибку там, где была только неизбежная необходимость. Да к тому же я просто физически не в состоянии переносить сцен с матерью.

— А если я откажу тебе? — спросил Силли.

— Тогда я обращусь к кому-нибудь другому,— сказал Губерт,— мне, конечно, это будет очень тяжело, но я это сделаю.

Наступило молчание. В глазах генерала вся эта история становилась еще более темной, чем дым его трубки, которой он методически попыхивал. Он ясно сознавал только одно: какова бы ни была тайная причина решения Губерта, решение это было неизменно. Отказать ему — значило бы прямо натолкнуть его на ростовщика или, в крайнем случае, принудить его к какому-нибудь поступку, обидному для его самолюбия. С другой стороны, одолжив своему крестному сыну деньги, он приобретал право близко следить за тайной, существование которой сказывалось как в возбужденном состоянии Губерта, так и в грустном настроении обеих женщин. Да и помимо всего этого граф питал к Губерту привязанность, граничащую со слабостью. Хотя мрачное отчаяние госпожи Льоран и ее матери глубоко его тронуло, тем не менее он был теперь очень потрясен болезненной тоской, написанной на лице этого юноши, которого он всегда мысленно представлял себе как своего приемного сына и любил как родного.

— Друг мой,— сказал он наконец, взяв за руку Губерта, голосом, в котором уже не слышно было и следа прежней жесткости,— я считаю тебя человеком порядочным и не способным запутать меня в какое-нибудь дело, неприятное твоей матери. Я исполню твое желание только с одним условием...

В глазах Губерта мелькнуло новое беспокойство.

— Просто я хочу, чтобы ты назначил срок, когда отдашь мне деньги. Я с удовольствием сделаю тебе

старый воин,— но было бы
б ты занял сумму, какую не
яшии возвратить, ни мечи, если бы я
в этом... Можешь ты прийти ко мне
...? Ты мне сделаешь расчет тот
...ваний откладывать каждый месяц из своего
...ержания. Да, придется перестать посылать букеты
и ... и прекратить угощения обедами в англий-
...ом кафе. Ведь обходился же ты все время без этих
глупых издержек?..

Эта маленькая речь, в которой одновременно отражались и свойственное генералу прямодушие, и доброта его сердца, и его взгляды на правильный образ жизни, так глубоко тронула Губерта, что он молча пожал руку своего крестного, как бы разбитый охватившим его волнением. Он почти не сомневался, что, пока он беседовал с генералом здесь, на Орлеанском бульваре, там, в доме на улице Вано, еще не спали, что оба столь любимых им существа обсуждали его отсутствие. Точно соединенный тайной связью с этими двумя одинокими женщинами, он страшно страдал из-за причиняемой им горести...

И действительно, после отъезда генерала в маленькой, мирной гостиной оба ангела долго хранили молчание. От всей трескотни парижской жизни к ним доносился только неопределенный, широко расплывающийся шум, подобный шуму отдаленного моря. Эта сплоченность жизни в этой уединенной комнате наряду с отголоском уличной жизни как бы служила символом того, что издавна выпало на долю госпожи Кастель и ее дочери. Мария-Алиса Льоран, такая худенькая в своем черном платье, лежала на кушетке, казалось, прислушивалась к этому уличному шуму или к своим мыслям. Работу свою она давно бросила, между тем как мать ее, тоже вся в черном, сидя в качалке, не переставала вязать черепаховым крючком и изредка поднимала глаза, в которых светилось двойное беспокойство. То, что испытывала ее дочь, она сама переживала и за Губерта, и за дочь почти болезненную слабость которой она хорошо знала. Первой нарушила молчание госпожа Льоран, которая, точно продолжая вслух свои думы, стала жаловаться:

— Еще невыносимее мне становится от того, что он видит, какую сердечную рану мне причиняет, и это все-таки не останавливает его. А прежде, с самого детства и до последнего времени, за исключением этих шести

месяцев, он никогда не мог видеть маленькой тени в моих глазах или складки моих бровей без того, чтобы лицо его сейчас же не изменилось. По этому можно судить, как велика должна быть его страсть к этой женщине... Что за страсть и что за женщина!..

— Не волнуйся,— сказала госпожа Кастель, встав с места и опускаясь на колени у кушетки дочери.— У тебя лихорадка,— заметила она, взяв ее за руку.

Затем, понизив голос и как бы углубившись в свою совесть, продолжала:

— К сожалению, дитя мое, ты так же ревнуешь твоего сына, как я всегда ревновала тебя. Много прошло времени, теперь я могу сказать тебе это, раньше, чем я полюбила твоего мужа...

— Ах, мама,— возразила госпожа Льоран,— это вовсе не одно и то же. Когда я отдала часть моего сердца человеку, которого вы позволили мне избрать, я себя этим нисколько ни унизила, тогда как вы сами знаете, что рассказал нам мой кузен Жорж об этой госпоже де Сов, о том, как она воспитана своей гнусной матерью, о ее репутации со времени ее замужества, об этом муже, допускающем, чтобы у его жены был салон, в котором ведутся более чем вольные разговоры, и об этом отце, бывшем префекте, который, овдовев, воспитывал свою дочь в обществе своих метресс. Признаюсь вам, мама, если в материнской любви заключается эгоизм, то во мне был этот эгоизм: я заранее уже страдала при одной только мысли, что Губерт женится и будет продолжать свою жизнь отдельно от моей. Тогда, конечно, я была не права, но теперь, когда у меня его отняли, с тем чтобы запятнать!..

Она продолжала еще некоторое время свои горькие жалобы, в которых обнаруживалось какое-то страстное безумие, заставлявшее ее сосредоточивать на сыне все свои сердечные помыслы. В ней страдала личность не просто матери, а матери вдобавок еще набожной, для которой человеческие ошибки являлись ужасными преступлениями; она была матерью, от всего уединившейся и печальной, которой соперничество с элегантной, богатой и молодой женщиной казалось унижением; одним словом, не было ни одного уголка в ее сердце, который бы не обливался кровью.

Вид этого горя так сильно взволновал госпожу Кастель и вызвал такое глубокое сожаление в ее глазах, что Мария-Алиса Льоран прекратила свои жалобы и,

…ери, поцеловала ее бледные глаза, …не на ее собственные, и сказала:

— Прости меня, мама, но кому, как не тебе, я могу …ать свое горе, и к тому же разве ты сама не …ишь бы его? А Губерта все нет,— прибавила она, посмотрев на часы с мирно тикающим маятником.— Как вы полагаете, не следовало ли мне вовсе не разрешать ему этой поездки в Англию?

— Нет, дитя мое, почему не позволить ему поехать погостить к своему приятелю? А если поездка его имеет другой мотив, он все равно не послушался бы тебя. Сама подумай, ведь ему уже двадцать два года, и он — мужчина.

— Я просто с ума схожу, мама. Эта поездка решена уже давно, я видела письма от Эммануила. Но когда мне больно, я решительно не в состоянии рассуждать. У меня перед глазами только горе, которое лишает меня сообразительности... Боже, как я несчастна!

III

Юная любовь

Если бы понадобилось новое доказательство старых теорий о внутренней дробимости нашей личности, его можно было бы найти в том законе (составляющем вечный предмет негодования всех моралистов), по которому печаль самых дорогих нам существ иногда не мешает нам в то же время быть счастливыми. В сердце нашем происходит как бы взаимная борьба чувств за существование. Напряженность существования одного из них, хотя бы только и на короткое время, достигается только при условии притупления остальных чувств.

Без сомнения, Губерт Льоран безумно любил своих «двух матерей» как он называл всегда обеих воспитавших его женщин. Несомненно также, что он догадывался о тех разговорах, которые они вели с некоторых пор между собой,— разговорах, подобных тому, который произошел у них в тот вечер, когда он одолжил у своего крестного три тысячи франков на поездку и на уплату долгов. И, несмотря на это, когда на третий день после этого вечера он сел в вагон поезда, уносившего его в Булон, он не в состоянии был сдержать охватившее его душу блаженство. Он не задавал себе вопроса, расскажет ли граф Силли или нет про его

поступок; он так же отстранял от себя это опасение, как старался забыть выражение глаз госпожи Льоран в минуту его отъезда, как старался заглушить в себе упреки совести, которые могли быть вызваны его еще не поколебленной набожностью. Если он не вполне солгал, сказав своей матери, что едет в Лондон погостить к своему приятелю Эммануилу Деруа, он тем не менее все-таки обманул эту ревнивую мать, скрыв от нее то, что в Фолькстоне он встретится с госпожой де Сов. Но госпожа де Сов была замужем, следовательно, была не свободна, а для молодого человека, воспитанного в таком благочестии, в каком был воспитан Губерт, любовь к замужней женщине представляла собой незамолимый грех. Губерт должен был думать, да и действительно думал, что на нем теперь тяготеет смертный грех. Католицизм, будучи для него религией не моды, в этом отношении не оставлял в нем никаких сомнений. Но религия, семья, долг откровенности, страх перед будущим — все эти благородные призраки совести представлялись ему только в виде каких-то туманных образов, не имеющих значения и распадающихся перед мысленным изображением этой женщины!

Вот уже пять месяцев, как эта женщина, которую он любил и которая отвечала ему взаимностью, овладела его сердцем и все в нем изменила! Сказав своему крестному, что у него нет любовницы, Губерт не солгал, так как он, действительно, не был любовником госпожи де Сов в смысле полного физического обладания. Она ему никогда не принадлежала, и теперь в первый только раз он должен был очутиться с ней вполне наедине, в чужом краю,— тайная мечта всякого любящего существа...

В то время как поезд на всех парах мчался по равнинам, мимо холмов, ручейков и обнаженных от листьев деревьев, молодой человек долго перебирал в уме целый ряд воспоминаний. Прелесть проведенных им часов увеличивалась тем, что он не знал еще, какое бесконечное счастье его ожидает в будущем. Хотя сыну госпожи Льоран уже было двадцать два года, тем не менее он остался еще благодаря строгости воспитания в том состоянии нравственной чистоты, которую так редко можно встретить среди парижской молодежи, большей частью истощенной излишествами удовольствий раньше, чем она даже подозревала, что такое любовь. Этот взрослый ребенок не сознавал того, что

[illegible] его гораздо сильнее, чем са-
[illegible] ухаживания, действовали на романиче-
[illegible] ражение этой женщины, образ которой теперь
[illegible] раз мелькал перед его глазами, представляясь
ему и на бегущих мимо лесах, и на косогорах, и на дю-
нах. Сколько образов уносит так мчащийся мимо поезд,
и сколько вместе с ним судеб стремится вдаль и не-
известность навстречу счастью или горю!

В первый раз Губерт увидел госпожу де Сов в начале октября прошлого года. Вследствие слабости здоровья госпожи Льоран, не переносившей никакой поездки, обе женщины никогда не покидали Парижа; моло-дой же человек проводил иногда по нескольку дней, то летом, то осенью, в чьем-нибудь имении. Однажды, возвращаясь вместе со своим кузеном Жоржем после одной из таких поездок, он, входя в вагон, встретил на одной станции Северной железной дороги молодую женщину с мужем. Так как де Сов были знакомы с Жоржем, то Губерт им тут же был представлен.

Господин де Сов был мужчина лет сорока пяти, высокий и здоровый, с физиономией довольно полно-кровной и, несмотря на видимую бодрость, со следами излишеств, о существовании которых можно было легко догадаться по его разговорам и его взглядам на жизнь. Жить, по его мнению, значило расточать, что он лично и проделывал во всех смыслах. Бывши сперва управ-ляющим канцелярией одного министра, он после окон-чания войны занялся в деревне ярой пропагандой бо-напартизма и сделался депутатом, но депутатом, вечно действующим и подкупающим своих избирателей; в то же время он все более и более отдавался этому миру роскоши, главный штаб которого находился между пар-ком Монсо и Елисейскими полями. Он имел свой салон, задавал обеды, занимался спортом и находил еще время толково и с успехом заниматься разными финансовыми предприятиями. К этому надо прибавить, что до своей женитьбы он довольно сильно увлекался балетом и час-то бывал за кулисами маленьких театриков и в отдель-ных кабинетах ресторанов. Природа создает иногда не-которые натуры по образцу больших машин, которые хотя и потребляют много, но зато много и дают. В Ан-ре де Сов все обнаруживало склонность к широте и мо-гуществу, начиная со сложения его крупного тела и кончая движением, с которым он вынимал из портсига-ра свою длинную темную сигару.

Губерт вспомнил, что тогда же он почувствовал к этому человеку с волосатыми руками и ушами, с большими ногами и ехидной наружностью нечто вроде физического отвращения, испытываемого нами при встрече с лицами, прямо противоположными нам самим. Разве не случается нам относиться враждебно к способу дыхания, обращения крови, к движениям мускулов, вероятно, вследствие того непонятного жизненного инстинкта, который побуждает двух разного происхождения животных при встрече уничтожать друг друга? Антипатию чувствительного Губерта можно было, конечно, проще объяснить бессознательной и внезапно родившейся в нем ревностью к мужу госпожи де Сов. Тереза, как называл ее муж, говоривший ей, между прочим, «ты», произвела сразу на молодого человека неотразимое впечатление.

В детстве ему случалось часто перелистывать альбом с гравюрами, которые привез из Италии его прадед, наполеоновский воин, и при первом же взгляде на эту женщину он сразу вспомнил эти головки работы художников ломбардской школы, до того поразительно было сходство между ее лицом и лицами разных геродиад и мадонн, так часто попадающихся у Луини и его учеников. Тот же широкий, выпуклый лоб, те же глаза с немного отяжелевшими веками, та же удивительная закругленность книзу щек, покоящихся на почти четырехугольном подбородке, тот же изгиб губ, та же мягкость поворота бровей к переносице и та же разлитая во всех чертах лица медлительность, грация и таинственность... У госпожи де Сов были, как и у ломбардских женщин, широкие плечи, крепкая шея — признаки изящной и сильной породы, тонкая талия, руки и ноги ребенка. Единственное отличие от ломбардского традиционного типа составляли ее волосы, не рыжие или золотистые, а очень темные, и ее зрачки серо-зеленоватого цвета. Молочно-бледный цвет лица и томная медлительность всех ее движений придавали ее красоте еще более оригинальности.

При виде этой женщины невольно вспоминались портреты прежних времен, хотя вся она со своими розовыми губками и блеском живых глаз дышала молодостью и была одета в модную узкую кофточку темного цвета. Сероватая английской материи юбка, ботинки на шнуровке, мужской воротничок рубашки, прямой галстук с воткнутой в него булавкой в виде маленькой

[illegible] подковы, шведские перчатки и круглая [illegible] нисколько не напоминали костюма [illegible] XVI столетия; тем не менее даже в костюме [illegible] парижанки она представляла собой чистейший тип мексиканской красавицы. Но каким чудом это произошло? Предки ее матери, госпожи Люссак, уроженки Бресс[illegible]р, в продолжение многих поколений не выезжали с улицы Сент-Оноре; отец же ее, Адольф Люссак, бывший префект времен Империи, явился из Оверни вместе с господином Руэром.

Клубная хроника могла бы ответить на наш вопрос, припомнив пребывание в Париже проездом около 1855 года красавца графа Бранчифорте, его зеленовато-серые глаза, матовый цвет лица, его ухаживания за госпожой Люссак и затем его внезапное исчезновение отту[illegible]да, где он в продолжение многих месяцев бывал неизменно. Но Губерт, конечно, всех этих подробностей знать не мог. По своему воспитанию и натуре он принадлежал к числу тех счастливцев, которые довольствуются показной стороной жизни, игнорируя все скрытое, и видят только светлую сторону вещей; такие люди заранее обречены на всевозможные катастрофы, так как только при ясном взгляде на действительность можно немного управлять ею.

Вовсе не эти особые прелести госпожи де Сов пришли на память Губерту, когда он вспомнил про их первую встречу. Он не следил уже более за тем, какую особенность характера могли ему открыть движения этой женщины, он не изучал этого лица, он упивался им, как ребенок с бессознательным наслаждением радуется свежести воздуха. Его сразу очаровали в ней полнейшее отсутствие иронии, ее тихая улыбка, спокойный взгляд, ровный звук голоса и спокойные движения. С ней он не ощущал тех мучений болезненной робости, которую испытывают юноши при виде большей части парижанок.

В течение всего пути господин де Сов и Жорж Лоран беседовали о законе относительно духовных обществ, взбудоражившем тогда все партии; он же, сидя против Терезы, имел возможность говорить с ней долго и бессознательно интимно. Обыкновенно молчаливый под влиянием мрачного сознания, нервная возбужденность его существа делала его каким-то беспримерным исключением. Этой двадцатипятилетней женщине, с которой всего полчаса как познакомился, он открыл сразу свою душу, чего ему никогда не пришлось сделать даже

с теми лицами, у которых он постоянно обедал. Когда Тереза задала ему как-то вопрос о его летних поездках, он рассказал ей совершенно непринужденно про свою больную мать, про бабушку и про их общую жизнь. Он приподнял для этой незнакомки завесу с уединенного убежища в доме на улице Вано не без угрызений совести, правда; но эти угрызения совести наступили позже, когда он был уже вне сферы ее взглядов, и скорее вследствие опасения не понравиться Терезе, чем из-за чувства ложного стыда. А как сильно, в самом деле, захватывал медлительный взгляд этих глаз! Какая-то удивительная нежность струилась из них, и, когда они останавливались на ком-нибудь, получалось впечатление какого-то ласкового прикосновения и как бы физического наслаждения! Долго еще потом Губерт вспоминал чувство того упоительного блаженства, которое он испытал под влиянием взглядов Терезы во время их первой беседы; и чувство это, постепенно увеличиваясь при их следующих свиданиях, обратилось для него почти в такую же потребность, как воздух или сон.

Выходя из вагона, госпожа де Сов сообщила ему, что принимает у себя по четвергам, и, спустя немного времени, он уже отлично знал дорогу к ее квартире, находившейся в той части бульвара Османа, которая прилегает к Опере. В каком уголке своего сердца почерпнул он смелость сделать свой первый визит на третий же день после их встречи?! Его почти сейчас же пригласили к обеду. Он так живо вспоминал теперь то чувство детского удовольствия, с каким читал и перечитывал этот простой пригласительный билет, вдыхал тонкий запах его духов, разбирал форму букв своего имени, написанного рукой Терезы! Почерк ее изобиловал массой мелких, совершенно излишних черточек, что придавало ему какой-то особенный, воздушный и капризный характер, по которому знаток почерков открыл бы непременно признаки романтической натуры, но в то же время размашистая манера, с которой набросаны были строки, и твердый черный нажим линий указывали на привычную практичность и почти материализм в жизни. Губерт в такие подробности, конечно, не вдавался; но со времени получения им этого пригласительного билета каждая буква почерка превратилась для него точно в известную личность, которую он мог бы узнать среди тысячи других.

одился он, отправляясь на этот
[illegible] о том, что будет любоваться госпо-
[illegible] в продолжение долгих часов, которые ему
[illegible] казались бесконечными! Он был даже не-
сколько неприятно удивлен, когда мать его при проща-
нии с ним позволила себе сделать какое-то критическое
замечание о существующей в современном обществе
фамильярности светских привычек. Хотя с тех пор
прошло уже много месяцев, тем не менее, благодаря
силе своего воображения, свойственного всем очень
чувствительным натурам, он теперь снова ощущал в се-
бе точно такое же волнение, какое вызвано было в нем
подробностями положений гостей Терезы в продолже-
ние того первого обеда и следовавшего за ним вечера.
Эта находящаяся в нас в большей или меньшей степени
способность восстанавливать себе былые страдания или
удовольствия и делает из нас или людей, отличающихся
самым холодным расчетом, или рабов нашего сенти-
ментализма. К сожалению, все свойства души Губерта
были как бы созданы для того, чтобы закрепить вокруг
его сердца мучительную цепь дорогих воспоминаний.

В этот первый вечер на Терезе было черное кружев-
ное платье с розовыми бантами и вместо всяких дра-
гоценностей — один только браслет из массивного зо-
лота. Вырез ее платья на груди был так мал, что не мог
смутить взора молодого человека, отличавшегося в этом
отношении чисто девической стыдливостью. Когда он
вошел в гостиную, кроме Жоржа Льорана, он не встре-
тил в ней ни одного знакомого лица. Там были боль-
шей частью люди, считающиеся, под разными наимено-
ваниями, знаменитостями в том обществе, которое не-
которые «следящие за модой» газеты называют настоя-
щим парижским обществом. С самого начала Губерта
немного задело то простое обстоятельство, что в костю-
ме некоторых из этих гостей, на взгляд придирчивого
наблюдателя, встречались те маленькие погрешности,
которые бывают у некоторых робких людей, начавших
слишком поздно выезжать в свет: то старинного фасона
фрак, то дурного покроя воротник рубахи недостаточно
белой, то галстук скорее голубой, чем белый, и при
этом еще скверно завязанный... Все эти мелочи должны
были показаться чистейшими признаками так называе-
мой богемы (слово, под коим люди правильного образа
жизни разумеют вообще все общественные аномалии)
в глазах молодого человека, привыкшего находиться

под наблюдением двух женщин редкого воспитания, желавших сделать из него нечто безупречное. Но все эти мелкие недостатки в костюмах гостей делали в его глазах еще более грациозной прекрасную манеру Терезы держаться в обществе: точно так же ему было приятно молчание хозяйки дома среди той свободы, почти граничащей с цинизмом, с которой разговаривали за обедом. Госпожа Льоран не ошибалась, утверждая, что в гостиной госпожи де Сов не стеснялись в свободе речи.

В первый же раз, когда Губерт там обедал, за столом зашла речь об известном процессе о прелюбодеянии, и находившийся тут же адвокат, из крупных, рассказал некоторые не попавшие в печать подробности обвинительного акта: отвратительные черты нравов одного административного лица, арестованного в Елисейских полях, двух метресс другого такого же лица и их соперничество. Но все это было рассказано так, как умеют рассказывать только в Париже, с теми полусловами, которыми можно сказать что угодно. Многих намеков Губерт вовсе не понял, так что подобные рассказы гораздо менее шокировали его, чем другие разговоры, в которых высказывались такие идеи, как, например, парадокс Клода Ларше, бывшего тогда во всем блеске своих первых театральных успехов.

— Что развод! — говорил он с теми преувеличенными жестами, от которых никогда не мог отделаться. — Развод сам по себе есть вещь недурная, только это представляет собой чересчур простое решение весьма сложной задачи. В этом отношении, как и в других, католицизм извратил образ наших мыслей. Всем передовым обществам свойственно воспроизводить массу людских разновидностей, и вся задача заключается в том, чтобы создать для каждой из них соответствующий нравственный облик. Я лично желал бы, чтобы закон признавал браки пяти, десяти, двадцати категорий сообразно со степенью чувствительности брачующихся; так, например, у нас были бы пожизненные браки для людей с аристократической разборчивостью; для людей с меньшей требовательностью мы устроили бы брачные контракты с возможностью одного, двух и даже трех разводов; для людей еще более низшего свойства существовала бы временная связь на пять лет, на три года и на один год.

— Словом, брачный контракт заключался бы так

...оформляют контракт на квартиру,— сказал ка-
...злой шутник.

— Почему же нет? — продолжал Клод.— Наш век
...претендует на звание революционера, а между тем он до
...сих пор еще ни разу не осмелился на то, что древний
...законодатель и не задумался бы сделать, а именно —
...затронуть установленные нравы.

— Я вижу, куда вы стремитесь,— возразил Андре
...де Сов,— вы желаете браки уподобить похоронам, то
...есть устроить браки первого, второго, третьего и так да-
...лее разрядов.

Никому из гостей, забавлявшихся при звоне хруста-
...ля, среди дамских нарядов, пирамид из фруктов и куч
...цветов, этой тирадой Клода и ответом на нее, и в голо-
...ву не приходило то чувство негодования, которое подоб-
...ный разговор возбуждал в Губерте. Да и кто бы стал
...стесняться перед этим сидевшим совсем у угла стола
...скромным и молчаливым юношей? А он между тем
...чувствовал, что все самые дорогие убеждения его детст-
...ва и юношества были затронуты этим разговором, и
...исподтишка наблюдал за Терезой. В продолжение всего
...обеда она произнесла лишь несколько фраз. Мысли ее,
...казалось, блуждали весьма далеко от этого разговора,
...который она должна была бы поддерживать; никто,
...впрочем, и не старался вывести ее из задумчивости,
...точно это было явлением обыкновенным.

Подобное состояние длилось у нее иногда целыми
...часами; бледное лицо ее вспыхивало, взгляд становился
...сосредоточенным и сквозь полуоткрытые губы обнару-
...живались белые, небольшие, плотно сжатые зубы. Что
...думала она в подобные моменты и в силу какого тайно-
...го волшебства именно в эти моменты производила она
...наибольшее впечатление на лиц, находившихся под ее
...обаянием? Какой-нибудь физиолог приписал бы, конеч-
...но, подобные внезапные состояния оцепенения явле-
...ниям расстройства нервной системы. Или, быть может,
...это было результатом охватывавшей ее чувственности,
...против которой бедняжка боролась изо всех сил? Что
...касается Губерта, то в молчаливости ее в данный вечер
...он видел только протест щекотливой женщины против
...разговоров лиц, составлявших исключительно круг дру-
...зей ее мужа.

По окончании этого обеда, за которым были за-
...тронуты его самые дорогие верования, он испытал не-
...выразимое блаженство, когда он подошел к ней, чтоб

поговорить. Весь под обаянием взгляда ее ясных глаз, он уселся в уголке гостиной, отделанной вполне в современном вкусе и своим богатством, плюшем, старинной обивкой и разными японскими безделушками резко отличавшейся от строгой обстановки гостиной на улице Вано, где и образ жизни был иной, чем здесь. Но вместо сознания этой глубокой разницы, которая могла бы послужить ему точкой отправления для изучения этого нового для него мира, Губертом овладело чувство, весьма естественное у тех, детство которых прошло в сфере женской избалованности. Воспитавшие его два чудных существа внушали ему всегда понятие о женщине как о чем-то невыразимо нежном и чистом, вследствие чего при первом же пробуждении в его сердце любви он ощутил какое-то внутреннее почтительное волнение. Каков бы ни был предмет его любви, он должен был сделаться для него источником такого же обожания, какое он питал к своей матери и бабушке. Под влиянием этого он в первый же вечер, возвратившись домой, в таких пылких выражениях начал рассказывать о Терезе ожидавшим его обеим женщинам, что несомненно должен был возбудить этим их подозрение. Теперь-то он это понял. Но какой же юноша, начав любить, под влиянием опасного упоения начинающейся страсти не пустился бы в откровенность, часто весьма гибельную для судьбы самого его чувства? Но как и какими судьбами могло овладеть им это чувство, он сам не мог отдать себе отчета. Не кажется ли человеку полюбившему, что он всегда любил предмет своей страсти?

Теперь перед ним вставали сцены прошлого, напоминавшие ему, каким образом он незаметно дошел до привычки видеть Терезу несколько раз в неделю. Но разве она не представила его понемногу всем своим подругам и разве после первых же его визитов не стали приглашать его бывать в этом малоизвестном ему круге общества, состоявшем частью из сановников павшего режима, частью из крупных коммерсантов и финансовых тузов и, наконец, из знаменитых артистов и богатых иностранцев? Тон этого непринужденного общества роскоши, удовольствий и веселья, конечно, должен был бы сильно не понравиться Губерту, так как, не признавая за этим обществом ни элегантности, ни остроумия, он чувствовал, что в нем не хватает ни тишины, ни порядочности, ни известных традиций. Да, впрочем, какое ему было дело до подобных наблюдений, ему,

[illegible] поглощенному одним желанием [illegible] встретит он госпожу де Сез и ее [illegible]

Губерт [illegible] встающие то беспокойные [illegible] он встречал ее то у нее самой — [illegible] лишние сумерки у камина и погружений в обычную свою молчаливую задумчивость, то где-[illegible] гостях, в визитном платье, с ее улыбкой Горгоны — за разговорами о туалетах или шляпках, то беседуя вполголоса во время антракта в ложе [illegible] театра, то среди уличного шума, в экипаже — [illegible] вавшей свою грациозную головку из окна [illegible]

Это последнее воспоминание навело его на целый ряд других и, между прочим, на воспоминание о их первом признании в любви. В этот день они встретились около пяти часов у одних общих знакомых, живших вблизи Булонского леса; так как в это время начался проливной дождь, а у Губерта не было экипажа, молодая женщина предложила ему довезти его до дому в своей карете, ссылаясь на то, что ей нужно было все равно сделать один визит неподалеку от улицы Ваго.

Он уселся около нее в небольшой двухместной каретке, обитой зеленой кожей, наполненной тем тонким ароматом, который превращает экипаж изящной женщины в маленький передвижной будуар с целой кучей изящных мелких приспособлений: грелкой с горячей водой под ногами; впереди — зеркальцем в футляре, записной книжкой с карандашом и визитными карточками, указывающими на обузу светских обязанностей; висевшими на правой стороне часами, показывавшими, с какой быстротой уходили эти сладкие мгновения; открытой, брошенной книгой, взятой Терезой из библиотеки и обнаруживавшей ее интерес к модным романам... Извне, на улицах, освещенных фонарями, разыгралась настоящая зимняя непогода. Закутанная в длинную мантилью, обрисовывавшую ее стан, Тереза хранила молчание. При смешанном свете гаснущего дня, фонарей кареты и уличного газа она была так чудно бледна и хороша, что Губерт не мог удержаться, чтобы не взять ее руки. Она ее не отняла, глядя на него своими неподвижными и влажными как бы от застывших слез глазами. Под влиянием этого опьяняющего взора он, не слыша даже звука собственного голоса, пролепетал:

— О, как я люблю вас!

Она еще более побледнела и заставила его замол-

чать, закрыв ему рот своей рукой в перчатке. Он стал страстно покрывать поцелуями эту руку, стараясь отыскать в вырезе перчатки живую теплоту ее тела. На эту ласку она ответила ему той фразой, которую произносят в подобных случаях все женщины, теми несколькими простыми словами, в которых можно выразить всякие оттенки чувств — от самого убийственного равнодушия до самой глубокой нежности:

— Какой вы ребенок...

— Любите ли вы меня хоть немного? — спросил он.

— Очень,— прошептала она еле слышно, глядя на него искрящимися от счастья глазами.

Подобная сцена для большинства парижской молодежи, наверное, послужила бы началом попытки к тому, чтобы вполне овладеть женщиной, очевидно сильно влюбленной, и попытка эта в большинстве случаев, вероятно, не увенчалась бы никаким успехом, так как мало-мальски кокетливая светская женщина, не желающая отдаться, сумеет найти для этого тысячу способов даже после разных признаний или даже после самых компрометирующих знаков привязанности. Но у госпожи де Сов было так же мало кокетства, как было мало физической смелости у полюбившего ее двадцатидвухлетнего ребенка. Оба они приписывали простой случайности то крайне щекотливое и странное положение, в котором находились. Полнейшая целомудренность делала его неспособным на какие бы то ни было дальнейшие попытки. Что же касается ее, то разве она не сознавала того, что, бросившись первая к нему на шею, она рискует охладить любовь с его стороны? При условиях, налагаемых на чувства современными привычками, подобные препятствия встречаются гораздо реже, чем предполагает людское тщеславие. При настоящем положении нравов у двух любящих друг друга существ малейшее действие с одной стороны обращается в известный символ для другой; и какая женщина, зная это, не призадумалась бы рискнуть навсегда своим счастьем из-за желания достичь его слишком скоро?

Находилась ли Тереза под влиянием этого чувства осторожности или сердце ее в этой пылкой почтительности ее обожателя нашло прелесть упоительной новизны? У всех мужчин, которых ей приходилось встречать до Губерта, любовь представляла собой замаскированное чувство вожделения, в основе которого находилось желание удовлетворить задетое самолюбие. Как

[illegible] то ни было, после первого признания Губерта она [illegible] ему потом не отказывала ему в свиданиях, о которых никто не догадывался и продолжавших быть совершенно невинного свойства.

Находясь в булонском поезде, уносившем его к месту страстно ожидаемой встречи, Губерт припоминал их прежние ранние утренние прогулки по Парижу, полные любви и опасности: они отваживались наслаждаться своей наивной и вместе с тем преступной идиллией в таких местах, в которых, казалось, решительно невозможно было бы встретить кого-либо из их круга общества... Сколько раз, например, случалось им взбираться на колокольню собора Парижской Богоматери, на которой девственно-грациозная Тереза так любила оставаться среди разных древних неуклюжих каменных фигур, украшающих ограду! Сквозь узенькие окна, находящиеся в своде купола, виднелась им то окаймленная набережными река, то улица с правильными рядами домов. В одном из таких домов, приютившемся в тени собора со стороны улицы Шануанэс, находилась на пятом этаже маленькая квартирка с балконом; заметив раза два сквозь открытое в ней окно, как какой-то молодой человек и молодая женщина вместе завтракали за круглым столом, они вообразили себе, что эти молодые люди так же влюблены друг в друга, как они сами.

Иногда случалось, что вокруг собора бушевал порывистый декабрьский ветер и кучи талого снега обрушивались на его стены, но и это нисколько не мешало Терезе аккуратно являться на свидания. Остановившись у главного входа, она выходила из кареты и, пройдя всю церковь, отыскивала Губерта в находившейся в другой стороне собора темной галерее, ведущей на колокольню. Милая улыбка обнаруживала ее блестящие зубки, стройная ее талия казалась еще изящнее среди этих старинных построек. Даже старуха привратница, сидевшая в будке среди своих кошек и раздававшая входные билеты, и та, казалось, находилась под обаянием этой грации счастливой Терезы, так как при виде ее она всякий раз улыбалась ей, точно знакомой.

Здесь, на лестнице, ведущей на эту старинную колокольню, осмелился Губерт в первый раз поцеловать ее бледное, но для него божественное личико. В это памятное для него утро Тереза взбиралась впереди него по обветшалым ступеням и, устав, остановилась, чтобы немного передохнуть; желая поддержать ее, он обнял

ее и в то время, как головка ее запрокинулась [illegible], губы их встретились... Ощущение [illegible], поцелуя было для него так сильно, что он думал, не переживет его. За этим поцелуем последовал [illegible], третий, затем столько, что он и счет им потерял. О, как мучительно сладки были эти долгие поцелуи, с какой страстью она так нежно говорила своему пылкому обожателю: «Я, как маленькая девочка, люблю поцелуи!» Они страстно обменивались этими очаровательными ласками повсюду, куда только ни приводила их неистощимая нежная любовь. Губерт вспоминал, как они целовались, усевшись на камне в пустынной аллее, прилегающей к одному парижскому кладбищу, окруженные темнотой сени вечнозеленых деревьев кладбищенского сада и надгробными памятниками... Он целовал ее также, сидя на скамейке отдаленного, малоизвестного парка Монсури, недавно только насаженного и прорезанного полотном железной дороги,— того парка, где высится павильон в восточном стиле с видом на расстилающиеся вокруг него фасады фабрик, находящихся в жалком квартале Гласьер...

Иногда им случалось совершать длиннейшие прогулки в карете вдоль уютного откоса городских укреплений, и, когда наступало время расстаться, Тереза всегда первой уходила. Оставаясь в фиакре, он любовался, как ее быстрые ножки перепрыгивали через попадавшиеся на дороге лужи с такой ловкостью, что ни одна капля грязи не попадала к ней на платье, а она перед тем, как потерять его из виду, как бы невольно оборачивалась, чтобы бросить на него последний взгляд. Он отлично сознавал, какому риску подвергал он эту женщину во время подобных прогулок, но, когда он сообщал ей свои опасения, она отвечала, потряхивая головой с выражением спокойного трагизма: «Детей у меня нет; единственное зло, которое мне могут сделать, это — отнять тебя...»

Хотя любовь их не выходила, как и прежде, за пределы платонической страсти, тем не менее они дошли в своих беседах до той фамильярности, которая устанавливается между настоящими любовниками. Каждая записка их ежедневной переписки могла бы служить достаточным доказательством того, что Тереза была любовницей Губерта; на самом же деле ничего подобного не было. А между тем, перебирая теперь в уме все малейшие подробности их свиданий, он испо-

минал, что ни одному из проявлений его ласк она не противилась. Но на большее, чем сжимать ее руку, обнимать ее или детски прижиматься к ее сердцу, он и не осмеливался. В его присутствии у нее являлась вся непринужденность, доверчивость и снисходительность, на которые только способно было ее сердце, качества, вполне выражающие искреннюю любовь и недоступные самому утонченному кокетству. Можно вообразить себе, насколько должна была увеличиваться для него сладость этой нежности и какой контраст должны были представлять эти идиллические свидания с теми неприятными сценами, которые у него бывали с матерью, или с теми жестокими мучениями, которые он испытывал, видя по вечерам госпожу де Сов рядом с ее мужем!

Этот же последний не обращал ровно никакого внимания на Губерта, который не был еще настолько испорчен, чтобы быть способным дружески пожимать руку человеку, которого он обманывал. Впрочем, какое ему было дело до всего этого теперь, когда он стремился в этот маленький английский городок, где она его поджидала и где они намеревались провести вместе два дня. Кто из них собственно придумал это свидание, молодой человек не в состоянии был бы сказать.

Господин де Сов уехал в Алжир для какого-то административного следствия. У Терезы же была в провинции одна подруга по монастырю, на которую она могла вполне положиться, и, кроме того, она полагала, что более безопасного места свидания нельзя было и желать, так как в Фолькстоне, находящемся по дороге из Парижа в Лондон, французские путешественники зимой никогда не останавливаются. При одной только мысли снова увидеть дорогое ему существо сердце Губерта заранее трепетало. Он испытывал какое-то непонятное содрогание и такое впечатление, как будто его толкают в таинственную пучину, полную опьяняющего забвения и счастья.

IV

Пережитые грезы

Пароход подходил к пристани Фолькстона, покачиваясь своим стройным кузовом в волнах совершенно зеленого моря с едва заметной на нем струей серебристой пены. Две белые трубы выбрасывали целые клубы

дыма, уносимого назад вследствие движения парохода; огромные красные его колеса бороздили волны, оставляя за судном след, точно пенистую светло-зеленого цвета дорогу. Мягкие и как бы покрытые дымкой тоны голубого дня — одного из тех, которые иногда случаются в конце зимы у английского берега, удивительно гармонировали с настроением молодого человека. Облокотясь на передний борт парохода, он не тронулся с места с самого начала переезда, отличавшегося полнейшим отсутствием качки. Он мог теперь уже различить все подробности приближающегося порта: с правой стороны — меловую линию берега с видневшимся кое-где чахлым дерном; с левой — пристань на столбах и за нею, еще левее, маленький городок с его домами, покрывающими снизу и до самого верха крутой берег. Он вглядывался в каждый из этих обозначавшихся все яснее и яснее домов, отыскивая тот, который скрывал ожидавшее его счастье в виде дорогих черт Терезы де Сов,— этот Стар-отель, который она нашла в путеводителе и избрала потому, что слово «стар» — значит «звезда».

«Знаешь, я суеверна,— сказала она ему, как ребенок,— да разве ты и не самая дорогая моя звезда?» У нее бывали иногда в разговоре подобные внезапные проявления глубокой нежности, заставлявшие Губерта потом бесконечно долго мечтать. Хотя он прекрасно знал, что она не будет ждать его на набережной, тем не менее он все-таки невольно искал ее глазами. Но она приняла целый ряд предосторожностей и даже приехала сюда накануне через Кале и Дувр.

Пароход подходит все ближе и ближе; уже можно различить лица нескольких городских жителей, единственное удовольствие которых заключается в том, чтобы приходить на пристань и любоваться приходом морских судов. Еще несколько минут — и Губерт увидит Терезу. А что, если она вдруг раздумала приехать или ее захватили на месте преступления? Не заболела ли она или, быть может, умерла в пути? Целый рой самых невероятных предположений теснится в голове беспокоящегося обожателя. Пароход причаливает, пассажиры поспешно пересаживаются в железнодорожные вагоны. Губерт, кажется, единственный, останавливающийся в этом городке. Отправив багаж прямо в Лондон, он садится со своим ручным багажом в одну из стоящих около вокзала кареток. Убедившись из разговора

кучером, что он выражается по-английски вполне правильно и понятно, хотя до сих пор не бывал еще ни разу в Англии, он невольно впал в легкую грусть: вспомнил детство, свою гувернантку, выписанную из Йоркшира, вспомнил, как старалась мать заставить его всегда говорить по-английски... Что сталось бы с этой бедной матерью, если б она увидела его здесь?

Впрочем, эти воспоминания исчезают по мере того, как легкий экипаж, запряженный небольшой лошадкой, быстро взбирается на крутую покатость, с которой начинается верхняя часть города. По левую сторону расстилается удивительная картина моря, этой необъятной бледно-зеленой пучины, сливающейся на горизонте с голубою бездной неба и усеянной лодками, парусными судами и пароходами. На самом верху подъема дорога заворачивает и начинается плоскость; карета мчится по улицам с низенькими домиками, сквозь окна которых можно заметить целые ряды горшков герани́ума и папоротника. Наконец, на одном из поворотов улицы перед Губертом открывается большое здание в готическом стиле с черной вывеской, золотая надпись на которой заставляет встрепенуться его сердце. Перед ним Стар-отель. Остается только спросить в конторе гостиницы, приехала ли госпожа Сильвия (Тереза выбрала это имя, так как на всех ее туалетных принадлежностях была буква С, и под этим именем она должна была быть записана в книге отеля как драматическая актриса), затем взобраться на второй этаж и пройти длинный коридор.

Лакей открывает дверь небольшой квартирки, в одной из комнат которой сидит у стола Тереза, еще более обыкновенного бледная от сильного волнения, в красном шелковом платье, красивыми складками свободно облегающем ее стройную талию. В выложенном цветными изразцами камине мерцает красноватый огонь. В комнате — круглое окно, одно из тех, которые англичане называют эркерами; самая обыкновенная меблировка, которую можно встретить в Англии во всех салонах, придает комнате уютный и мирный вид.

— О, наконец-то я тебя вижу,— произносит Губерт, подбегая к улыбающейся Терезе и притрагиваясь к ней рукой, точно желая убедиться, она ли это действительно.

При этом нежном прикосновении он мог ощутить сквозь тонкую материю платья, как судорожно затре-

гало сердце счастливой женщины. Он сел около нее, и уста их слились в поцелуе. Это был тот страстный поцелуй, которым два любящих существа, встретившись после долгой разлуки, хотят вознаградить себя за потерянное время. Легкий стук в дверь заставил их очнуться.

— Это, вероятно, твой багаж,— сказала Тереза, с сожалением отодвигаясь от Губерта,— не хочешь ли посмотреть твою комнату? Я здесь уже со вчерашнего дня; надеюсь, что тебе здесь понравится; я столько думала, как бы тебе угодить, приготовляя твою комнату...

Она повела его за руку в соседнюю комнату, окно которой выходило в сад. В камине горел огонь.

В углу и на столе, покрытом привезенной ею японской скатертью, для придания комнате жилого вида стояли вазы с цветами. На столе были расставлены в рамках три самых любимых им портрета Терезы. Обернувшись, чтобы поблагодарить ее, он встретил один из тех взглядов, от которых замирает сердце и которыми преисполненная нежности женщина как бы благодарит предмет своей любви за то, что он ценит доставленную ею радость. Присутствие в комнате человека, принесшего и развязывавшего его вещи, помешало ему ответить на этот взгляд поцелуем.

— Ты, должно быть, очень устал,— сказала она.— Пока ты будешь здесь устраиваться, я прикажу подать в гостиную чаю. Ты не поверишь, какая радость для меня прислуживать тебе...

— Ну что же, иди,— произнес он, не будучи в состоянии под влиянием охватившего его волнения ответить на это какой-нибудь фразой.

«Боже, как я люблю ее!» — прошептал он, следя за ней глазами и любуясь ее станом и походкой, сохранившими всю свою девственность благодаря отсутствию у нее детей; его счастье было для него теперь так несомненно, что он принужден был опуститься на стул, боясь просто лишиться сознания от радости. Человек так привык к всевозможным невзгодам, что от полного достижения сильного желания может так же обезуметь, как при виде какого-нибудь чуда или при осуществлении несбыточной мечты, и это состояние может возбудить даже сомнение в действительности своего счастья. Нужно ли к этому прибавить, что необычность самой обстановки должна была действовать опьяняющим образом на этого взрослого ребенка, которому не могло

прийти в голову, что его возлюбленная и воспользовалась всем этим, чтобы всецело отдаться ему и избавиться от тех трудностей, которые представились бы этому в другом месте.

«Наяву ли все это?» — задавал себе вопрос Губерт, сидя четверть часа спустя около госпожи де Сов в гостиной за квадратным столом, на котором уже стояли все принадлежности полуденного чая: серебряный чайник, кувшин с кипятком и тоненькие чашки, привезенные ею из Парижа, вероятно с тем, чтобы потом сохранить их навсегда. Она прислуживала ему своими красивыми руками без обручального кольца, которое она сняла, чтобы удалить от молодого человека всякую мысль о том, что она не свободна. Царившая в городке после полудня тишина и ощущение их уединенности вдвоем так глубоко проникали в их сердца, что они оба хранили молчание, точно боясь, что их слова нарушат тот упоительный сон, в который погружались их души.

Облокотясь на руку, Губерт глядел на Терезу и чувствовал, что она в эту минуту настолько принадлежит ему и так сливается со всем его существом, что даже не ощущал потребности в ее ласках. Она первая нарушила это молчание, которое ее почему-то внезапно смутило. Поднявшись с места, она уселась около него на полу, положив голову ему на колени. Но, видя, что он продолжает сидеть все так же неподвижно, она стала беспокоиться и тихо, тем покорным тоном, перед которым не устоит ни один возлюбленный, обратилась к нему:

— Если б ты знал, как я боюсь разонравиться тебе! Вчера в ожидании тебя я целый день проплакала, сидя одна у этого камина и думая, что, быть может, ты не будешь уже так любить меня, как прежде, когда приедешь сюда. Ты, вероятно, будешь недоволен тем, что я слишком люблю тебя и что я затеяла всю эту поездку...

Страдание, испытываемое в эту минуту очаровательной женщиной, было так сильно, что Губерт видел, как изменилось ее лицо, когда она произнесла эту фразу. В первый раз со времени их сближения так явно обнаруживалась та душевная драма, которую она переживала. Именно в эту минуту, чувствуя его около себя таким юным, чистым, лишенным всякого животного чувства и так отвечающим всем ее мечтам, она испытала непреодолимое желание осыпать его ласками; но теперь

более, чем когда-либо, она боялась расхолодить его любовь, испугать его или развратить. Она теперь впервые высказывала вслух все, что думала об этом:

— Знаешь, мы, женщины, если уж любим, то любим до самозабвения. С того дня, когда, возвращаясь из деревни, я встретила тебя в первый раз, я уже была твоя; если бы ты захотел, я всюду пошла бы за тобой; ты сделался для меня единственной потребностью... Да,— прибавила она, глядя на него своими неподвижными глазами,— вне тебя для меня не существовали ни добро, ни зло, ни обязанности, ни воспоминания. Да можешь ли ты это понять, ты, который, как и все мужчины, думаешь, что любовь женщины несвободной есть грех?

— Я знаю только одно,— ответил Губерт, наклонившись к ней, чтобы поднять ее,— что для меня ты самая благородная и самая дорогая из всех женщин.

— Нет, позволь мне, твоей маленькой рабе, остаться у твоих ног,— с восторгом произнесла она.— Правду ли ты говоришь? Поклянись мне, что ты не будешь думать дурно об этом.

— Клянусь тебе, что нет! — ответил молодой человек, охваченный таким же необъяснимым волнением, как и его возлюбленная.

Эти простые слова заставили ее выпрямиться, и, вскочив с места с легкостью молодой девушки, она начала покрывать лицо Губерта страстными поцелуями; но, как бы одумавшись, она отошла от него и, проведя рукой по глазам, сказала ему почти спокойным, но не совсем еще твердым голосом:

— Какая я сумасшедшая, надо уйти отсюда... Я пойду надену шляпу, и мы отправимся гулять. Не будете ли вы столь любезны попросить подать экипаж? — прибавила она по-английски.

Когда она говорила на этом языке, в ее произношении сказывалось нечто необыкновенно грациозное, почти ребяческое. Она вышла в другую дверь, послав Губерту рукой кокетливое приветствие.

Эта смесь ласки, беспокойства, внезапных порывов и нежного ребячества проявлялась у нее во все время их прогулки, заключавшей в себе источник целого ряда необыкновенных волнений для них обоих. По редкой в человеческой жизни случайности они оба очутились в настоящее время при таких условиях, когда чувство достигает высшего предела своего напряжения. Весь

...ний мир с его убийственными обязанностями был далеко; он так же мало имел для них значения, как этот невидимый им кучер, высоко сидящий позади их легкого кеба, в котором они катались по дороге из Фолькстона в Сандгет и в Гайт. Вместо этого мира перед ними открывался другой мир, мир надежд, роскошный, как сад, цветущий самыми прекрасными розами. Оба чувствовали себя вполне вознагражденными, он — за свою невинность, она — за свою разумную сдержанность, тем сладостным и редким ощущением, которое они испытывали теперь: они наслаждались той сердечной взаимностью, которая обыкновенно наступает только после полного обладания, и в этой взаимности чувствовалась вся нетронутость их робкого вожделения. В этом чувстве для них обоих заключалась упоительная надежда, предугадываемая Терезой, но совершенно еще туманная для Губерта.

С такими ощущениями ехали они среди чудного, широко раскинутого пейзажа по дороге из Фолькстона в Гайт, тонкой лентой извивающейся вдоль берега моря. Хотя этот зеленеющий крутой берег и лишен утесов, тем не менее самая крутизна его придает идущей внизу его дороге вид защищенного убежища, вид долины, окруженной горами. Морской прилив покрывал береговой скат; ни одной птицы не было видно над волнующимся водным пространством океана. Его зеленоватая безбрежная поверхность все более и более принимала лиловый оттенок по мере того, как темнел холодный блеск лазури угасающего дня. Карета быстро катилась на своих двух больших колесах, увлекаемая необыкновенно крепкой лошадью, то и дело потряхивающей головой, чтобы освободиться от давящих ей рот слишком крупных удил.

Тереза и Губерт, прижавшись друг к другу в этой полуоткрытой, маленькой подвижной «будочке», держались за руки, покрытые дорожным пледом. Они старались не мешать своей страсти распространяться, как это широкое море, не противились тому, чтобы она волновала их, как волнуется эта морская зыбь, или сделалась такой же нелюдимой, как этот бесплодный берег. С тех пор, как ее возлюбленный дал ей такую странную клятву, молодая женщина, казалось, успокоилась, хотя и теперь иногда ее внезапно охватывала задумчивость, оканчивавшаяся у нее немыми ласками. Что касается Губерта, то еще никогда он так не любил

ее, никогда так не желал держать ее в своих объятиях, как в настоящую минуту. Страстная потребность еще более сблизиться с ней отуманивала его голову и опьяняла его; а между тем он ждал наступления вечера с мучительным страхом, так как для него женщины были тайной. Несмотря на все доказательства любви, которые он видел со стороны Терезы, он чувствовал в ее присутствии такой сильный упадок воли, который мог бы превратиться для него в страдание, если б он не имел безграничного доверия к этой женщине. Этот почти животный страх перед той неизвестной ему пропастью, которая разверзалась перед их любовью, немного рассеивался, когда он думал, что пропасть эта поглотит их обоих вместе. Положительно, в ней была способность предугадывать то смущение, которое должно было испытать сердце ее возлюбленного. Не для того ли, чтобы успокоить его чересчур напряженные нервы, увлекла она его на эту прогулку, во время которой и грандиозный вид, и свежий морской ветер, и движение пешком должны были способствовать тому, чтобы они оба могли побороть неизбежное при страстных желаниях чувство смущения?

Они блуждали таким образом до тех пор, пока на ночном небосклоне не засияли звезды; они то бродили по прибрежным валунам, то снова садились в кеб и разъезжали по одним и тем же дорогам, не решаясь повернуть домой и как бы сознавая, что хотя и впереди их тоже ожидает счастье, но уже не такое, как теперь... Туманное влияние мировой жизни с ее материальными и духовными сторонами заставляло их бессознательно находить таинственное сходство и какую-то божественную связь между совершенно особенным характером этого уголка природы и бесконечным чувством их взаимной нежности.

— Быть около тебя,— говорила она ему,— это такое счастье, после которого возврат к обыденной жизни немыслим.

И он верил ей и отвечал такой же фразой:

— Мне кажется, что до этой минуты я никогда не умел ценить всей красоты природы.

Когда они прогуливались под руку, всегда случалось, что он нежно опирался на ее руку, а не наоборот. Он этим бессознательно олицетворял ту перемену их ролей, вследствие которой ему приходилось со своей хрупкой внешностью, полнейшей невинностью и не-

противостоять робким чувствам, изображать собою женский элемент. И она, конечно, была тоже вполне женственна, со своей гибкой походкой, кошачьей ухваткой движений, своими мечтательными глазами, в каждом взгляде которых виделась покорность; но ее натура казалась более крепкой, более вооруженной для житейской борьбы, чем этот едва превосходящий ее ростом ребенок, чем это хрупкое существо, созданное нежностью двух непорочных женщин, целиком объятое ее обольстительностью и отдающееся ей с чисто братским доверием. Даже в соразмерном движении их походки можно было прочесть полнейшую связь их сердец, заставляющую их в эту минуту одинаково трепетать.

Наконец они возвратились в отель. За обедом, который последовал после этой мечтательной прогулки, они были довольно молчаливы и даже несколько мрачны. Оба они как будто боялись друг друга. Или, быть может, в ней вновь зародилось то опасение разочароваться ему, которое заставляло ее до сих пор не отдаваться ему вполне? А он, быть может, находился под влиянием того необщительного грустного настроения, последнего признака борьбы с наступающим животным чувством, которое бывает у людей перед их грехопадением?

Чем большее смущение овладевало их сердцами, тем разговор их становился более спокойным и незначительным. Находясь теперь, после так романтично проведенного дня, в уединении этого незнакомого убежища, они оба, казалось, не находили другой темы для разговора, как только о своих недавно покинутых парижских знакомых. Они расстались рано и попрощались так, как будто имели намерение увидеться только завтра утром, хотя оба прекрасно сознавали, что не в состоянии провести эту ночь отдельно друг от друга. Поэтому Губерт, хотя и взволнованный, не был удивлен, услышав, как ключ повернулся в замке его двери в ту самую минуту, когда он сам был готов идти к Терезе. В длинном, мягком пеньюаре, отделанном белыми кружевами, вошла она в комнату и, закрыв Губерту глаза своей надушенной рукой, произнесла с выражением страстной нежности в глазах:

— Мне так захотелось отдохнуть на твоей груди!

...Около полуночи молодой человек проснулся и, желая поцеловать лицо своей возлюбленной, почувствовал, что лицо это было влажно от слез.

— Ты страдаешь? — спросил он.

— Нет, милый, это слезы признательности, — сказала она и затем прибавила: — Не знаю, как это тебя до сих пор никто не отнял у меня. Боже, как мало стою я тебя!

Как часто приходилось Губерту впоследствии вспоминать эти загадочные слова, которые в эту минуту и под этими ласками внезапно пробудили в его душе грустное чувство, обыкновенно сопровождающее всякое наслаждение! Сквозь это облако грусти, как молния, мелькнули перед ним хорошо знакомые ему дом и склоненные над работой при свете лампы среди фамильных портретов лица двух воспитавших его женщин. Но видение это длилось лишь одну секунду, и, желая снова забыться, он прижался головой к груди Терезы, убаюкиваемый отдаленным шумом морского прибоя, таинственным и отдаленным, как грядущая судьба.

V

Мать и сын

Две недели спустя, около пяти часов вечера, Губерт Льоран выходил из вагона на вокзал Северной железной дороги, возвращаясь из Лондона. Граф Силли и госпожа Кастель встречали его, когда он неожиданно заметил лицо Терезы среди толпы, стремившейся к выходу. Появление госпожи де Сов тем более поразило его, что они условились в тот же вечер сойтись во Французском театре в ее ложе; но она не могла воздержаться, чтобы не увидеть его несколькими часами раньше, и в ее глазах светилась и радость от свидания, и грусть от разлуки, так как они могли только мельком раскланяться, чтобы не обратить на себя внимания его бабушки.

Тереза скрылась. Губерт же в ожидании получения своего багажа мысленно желал, чтобы не было здесь этих двух стариков, которые между тем так любят его, и невольно стал впадать в дурное расположение духа. С первого же момента возвращения он почувствовал всю тяжесть цепей, которыми сковала его нежность семьи. Дома, замечая, что мать наблюдает за ним, что она смотрит ему в глаза, которые у него, действительно, изменились, как изменяются глаза девушки, сделавшейся женщиной, и получили другое выражение, он не сумел притворяться и решил, что она все угадала. Да

...как матери было не угадать всего, когда она ... столько лет привыкла читать в его глазах и теперь видела в них столько счастья и блаженства! Но ни одного вопроса не предложила ему несчастная мать, боясь нескромной фразой затронуть слишком чувствительную струну его сердца и тем вызвать крупные недоразумения.

В течение всего обеда Губерт был очень весел тем нервным весельем, которое предшествует предвиденному щекотливому положению. Как еще отнесется его мать к тому, что он уйдет от нее вечером? Не прошло и получаса после окончания обеда, как Губерт встал, чтоб попрощаться.

— Ты покидаешь нас? — спросила госпожа Льоран.

— Да, матушка,— ответил он, слегка краснея,— Эмманюэл Деруа дал мне очень спешное поручение, которое я должен исполнить сегодня же...

— Разве ты не можешь отложить это дело до завтра и провести с нами сегодняшний вечер? — заметила госпожа Кастель, не желая, чтобы Губерт отказом, которым она предвидела, оскорбил свою мать.

— Невозможно, бабушка,— ответил он тоном балованного ребенка,— это было бы нелюбезностью по отношению к другу, который так хорошо принял меня в Лондоне...

«Он обманывает нас»,— мысленно решила госпожа Льоран и, воспользовавшись внезапно наступившим в салоне после ухода Губерта молчанием, стала прислушиваться, не открывается ли дверь у подъезда дома.

Но прошло полчаса без всякого стука дверей. Не будучи в состоянии сдерживаться дольше, бедная мать попросила генерала спуститься в комнаты сына, как будто за какой-то книгой, и посмотреть, переодевается ли он. Он действительно переоделся. «Следовательно, он собирается и госпоже де Сов или в общество, где он встретится с ней»,— таково было заключение ревнивой матери, которая впервые открыла графу свои давнишние подозрения. Тон, которым она поверила свое горе старому другу, удержал его от сообщения ей другой тайны — займа в три тысячи франков, сделанного Губертом у него, очевидно для покрытия расходов по поездке с этой женщиной.

— Он вторично обманул меня,— воскликнула госпожа Льоран,— он, которому так претило лжи! О, как она мне испортила его!

С этого дня она переносила тяжкие муки от сознания той очевидной перемены, которая произошла в характере ее сына, и чем дальше, тем становилось ей все хуже и хуже. Она не могла сразу привыкнуть к мысли, что ее дорогой, невинный Губерт — любовник госпожи де Сов, что он мог совершить такой проступок без сильных угрызений совести... Ведь она воспитала его в строго религиозных принципах! Она не знала, несчастная, что первой заботой госпожи де Сов было — заглушить в нем голос совести, посвящая его постепенно во все стадии любви, от скромной нежности и до бурной страсти! Захваченный врасплох в эти обольстительные сети, Губерт последние пять месяцев не отдавал себе отчета в своей жизни, и таким образом природа довела до конца то, что начала любящая женщина. Если и возможно раскаиваться в излишествах удовольствий, то счастье, во всяком случае, заглушает это раскаяние. Молодой человек находился в том мире блаженства, когда не замечаешь мук, причиняемых другим. А между тем именно на свои страдания рассчитывала госпожа Льоран, надеясь в простоте невинной души видом этих мучений оторвать сына от женщины, которую она считала способной заколдовать, опутать, погубить его... Система ее была наивна, но свойственна всем чувствительным и нервным натурам. «Он увидит,— думала она,— что я изнемогаю, разве этого не достаточно?» Но на ее беду Губерт, опьяненный страстью, усматривал в ее страданиях только тиранию и несправедливость по отношению к женщине, которую он считал идеальной и которую боготворил.

Когда после утренней поездки верхом в Булонском лесу, где он встречал госпожу де Сов в коляске с серыми пони, которыми она сама правила, он садился дома за завтрак, он замечал грустное выражение лица своей матери и говорил самому себе: «По какому праву она грустит? Мои чувства к ней нисколько не изменились?» Да, он рассуждал, вместо того чтобы чувствовать, и не обращал внимания на сердце матери, обливавшееся кровью. Когда он обедал вне дома и при прощании с матерью предчувствовал, что она весь вечер проскучает без него, он думал: «Если бы она знала, сколько раз Тереза упрекала меня за то, что я слишком много часов посвящаю нашей любви!» Действительно, его любовница, зная огромное влияние на него своей

любви, великодушно просила его поступать по собственному его желанию, умоляла его принести любовь в жертву другим обязанностям,— и никогда не сомневалась, каково будет его решение!

Случалось также, что Губерт возвращался домой после тайного свидания с Терезой, происходившего днем в холостой квартирке в предместье Фридланд, которую Эммануил Деруа предоставил в распоряжение своего друга. В этих случаях молодой человек становился, действительно, неблагодарным. Что было тому причиной? Нервная ли грусть, сопровождающая слишком сильное наслаждение, делала его жестоким, или мучили его тайные угрызения совести, или слишком резок был контраст между нежным проявлением страсти Терезы и грустной любовью госпожи Льоран? Глухой гнев подымался в нем, а не жалость к женщине, которая так обожала его и так страдала из-за него. Мария-Алиса замечала это чувство и еще больше мучилась, не сознавая, что этим делает непоправимую ошибку и дает Губерту возможность проводить безнравственную параллель между строгостями семьи и дивными наслаждениями свободной любви.

Истощенная постоянным беспокойством, мать теряла последние силы, когда неожиданное событие, которое легко было бы предвидеть, положило между нею и сыном еще преграду, возбудившую новый антагонизм. Это происходило на Святой неделе. Госпожа Льоран возлагала последние надежды на исповедь и причастие, рассчитывая, что религиозные чувства заставят Губерта порвать связь, которую она считала еще не вполне преступной, но уже опасной. Как набожная христианка она не могла и мысли допустить, что сын ее не исполнит пасхальных обязанностей, и потому, нисколько не сомневаясь в его ответе, она спросила его, когда они как-то остались одни:

— В какой день ты будешь исповедоваться и причащаться в этом году?

— Матушка,— с заметным замешательством ответил Губерт,— простите меня, если я причиняю вам огорчение. Я должен сознаться, кое-какие сомнения закрались в мою душу, и, по совести, я не нахожу возможным подойти к святой трапезе.

Как громом пораженная этим ответом, Мария-Алиса увидела, в какой пропасти находится ее сын, которого спасти она считала еще возможным. Предлог, вы-

ставленный Губертом, ни на минуту не обманул ее. Откуда могли явиться в нем религиозные сомнения, когда уже целые месяцы он не читал ни одной книги? К тому же она знала простоту души своего сына, воспитанием которого сама заведовала... Нет, причина другая: он не хочет причащаться, чтобы не исповедоваться и в исповеди не сознаться в ужасной ошибке — ошибке, которая длится уже шесть месяцев! Прелюбодей, ее сын прелюбодей! Это страшное слово казалось ей, такой чистой, честной и набожной, олицетворением всего низкого и бесчестного, лжи и бесстыдства! Возмущенная, она нашла наконец в себе довольно силы, чтобы открыть Губерту свое сердце; религиозные опасения за душу сына подсказали ей слова, которые сама она раньше не решилась бы произнести. Она назвала госпожу де Сов, осыпáла ее самыми тяжкими упреками, заклеймила ее всем, чем может честная женщина заклеймить падшую, вызывала в сыне воспоминания прошлого и, наконец, потеряв всякую нить мыслей и ничего не соображая, грозила ему, умоляла...

— Вы ошибаетесь, матушка,— ответил Губерт, выдержав без возражения первый натиск.— Госпожа де Сов совсем не такая, какой вы ее считаете. Но так как я не допускаю, чтобы в моем присутствии оскорбляли моих друзей, я предупреждаю вас, что при первом повторении такого рода разговора я покину этот дом.

И с этими словами, которые он хладнокровно произнес в полном сознании несправедливости своей матери, он вышел из комнаты.

— Она извратила его сердце, она обратила его в чудовище,— говорила госпожа Льоран госпоже Кастель, передавая ей эту сцену, после которой в течение двадцати дней мать и сын не обменялись ни одним словом.

Губерт, садясь за завтрак, целовал свою мать в лоб и после двух-трех вопросов о ее здоровье все время молчал. Чаще всего к обеду он вовсе не являлся. И это свое огорчение, как и все другие, он поведал Терезе, которая умоляла его быть уступчивым.

— Сделай это,— сказала она,— хоть для меня. Мне так больно думать, что я — причина дурного поступка в твоей жизни...

Благородная душа,— ответил молодой человек, покрывая ее руки поцелуями и любуясь ее глазами, для него столь дорогими.

Но не нелепые любовницы заставляли его больше любить ее и больше негодовать на мать за оскорбительные выражения о ней. А между тем под влиянием бурной сцены с сыном госпожа Лоран была в возвратную нервную болезнь, и ей было строго предписано не покидать кровати; но это не мешало ей, несмотря на страшные боли, со всевозможными предосторожностями ползти по ночам к окну и открывать ставни, чтобы видеть Губерта при его возвращении, наблюдать за движением его тени в его комнате и чувствовать присутствие сына, хотя и потерянного, но все еще дорогого... Гнев понемногу утихал, и отчаяние овладевало ею.

Они помирились благодаря посредничеству госпожи Кастель, которая от этих натянутых отношений терпела двойные муки. От матери она взяла обещание, что никогда больше не будет речи о госпоже де Сов, сына же заставила извиниться за его холодность в продолжение стольких дней. Настал новый период. Мария-Алиса старалась удерживать сына дома полной переменой в своем образе жизни. Все еще надеясь, что сбудется ее заветная мечта, она уверила себя, что эта женщина имела влияние на ее сына благодаря главным образом тем развлечениям, которые доставляло ее общество. Ведь жизнь обитательниц дома на улице Вано была слишком монотонна для ничем не занятого молодого человека!

Теперь только она поняла, как неблагоразумно поступила, что под предлогом слабого здоровья Губерта и из желания видеть его постоянно возле себя не избрала для него какой-нибудь карьеры! Она наивно вообразила, что надо несколько оживить их одиночество и впервые с тех пор, как овдовела, стала давать большие обеды. Двери дома открылись. Всюду горели люстры. Старинное серебро с гербом де Транс украсило стол, вокруг которого собиралось несколько стариков и несколько прелестных молодых девушек, красотой и изяществом резко отличавшихся от неуклюжих провинциальных кузин де Транс. Но Губерт со времени своей связи с Терезой из преувеличенной верности не позволял себе смотреть ни на одну другую женщину. К тому же наступивший май с его теплыми, светлыми днями не раз выманил влюбленную парочку на прогулки в окрестностях Парижа, в Сен-Клу, Шавиль и Марли,— и вот, сидя в столовой на улице Вано, Гу-

берт вспоминал впечатления от этих прогулок, улыбку Терезы, предлагающей ему цветок, луч солнца, отражающийся сквозь листву на ее лбу, бледность ее лица среди зеленеющей природы, какой-нибудь жест или позу ноги на траве какой-нибудь тропинки...

Если он и прислушивался к разговору, то делал сравнения между речами гостей госпожи Льоран и речами гостей госпожи де Сов. Первые были полны предрассудков и теорий строго нравственной жизни; вторые были проникнуты тем чисто парижским юмором, пустоты которого молодой человек не замечал... Таким образом он присутствовал за обедами у своей матери с лицом, которое ясно указывало, что мысли его далеко.

— Что делать, что делать? — со слезами спрашивала госпожа Льоран.— Все в нашем доме надоело ему, и только у этой женщины он находит удовольствие.

— Надо ждать,— отвечала госпожа Кастель.

Ждать! Это — последнее слово мудрости; но в ожидании страстная душа изнывает тоской. Для Марии-Алисы, вся цель жизни которой сосредоточивалась на этом сыне, каждый час ожидания был новой раной в сердце. Она не могла при всем своем благородстве воздержаться, чтобы не следить за каждым его шагом; она замечала всякий новый брелок, который он носил, и спрашивала себя, не заключается ли в нем какого-нибудь сувенира его преступной любви. Так, на мизинце у него было золотое колечко, которого она не видела раньше, и — Боже! — чего бы она не дала, чтобы знать, не выгравировано ли на нем какое-нибудь число или слово! Случалось, что, целуя его, она вдыхала запах духов, ей неизвестных и, наверное, употребляемых его любовницей, и каждый раз этот нежный ароматический запах сжимал ее сердце как в тисках. Наконец, в том состоянии, до которого она дошла, все наносило ей рану за раной, и даже опущенные глаза или бледный цвет лица Губерта вызывали в ней восклицание: «Она мне убьет его!»

В этом доме с простыми привычками было принято, что все письма передавались в руки госпоже Льоран, которая сама уже распределяла их по назначению. Губерт не смел требовать от консьержа Фирмена нарушения этого правила, чтобы не делать лакея поверенным своих разногласий с матерью. Между тем он и его любовница переписывались ежедневно, независимо от того, видались ли они уже или нет, из простой потреб-

ности всецело и постоянно принадлежать друг другу. Часто Губерту удавалось, предварительно сговорившись с Терезой о часе отправления письма, самому получать свои письма у консьержа и не допускать их до матери; но бывало, что письма приходили не совсем вовремя, и тогда они неизбежно проходили через руки госпожи Льоран.

Мать никогда не ошибалась и узнавала почерк, для нее самый ненавистный в мире. Случалось, что Тереза вместо письма для большей скорости отправляла маленькую синюю депешу, и тогда сознание, что эта бумажка менее часа тому назад была в руках любовницы ее сына, было невыносимо для бедной женщины. Дабы оградить Губерта от недостойных хитростей, а себя от ужасных сердцебиений, она решилась распорядиться, чтобы письма к Губерту передавались непосредственно ему. С тех пор она не имела перед собой никаких реальных признаков сношений молодого человека с госпожой де Сов, и это послужило для нее новым источником надежд, а потом и разочарований.

В течение июля Губерт перестал выходить по вечерам, и она вообразила себе, что они поссорились, но затем Жорж Льоран, которого она сделала своим поверенным, так как он знал госпожу де Сов, сообщил ей, что Тереза уехала в Трувиль. Несбывшаяся мечта еще сильнее поразила ее. Такова уж судьба впечатлительных натур, что страдания их от времени и привычки не смягчаются, а, напротив, все увеличиваются и разрастаются: в малейших деталях отражается безграничное горе, как в капле воды — безграничное небо.

VI

Черные тучи

Из всех лиц, составлявших интимный кружок обитательниц дома на улице Вано, Жорж Льоран более всего был озабочен состоянием Марии-Алисы, так как она очень страдала. Она понимала, что в случае надобности только он будет в состоянии помочь ей. При всяком посещении он замечал, какое разрушающее влияние оказывали на нее сосредоточенные думы все об одном и том же: лицо ее вытянулось, щеки ввалились, цвет лица стал свинцово-серым, и ее чудные черные волосы седели целыми прядями. Жоржу Льорану слу-

чалось из дома на улице Вано отправляться в общество и там встречать Губерта почти всегда около госпожи де Сов, изящного, красивого, с блестящими глазами и улыбкой на губах,— и этот контраст возбуждал в нем странные, самые противоположные чувства.

С одной стороны, Жорж очень любил Марию-Алису, любовью, которая в их ранние, юные годы была очень романтична; с другой стороны, связь этого милого Губерта с Терезой подымала в нем непонятное ему самому нервное раздражение. Он питал к своему кузену непреодолимую антипатию, какую питают все мужчины в возрасте от сорока до пятидесяти лет к молодым людям, занимающим их место в обществе. К тому же он принадлежал к тем отжившим свой век жуирам, которые ненавидят любовь, потому ли, что они пресыщены ею или потому, что она недоступна им более. Эта ненависть к любви осложнялась у него еще полным презрением к женщинам, ошибшим в ошибку, а он подозревал Терезу в двух любовных связях, одной, очень краткой,— со знаменитым депутатом бароном Фредериком Дефоржем, и другой, более продолжительной,— с довольно известным писателем Жаком Моланом. Как и многие, он судил о женщинах по их любовникам, и в этом он сильно ошибался: причины, по которым женщина отдает себя, чаще всего не имеют ничего общего ни с личностью, ни с характером выбранного любовника. Под внешними, изящными и откровенными манерами барона Дефоржа скрывалась натура страшно циничная, а под ловкостью артиста и притворной нежностью красавца Жака Молана — безграничный эгоизм и отсутствие твердых принципов.

На эти-то данные, которые должны были, по мнению Жоржа, развратить сердце Терезы, тайно рассчитывал он, чтобы в недалеком будущем положить конец связи Губерта. Он был убежден, что госпожа де Сов переняла от этих господ, взгляды и нравы которых он знал, привычку и большую потребность чувственных наслаждений, и если когда-нибудь чистота и невинность Губерта оставят ее неудовлетворенной, она без сомнения изменит ему. «Это, конечно, причинит ему сильное горе,— говорил он себе,— но научит его жизни». Жорж Льоран, как и большинство лиц его круга и возраста, был того мнения, что молодой человек должен по возможности раньше выработать в себе практические философские взгляды старых мизантро-

ней, то есть мало верить дружбе, видеть в большинстве женщин «вертушек» и во всех человеческих деяниях искать выгоду, очевидную или скрытую,— и, как это ни малооригинально, в современном обществе эти взгляды далеко не ошибочны.

Таким размышлениям предавался Жорж, когда ему случилось однажды в октябре того же года сидеть за обедом в отдельном кабинете английского кафе в обществе пяти знакомых. После тонкого обеда с отличными винами мужчины за чашкой кофе и с сигарами в зубах весело болтали, как вдруг Жорж, прервав свою беседу с соседом с правой стороны, услышал конец такой фразы, с которой его сосед с левой стороны обратился к одному из товарищей.

— Мы видели их из верхней комнаты на даче Миро, из комнаты, обращенной в мастерскую художника. Рассматривая их в подзорную трубу, мы все видели, как на ладони. Она действительно вошла, как и накануне, и только она вступила в комнату, он поцеловал ее, но каким поцелуем!..— И рассказчик щелкнул языком, выпивая остатки ликера, оставшиеся в его рюмке.

— Кто это — он?— спросил Жорж Льоран.

— Ла Круа-Фирмен.

— А кто — она?

— Госпожа де Сов.

«Вот странное совпадение; действительно, стоило принять приглашение этого дурака на обед»,— подумал Жорж, глядя на хозяина, некоего Луи де Фигона, франта низшего разбора, очень довольного тем, что угощает клубных завсегдатаев.

— Мы ожидали чего-нибудь более интересного,— продолжал рассказчик,— но она спустила шторы... Как мы после этого дразнили Людовика по поводу его утомленного вида!.. В течение целой недели только об этом и было разговору на всем пространстве между Трувилем и Довилем. Должно быть, она догадалась об этом, так как скоро уехала. Тем не менее, держу пари, она эту зиму все-таки будет принята всюду... Наше общество становится слишком снисходительным...

И пошли шутки и остроты этих моралистов, которые среди табачного дыма и с рюмками кюмеля и фиш-шампаня в руках обсуждали условия современной жизни... Молодой человек, рассказывавший скандальную историю госпожи де Сов, Филипп де Вард, был одним из менее испорченных среди остальных; безусловно

порядочный человек, который скорее покончил бы жизнь самоубийством, чем не заплатил бы карточного долга, он никогда не отказался бы от дуэли, готов был на любую дружескую услугу и даже на значительную денежную помощь. Но отказаться от удовольствия рассказать за обедом о любовной интриге светской женщины или о происхождении «плода любви преступной» — нет, это было бы слишком скучно!

Быть может, этот самый свидетель легкомысленного поведения Терезы де Сов проливал бы искренние слезы раскаяния, если бы знал, что его рассказ послужит оружием для разрушения счастья молодой женщины, но в данном случае он бессознательно совершил жестокий поступок с совершенно спокойной совестью. Впрочем, разве Жорж Льоран не узнал бы из другого источника все эти подробности, которые открылись ему благодаря болтливости товарища так внезапно и с такой точностью?

Откровенно говоря, это разоблачение не удивило его. Два-три раза, на обратном пути домой, он повторял себе: «Бедный Губерт!», но втайне он чувствовал эгоистическое удовлетворение, которое девять раз из десяти дает вид чужого несчастья при сознании, что его предсказания сбываются: его ненависть к человечеству вызывала в нем не сожаление, а радость при людском горе. В правдивости рассказа он ни на минуту не усомнился, так как хорошо знал Людовика де ла Круа-Фирмена: это был самый обыкновенный, ничем не выдающийся фат, который тем не менее нравился женщинам по тем таинственным мотивам, которые иногда и нас, мужчин, подчиняют влиянию некоторых женщин.

Возможно, что в этих мотивах кроется много того «животного» чувства, которое неизбежно в отношениях мужчин с женщинами. Ла Круа-Фирмену было двадцать семь лет — возраст полного расцвета сил; у него были светлые, почти рыжеватые волосы, голубые глаза на нежном лице и белые зубы, блестевшие при каждой улыбке его свежих губ. Когда он так улыбался, его подбородок с ямочкой, приплюснутый нос и курчавые волосы напоминали бессмертный тип Фавна, в котором древние увековечили блаженную чувственность. Еще сильнее его физическая привлекательность, благодаря которой он имел много любовных связей, проявлялась в ловкости движений, свойственной лицам, сохранив-

все свои силы. Несмотря на слабое образование и очень ограниченный ум, он обладал даром, который делает такого хорошо сложенного человека опасным: у него был такт и внутренний голос, которые подсказывали ему минуту, когда можно быть смелым, когда женщина под влиянием внезапного возбуждения готова отдаться.

Таким образом ла Круа-Фирмен имел много любовных приключений, и, хотя происхождение и материальные средства должны были бы сделать из него порядочного человека, он тем не менее охотно рассказывал о своих связях. Эта нескромность не только не вредила ему, но даже, если можно так выразиться, служила рекламой. Вопреки его болтливости, дерзости и фатовству ни одна из женщин, которых он компрометировал, не сделалась его врагом,— быть может, потому, что она из своих сношений с ним сохраняла воспоминания только о приятных ощущениях без надежд на будущее — лучшие воспоминания, по мнению циников.

На эту-то нескромность ла Круа-Фирмена и рассчитывал Жорж, чтобы собрать несколько доказательств факта, который сделался ему известным за обедом в английском кафе. Как старый холостяк он имел склонность более верить дурному, чем хорошему, и приучил себя видеть обратную сторону медали, которую представляет собой современное общество. Он умел разыскивать скрытую правду и без труда узнавать ее в отрывочных фразах, которые слышал в салонах Парижа. В данном случае ему необходимо было найти что-нибудь, что его самого окончательно убедило бы. Для этой цели ему достаточно было сделать несколько визитов к светским дамам, которые провели сезон в Трувиле, и к одной даме полусвета, некой Эмме Вирие, любовнице лучшего друга ла Круа-Фирмена. Из всех этих справок, а также из собственного признания Людовика своим приятелям Жорж вывел твердое заключение, что он действительно был любовником госпожи де Сез и что только спешный отъезд Терезы из Трувиля спас ее от непоправимой беды. Теперь, когда осенний сезон был в полном разгаре, десять новых светских скандалов заставили общество почти забыть о летнем скандале.

Во всем этом Жорж Лоран увидел довольно материала, который способствовал бы прекращению связи

Губерта с Терезой, и счел нужным обо всем предупредить Марию-Алису. Правда, моментами он колебался, так как вмешивался в историю, которая его совсем не касалась; но тайная ненависть к двум влюбленным и действительное желание снять бремя горя с женщины, которую он обожал, одержали верх над его колебаниями. В тот же вечер, когда Эмма Вирие, не придавая своим словам никакого значения, передала ему подробности, сообщенные ей ее любовником, другом Людовика, он отправился на улицу Вано и рассказал госпоже Льоран, лежавшей на кушетке около госпожи Кастель, неожиданную новость, которая сразу должна была дать матери перевес в борьбе с любовницей сына.

— О несчастная,— воскликнула эта почти изнемогавшая от горя женщина,— она даже не была способна любить его!..— Она произнесла эту фразу с таким тоном, в котором сказывалось мнение, давно сложившееся у нее о любовнице сына. Ведь она столько думала о том, какова должна быть страсть падшей женщины, чтобы действовать на Губерта сильнее, чем ее любовь, любовь безграничная!— И ради такой женщины,— продолжала она, покачивая своей совершенно поседевшей от горя головой,— он причинял нам столько мучений!.. О матушка, когда он сравнит то, чем он пожертвовал, с тем, что предпочел, он не поймет самого себя.— Затем, протягивая руку Жоржу, она прибавила:

— Благодарю вас, кузен; вы спасли меня: если бы эта возмутительная история продолжалась, я бы умерла!

— Увы! Несчастная дочь,— сказала госпожа Кастель, гладя ей голову рукой,— не поддавайся напрасным надеждам. Если Губерт любил ее, он любит ее и поныне. Ничего не изменилось. Ведь только одним дурным поступком больше совершила эта женщина, а она к этому, вероятно, привыкла...

— Вы думаете, конечно, что он не узнает всего этого?— воскликнула Мария-Алиса, встав с места.— Но я была бы отвратительна в собственных глазах, если б не открыла глаза этому несчастному мальчику. Пока я верила ее любви, я могла молчать: как ни преступна была эта любовь, она все-таки отзывалась страстью, чем-то искренним и хотя и порочным, но экзальтированным... Теперь же какое название дать всей этой грязи?..

— Будьте благоразумны, кузина,— сказал Жорж Льоран, встревоженный тем гневом, с которым были произнесены последние слова.— Подумайте, ведь мы не можем представить бедному Губерту осязаемых и неопровержимых доказательств, против которых спор немыслим!

— Но какое более веское доказательство нужно вам,— перебила она,— чем подтверждение лица, которое было очевидцем?

— Ну! Для тех, которые любят...

— Вы не знаете моего сына,— гордо возразила мать.— В нем нет этой снисходительности. Раньше чем действовать, я попрошу вас обещать мне одно: если он спросит вас, расскажите ему то, что сообщили нам, и теми же словами.

— Конечно,— после некоторого молчания ответил Жорж,— я скажу ему все, что знаю, и пусть он сам сделает заключение, какое захочет.

— А если он будет искать случая, чтобы вызвать на дуэль господина де ла Круа-Фирмена?— спросила госпожа Кастель.

— Он не может этого сделать,— возразила мать, которая, несмотря на возбуждение, вспомнила в этот момент светские правила:— наш Губерт настолько приличный человек, что не допустит, чтобы имя женщины, хотя бы и такой, было произнесено с намеками на него...

Бедный Губерт!.. Час за часом, как прибой морского прилива, все более приближалась его судьба, приближалась благодаря и недружелюбию Жоржа Льорана, и слепой страсти Марии-Алисы. Госпожа Льоран, по крайней мере, думала, что старается для счастья сына, не понимая, что для влюбленного лучше быть обманутым кругом, чем подозревать обман хотя бы и незначительный. Но, несмотря на свою горячую беседу с кузено́м, она не нашла в себе достаточно силы, чтоб самой поговорить с сыном: она не в состоянии была бы перенести вид первого взрыва его страданий.

Конечно, она считала доказательства, данные ей Жоржем, неопровержимыми и видела свою материнскую обязанность в том, чтоб оторвать сына от чудовища, его развращающего, но перенесла ли бы она первый взрыв негодования, который последовал бы за этим объяснением? Правда, она надеялась, что в минуту отчаяния он вернется к ней, что она откроет ему свои

объятия и что весь этот ряд недоразумений рассеется как кошмар... Самообман, который существует у родителей по отношению к своим детям, мешал ей отдать себе ясный отчет в той перемене, которая могла за это время произойти в душе сына. В мыслях она видела его таким, каким он был в детстве, ласкающимся к ней при малейшем ее огорчении. Ошибочная логика, внушенная любовью, говорила ей, что, как только устранится препятствие, которое их разъединило, они снова встретятся такими же, как и в былое время. Первой ее мыслью было послать к нему Жоржа, но потом с чисто женским тактом она сообразила, что это было бы слишком большим ударом для его самолюбия. Поэтому она решилась еще раз обратиться к содействию старого друга, генерала Силли, и попросила его рассказать все молодому человеку.

— Вы мне даете страшно трудное поручение, — ответил генерал, выслушав все объяснения.— Я, конечно, исполню ваше желание, но, поверьте, лучше было бы молчать. Я сам пережил то же самое,— прибавил он,— и почти при таких же условиях. Подлая женщина остается подлой, и все они похожи одна на другую; но первый, кто решился бы заикнуться мне о ней, нелегко отделался бы от меня. Впрочем, никому и не пришлось открывать мне глаза: я сам все узнал.

— И что же вы сделали?— спросила Мария-Алиса.

— То, что делают с ногой, разбитой взрывом гранаты,— ответил старый воин,— я храбро ампутировал себе сердце. Это было очень больно, но я излечился!

— Вы видите, необходимо, чтоб мой сын все узнал!— воскликнула мать тоном, в котором слышались и торжество, и жалость.

VII

Гроза

После завтрака у одной из подруг госпожи де Сов, к которой как раз к кофе приехала и Тереза, Губерт Льоран отправился на Орлеанский бульвар, куда призывала его к трем часам записочка генерала. Молодой человек при получении этой записочки своего крестного вообразил себе, что тот приглашает его для объяснений по поводу долга, так как знал графа за человека очень педантичного, а между тем прошло уже несколько месяцев, и он не сделал ни одного платежа. Поэтому,

комнату первого этажа, в которой он не был со времени своей поездки в Фолькстон, тотчас же начал извиняться слегка смущенный воспоминаниями, которые вызывала в нем эта комната, все с теми же заметками «о преобразовании армии» на столе и с тем же бюстом Бюжо на камине...

Генерал, в халате, скроенном по фасону «венгерки», спокойно покуривая из своей деревянной трубочки, при первых же словах Губерта перебил его: «Не в этом дело, друг мой»,— сказал он голосом серьезным и вместе с тем печальным, по которому молодой человек отлично понял, что разыграется сцена первостепенной важности.

Как ни странно верить предчувствиям в том смысле, какой придает этому слову народ, тем не менее нельзя отрицать, что восприимчивым натурам достаточно нескольких мелочей, чтобы почувствовать приближающуюся опасность. Генерал молчал, но Губерт и в глазах его, и на губах читал имя госпожи де Сов, которое он до сих пор никогда не слыхал от своего крестного. Он с нетерпением ждал продолжения разговора, с нетерпением, которое вызывало в нем страшное сердцебиение. Силли, вся опытность которого в таких вопросах заключалась в недоверии к любви, был объят теперь такой жалостью к дорогому «мальчику», которому собирался нанести жестокий удар, что фразы, заготовленные им заранее, показались ему бессмысленными. Тем не менее необходимо было говорить, и Силли по привычке храброго и откровенного вояки прямо приступил к делу.

— Дитя мое,— сказал он с некоторой торжественностью,— я должен сообщить тебе, что знаю всю твою жизнь. Ты — любовник замужней женщины, госпожи де Сов. Не отрицай! Честь не велит тебе сказать мне правду, но необходимо с самого начала все уяснить.

— Зачем же вы говорите мне об этом,— ответил молодой человек, вставая и берясь за шляпу,— если вы сами признаете, что честь не велит мне слушать вас? Если только с этой целью вы пригласили меня, то покончим на этом, крестный. Я предпочитаю попрощаться с вами, чтобы избежать ссоры.

— Не для допроса или нравоучений я начал эту беседу,— возразил граф, взяв руку, сухо протянутую ему Губертом.— Мне нужно сообщить тебе очень важ-

ный факт, который тебе необходимо знать. У госпожи де Сов есть еще любовник, кроме тебя, Губерт.

— Крестный,— ответил молодой человек, вырвав свою руку из рук старика и внезапно побледнев от гнева,— не знаю, почему вы хотите, чтоб я перестал уважать вас. Это низость — сказать о женщине то, что вы только что сказали!

— Если бы дело касалось не тебя,— ответил граф, вставая со спокойным, но печальным лицом, которое резко отличалось от взволнованного вида Губерта,— ты знаешь, я не стал бы говорить ни о госпоже де Сов, ни о какой бы то ни было другой женщине. Но я люблю тебя, как родного сына, и говорю тебе: ты отдал свою любовь недостойной женщине — у нее другой любовник.

— Кто? Когда? Где? Какие у вас доказательства?— спросил Губерт, ошеломленный настойчивостью и хладнокровием генерала.— Говорите же, говорите!..

— Когда?— В это лето... Кто?— Некий господин де ла Круа-Фирмен... Где?— В Трувиле... Да ведь это всеобщая молва,— продолжал Силли и, не называя ни Жоржа, ни кого другого, передал все те подробности, которые сообщил госпоже Льоран ее кузен, начиная с рассказа очевидца Филиппа де Варда и кончая собственными признаниями ла Круа-Фирмена. Молодой человек слушал, не перебивая, но лицо его приняло ужасное выражение и покрылось бледностью, вызванной гневом, горем и презрением.

— От кого вы узнали эту историю?— спросил он.

— Что тебе за дело?— сказал генерал, поняв, что назвать лицо, сообщившее все эти сведения, значило вызвать сцену, которая могла бы иметь для Жоржа трагический исход.— Да что тебе за дело, если ты не любовник госпожи де Сов?

— Я ее друг,— возразил Губерт,— и имею право защищать ее, как защитил бы вас, от возмутительной клеветы... Впрочем,— продолжал он, глядя своему крестному прямо в глаза,— если вы отказываетесь ответить мне, даю вам честное слово, что не позже чем через два дня я найду этого подлого клеветника ла Круа-Фирмена и вызову его на дуэль, причем ни одно женское имя не будет произнесено.

Видя возбужденное состояние Губерта и не зная, чем успокоить гнев, которого он не предусмотрел и который был вызван полнейшим недоверием, генерал

[illegible] только госпожа Льоран будет в состоянии успокоить своего сына.

— Я сказал тебе все, что мог,— ответил он с грустью,— если хочешь знать больше, обратись к своей матери...

— К матери?— воскликнул с резкостью молодой человек.— Я должен был догадаться об этом. Хорошо, я иду к ней.

Полчаса спустя он входил в маленькую гостиную на улице Вано, где госпожа Льоран одна действительно ждала своего сына в страшном волнении. Она знала, что теперь происходило объяснение с Силли, и пугалась его исхода. Увидев искаженное лицо Губерта, его бледность и круги под глазами, Мария-Алиса почувствовала, что и на ней отражается это возбужденное состояние.

— Я пришел от моего крестного, матушка,— начал молодой человек,— он наговорил мне вещей, которых я ему никогда не прощу. Меня еще более огорчило то, что он сослался на вас, передавая мне сплетни об особе, которую вы можете не любить... Но я не признаю за вами права чернить ее передо мной, ведь я считал ее всегда безукоризненной...

— Не говори со мной таким тоном, Губерт,— ты вонзаешь мне нож сюда...— сказала госпожа Льоран, указывая на свою грудь.

О, не один только голос Губерта, сухой и резкий, мучил ее, но также и очевидное доказательство того, какое чувство привязывало его к госпоже де Сов. «Между мной и ею,— думала она,— он выбрал бы ее». Это горе вновь оживило в ней чувство ненависти к этой женщине — причине ее горя, и в этом чувстве она почерпнула силы, чтобы продолжить разговор.

— Ты совсем забыл о семейных чувствах, дитя мое,— сказала она более спокойным тоном,— ты не понимаешь, какую нежность мы питаем к тебе и какие обязанности она налагает на нас.

— Странные обязанности, заключающиеся в повторении гнусных слухов об особе, вся вина которой заключается в том, что она внушила мне глубокую симпатию к себе!

— Нет,— возразила госпожа Льоран, тоже воодушевляясь,— не станем возобновлять спора, который святотатственно вооружил тебя против меня,— и взгляд ее встретился со взглядом сына и блеснул, как лезвие

В двух словах ни в чем не [illegible], я [illegible] нину, недостойную тебя, и я, твоя мать, [illegible] передать тебе это и теперь повторяю.

А я, ваш сын, вам отвечаю [illegible] чуть не сорвалось с его языка, но, испугавшись [illegible] собственного намерения, он наклонился, поцеловал руку и прибавил, — вы ошибаетесь, матушка... Прощайте, что я говорю с вами таким тоном, но я не могу владеть собой...

Послушай, дитя мое, — сказала Мария Алина, в глазах которой показались слезы, вызванные этой неожиданной нежностью, — я не могу разбирать с тобой всех этих печальных подробностей... Пойди к нашему Жоржу, и он повторит тебе все, что рассказал нам. Ведь это он из любви к нам счел своим долгом предупредить нас. Но запомни слова твоей матери, прозрение которой дальновиднее твоего: я не ненавидела бы с самого начала эту женщину, если бы не предвидела, что она принесет тебе горе. Прощай же, дитя мое, поцелуй меня,— прибавила она, как бы предугадывая, что отныне поцелуи ее сына уже не будут такими, какими были прежде.

Губерт выбежал из комнаты, вскочил в фиакр и дал кучеру адрес клуба Эмперьяль, где надеялся найти Жоржа. Но пока кучер, подогретый обещанием больших чаевых, неимоверно стегал свою лошаденку, несчастный юноша предался размышлениям об ударе, который его постиг так неожиданно. Деятельная раса, от которой он происходил, сказалась и в нем, и он вновь овладел собой. Он прежде всего решил, что вся эта клевета не могла быть выдумкой матери или крестного: он знал, что оба они ненавидят Терезу, что решились бы на многое, чтобы оторвать его от нее (доказательства у него были налицо), на все пошли бы госпожа Льоран и граф, только не на ложь. Они, конечно, верили тому, что говорили, верили на слово Жоржу, который сообщил им один из тысячи гнусных слухов, циркулирующих в Париже,— но для чего сделал это Жорж?

Губерт ни на минуту не мог допустить и доли правды во всей этой истории о связи его любовницы с другим. Оставляя в стороне сам факт, он стал размышлять о человеке, сообщившем его. Что побудило так поступить этого кузена, к которому он ехал теперь за

сомнением? Он мысленно увидел того с его тонким лицом, клинообразной бородкой, короткими волосами и острым взглядом и невольно почувствовал к нему недоброжелательство, незаметно внушенное ему госпожой де Сов.

Хотя Жорж никогда не делал Губерту намеков и не насмехался над Терезой, тем не менее она с инстинктом женщины относилась к этому кузену с недоверием и с самого начала почувствовала, что ее любовь к Губерту антипатична ему. Она догадывалась, что он во всем этом видит только фантазию пресыщенной женщины, но и это она простила бы ему скорее, чем тот тон, с которым Жорж произносил ее имя и который не гармонировал с тем чувством, которое она надеялась внушить Губерту. И наконец, сказать правду,— у нее было прошлое, и Жорж мог знать это прошлое; при одной только мысли об этом дрожь пробирала ее. По все этим причинам она пустила в ход самую тонкую тайную дипломатию, чтобы разъединить кузенов, и эта дипломатия сказалась теперь в том недоверии, с которым относился Губерт к Жоржу.

Фиакр быстро уносил Губерта по направлению к клубу, находившемуся на улице Буасси д' Англа. «Каким путем,— думал в это время молодой человек,— допросить Жоржа? Ведь не могу же я сказать ему: я — любовник госпожи де Сов; вы обвиняете ее в измене мне — докажите это!..» Невозможность такого разговора сделалась еще более понятной Губерту, когда экипаж остановился у клуба. «В конце концов,— сказал он самому себе,— это ребячество — думать о том, чему верить или не верить». И, отпустив кучера, он, вместо того чтоб зайти в клуб, пошел по направлению к Елисейским полям.

Вся прелесть любви заключается в том, что она охватывает три разных существа, живущих в нас: мысль, чувство и инстинкт, или, вернее,— разум, сердце и плоть. Но в этом соединении кроется и слабая сторона любви: бессильная против наплыва воображения, она дает возможность родиться внезапной ревности. Этим объясняется, почему человек, даже уверенный в любви к нему, так легко отдается подозрениям, как только воображение рисует ему картину измены его любовницы. Конечно, сам любовник не верит этой картине, но не может и забыть ее вполне и страдает до тех пор, пока неоспоримый факт не докажет ему бессмыслен-

ность этих воображаемых образов; а так как при создании такой картины большую роль играет физическая сторона жизни, то чем реальнее будет доказательство, тем полнее будет спокойствие ревнивца. Это состояние похоже на кошмар — как только проснешься, все галлюцинации сна рассеиваются как дым.

Губерт Льоран уже целый год любил Терезу де Сов и за все это время ни разу ни на минуту не усомнился в ней; даже теперь, после формального обвинения, произнесенного графом Силли и госпожой Льоран, он не считал ее виновной в измене. «Тем не менее в этих обвинениях, быть может, есть доля правды»,— думал Губерт, направляясь к Триумфальной арке, и фразы, сказанные крестным и матерью, вызывали в его воображении картину измены Терезы с другим. Но эта мысль мелькнула, как молния, и он с отвращением отбросил ее. Затем эта мысль снова закралась в его голову, и невольно он вспомнил, что в бытность Терезы в Трувиле некоторые ее письма были написаны как будто не обычным почерком. Казалось, что она садилась за стол не за тем, чтобы исполнить сладостную задачу любви, а как бы для того, чтобы на скорую руку отбыть какую-то повинность. Губерт был огорчен этой временной переменой, но потом упрекал себя в неблагодарности за эту неосновательную щепетильность.

Да, но разве не вслед за этими несколькими небрежными письмами Тереза внезапно покинула Трувиль под предлогом, что морской воздух ей вреден? Этот отъезд был решен в двадцать четыре часа. Губерт вновь переживал то радостное чувство удивления, которое доставил ему этот внезапный приезд Терезы, которую он ожидал только в октябре и с которой он снова увиделся в Париже в начале сентября.

Эта былая радость обратилась в какое-то неясное беспокойство — быть может, существует какая-нибудь связь между этими письмами, в которых сквозило волнение, этим внезапным отъездом и тем ужасным поступком, в котором обвиняют Терезу!.. Но и это низость с его стороны — даже в воображении допускать такие мысли! Он поднял голову, закрыл глаза, насупил брови и, собрав всю свою силу воли, выбросил из головы всякие подозрения.

Губерт находился теперь в самом конце предместья. Он чувствовал себя настолько разбитым, что против обыкновения стал искать какое-нибудь кафе, чтобы

сесть и отдохнуть. Он заметил маленькую английскую пивную, незаметную в этой элегантной части Парижа и посещаемую кучерами и конюхами, и вошел в нее. Двое каких-то мужчин с красными лицами, отдававшие запахом конюшни, стояли перед прилавком, куда мало проникал свет октябрьского дня. Вдоль стены тянулась никем не занятая скамейка и длинный деревянный стол, на котором лежал толстый английский журнал. Губерт велел подать себе стакан портвейна. Это вино, машинально выпитое им, снова возбудило его нервы, и в третий раз он увидел прежнюю картину, и вновь мысли роем закружились в его голове.

Почему Тереза, вернувшись так внезапно в Париж, при первом их тайном свидании так горько рыдала в его объятиях? Правда, она нередко была меланхолична, почти всегда после нежных объятий ее охватывала грусть,— но какая разница между ее обычной томной грустью и этим ужасным отчаянием! Губерт был поражен, но она сказала ему: «Я так давно уже не ощущала прелести твоих поцелуев!.. Они мне так дороги, что причиняют боль. Но это сладкая боль!..»— и с этими словами она обняла его и крепко прижалась к нему.

Это отчаяние не рассеялось ни на следующий день, ни в течение тех нескольких недель, которые она затем провела на даче в окрестностях Парижа у своей подруги, куда Губерт ездил видеться с ней и где он заставал ее еще более молчаливой и более мрачной. Она вернулась в Париж в том же состоянии, но тогда он приписывал это какому-нибудь физическому недугу

Теперь же внезапная ассоциация идей наводила его на другие мысли: «Быть может,— думал он,— это были угрызения совести?.. Но вследствие чего?.. Конечно, вследствие этой подлости...» Он встал, вышел из кафе и снова принялся шагать. «Нет, я безумец!.. Если бы она изменила мне, значит, она не любила бы меня больше,— зачем же она стала бы обманывать меня?..» Это объяснение, казавшееся ему неоспоримым, на несколько минут успокоило его, но затем вновь закралось подозрение. «Но кто этот граф де ла Круа-Фирмен? спросил он себя и тщетно, перебирая свои воспоминания, старался припомнить, слышал ли он когда-нибудь от нее это имя.— Впрочем, да...» Он вспомнил это ненавистное имя, он видел его в одном отчете и какой-то бульварной газете, о празднестве в Трувиле, где

упоминалось имя его любовницы. Благодаря какому случаю этот мелкий факт сохранился в его памяти? Чтобы рассеять свои сомнения, он сел в экипаж и поехал в контору единственной газеты, которую он обыкновенно читал, перелистал прошлые номера и нашел наконец статью, которую он знал, благодаря встречающемуся в ней имени Терезы. Это был отчет о garden-party*, устроенном маркизой де Жюссо, но разве это доказывало даже то, что господин де ла Круа-Фирмен был представлен госпоже де Сов?

«О!— воскликнул бедный юноша, под влиянием этих мучительных мыслей.— Неужели я сделаюсь ревнивым?» Эта мысль казалась ему возмутительной, так как недоверчивость противоречила его натуре. Он вспомнил всю теплоту и нежность, которую проявила по отношению к нему с первого же дня Тереза и, привыкнув с тех пор всегда открывать ей свою душу, решил, что единственный способ навсегда разрушить дурные образы ревности — это увидеть Терезу и все ей сказать. Во-первых, он этим предупредил бы ее о клевете, которой она сумела бы положить конец; во-вторых, он чувствовал, что одного слова из уст этой женщины было бы достаточно, чтобы уничтожить в нем и тень подозрений.

Он вошел в почтовую контору и стал писать на синем бланке пневматического телеграфа: «Вторник, 5 часов. Друг печален и не может обойтись без своей подруги Злые люди причинили ему горе, сказав о ней дурное. Кому рассказать все это, как не своей поверенной и в горе и в счастии? Не может ли она прийти завтра в 10 часов утра? Куда — она сама знает! Пусть она придет, и будет еще более любима, если это возможно, своим Г., которое сегодня обозначает: «Грусть» Таким детским тоном писал он ей, скрывая под нежными словами свою пылкую страсть. Он опустил эту маленькую депешу в ящик и почувствовал некоторое облегчение. Этот поступок вернул его к действительности и разогнал печальные видения.

VIII

Падение

В момент получения телеграммы Губерта Тереза де Сов собиралась одеваться и выехать на приглашенный обед. Она немедленно распорядилась распрячь ло-

* Прием гостей в саду *(англ.)*.

шадей и написала несколько слов, объясняя свое отсутствие внезапным недомоганием. Холодный пот прошиб ее при чтении этих нескольких фраз на синей бумажке. Приказав лакею никого не принимать, она опустилась в низенькое кресло перед камином в своей спальне и обхватила голову руками. С тех пор как она вернулась из Трувиля, она жила в постоянной тревоге, и то, чего она боялась, как смерти, теперь осуществилось. Без сомнения, произошло что-нибудь ужасное — иначе чем объяснить это возбужденное состояние духа, сквозящее в полудетских, жалобных фразах записки ее горячо любимого друга, которого она в два часа покинула спокойного и счастливого?

Тереза ясно представляла себе, что могло произойти. Все, что рассказали Жоржу Льорану, было верно: когда она проводила сезон на берегу моря, в жизни ее произошла одна из тех драм, которые нередко случаются с женщинами, раз сошедшими с прямого пути. Но не всегда поступок женщины есть отражение ее внутреннего мира. Натура госпожи де Сов представляла странное смешение чувств возвышенных и низменных, благородства и испорченности. Если она и могла впадать в крупные ошибки, то не умела, подобно более счастливым в этом отношении женщинам, прощать самой себе, и в особенности теперь, когда страсть к Губерту наполняла всю ее жизнь.

Перед глазами госпожи де Сов мысленно протекло все ее прошлое, вся прежняя жизнь воскресала перед ней... Тяжким бременем ложились на ее совесть ошибки прошлого, и с болью в сердце вспоминала она то мрачное состояние духа, в котором находилась, когда встретилась с Губертом. Природа наделила ее чувствами, которые неизбежно ведут женщину современного общества к гибели, если только вовремя не спасут ее особенно счастливый брак или рождение ребенка и не подчинят ее плоть возвышенным стремлениям души.

Мечтательная, романтичная, она в то же время имела натуру страстную и чувственную. Если случай наталкивает подобную женщину на человека, способного удовлетворить и тем, и другим ее потребностям, то начинается бурная и страстная поэма. Бывает, что мужья с самого начала обходятся со своими женами, как с куртизанками, и, посвящая их и словами, и действиями во все тонкости плотской любви, не заботятся со-

всем об их внутреннем мире; тогда жены невольно ста-
новятся любопытными и стараются проникнуть все
глубже и глубже в эту сферу разврата. Таким челове-
ком был муж Терезы. С другой стороны, она унасле-
довала от матери, женщины, которая от скуки и без-
делья совершала ошибку за ошибкой, мечтательную
натуру и от отца, красавца графа Бранчифорте,— его
жилку, горячую кровь. К тому же, родившись в семье
ветреной и беспутной, она не получила никакого рели-
гиозного воспитания, с самых ранних лет присутство-
вала за обедами, где слышала многое, чего не должна
была бы знать, и догадывалась о том, что от нее скры-
вали. Нетрудно понять, какое влияние все эти условия
оказывали на маленькую девочку и как они содейство-
вали впоследствии падению двадцатипятилетней жен-
щины!..

Получив такое воспитание и рано выйдя замуж, Те-
реза, конечно, и до встречи с Губертом имела любов-
ные интриги, которые или случаются с женщинами
вскоре после свадьбы, или уже никогда не бывают. Ра-
зочаровавшись в двух своих первых любовниках, она
поклялась себе, что никогда больше никого не полю-
бит. Увы! Честные намерения женщины, павшей и по-
страдавшей от своего падения, так же неисполнимы,
как твердое решение игрока больше не играть после
крупного проигрыша или как обещание пьяницы не про-
балтывать в пьяном виде секретов... Причины, побуж-
дающие женщину на первую измену мужу, толкают ее и
дальше, несмотря на всю горечь первого разочарования.
Еще больше, чем любовника, женщина любит самую
любовь, и этой любовью она дорожит даже тогда, когда
любовник совсем прискучит ей. И таким образом, спус-
каясь все ниже и ниже, она начинает искать в
любви только наслаждения, самого низкого наслаж-
дения.

Тереза де Сов не могла дойти до такого состояния,
так как в ней не угасли еще все идеалы, слишком сла-
бые, чтобы удержать ее от падения, но еще достаточ-
но сильные, чтобы осветить в ее глазах открывавшую-
ся перед нею пропасть. Несмотря на свои стремления
к чувственным наслаждениям, почти животным, она не
была ветреной светской куртизанкой.

Обладая трагической душой, она не принадлежала к
категории тех жриц Венеры, которые, живя изо дня в
день, ловят часы любви и предают забвению все про-

...ее, до имени первого любовника включительно. Нет, никогда не могла она вспомнить без внутреннего содрогания этого первого любовника, барона Деформа, о котором Жорж Лоран высказал свои вполне основательные подозрения: никогда не могла она забыть тех печальных событий, которые толкнули ее в его объятия. Человек со здравым смыслом и с циничным умом посетителей Оперы, Тортони и английского кафе, он сумел выделиться в глазах Терезы из толпы ее поклонников, своих соперников, которые, как коршуны вокруг падали, кружились около нее, почуяв в ней жертву модного флирта. Откровенно, в ловких фразах и не скрывая порока, он предложил ей соединиться для наслаждения — наслаждения тайного, верного, но без будущности,— и несчастная приняла его предложение, приняла потому, что убийственно скучала, потому что на время отнимала Деформа у Сюзанны Морен, своей элегантной соперницы, потому что жаждала новых ощущений, потому что этого стареющего жуира окружала слава его похождений.

...Эта связь, скоро окончившаяся, так как барон, верный своему слову, не старался продолжать ее, наполнила душу Терезы стыдом и раскаянием. Целый год переживала она тяжелые муки при воспоминании о проступке, которому научил ее Деформ, но время взяло свое, и она утешилась с Жаком Моланом, писателем, в надежде, что он удовлетворит требованиям ее сердца. Ведь все его произведения, начиная от первой и единственной книжечки стихов и до последнего его сборника новелл, доказывали такую чуткую, восприимчивую душу! Но и вторая связь, начавшаяся для Терезы горячей надеждой, что она будет утешительницей тайных огорчений любимого артиста, натолкнула госпожу де Сов на горькое разочарование, на сухую натуру исписавшегося литератора, у которого истинные чувства далеко не согласовались с его печатными мыслями...

Тем не менее она упрямо продолжала поддерживать связь с человеком, в котором она ошиблась, не желая, чтобы и на этот раз их отношения были мимолетными. Виновник первого падения — несчастный брак, говорят себе женщины; второго — разочарование в любовнике; в третий же раз они сознаются, что вина — в них самих, а не в условиях их жизни. И это осознание — страшный удар для их гордости. В конце концов это-

...ния писателя проявился в такой грубой форме, что Тереза была до глубины души возмущена и порвала с ним.

В этот именно период тоскливого одиночества она встретилась с Губертом Льораном. Его сердце «нежного ребенка», его чистая, невинная душа вызвали в ней неописуемое волнение и восторг своим резким контрастом с той сферой испорченности и разврата, в которую она погрузилась. О, как боялась она не понравиться ему! Даже когда она убедилась, что любима им, как страшилась оказаться недостойной в его глазах! С каким трепетом думала, что чья-нибудь нескромность может открыть Губерту ее прошлое! Сколько труда, сколько чисто женского искусства вложила она в свою любовь, чтобы сделать из нее дивную поэму, способную очаровать невинную душу, не искушенную жизнью! Как гордилась она его уважением и как долго старалась оставить его в заблуждении!

Когда она вспоминала теперь те два дня, которые они провели в Фолькстоне, она почти не верила себе, что все это было в действительности и что она все это могла пережить... Ее мысли возвращались к тому времени, когда она, вопреки всяким предосторожностям, проводила Губерта на вокзал; ей представлялось окно вагона, из которого он послал ей прощальный привет, отправляясь в Лондон; она вновь ощущала то радостное чувство, которое охватило ее, когда, проводив Губерта, она в их общей квартире с трепетом ожидала исхода тех двух часов, после которых она отправилась вслед за ним в Дувр...

Под гнетом этих воспоминаний изныла ее душа, и голова склонилась, как склоняется роза, увядшая в комнатной вазе. Она почти не винила себя за свое прошлое, находя оправдание в той фразе, которую она мысленно говорила теперь Губерту и которую нередко говорят женщины своим любовникам, ревнующим к прошлому: «Я ведь тогда не знала тебя!»

А затем, вернувшись из Лондона, разве не старалась она в течение всей весны и лета сделать свою жизнь до последних мелочей такой, чтобы быть достойной его?! Разве не нашла она в себе снова всю ту скромность, которая при всем пыле любви облагораживает душу? Разве не опасалась она всегда своими ласками изъязвить это юное сердце, которое она хотела осчастливить, но не испортить?! Несмотря на всю свою

...ность, она настаивала, чтобы их свидания в маленьком домике в предместье Фридланд были по возможности реже, и этим надеялась надолго сохранить в его глазах всю прелесть новизны...

Не часты были эти свидания! Она мысленно могла бы пересчитать те счастливые дни, когда при запертых ставнях в объятиях Губерта повторялись те же сладострастные ощущения, которые ослепляли ее в Фолькстоне... Она дошла до такого поклонения своему другу, что обожала даже госпожу Льоран, зная, как та ненавидела ее. Да, она обожала его — своего ученика в деле любви, обожала его за то, что, нежный и трогательный, он принес ей в дар свои чистые, нетронутые чувства и невинную душу юноши, свое прошлое, настоящее и будущее. Она гордилась, почти бредила своей любовью и часто говорила ему: «Твоя жизнь только начинается, моя уже на исходе. Да, дитя, в тридцать лет для женщины уже настает конец молодости, а у тебя еще столько лет впереди! Но никогда, никогда никто не будет любить тебя так, как я, и никогда ты меня не забудешь, никогда, никогда...»

Иногда она заглядывала в будущее. «Ты женишься,— говорила она, обвивая его шею своими распущенными длинными черными волосами,— а я не знаю той, которая отнимет тебя у меня, которая склонит свою голову на твою грудь и будет проводить с тобой ночи, как мы в Фолькстоне. О, почему не раньше встретилась я с тобой, почему не могу я связаться с тобой неразрывными узами?!»

Затем, поправив сама свою прическу и туалет и закрыв лицо вуалью, она возвращалась к нему и не иначе прощалась с ним, как в той таинственной комнате, где они любили друг друга,— и она знала и слышала по биению его сердца, что ничто не действовало так сильно на Губерта, как этот прощальный, почти холодный поцелуй. Она уходила с какой-то непонятной грустью, которую не скрывала от своего друга. Но не всегда она объясняла ему причину своей грусти. Ведь она была замужем и, хотя и имела всегда свою отдельную комнату, не могла не принимать в ней иногда своего мужа. Увы! Это было необходимо тем более, что у нее был любовник, и она переносила это испытание ради Губерта, как она утешала самое себя. Разве могла она, если бы сделалась матерью, бежать с ним и испортить ему всю жизнь? Эта неизбежная необходимость ужас-

ной лжи и безнравственного деления ложа причиняла ей среди счастья большое горе. Но она оправдывала себя тем, что ведь для него, для своего обожаемого Губерта, она лгала...

Но какая мучительная загадка представлялась ей! О, мучительная, мучительная загадка! Как могла она с этой дивной любовью совершить то, что произошло? Как могла она, у которой при одном воспоминании леденеют руки и ноги,— как могла она в конце июля уехать в Трувиль и поселиться там на весь сезон в нагорной вилле?

Да, так поступила она, любовница Губерта,— да разве это возможно? О, мучительная, мучительная загадка! Зачем эти ужасные воспоминания о преступных часах роем теснятся в ее голове? Отчего не заглохнут совсем эти убийственные ощущения?

Поселившись в вилле, она вновь встретилась со старыми подругами, с которыми почти прекратила сношения со времени своей связи с Губертом. В их обществе и в обществе их кавалеров (fancymen*, как называла их одна леди этого кружка) она предприняла несколько пикников, очень веселых и очень невинных, и мало-помалу она стала, все так же любя Губерта, привыкать жить вдали от него и находить удовольствие в той свободе общения с мужчинами, от которой она уже с год как отказалась.

Без всяких занятий в своей вилле, не питая страсти к чтению, окончательно убитой в ней лживыми фразами ее любовника писателя Жака Молана, она имела слишком много свободного времени: напишет длинное письмо Губерту, затем короткое — мужу, и вновь настают долгие часы скуки, которые надо чем-нибудь заполнить. Иногда в ее голову закрадывались мысли, в которых она сама себе не смела признаться, поднималась в груди потребность ощущений, которые ее удивляли...

Она знала понаслышке, что самый нежный друг, как бы ни был влюблен в свою любовницу, в ее отсутствие чувствует непреодолимое влечение изменить ей с первой встречной, но говорили это о мужчинах, а не о женщинах. Почему же она чувствовала, что ее охватывает какое-то необъяснимое волнение, какая-то жажда чувственных наслаждений, от которой она считала

* Фантастические мужчины *(англ.)*

себя навсегда спасенной под влиянием идеальной любви, облагородившей ее? Мало-помалу вновь просыпались в ней уснувшие было дурные инстинкты, и тщетно она боролась, тщетно проклинала свою скрытую испорченность. Затем она позволила молодому графу де ла Круа-Фирмену ухаживать за ней, невольно подчинилась влиянию его улыбки, его глаз; затем (о, как она хотела бы умереть при этом воспоминании) в один из тех жарких дней, когда воля делается почти бессильной, он сделался более смелым, и она отдалась ему, сперва из малодушия, а потом с огнем и увлечением... Три дня, отгоняя от себя образ Губерта, она была любовницей графа, три дня она подчинялась этой пожирающей страсти, чувствуя, как падает в пропасть, и все-таки устремляясь в нее, пока наконец не очнулась от этой бури чувств, как от сна. Она открыла глаза, она увидела свой позор и, разбитая, еле живая, бежала из этого проклятого места, от этого ненавистного сообщника, чтобы вернуться,— к чему? к кому?

Это было мрачное, тяжелое возвращение к тому, что некогда послужило ее исправлением и что она навсегда опозорила. В комнатах, где она провела столько сладостных часов, она нашла Губерта (имела ли она еще право называть его своим Губертом?) еще более нежным, более любящим и более любимым. О, неужели ее необъяснимая измена лишила ее навсегда возможности наслаждаться счастьем, которого она была недостойна? В объятиях молодого человека, склонивши голову на его грудь, она вспомнила о «другом», об экстазе своих отношений с «другим»,— и весь пыл ее страсти улетучился как дым. Губерт видел, как она безнадежно зарыдала...

Ее охватили безграничная грусть и смертельный страх, чтобы какой-нибудь нескромный слух не дошел до ее друга и не возбудил его подозрений. О своей репутации она уже не заботилась: она знала, что после своего странного поведения с ла Круа-Фирменом могла ожидать с его стороны только презрения и ненависти; она знала также, как мало можно полагаться на мужчин, которые из обладания женщинами делают себе профессию. Она не боялась, что своей болтливостью он нарушит ее личную безопасность, потому что, бездетной, с независимым состоянием, ей нечего было опасаться своего мужа, но недоверия со стороны Губерта — вот чего, она чувствовала, не могла бы перенести.

Быть может, с другой стороны, лучше, если он узнает ужасную тайну? Он прогонит ее, несчастную, но все же, казалось ей временами, это легче перенести, чем вечно мучиться угрызениями совести и вечно обманывать этого благородного юношу... С безнадежным отчаянием она вновь принялась любить его...

Возмущенная собственным падением, возбуждаемая романтичными идеями, она несколько раз собиралась во всем признаться ему и унижением собственного признания хоть отчасти искупить свою вину, но нет, она не могла этого сделать и своим молчанием, которое само по себе уже было обманом, продолжала обманывать его. А если он прямо задаст ей вопрос, она не найдет в себе достаточно сил и бесстыдства, чтобы лгать ему. А между тем именно этот допрос ей предстоит, она читала его сквозь строки депеши. Что делать, что делать, если она угадала? Она перенесла уже столько стыда, но перенесет ли она и этот стыд, самый ужасный, самый горький? Неужели новым обманом она еще раз изменит своей единственной любви?.. По крайней мере если она будет откровенна, быть может, Губерт хоть немного будет уважать ее, а если она его обманет, перенесет ли она сама этот обман?.. Да, надо во всем сознаться! Но ведь это — конец ее счастью... Да разве уже не кончилось оно со времени ее возвращения? Зачем бороться с судьбой из-за затоптанных в грязь последних лучей былого счастья?..

И так всю ночь напролет изнывала несчастная под гнетом тяжелых мыслей, она, которая была рождена для благородной и честной любви, которая мельком осуществила свою мечту и потом была низвергнута с высоты ошибкой своей двойственной натуры — и испорченной, и возвышенной вместе с тем.

IX

Порыв благородства

На другой день после этой мучительно проведенной ночи Тереза де Сов, сидя в увозившем ее на улицу Фридланд фиакре, не приняла никаких, обычных в подобных случаях предосторожностей, не переменила по дороге экипажа, не скрыла лица под двойной вуалью, не посматривала в заднее окошечко фиакра, чтобы убедиться, нет ли кругом чего-нибудь подозрительного...

В [illegible] предосторожности запрещенной любви прежде доставляли ей громадное наслаждение, так как все это имело отношение к Губерту, ведь, только обставляя разными таинственностями любовную интригу, можно надеяться на ее продолжительность. Могла ли она думать обо всем этом в настоящую минуту? Рука ее без перчатки держала висевший на прикрепленной к браслету цепочке золотой ключик — прелестную безделушку, полученную ею от Губерта в знак их нежных отношений. Ключом этим, который она никогда не снимала с руки, открывала она дверь в уступленную Губерту Эммануилом Деруа квартиру, помещавшуюся в нижнем этаже,— очаровательное гнездышко, в котором она в их немногие свидания жила истинно полной жизнью и куда она теперь отправлялась точно на кладбище.

На дворе чувствовалось приближение грозы: воздух в это осеннее утро был необыкновенно тяжел и весь насыщен электричеством, еще более возбуждавшим и без того уже напряженные нервы Терезы. На этот раз она не велела своему кучеру, как она это всегда делала, даже въехать во двор. В доме было два выхода, и настежь открытые ворота давали возможность подъехать прямо к двери квартиры, не будучи замеченным консьержем, на скромность которого можно было, впрочем, вполне рассчитывать благодаря тем денежным выгодам, которые приносила ему любовная связь друга его квартиранта.

Во всю дорогу она не переставала рассматривать упорным взглядом все подробности улиц, по которым она ехала; все это ей было так знакомо, начиная с вывесок над лавками до наружного вида самих домов, так как со всем этим были связаны самые дорогие воспоминания ее слишком короткого романа. Она теперь так же печально прощалась с этим, как прощалась со своим счастьем.

Отдаваясь ложным впечатлениям, вызванным страхом, она потеряла способность отличать возможное от действительного и была вполне уверена, что Губерт знает уже обо всем. Перечитывая полученную накануне записку и прекрасно зная характер Губерта, она в каждом слове усматривала самое тяжелое мучение. Ей было понятно, что источником этого мучения могло быть только какое-либо обстоятельство, имевшее отношение к их любви. А обстоятельство это, вероятно, не что иное, как то, что ему открыли этот ужасный обман,

...этот бесчестный поступок, совершенный ею, да, ею самою! О, если б можно было отыскать какой-нибудь источник священной воды и омыть в нем всю кровь и вместе с ней воспоминания этих мерзких горячечных увлечений! Нет! Эта кровь, пресыщенная самыми постыдными нашими грехами, продолжает циркулировать в наших жилах и так же ровно бьется в минуты раскаяния, как и в минуты совершения греха. И Тереза вновь чувствовала на своем лице поцелуи этого господина, с которым она изменила Губерту и которому она тогда возвращала эти ужасные поцелуи.

«А что, если он начнет меня расспрашивать, хватит ли у меня силы солгать ему, да и к чему собственно?..» Этот вопрос, к которому со вчерашнего дня неизменно приводили все ее размышления, она себе задавала и теперь, очутившись перед той дверью, за которой, несомненно, должен был разыграться один из самых драматических моментов, какие только бывали в ее жизни. Пальцы ее так дрожали, что она еле нашла в себе силы вложить маленький золотой ключик в замок двери,— этот ключик, который подарен был ей, чтобы пользоваться им совсем при другом настроении.

Она знала наверное, что при первом звуке поворота ключа в замке Губерт будет ожидать ее тут же, сейчас за дверью. И действительно, едва она вошла в комнату, как очутилась в его объятиях. Он почувствовал, что губы ее были холодны, и, прижав ее к сердцу, окинул ее, как это он всегда делал, взглядом с ног до головы, точно желая еще лучше убедиться в действительности ее присутствия. От такого первого его поцелуя у Терезы всегда почти до боли замирало сердце, и только непобедимый страх перед тем, чтобы не разонравиться своему возлюбленному, заставлял ее высвобождаться из его объятий. И даже теперь, несмотря на мучительно проведенную ночь, все существо ее содрогнулось под этой лаской, и ею овладело безумное желание опьянить Губерта такими чарами, которые заставили бы забыть его о чем спрашивать, а ее — что отвечать. Но эта мгновенная вспышка сейчас же рассеялась при звуке голоса молодого человека, спросившего ее с беспокойством:

— Не больна ли ты?

Заметив бледность ее лица, этот нежный юноша уже упрекал себя за то, что попросил ее явиться сюда в такую погоду, и вид страдания, написанного на ее лице,

[illegible] даже позабыть цель их свидания. Впрочем, [illegible] в благоприятном исходе их объяснения [illegible] была так велика в нем, что ни одно из его вчерашних [illegible] и в голову ему теперь не пришло.

— Не больна ли ты? — повторил он, увлекая ее в другую комнату и усаживая на диван.

Так как Эммануил Деруа до переезда в Лондон служил при посольстве в Танжере, вся его квартира была убрана разными привезенными им восточными материями. Особенной любовью Терезы и Губерта пользовался этот помещавшийся прямо против двери в салик большой диван, покрытый ковром. Отдыхая на его подушках, они так часто беседовали на нем с той сердечностью, которая всегда следует за любовным упоением и которую лично Губерт предпочитал самому этому упоению. Как ни самоотверженна была его любовь к Терезе, тем не менее в глубине души своей он остался добрым католиком, и мрачные угрызения совести заставляли его чувствовать некоторую тайную горечь в наслаждении ласками этой женщины.

Он думал и о своем грехе, и, в особенности, о грехе, в который он вовлек Терезу, так как по своей наивности воображал, что он — виновник ее падения. Она не села, а скорее бессильно опустилась на этот широкий диван, в то время как он начал снимать с нее вуаль, шляпу и мантилью. Улыбаясь с бесконечной нежностью, она предоставляла ему это делать. После стольких мучительных, бессонных ночей это ощущение ласковой нежности молодого человека глубоко, но и с необыкновенной горечью проникло в ее душу. Она его находила таким любящим, таким сердечно-ласковым, таким естественным, что даже усомнилась, правильно ли она поняла смысл его записочки, и, чтобы сейчас же разрешить свое сомнение, она ответила на его вопрос о здоровье.

— Нет, я не больна, но тон твоей депеши такой необыкновенный, что я встревожилась.

— Моей депеши? — ответил Губерт, согревая ей руки в своих руках.— Не стоило беспокоиться... Видишь, теперь я не смею даже сознаться, почему я написал ее.

— Все-таки сознайся,— сказала она с настойчивостью, в которой проглядывала тревога, вновь закравшаяся при виде смущения Губерта.

— Странно,— ответил молодой человек, качая головой,— но иногда помимо своей воли сомневаешься в

...ом в чем совершенно уверен, поэтому хочу, чтобы ты ...е раньше простила меня.

— Простить тебя, мой ангел! — возразила она — ...ль я так люблю тебя!.. Простить тебя?— повторила ...ь, и эти два слова, произнесенные ею, отозвались ...трашной тяжестью на ее совести. Как желала бы она ...меть случай простить, а не быть прощеной!..— Но ...за что?— спросила она более тихим голосом, в котором ...новь сказывалось ее внутреннее смущение.

— За то, что я взволновался от гнусной клеветы, которую люди, ненавидящие нашу любовь, распространили про твою жизнь в Трувиле... Но что с тобой?..— Эта фраза и еще более тон, с которым она была произнесена, как острие кинжала вонзились в сердце Терезы.

Если б Губерт, подобно большинству мужчин, встретил ее с самого начала словами подозрения, в которых отсутствие доверия предшествует доказательствам, она, быть может, в своей гордости нашла бы силы, чтобы выслушать его и опровергнуть его подозрения. Но во всем обхождении молодого человека, с первых же его слов, было столько нежного доверия, столько чистоты и откровенности, против которых ни одна душа, сохранившая хоть каплю благородства, не могла бы устоять... К тому же Тереза, несмотря на свое падение, не созданная ни для пошлых связей, ни, тем более, для двойного обмана, принадлежала к тем натурам, которые способны на высокие движения души и на внезапные возвращения к благородству и которые предпочитают окончательно погибнуть, чем спуститься еще ниже.

Угрызения совести в течение последних недель привели ее, впрочем, в то состояние болезненной чувствительности, которое побуждает на самые необдуманные поступки, лишь бы прекратить страдание. Возбуждение бессонной ночи, увеличенное еще приближавшейся грозой, лишало ее возможности скрыть свое волнение, как не может скрыть страха солдат, объятый паникой. В этот момент ее лицо было буквально искажено под влиянием того, что она только что услышала, и того, что ей сейчас скажет ее невольный палач. Прошла минута мучительного для них обоих молчания. Молодой человек, сидя на диване рядом со своей любовницей, глядел на нее бледный как смерть и с полуоткрытым ртом. Ее крайнее замешательство было до такой степени знаменательно, что в его душе снова пробудились все вчерашние отвергнутые им подозрения. В проблеске

одно из тех мгновенных просветлений, которые наступают иногда в нашем мозгу в минуты крайнего возбуждения, он вдруг увидел себя на краю бездны.

— Тереза,— вскрикнул он под страхом собственного видения, охваченный ужасом,— ведь это неправда, это невозможно!..

— Что именно,— прошептала она.— Говорите — я вам отвечу.

Этот переход от обычного нежного «ты» на «вы», робко произнесенное каким-то покорным тоном, окончательно вывел из себя Губерта.

— Нет!— продолжал он, поднимаясь и начиная ходить по комнате тяжелыми, отзывавшимися в сердце бедной женщины шагами.— Я не в состоянии этого даже выразить... Я не могу этого... впрочем, да!— произнес он, остановившись перед ней.— Мне рассказали, будто в Трувиле ты была любовницей какого-то графа де ла Круа-Фирмена, что это сделалось сказкой всего города, что одни молодые люди видели, как ты входила к этому графу и целовала его, и что он сам, наконец, хвастался тем, что состоит твоим любовником. Вот что мне рассказали, и рассказали притом с такой настойчивостью, что я просто чуть с ума не сошел от такой клеветы; в эту именно минуту мне просто до боли захотелось увидеть тебя и услышать из твоих собственных уст, что все это ложь. Этого мне достаточно, и я больше даже не вспомню об этом. Ну скажи мне, моя радость, ведь ты прощаешь меня за то, что я хоть на минуту мог усомниться в тебе, ведь ты меня любишь, как и прежде любила, ведь все это не более как самая гнусная ложь!..— И с этими словами он бросился перед нею на колени; он сжимал ее руки, обнимал ее, он цеплялся за нее так, как, утопая, уцепился бы за того, кто бросился бы его спасать.

— Да, я люблю вас, это правда,— ответила она еле слышно.

— А в остальном все — ведь это ложь?..— вне себя, умолял он. О, в эту минуту он всю свою жизнь отдал бы за одно произнесенное ею слово. Но уста ее молчали; можно было только видеть, как по мертвенно-бледным щекам этой женщины медленно покатились неудержимые слезы, без вздохов, без рыданий, точно с ними она выплакивала всю свою душу. Разве в эту минуту подобное молчание и эти слезы не были самым ясным, самым жестоким ответом?

— Значит, это правда?.. — снова спросил он и, снова не получив ответа, воскликнул:— Да отвечай же, отвечай!— таким ужасным тоном, что губы ее рта, по углам которого продолжали скатываться медленно бегущие слезы, разжались, чтобы произнести «да», еле услышанное им, но навеки запечатлевшееся в его душе.

Одним прыжком он вскочил с места и обвел всю комнату блуждающим взглядом; увидев развешанное по стенам всевозможное оружие, он, этот потомок воинов, почувствовал такое искушение истерзать эту женщину каким-нибудь из блестевших перед ним оружий, что невольно отступил назад. Он снова бросил взгляд на ее лицо, орошенное все теми же неиссякаемыми слезами, и с растерзанным сердцем, как раненный насмерть зверь, испустив тот крик безысходной тоски, который исторгается перед каким-нибудь ужасным зрелищем, бросился без шляпы вон из комнаты и из квартиры, точно его охватил внезапный страх перед всем: и перед этим зрелищем, и перед этими стенами, и перед этой женщиной, и перед самим собой. У него еще хватило сознания, чтобы понять: останься он там еще минут пять, он сделался бы убийцей.

Он бросился бежать — куда? как? по какой дороге? Он потом никогда не мог себе ясно представить, что происходило с ним в продолжение всего этого дня. Он только на другой день мог вспомнить (и то только потому, что перед его глазами находилось осязаемое доказательство), что, увидев как-то в простеночном зеркале одного магазина свою свирепую физиономию и всклокоченные волосы, он, руководимый инстинктивным чувством внешней порядочности, зашел в какую-то лавку и купил себе шляпу. Потом он снова пустился колесить по бесконечным парижским кварталам с их нескончаемой линией следующих один за другим домов. Затем он очутился где-то в пригородной деревне; разразилась гроза, он укрылся под железнодорожным мостом; сколько времени провел он там?

Дождь лил как из ведра; он стоял, прислонившись к стене моста; время от времени мимо мчались поезда, сотрясая каменные своды. Дождь перестал; он опять стал бродить, шлепая в лужах воды и не замечая даже, что у него с самого утра во рту не было ни крошки. Эта механическая ходьба была ему необходима, чтобы не сойти с ума, и инстинктивно он шел и шел. Чудовищный поступок был тут, перед его глазами, он видел его,

[illegible] действительности, и в то же [illegible] Губерт был точно пришибленный. [illegible] его были так невыносимы, что их даже [illegible] назвать горестью: они были выше его сил [illegible] его. Уже довольно поздно вечером он [illegible] недалеко от своего дома, руководимый тем [illegible] побуждением, которое приводит раненого зверя в его берлогу. Около десяти часов он позвонил у ворот дома на улице Вано.

— Надеюсь, что с господином Губертом не приключилось ничего дурного? — спросил консьерж.— Обе госпожи уж очень беспокоились...

— Передай им, что я вернулся,— сказал молодой человек.— но мне что-то нездоровится, и я хочу остаться один, понимаешь — совершенно один.

Тон, которым эта фраза была сказана, не позволил старому слуге ни о чем более расспрашивать, и, пораженный замеченным им выражением бешенства, мелькавшим в глазах его молодого хозяина, а также беспорядком в его костюме, он молча последовал за ним. Подождав, пока Губерт через сени не вошел к себе во флигель, он отправился затем в гостиную передать хозяйке дома данное ему странное поручение. Мать ожидала сына к завтраку, но он не явился. Хотя до сих пор он всегда предупреждал ее в тех случаях, когда не мог прийти, тем не менее она еще старалась отогнать от себя беспокойство. После завтрака он также не пришел. Наступил час обеда — о Губерте никаких известий.

— Мама — обратилась госпожа Льоран к госпоже Кастель,— вероятно, случилось что-нибудь ужасное; кто знает, до чего его могло довести отчаяние?..

— Я думаю, что его просто приятели задержали,— ответила мать, желая своим наружным хладнокровием рассеять опасения своей дочери.

Когда отперли в десять часов вечера ворота, госпожа Льоран из гостиной услышала своим чутким ухом этот шум и сказала своей матери и графу Силли, за которым она послала после обеда: «Это Губерт» Когда же слуга передал ей поручение Губерта, эта больная женщина, приподнявшись на своей кушетке, точно забыв о том, что она не в состоянии ходить, воскликнула: «Я должна пойти поговорить с ним».

— Граф отправится к нему и приведет его сюда,— возразила госпожа Кастель.

Через десять минут Силли вернулся, но без Губерта. Он стучался к нему в дверь, пытался ее открыть, но она была заперта на ключ, он окликал Губерта несколько раз, но тот в конце концов умоляющим тоном попросил оставить его в покое.

— А про нас ни слова? — спросила госпожа Льоран.

— Ни одного слова,— ответил генерал.

— Чего же мы добились теперь? — продолжала госпожа Льоран.— К чему мне знать, что связь его с этой женщиной порвана, когда я потеряла его любовь?

— Вы увидите,— сказал Силли,— что завтра он вернется к вам еще более любящим, чем когда-либо. Конечно, в первый момент такие вещи ошеломляют. Он старался отыскать доказательства тому, о чем мы ему сообщили, ну и нашел их; вот и все объяснение и его отсутствия, и его поведения.

— И он даже не подумал прийти ко мне разделить свое горе! — сказала мать.— Боже мой, неужели, полагая, что я люблю его ради него самого, я любила его только ради себя лично? Генерал, прошу вас, позвоните кому-нибудь, чтобы меня перевезли в мою комнату.

И когда перекатили в другую комнату ее кресло и уложили в постель, она обратилась к матери и сказала:

— Мама, подними, пожалуйста, занавес, я хочу поглядеть на его окна.— И, видя сквозь незакрытые ставни окон Губерта, как двигалась взад и вперед его тень, она произнесла:

— Ах, мама, зачем это только дети вырастают? Прежде при малейшем горе он приходил выплакать его на моей груди, как я делаю это теперь на вашей, а нынче...

— Что ж, нынче он так же потерял голову, как и его мать,— сказала старуха, молчавшая почти весь вечер, и, поцеловав в голову свою дочь, заставила ее прекратить свои жалобы одной только фразой, в которой выражалась вся ее собственная мука:— Милая, я болею душой за вас обоих.

X

Нежная Далила

Когда утром госпожа Льоран послала спросить о здоровье сына, он ответил, что сам придет к завтраку. К полудню он действительно явился. При первом же

ни виде, которым обменялись мать с сыном, и по той дрожи, которая его пробирала при виде матери, Мария-Луиза поняла, какое глубокое горе переживает Губерт. Хотя она и не была виною этого горя, она все-таки не извинялась, что случайно вызвала его. Его насупленные брови, сжатые губы и выражение всего лица так ясно показывали его твердую решимость не допускать никаких объяснений, что ни госпожа Льоран, ни госпожа Кастель не осмелились задать ему ни одного вопроса.

И прежде, в течение истекшего года, эти три существа проводили обед за маленьким круглым столом, совершенно терявшимся в огромной, отделанной дубом столовой, почти без разговора; но никогда еще они не находились под таким впечатлением, как сегодня, никогда еще не чувствовали так сильно, что отныне невозможно будет нарушить молчание и что даже их самые сердечные излияния будут омрачены какой-то неопределенной тяжестью. Когда после завтрака, к которому Губерт почти не дотронулся, они перешли в гостиную и он пять минут спустя взялся за ручку двери, чтобы выйти, его мать почувствовала непреодолимое желание попросить у него прощения за горе, которое она читала в его глазах, и робко обратилась к нему:

— Губерт! — сказала она.

— Что, матушка? — ответил он, поворачиваясь к ней.

— Ты совсем хорошо чувствуешь себя сегодня? — спросила она.

— Совсем хорошо,— ответил он таким холодным тоном, который отнимал всякую возможность продолжать разговор.— К обеду я буду сегодня дома.

Необыкновенная заботливость внезапно охватила молодого человека. После мучительно проведенной ночи, какой он не запомнит за все свое прошлое, Губерт вновь овладел собой... Первый кризис, после которого уже не умирают от отчаяния, прошел, и он понял всю глубину своего горя. Напряженные нервы его успокоились, и способность трезво размышлять вернулась к нему. Тогда только он проникся беспокойством о госпоже де Сов, беспокойством, в котором не было и следа любви, так как после обрушившегося на него потрясения душа его сделалась бесчувственной, как бы сонной и холодной. Но он вспомнил вдруг, что покинул Терезу в маленькой гостиной на улице Фридланд, и его

воображение не могло подсказать ему, что про[illegible]
с ней потом.

Эта мысль, явившаяся ему как раз в [illegible], вы[illegible]вала в нем единственное чувство, на которое он [illegible] еще способен среди переживаемых мучений, — чувство инстинктивного ужаса. Он прямо отправился из дома на улицу Фридланд и, когда очутился перед дверью своей квартиры, не решился войти, хотя держал в руках ключ от двери. Он позвал консьержа, отвратительное существо с дерзким лицом и полуобнаженной улыбкой хорошо оплаченного соучастника, с которым он не мог говорить без омерзения.

— Прошу извинить меня,— сказал он, [illegible]жидаясь вопроса Губерта,— я не знал, что эта дама [illegible] еще здесь. Я видел, как вы вышли, и потом вошел, чтобы, по обыкновению, привести в порядок квартиру. Я застал эту даму сидящей на диване, очевидно, сильно страдающей. Ей лучше теперь,— прибавил он.

— Да, она поправилась,— ответил Губерт. Внезапно получив отвращение к этой квартире, но не желая в то же время дать понять этому антипатичному субъекту драму, которая произошла в его жизни, он продолжал:— Я пришел рассчитаться с вами. Я предпринимаю путешествие...

— Но ведь вы уже заплатили мне в начале месяца,— сказал консьерж.

— Я, может быть, буду долго в отсутствии — перебил его Губерт, подавая ему банковый билет.— Эту сумму вы зачтете.

— Вы не войдете?

— Нет,— ответил Губерт и удалился, мысленно говоря себе: «Как мало я знаю людей! Разве такие женщины убивают себя?»

Такие женщины! Это выражение, которое запало в голову этому до сих пор столь наивному и нежному юноше, ясно определяло состояние, в котором он находился теперь и которое продолжалось еще несколько дней, состояние полнейшей апатии и разочарования, вытеснившее из его сердца все другие чувства. Он до того презирал Терезу, что сам не мог бы сказать, страдает ли он; он видел эту женщину, которую он так боготворил и которую считал такой благородной, погруженной в такую пропасть разврата, что невольно в своей любви к ней усматривал грязь, которая пристала и к нему

По целым дням его преследовала эта мысль и лишала возможности строить какие бы то ни было предположения относительно Терезы. Эти мысли были так упорны, что принимали реальную форму, обращались в галлюцинации. Он ясно видел ее поступок, один только ее поступок, и не имел сил не думать о нем, несмотря на все свое презрение к ней; как мираж носилось перед его глазами падение его любовницы, ее возмутительная развратность, и, как человек, страдающий желтухой, видит все окружающее в желтом свете, он глядел на свою жизнь сквозь призму презрения к ней.

Его душа была пропитана горечью и недоверием. Всякое ощущение обращалось для него в нечто грязное и печальное. Он вставал по утрам, брал книги в руки, раскрывал их и не читал. За завтраком вид матери не успокаивал его, а еще больше волновал. Он возвращался в свою комнату и, как и по утрам, оставался в бездействии. После обеда он немедленно удалялся, чтобы не видеть ни генерала, ни кузена, общество которых было для него невыносимо. Ночью он просыпался и вновь видел эту проклятую сцену, и сердце его вновь сжималось от боли.

Когда же он засыпал, его большей частью преследовал опять тот же кошмар. Не имея понятия, как выглядит тот, с которым изменила ему его любовница, он видел во сне всевозможные образы этого ненавистного человека — и от боли, которую причиняли ему эти видения, он просыпался. Холодный пот покрывал его тело, сердце учащенно билось, как бы стремясь вырваться наружу, и среди этих мучений он оставался все в таком же состоянии полнейшего равнодушия к своей былой любви что даже не беспокоился больше о том, что стало с Терезой. «Наконец,— сказал он себе однажды утром, вставая,— ведь жил же я и до знакомства с ней! Стоит мне только мысленно перенестись к тому состоянию, в котором я находился до 12 октября...— (Он точно помнил это число.) — Прошло немногим больше года... Как я был спокоен тогда!.. Это был дурной сон, не более... Но надо уничтожить все, что могло бы напомнить мне о ней».

Он сел за письменный стол, предварительно подбросив угля в камин, чтобы увеличить пламя, и заперев дверь на ключ. Невольно он вспомнил, что так же он поступал, когда хотел просмотреть драгоценные релик-

[illegible] своей любви. Он открыл ящик, в котором находи[illegible] [illegible] ни религии [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] монограммой из двух сплетенных между собой [illegible] T и I. Такими инициалами обозначил [illegible] [illegible] Терезой, чтобы хранить в них свои [illegible] Но [illegible], которую он подарил своей подруге, он велел [illegible] монограмму выправировать по такой же модели, [illegible] Терезы. «Каким ребенком я был [illegible] [illegible], вспомнив тысячу мелочей, которыми он занимался. Достопримечательно, много детского заключается в этом мелочном внимании, но мысль о том, что это ребячество, является уже тогда, когда сердце начинает чрезвычайно страдать.

Рядом с шкатулкой валялись два предмета, которые Губерт бросил сюда в тот же вечер, когда узнал об измене своей любовницы, — кольцо и тонкая золотая цепочка, на которой висел небольшой ключик. Он взял в руки это кольцо, и невольно взор его остановился на внутренней стороне, где по желанию Терезы были выправированы звезда и день их свидания в Фолькстоне. Эта надпись внезапно вызвала перед Губертом целый ряд воспоминаний: он мысленно увидел дверь отеля, лестницу с красным ковром, салон, где они обедали, лакея, который им прислуживал с чисто английским достоинством, его бритую губу, выдающийся вперед подбородок... Он слышал его голос, говоривший: «I beg your pardon*», и среди мелких, незначительных подробностей увидел улыбку Терезы. Какая томность сквозила тогда в ее зеленовато-серых глазах, сколько ласки и самозабвения обещали они, как нежно и мечтательно останавливались на нем!..

Губерт машинально надел кольцо на палец, но потом почти с гневом бросил его в ящик, где металл со звоном ударился о деревянную стенку. Чтобы открыть шкатулку, он должен был взять в руки цепочку старинной работы — подарок Терезы. Он преподнес ей браслет, на котором висел ключик от квартиры, а она подарила ему эту цепочку, чтобы он мог носить на шее ключик от шкатулки. Целые месяцы он сохранял этот любовный сувенир и часто нажимал себе на грудь рукой, чтобы легкая боль, причиняемая давлением ключика под рубашкой, напомнила ему о его тайном счастье.

* Прошу прощения *(англ.)*

...своей любви. Он открыл ящик, в котором находились эти реликвии: это была шкатулка из черной кожи с монограммой из двух сплетенных между собой букв — *Т.* и *Г.* Такими шкатулками обменялись они с Терезой, чтобы хранить в них свои письма. На той, которую он подарил своей подруге, он велел вместо монограммы выгравировать целиком весь автограф имени Терезы. «Каким ребенком я был!» — подумал он, вспомнив тысячу мелочей, которыми он занимался. Действительно, много детского заключается в этом мелочном внимании, но мысль о том, что это — ребячество, является уже тогда, когда сердце начинает черстветь.

Рядом с шкатулкой валялись два предмета, которые Губерт бросил сюда в тот же вечер, когда узнал об измене своей любовницы,— кольцо и тонкая золотая цепочка, на которой висел небольшой ключик. Он взял в руки это кольцо, и невольно взор его остановился на внутренней стороне, где по желанию Терезы были выгравированы звезда и день их свидания в Фолькстоне. Эта надпись внезапно вызвала перед Губертом целый ряд воспоминаний: он мысленно увидел дверь отеля, лестницу с красным ковром, салон, где они обедали, лакея, который им прислуживал с чисто английским достоинством, его бритую губу, выдающийся вперед подбородок... Он слышал его голос, говоривший: «I beg your pardon*», и среди мелких, незначительных подробностей увидел улыбку Терезы. Какая томность сквозила тогда в ее зеленовато-серых глазах, сколько ласки и самозабвения обещали они, как нежно и мечтательно останавливались на нем!..

Губерт машинально надел кольцо на палец, но потом почти с гневом бросил его в ящик, где металл со звоном ударился о деревянную стенку. Чтобы открыть шкатулку, он должен был взять в руки цепочку старинной работы — подарок Терезы. Он преподнес ей браслет, на котором висел ключик от квартиры, а она подарила ему эту цепочку, чтобы он мог носить на шее ключик от шкатулки. Целые месяцы он сохранял этот любовный сувенир и часто нажимал себе на грудь рукой, чтобы легкая боль, причиняемая давлением ключика под рубашкой, напомнила ему о его тайном счастье.

* Прошу прощения *(англ.)*

все это далеко от него теперь! Как все это погибло в прошлом и отзывается смертью! Когда он поднял крышку шкатулки, то оперся лбом на руку и созерцал все, что осталось от его счастья, все эти мелочи, не имеющие значения для другого, а для него связанные со столькими воспоминаниями: вышитый платочек, перчатка, вуалетка, пакетик писем, пакетик депеш, расположенных по порядку и составляющих как бы поэму любви... Конверты были так тщательно вскрыты, депеши так аккуратно разглажены!..

Малейшие подробности напоминали Губерту, с каким благоговением он относился ко всему, что исходило от Терезы. Кроме писем и депеш, в шкатулке находилась также ее фотографическая карточка, изображавшая ее в том костюме, который она носила в Фолькстоне, в простой, плотно облегающий талию суконной кофточке и в большой шляпе, бросавшей тень на ее лицо. Она заказала всего одну такую карточку,— только для Губерта и, передавая ее ему, сказала: «Позируя у фотографа, я столько думала о нас обоих... Если б ты знал, как этот портрет тебя любит!..» И Губерту действительно казалось, что портрет его любит

Ему казалось, что от этого овала лица, от этих тонких губ, от этих мечтательных глаз исходила струя глубокой нежности, которая проникла в него,— и рядом с образом измены Терезы перед ним снова возникал образ любящей Терезы. Из ее собственного признания он знал, что она ему изменила, из своих воспоминаний — что она любила и продолжает любить его. Она вновь предстала перед ним в том виде, в каком он покинул ее, на диване в их дорогом убежище, с искривленным лицом, орошенным слезами,— о, какими слезами!

В первый раз с того рокового часа он отдал себе отчет, с каким благородством она призналась ему в своей ошибке, когда она так легко могла обмануть его,— и внезапно, впервые в течение этих полных страданий и горя дней, он воскликнул: «Но почему, почему?»

Да, почему, почему? С этой минуты этот вопрос преследовал его так же, как и его видения; он стал думать не только о своем несчастье, но и причине этого несчастья. Сжечь эти письма, разорвать этот портрет, сломать, выбросить цепочку, кольцо, уничтожить все эти последние остатки своей любви – нет, это было бы

для него так же невозможно, как растерзать не[illegible] все тело любовницы! Эти вещи были для него живыми существами с глазами, с ласками, с волнениями, с голосом... Он закрыл ящик, не будучи в состоянии переносить дольше присутствия этих вещей, в которых заключались частицы его сердца, и бросился на кушетку, углубившись в бездну своих размышлений.

Да, Тереза любила его, долго любила! Ее слезы, ее объятия, теплота ее души — нет, все это не было обманом. Она любила его и — изменила. С любовью в сердце к нему она отдалась другому, спустя только шесть недель после разлуки с ним!

Но почему? Почему? Какая сила толкала ее? Какое опьянение овладело ею? Что за натура у женщины (он уже более не употреблял же такого выражения «такие женщины»), что такой чудовищный поступок даже мыслим? Из какой плоти она соткана, если, несмотря на ее очевидные, ясные чувства, на нее нельзя полагаться? Как нежны были эти руки, какими благородными они казались, а между тем какое безумие доверить им свое сердце! Она улыбается вам, она плачет с вами, но вот она замечает первого проходящего, и, если он хоть на час интересен, она со страстью в глазах, с грациозной улыбкой приносит в жертву ему всю вашу любовь...

О, почему? Почему? Что же правда в жизни, если даже и любовь — обман? И какая любовь! Губерт перебирал теперь свое внутреннее прошлое, искал в своей совести глубину своей привязанности к Терезе и убедился, что в течение уже многих месяцев все его мысли были только о ней. Правда, и он делал ошибки, но только ради нее, а между тем и теперь даже, в эту печальную минуту, он не раскаивался в своих ошибках. Для него было бы огромным облегчением, если б он мог встать на колени перед священником, воспитавшим его, и сказать: «Отец мой, я согрешил!» Но нет, он не в силах был сожалеть о поступках, в которых была замешана Тереза, его Тереза.

Да, он обожал ее безгранично; это была его первая и последняя (так думал он) любовь; он показал ей в течение всей их любви такое доверие, такую наивность без расчета! И все это не имело на нее достаточно влияния, чтобы остановить ее от подлости — отдать свое тело другому. О, это тело! Он почувствовал внезапно

его теплоту, его влияние на все свое существо — и бешеная, мучительная ревность овладела им...

Все тот же вопрос «почему? почему?» терзал его и наталкивал на загадку, которую представляет душа женщины, преступной раз, преступной и во второй раз, преступной до седых волос и до самой смерти...

Эта новая форма горя длилась еще много дней. Молодой человек дал полную волю новому чувству, которое он раньше не подозревал и которое отныне будет преследовать его,— чувству недоверия. С детства он привык верить всему, что его окружало. Он верил своей матери, верил в Бога, верил искренности чьих бы то ни было слов и ласк, верил в особенности Терезе де Сов, которую он мысленно связывал со своей жизнью. Все вокруг него было правдой, любовь же Терезы казалась ему высшей правдой. И вот теперь, под влиянием перемены взглядов, в которой сказывалась особенность его воспитания, он во всей своей жизни видел такую же ложь, как в этой женщине. Мать подготовила в нем почву, которая должна была удержать его от всякого скептицизма, и эта-то почва из глубоко верующего сделала его при первом же разочаровании человеком, ни во что не верящим.

Нельзя ожидать многого от людей и природы: первые — дикие звери, едва покрытые маской условных приличий; вторая, несмотря на свою кажущуюся гармонию, вся соткана из несправедливости без границ. Чтобы сохранить в себе идеал до тех пор, пока смерть не освободит нас от рабства других и самого себя, необходимо с юных лет приучить себя смотреть на нравственность мира так же, как курильщик опиума смотрит на свои сны под влиянием опьянения. Вся прелесть этих снов заключается в том, что они не имеют ничего общего с реальным миром. Губерт же, напротив, так привык все подвергать критике своего разума, что не мог допускать сомнения или веры наполовину.

Если Тереза солгала, то почему же и весь мир не способен на ложь? Эта мысль не принимала у него абстрактной формы; не путем размышления дошел он до нее, а каким-то внутренним чувством. Ему случалось в продолжение этого мучительного времени подозревать Терезу: он спрашивал себя, была ли измена в Трувиле первой, не имела ли Тереза еще любовника даже во время их самой пылкой страсти; он чувствовал, что

гибель этой женщины уничтожила даже прелесть ее воспоминаний.

Под влиянием этой мизантропии он дошел до такого нравственного греха, что сомневался даже в любви матери, в которой он, несчастный, видел только эгоизм ревности. «Если бы она действительно любила меня, — говорил он себе, — она не сообщила бы мне того, что я теперь знаю». Вполне разочарованный, он наконец перестал видеть хорошие стороны человеческой души, усматривал во всем дурное, а мысли его как тяжелое бремя преследовал все тот же вопрос: «почему? почему?» И он искал ответа на вопрос, почему в Терезе было столько же чувственности, сколько и чувств, и почему в ней, как и в мужчинах, происходило иногда такое разногласие между стремлениями сердца и потребностями плоти... Тайна этого разногласия хорошо знакома развратникам, которые еще сохранили остатки сентиментализма, но Губерт не был развратником. Он оставался непорочным, и никогда ему в голову не приходило искать забвения своего горя в опьяняющих поцелуях без любви. Он никогда не знал соблазнов той утешительной, но ядовитой любви, которая убивает все сожаления, однако убивает и все мечты.

Но он был молод и благодаря своей связи с Терезой привык к тому пылкому наслаждению, которое одинаково возбуждает и тело, и душу. После нескольких недель страданий и размышлений он стал чувствовать неясное желание, неопределенное стремление вновь владеть этой женщиной, о которой он ничего не хотел знать, которую он должен был считать мертвой и которую он так глубоко презирал. Это странное, невольное возвращение к наслаждениям былой любви, возвращение, не облагороженное больше никакими идеалами, проявилось у него в форме любопытства, исходящего из самой глубины нашего существа: он почувствовал почти болезненную потребность увидеть собственными глазами любовника Терезы, этого ла Круа-Фирмена, которому она отдалась, в объятиях которого она так же трепетала, как и в его объятиях.

Для наблюдателя, который шаг за шагом следил бы за порчей этой чистой души со дня измены Терезы, это любопытство было бы, без сомнения, вернейшим симптомом той перемены, которая произошла в этом юноше, воспитанном в безупречной чистоте. Да разве это и не был действительно переход от полного пре-

трения невинной души к неясному еще увлечению, от которого так близко до развращения?

Снисходительность воображения к греху страстно желаемой женщины, по грустному закону природы, еще более разжигает любовь, роняя достоинство и любовника, и любовницы. Весьма возможно, что в этом случае мысль о гнусности поступка вызывает отвратительные образы и этим объясняются те припадки чувствительности в гневе, которые поражают моралистов в известных житейских драмах, созданных ревностью. Конечно, Губерт не дошел до такой низости, которая вызвала бы в нем такие инстинкты, а между тем его любопытство по вопросу о любовнике из Трувиля было уже само по себе довольно низким чувством. Но в этом любопытстве главную роль играло туманное, неизгладимое воспоминание о плоти, которое действует вопреки воле того, кем оно овладело, воспоминание о взаимных ласках, которыми они обменялись со времени свидания в Фолькстоне и которых, несмотря на ненависть, вновь жаждала душа...

Это состояние становилось столь тяжелым и невыносимым, что Губерт после долгой борьбы с самим собой и в полном сознании собственного унижения не мог больше противиться и составил почти ребяческий план, чтоб осуществить свое желание. Он сообразил, что ла Круа-Фирмен должен состоять членом какого-нибудь модного клуба и, действительно, скоро нашел его имя и адрес в ежегоднике одного элегантного клуба. В клубе он справился, в Париже ли он в настоящее время, и получил утвердительный ответ. Он отправился на улицу Лаперуза, на которой в доме под № 14 жил его соперник, и убедился, что с тротуара одной из площадей, прилегающих к этой улице, можно было легко наблюдать за этим домом в два этажа, в котором, конечно, было мало жильцов. Он решил, что в одно утро он будет там ждать появления человека, который покажется ему тем, кого он ищет; затем под каким-нибудь предлогом он наведет справки у консьержа и тогда, конечно, все узнает.

Это был тот примитивный способ, к которому юноши, увлекающиеся каким-нибудь знаменитым писателем, прибегают, чтобы увидеть своего кумира. Губерт мог бы обратиться к кому-нибудь из знакомых членов клуба, но такой способ казался ему слишком гадким.

Итак, в одно холодное декабрьское утро [illegible] стал на намеченной площади с девяти часов. Погода была сухая и ясная, небо безоблачно-синее. По этой площади полуэлегантного, полуконюшенного квартала проходили мимо него купцы и конюхи. Из дома, за которым Губерт наблюдал, вышли один за другим лакеи, старая дама и маленький мальчик в сопровождении лёбата и, наконец, около половины двенадцатого дня довольно молодой еще человек, среднего роста, элегантный, сильный и стройный, в пальто, подбитом котиком. Этот последний застегивал воротник, направляясь прямо навстречу Губерту, который также двинулся с места и почти задел незнакомца. Он увидел несколько грубый профиль, темно-русые усы, слегка раскрасневшиеся от утреннего мороза щеки и утомленные глаза, глаза жуира, который поздно заснул после ночи, проведенной за картами или в другом месте. С непонятной дрожью в сердце ревнивый любовник направился к этому дому.

— Могу я видеть господина де ла Круа-Фирмена? — спросил он.

— Графа нет дома,— ответил консьерж.

— Между тем он назначал мне свидание в половине двенадцатого,— заметил Губерт, вынимая часы.— Давно он вышел?

— Но вы должны были встретить графа. Еще пять минут тому назад его сиятельство был здесь; он еще не повернул даже за угол.

Губерт знал теперь то, что хотел. Он бросился к тому месту, где встретился с де ла Круа-Фирменом, и вскоре опять увидел его направляющимся к площади Триумфальной арки. Так это был он! Губерт тихими шагами следовал за ним и глядел на него с каким-то жгучим волнением. Он заметил, что его походка была красива, что он был крепко сложен и вместе с тем гибок и изящен. Вспомнив теперь все, что произошло в Трувиле, он от каждого движения де ла Круа-Фирмена испытывал новые муки. Губерт мысленно сравнивал себя, хрупкого и худого, с этим крепким и гордым мужчиной, который в это ясное морозное утро шел перед ним твердым, уверенным шагом, держа, по-английски, свою трость посередине и на некотором расстоянии от себя. Это сравнение слишком хорошо объясняло причины поступка Терезы, и впервые молодой человек понял эти причины во всей их неприкрашенной грубости.

«О вопрос почему, почему? Да ведь вот ответ!» — думал он, созерцая с мучительной завистью это существо со столь животной силой. Это первое ощущение было так полно горечи, что несчастный юноша уже хотел отказаться от своего преследования, когда внезапно увидел, что де ла Круа-Фирмен садится в фиакр. Он подозвал другой экипаж и, сев в него, сказал кучеру: «Следуйте за этой каретой».

Мысль, что его враг едет к Терезе, вновь вызвала в Губерте прежнюю ярость. Время от времени он выглядывал из окна своего случайного экипажа и видел карету, увозившую его соперника. Этот фиакр желтого цвета с Елисейских полей через улицу Руаяль направился на улицу Сент-Оноре и остановился перед кафе «Вуазен». Ла Круа-Фирмен просто собирался завтракать.

Губерт не мог удержаться от улыбки при виде плачевного результата своего любопытства. Машинально он также вошел в ресторан. Молодой граф уже сидел за столом с двумя друзьями, которые его ждали. Свободный столик был только в другом конце зала, за которым Губерт и занял место. Отсюда он мог, хотя и не слышал вследствие господствовавшего в ресторане шума разговора трех друзей, изучить физиономию человека, которого ненавидел. Он заказал себе первые попавшиеся блюда и углубился в анализ, которому предаются любители или специалисты в театре, вагоне, ресторане, с единственной целью изучить по жестам, взглядам, позам проявления разных темпераментов и физиологию людей. По временам громкие голоса доносили до Губерта отрывки фраз, но он не обращал на них внимания, весь поглощенный наблюдением за человеком, которого он видел почти лицом к лицу с его смелыми глазами, немного короткой шеей, крепкими скулами.

Ла Круа-Фирмен вошел в ресторан бледный и утомленный, но мало-помалу, под влиянием завтрака, кровь стала приливать к его лицу. Он ел с толком и много, но довольно медленно и громко смеялся. На пальцах сильных рук, державших вилку и нож, он носил по два кольца на каждой. Его низкий лоб, который не покрывали короткие курчавые волосы, не светился никакой мыслью. Все это вместе, даже на недружелюбный взгляд Губерта, не было лишено мужественной и здоровой красоты; но это была грубая красота тела и крови, в

влечении которой ни один щепетильный субъект никог
да не мог бы ошибиться. Если женщина отдается
кому человеку, то, бесспорно, она подчиняется только
чисто физическому инстинкту.

Чем более Губерт уяснял себе путем наблюдения
темперамент этого человека, тем более
повилась для него очевидной, и
чем когда-либо, понял натуру Терезы. Эта уверенность
как ножом поразила его сердце, и тогда же в нем за-
родилось печальное, но вместе с тем и благороднейшее
чувство, достойное того, чем он был прежде, то чувство,
которое дает мужчине силу в борьбе с женской ни-
зостью спасти свое сердце от окончательной гибели, —
чувство жалости!

Жалость вместе с горечью и грустью объяла его при
мысли, что прелестное существо, которое он так близко
знал, эта молчаливая, как он ее называл, ласковая и
так нравившаяся ему женщина отдалась этому чело-
веку. Он вдруг вспомнил слезы, которые ночью оро-
сили ее лицо в Фолькстоне, и слезы ее при последнем
свидании, и, как бы поняв наконец их смысл, он вышел
из ресторана, наполненного табачным дымом, и направ-
вился по лишенным листвы бульварам Тюльери к себе
на улицу Вано. На всем пути и в уединении своей
комнаты повторял одно только слово, слово, в котором
сказывалась гибельная судьба человечества: «Какое не-
счастье! Боже, какое несчастье!..»

XI

Любовь и страсть

Что делала Тереза, пока он так мучился, и почему
она не подавала о себе никакой вести? Такой вопрос
задавал себе молодой человек, несмотря на то, что ре-
шил вовсе не думать о ней. Самые противоречивые
предположения закрадывались одно за другим в его го-
лову: может быть, она страдает от угрызений совести?
Или перестала его любить? Или вернулась к прежнему
любовнику, ла Круа-Фирмену? Все — и самое лучшее, и
самое дурное — казалось Губерту возможным в этой
женщине, которая, как он убедился, была способна как
на нежность, так и на распутство, как на благородст-
во, так и на низость. Перебирая в мыслях всевозмож-
ные предположения, он чувствовал, как живо и сильно

...ься с этим существом, от которого хотел освободиться. Он уже был готов на то, чтобы пойти справиться, в каком состоянии духа она находилась теперь, но потом с презрением отбросил эту мысль и, чтобы собраться с силами, стал повторять стихи, которые соответствовали его положению.

По странной иронии судьбы он нашел такие стихи только в томике поэзии Жака Молана, вторично напечатанном после того, как романы из великосветской жизни дали этому поэту известность. Когда-то Губерт обедал вместе с ним у госпожи де Сов, которая по желанию мужа, ничего не подозревавшего, принуждена была с внутренним содроганием принимать одновременно и обожаемого любовника, и бывшего любовника.

В тот вечер Молан вел очень остроумную беседу, которая, возбудив в нем вполне понятное любопытство, побудила его купить после этого обеда томик его стихов. Сегодня он с удовольствием читал сонет под претенциозным заглавием «Нежная жестокость», в котором поэт в напыщенных фразах велит замолчать исстрадавшемуся сердцу.

«Да,— говорил себе Губерт,— он прав: лучше молчать...» Эти стихи волновали его, подобно тому как в обыкновенных читателях поэзия способна растравлять или залечивать сердечные раны. «Молчание...— продолжал он.— Да разве говорят с умершей? А для меня Тереза умерла!..»

Выражаясь так в своем уединенном рабочем кабинете, где он проводил теперь почти все дни, Губерт не испытывал больше никакой злобы к своей любовнице. Так как ни одно из последних событий не возбуждало в нем новых чувств, то невольно он в мыслях возвращался к прежнему, ко времени, предшествовавшему измене. Эти воспоминания создали ему образы, которых он и не старался изгнать, и мало-помалу, под влиянием таких чувств, его гнев стал обращаться в нечто абстрактное, неопределенное; в сущности же он никогда не любил эту женщину так сильно, как теперь, когда он был уверен, что больше не увидится с ней.

Действительно, он любил ее, как умершую, но кто не знает, что такая любовь самая несокрушимая и пылкая? Если окончательный разрыв не убивает сразу чувства любви, он, напротив, еще более подогревает его. Невозможно совсем изгладить из своей памяти те образы,

теперь туманные, которые создала протекшая жизнь. Душа стремится к ним с грустью и страстью. Теряется всякий счет настоящего времени, и только прошлое сохраняет всю свою прелесть, создавая дивные, чарующие галлюцинации пережитого счастья. Даже если б холодная могила скрыла навсегда в своих недрах Терезу де Сов, то и тогда Губерт не меньше отдавался бы пылкой любви без надежд и желаний, грезам и воспоминаниям о былом, которое никогда не вернется.

Час за часом он воспроизводил опьяняющие моменты истекших месяцев, читая и перечитывая все ее записочки, которые он сохранил и которые помнил почти наизусть. Тереза имела привычку ставить в начале письма не число, а только день, например «четверг», «суббота» и т. д., но Губерт восстанавливал и числа, и месяцы по конвертам, которые он сохранил и которые он ни за что не уничтожил бы, дорожа, как святыней, каждой строчкой. И поныне еще его охватывает какое-то странное волнение при чтении своего имени, написанного рукой Терезы.

Да, час за часом он вновь переживал свою прошлую жизнь. Он так ясно представлял себе прелесть и упоение тех дней, которые ушли невозвратно, и перестал уже возмущаться той загадкой, жертвой которой он сделался. Вместо религиозных принципов он проникся идеями мрачного фатализма и объяснял теперь разрушение своего счастья неизбежным горем, преследующим людей. Он почти прощал мысленному образу Терезы ее проступок, который он приписывал теперь фатализму; затем он стал созерцать этот образ умершей женщины с закрытыми глазами и ртом и с неподвижной грудью, но мало-помалу этот образ оживал в его глазах, он видел его с ясным взором, бьющимся сердцем, открытыми устами, свежими и теплыми, и невольно, мучимый тайным, неопределенным желанием, принялся шептать: «Что с ней теперь?»

Действительно, что делала Тереза и почему не пыталась вновь увидеть своего любовника? Какие мысли, какие ощущения пережила она со времени той ужасной сцены, которая разлучила ее с Губертом? И для нее также дни проходили за днями, но между тем как он под влиянием перемены, неожиданно происшедшей в его душе, переходил от одних крайностей к другим через стадии чувств,— она, преступная и побежденная, вся сосредоточилась на одной только мысли. Подобно

всем любящим женщинам она каплю за каплей отдала бы всю свою кровь, чтобы смягчить горе своего любовника.

Правда, с внешней стороны ее жизнь нисколько не изменилась, и спустя неделю, в течение которой непрерывная мучительная мигрень, как спасительная реакция после стольких волнений, удерживала ее в своей комнате, она вновь вошла в свою роль светской женщины, вновь стала делать визиты, принимать, выезжать на вечера и обеды и посещать театры. Но эта внешняя подвижность не поглощала ее мыслей. Странно, что первое время после объяснения на улице Фридланд ее охватила какая-то апатия и спокойствие; произошло это, быть может, потому, что признание смягчило угрызения ее совести и поставило ее в те же условия, которые создала тонкая психология католической церкви в виде исповеди. Если Тереза и не вполне прощала себе своей вины, то ее не смущало, по крайней мере, сознание окончательной низости, и мысль об известной нравственной высоте подымала ее в ее собственных глазах.

Уснувшие угрызения совести давали ей возможность предаться воспоминаниям о Губерте. Она жила теперь в постоянном беспокойстве о нем и жаждала вновь увидеть его, не для того, чтобы вымолить себе прощение, а чтобы утешить бедного, горячо любимого юношу, страдающего из-за нее, чтобы найти способ залечить его раны.

Но как сделать это? Она сама не знала, но чувствовала, что такое глубокое чувство, такое сильное раскаяние помогут ей. Во всяком случае надо, по крайней мере, показать Губерту, какую безграничную страсть она питает к нему, и, конечно, это тронет его и положит конец его отчаянию. Теперь, когда она не находилась более под непосредственным гнетом своей измены, она обдумывала ее не с точки зрения мужчин, как нечто непоправимое: женщина, создание, ближе мужчин стоящее к природе и больше действующее по инстинкту, может забыть измену, лишь бы любовник продолжал ее любить, и не может допустить, чтобы ее не простили.

Совершенный проступок — это тень, дым, химера; любовь — это факт, реальность. Таким образом, Тереза уже вышла из того периода нравственной тягости, который закончился ее признанием, и, нисколько не сожалея о том, что во всем созналась Губерту, надеялась

только и желала, чтобы это признание не повлекло за собой ее счастью, так как она любила и была по-

Тем не менее ее желание не настолько ослепляло ее, чтобы заставить забыть особенности характера ее друга и те препятствия, которые представят его гордость и чистота. Да и к какому способу прибегнуть, чтоб увидеть его хоть на час? Написать ему? Не один, а много раз она писала ему, запечатывала письмо и бросала его, не отправляя. Сперва фразы этих писем казались ей недостаточно ласковыми и скромными, недостаточно страстными и нежными, затем она с ужасом думала, что Губерт совсем не вскроет конверта и без всякого ответа отошлет ее письмо обратно.

Встретиться с ним в обществе? Но такой случайной встречи она страшно боялась, не будучи в состоянии выдержать и обезоружить его взгляда, если он будет жесток... Поехать к нему на улицу Вано и добиться объяснения с ним? Она знала, что это невозможно. Заставить его высказаться? Но через кого?

Единственное лицо, которому она доверила бы тайну своей любви, была ее подруга, которая, живя в провинции, отправляла ее письма к мужу, пока она сама была в Фолькстоне. Из мужчин, с которыми она встречалась в обществе, один только Жорж Льоран был настолько интимен с Губертом, что мог бы взять на себя такое поручение, но к нему-то она питала наибольшее отвращение, инстинктивно чувствуя, что он стал виновником ее гибели. Тысячами неуловимых нитей была она связана с этим обществом, которое из своих членов делает рабов, и проклинала эту несчастную, неразрушимую связь.

Наконец, без размышлений и подчиняясь только велению сердца, она нашла способ, казавшийся ей наилучшим — добиться объяснения с ним. Она почувствовала непреодолимое желание побывать в маленькой квартирке на улице Фридланд, говоря себе, что и Губерта рано или поздно потянет туда же. Неизбежно, что при одном из таких посещений она встретится с ним лицом к лицу. Под влиянием этой мысли она стала часто и по многу часов проводить в первом этаже этого домика, в котором каждый уголок напоминал ей о потерянном счастье. Когда она в первый раз пришла сюда, вид этой обстановки вызвал в ней такое невыносимое волнение, что она вновь почти впала в прежнее от-

чаяние; тем не менее она продолжала приходить сюда и мало-помалу стала находить известную прелесть в созерцании места, где протекала ее любовь.

Консьерж затапливал камин, который мелькающим, тусклым пламенем освещал маленькую гостиную, а она ложилась на диван, переживая мучительно-сладостное волнение, вызываемое ожиданием, грустью и воспоминаниями. Каждый раз на вопрос: «Был ли здесь господин?» она получала все один и тот же отрицательный ответ, но это не отнимало у нее надежды, что случай приведет его сюда одновременно с ней, и она с трепетом прислушивалась к малейшему шороху.

Тень ложилась вокруг нее на все предметы: тонкий аромат цветов, которыми она сама наполняла каждый раз вазы, распространялся по всей квартире, и в этой сфере она то желала, то опасалась прихода Губерта. Простит ли он ее? Или оттолкнет от себя?

Наконец наступала пора, когда она должна была покинуть это убежище своей последней надежды, вся охваченная воспоминаниями о былых поцелуях Губерта, и она уходила с надеждой в другой раз увидеть его, быть может, завтра...

Однажды, когда она так, лежа на диване, предавалась своим мечтам, ей показалось, будто ключ повернулся в замке входных дверей, и она вскочила со страшным биением сердца... Да, дверь открылась и вновь закрылась... Чьи-то шаги раздавались в передней... чья-то рука открывала вторую дверь... Она снова упала на подушки дивана, не имея сил пойти навстречу тому, чего она так желала, и таким образом совершенно искренне приняла ту позу, которую подсказало бы ей самое тонкое кокетство и которая больше всего могла бы подействовать на ее любовника, если это был он...

Да разве мог прийти кто-нибудь другой? Разве она не узнала его походку?.. Действительно, Губерт входил в этот момент. Со времени их разрыва он также часто стремился душой в эту квартирку, в которой часы отмеряли столько счастливых моментов,— часы, на которые Тереза так грациозно набрасывала свою черную вуалетку, чтобы «усыпить время», как она говорила; но он не решался пойти туда: слишком дорогие воспоминания делали его трусливым, и он боялся или пережить слишком сильное волнение, или, напротив, ни-какого.

Сегодня, под влиянием ли мрачной погоды, нагонявшей на него тоску, или под влиянием прочитанной накануне обворожительной записочки Терезы, отмеченной сегодняшним же числом, но прошлого года, Губерт, не отдавая себе в том отчета, оказался на пути к улице Фридланд. Он машинально шел по извилистым боковым переулкам, которых держался прежде, чтобы избежать шпионов, и по которым идти теперь не представляло необходимости. По дороге он миновал ту телеграфную контору, из которой так часто посылал Терезе депешу немедленно же после их свидании для того, чтобы она, сейчас же по приходе домой, нашла у себя весточку о нем и отголосок их поцелуев и сладостных вздохов... Увидев дверь конторы, ее темную окраску, вывеску над ней и ящик для опускания депеш, он почти потерял сознание... Но вот он уже на тротуаре фатальной улицы, он видит дом, закрытые ставни первого этажа, ворота... Что сделалось с ним, когда консьерж, спросив его, хорошо ли он путешествовал, доложил ему своим противно-услужливым голосом: «Дама уже тут!..»

Это известие, быть может, менее неожиданное для него, чем ему самому казалось, нанесло ему первый удар прямо в сердце... Что делать? Достоинство предписывало ему немедленно удалиться, но бессознательное глубокое стремление вновь увидеть Терезу подсказало ему один из тех софизмов, которые дают возможность предпочесть не веление разума, а требование инстинкта.

«Если я не войду,— сказал он самому себе, глядя на комнату консьержа,— этот опасный болван поймет, что мы поссорились. Он способен в своем бесстыдстве дойти до того, что расскажет Терезе о моем приходе... Я обязан оградить ее от такого унижения.— да и, наконец, надо раз и навсегда покончить с вопросом об этой квартире... Неужели я никогда не буду взрослым?..»

С этими внезапными мыслями он открыл дверь, ясно понимая, какое страшное волнение возбуждает шорох открываемой двери в женщине, ожидавшей в соседней комнате, в женщине, которой он так часто согревал ноги своими поцелуями и длинные черные волосы которой гладил с такой нежностью!

«Если она пришла, значит, она меня еще любит...»— эта мысль невольно проникла в его душу, и он с дрожью

вошел в комнату. Где-то последние языки гаснувшего пламени камина бросали мерцающий свет. Его поразил нежный аромат цветов, расставленных в вазах, в соединении с запахом духов, хорошо ему знакомых. Он увидел ее лежащей на диване, в глубине комнаты, ее очаровательное лицо, и оказался лицом к лицу с Терезой, вставшей и теперь смотревшей ему в глаза. Среди гробовой тишины можно было отчетливо слышать учащенное биение его сердца и тяжелое дыхание этой женщины, очевидно глубоко потрясенной. Присутствие любовницы сразу возбудило в нем его прежний гнев, и он почувствовал непонятную потребность грубо расправиться с этой женщиной — созданием, полным лжи и испорченности и все же возбуждающим его животную ревность. В известных случаях разница характеров и воспитания стушевывается перед неизбежными законами.

Тереза первая нарушила молчание. Она слишком хорошо понимала всю важность предстоящего объяснения, чтобы не воспользоваться всеми присущими ей как женщине хитростями. В этот момент она любила Губерта так же страстно, как в тот день, когда призналась ему в своей необъяснимой ошибке; но теперь она могла владеть собой и своей речью. Впрочем, ей не приходилось играть комедии: она находилась в глубоко угнетенном состоянии, которое было вызвано в ней искренним раскаянием, и, оставаясь в полутемном углу, обратилась к нему нежным, прочувствованным тоном.

— Простите меня, что я здесь,— сказала она,— я уйду. Позволив себе приходить в эту квартиру, я не думала сделать что-нибудь неприятное вам... Это поклонение тому, что было единственным счастьем в моей жизни, но я больше не приду сюда, обещаю вам...

— Нет, сударыня, я сам уйду отсюда, — ответил Губерт, в котором звук ее голоса возбуждал неописуемое волнение. «Она часто приходила сюда»,— подумал он, и эта мысль сердила его и мешала подчиняться нежности ее слов.— Сознаюсь,— продолжал он затем,— я не ожидал встретить вас здесь после того, что произошло. Мне казалось, что вы должны были бы избегать известных воспоминаний, а не искать их...

— Не говорите со мной так резко,— возразила она с еще большей нежностью.— Хотя почему вы станете говорить со мной иначе? — продолжала она с грустью.—

я не могу оправдаться перед вами. Но поймите — если бы я не дорожила так сильно тем чувством, которое нас соединяло, я не была бы тогда с вами так искренна! Увы! Ведь я любила вас так, как теперь еще люблю, как буду любить всегда!

— Не упоминайте больше слово «любовь»,— перебил ее Губерт,— вы потеряли право на это!

— О!— ответила она, все больше экзальтируясь.— Вы не можете запретить мне чувствовать. Да, Губерт, я люблю вас, и если я не имею больше надежды, что моя любовь вызовет взаимность, это чувство все-таки продолжает пылать здесь,— и она ударила себя в грудь.— И надо, чтобы вы знали это! Единственное утешение в моем безысходном горе заключается в том, что я в последний раз могу повторить вам то, что я так часто говорила вам в дни счастья: я люблю вас! Не думайте, что я надеюсь на прощение; я никогда не буду пытаться склонить вас, и никогда вы меня не осудите так, как я сама себя осуждаю. И все-таки я люблю вас, люблю сильнее, чем когда-либо!..

— Если так,— возразил Губерт,— эта любовь будет моей единственной местью вам... Знайте же, что человеку, которого вы любите, вы причинили страшные, невыносимые муки; вы истерзали его сердце, вы сделались его палачом... Во мне глубокая рана, и это вы нанесли мне ее... Я ничему больше не верю, ни на что не надеюсь, никого не люблю, и вы виной всего этого... И это будет длиться долго-долго, и вы должны будете каждое утро и каждый вечер повторять себе: «Тот кого я люблю, изнемогает, и я — его убийца».

И он продолжал осыпать ее жестокими словами, которые подсказывал ему гнев, облегчая его душу от мучений последнего времени, а она слышала этот ужасный голос с замиранием сердца, с полузакрытыми глазами, бледная, трепещущая... Он подвергал ее самым мучительным пыткам, раскрывая перед ней свою истекающую кровью рану, которую она ему нанесла и которую она не могла излечить...

— Убейте меня,— ответила она без аффектации,— я все заслужила!

— Это бесполезные фразы,— сказал Губерт после некоторого молчания, шагая из угла в угол, чтоб охладить свое возбуждение.— Перейдем к делу. Надо, чтоб это свидание имело по крайней мере практический результат. Нам придется встречаться и в обществе,

[illegal] Должен ли я вам сказать, что я буду вести [illegal] как порядочный человек. И так, чтобы никто не [illegal] что произошло между нами? Остается вопрос об этой квартире. Я напишу Эммануилу Дерувилю, чтобы предупредить его, что я больше сюда не вернусь. Ведь бесполезно, чтобы мы встречались здесь, не правда ли? Больше нам не о чем говорить.

— Вы правы,— сказала Тереза слабым голосом и, как бы согласившись на все, встала. Она подняла свои руки к глазам и, сняв с руки браслет, на котором висел ключик, без слов передала его Губерту. Он взял эту золотую цепь, и руки их встретились, не разъединяясь. Они взглянули друг на друга, и он в первый раз с тех пор, как вошел в эту комнату, рассмотрел ее лицо. Она была дивно хороша в этот момент: ее полуоткрытые губы, ее томные глаза, ее тонкие пальцы, сжимавшие руку любовника, как молния, воспламенили его. Опьяненный, он приблизился к ней и, схватив ее в свои объятия, крепко поцеловал. Она почти теряла сознание...

Когда они пришли в себя, она взглянула на него. Она боялась, что он, подобно большинству мужчин, отрезвившись от этого чувства, накажет ее за свою собственную слабость глубоким презрением. Правда, и Губерт был охвачен таким чувством, но великодушие помешало ему выказать его Терезе. Тогда она голосом, которому страх придавал особенный оттенок нежности, сказала ему:

— О мой Губерт, ты вновь мой... Если б ты знал... Я не пережила бы нашей разлуки, я умерла бы от горя, я так люблю тебя!.. Я буду так нежна с тобой, я сделаю тебя таким счастливым... Но не покидай меня. Если ты и не любишь меня больше, позволь хоть мне любить тебя. Зови меня, гони, когда захочешь... Я твоя раба, твоя вещь, вся твоя .. О, если б я могла умереть теперь!..— И она покрывала страстными поцелуями исхудалое лицо юноши.

А он, с сомкнутыми губами и опущенными глазами, оставался неподвижен и думал о пропасти, в которую провалился. Теперь, когда улетучилось опьянение, он мог сравнить свои былые чувства с настоящими. Эту разницу он ясно видел в контрасте между грубым наслаждением теперь на этом диване и прежней дивной чистотой чувств. Он не простил Терезу и все-таки не мог устоять, и это навсегда лишало его права упрекать

...ление. И если еще кто-нибудь мог ...нить ...-
...ему, разве будет он в состоянии ...ревнуть ее
...ь этой женщины было только чар, что он не
...будет — он чувствовал ... привязанности к
...ее та ее расселялась он любил эту ... за-
...стой, возвышенной любовью, теперь же она при-
...ла его к себе всем, что только есть самого низ-
...ого в этом чувстве. Он перестал уважать себя с
...ор, как потерял уважение к своей любовнице.
...мертвая Далила еще раз ... свою власть
...ные и пылкие объятия ... женщины он отве-
...поцелуями.

XII

Как все...

Две недели спустя после этой сцены Губерт снова стал обедать вне дома и выезжать почти каждый вечер. Мать, молчавшая при виде его горя, помочь которому она была бессильна, была теперь поражена и испугана той лихорадкой опьянения, которую она усматривала в сыне. Однажды, когда Жорж Льоран, по обыкновению, занял свое место в этой гостиной, где бедная женщина перенесла столько волнений, она открыла ему свои новые опасения.

Ветер завывал так же, как в тот вечер, когда генерал Силли впервые стал размышлять о горе двух своих друзей. Силли, который тоже был в своем обычном кресле, мысленно констатировал, какое ужасное разрушение произвели в обеих вдовах последние десять месяцев.

— Я ничего не понимаю,— ответил Жорж на вопрос своей кузины.— Губерт не имел никакого разговора со мной. Конечно, его тогдашнее отчаяние необъяснимо, если он не верил измене госпожи де Сов. Бесспорно только, что он опять в самых лучших отношениях с ней.

— После всего, что он узнал?— сказал граф.— Ну, он не горд.

— Что же делать,— возразил Жорж,— он такой же, как все...

Госпожа Льоран, лежа на кушетке, держала руку госпожи Кастель, когда ее кузен произнес эти слова, не придав им значения.

Так матери и бабушки соединились в крепком пожатии, в котором обе женщины высказали одна другой свои страдания. Они предвидели, какая неизбежная перемена произойдет теперь в их Губерте... Увы, стара истина, что человек подобен своей любви, но почему и откуда приходит эта любовь?.. Вопрос — без ответа! Как и измена женщины, как и слабость мужчины, как и соединение плоти и разума, как и сама жизнь, этот вопрос — мучительная, мучительная загадка!

СОДЕРЖАНИЕ

Анри Лебеги
ПЫТКА ФЕДРЫ
3

Сидони Габриель Колетт
ИСПОВЕДЬ ЖЕНСКОЙ ДУШИ
129

Поль Бурже
МУЧИТЕЛЬНАЯ ЗАГАДКА
289

Литературно-художественное издание

Пытка Федры

Романы

Составители
Зенюк Тамара Николаевна,
Полторацкая Наталья Ильинична

Заведующий редакцией *В. А. Кипрушев*
Редактор *Г И Кряжевских*
Художник *И В. Зарубина*
Технический редактор *В. И. Демьяненко*
Корректор *З. Б. Бунис*

Сдано в набор 21.12.92. Подписано к печати 09.04.93. Формат 84×108 1/32. Гарн. тип «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,63. Уч.-изд. л. 22,53. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1158.

Социально-коммерческая фирма
«Человек».
199053, Санкт-Петербург,
наб. Макарова, 10/1

Ордена Трудового Красного Знамени
ГП «Техническая книга»
Миниформпечати РФ.
198052, г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр., 29.

Пытка Федры/Сост Т. Н. Зенюк. Н. И. Полторацкая.— СПб. Социально-коммерческая фирма «Человек». 1993.— 397 с., ил.

П94

ISBN 5-85670-006-6

В серию дамских романов вошли произведения трех замечательных французских писателей — Сидони Габриэль Колетт, Поля Бурже и Анри Деберли, ранее почти неизвестных русскому читателю. В центре повествования мучительные переживания, страсть, роковая любовь.

ББК 84.4 Фр.

П 4703010110—034 без объявл.

В социально-коммерческой фирме
«Человек»
в серии
«Дамский роман»
выходят книги:

Джейн Остен

ЭММА

Роман

Пер. с англ.

ДИМФНА КЬЮСАК

СКАЖИ СМЕРТИ «НЕТ!»

Роман

Пер. с англ.

Эмиль Золя

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ

Роман

Пер. с франц.

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190